• ВОЙНА И МИР • ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ • СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА • БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ • ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ • ЧЕЛОВЕК БЕЗ СВОЙСТВ • ГОСПОЖА БОВАРИ • МЕРТВЫЕ ДУШИ • ОДИССЕЯ • БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ •

100 главных книг

• ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ • ДЕКАМЕРОН • РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА • ЭНЕИДА • БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ •



• УЛИСС • МОБИ ДИК • ФАУСТ • В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ •

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

• ГАРГАНТЮА И ПАНТАГРЮЭЛЬ • ЗАМОК • ЮЛИЯ, • МЕТАМОРФОЗЫ • ЯЗЫК •

• ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ • ФАУСТ • МАСТЕР И МАРГАРИТА • ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА • ГАМЛЕТ •

А зори здесь тихие... (сборник)

Борис Львович Васильев

Аннотация
Борис Васильев. А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Эпилог
В списках не значился
Часть первая
1
2

3
4
Часть вторая
1
2
3
Часть третья
1
2
3
Часть четвертая
1
2
3
Часть пятая
1
2
Эпилог
Завтра была война
Пролог
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6

Глава 7
Глава 8
Глава 9
Эпилог
Неопалимая купина
Встречный бой
1
2
3
4
5
6
7
Красные Жемчуга

Аннотация

В книгу вошли известные повести Б. Васильева, рассказывающие о Великой Отечественной войне, участником и свидетелем которой был автор, и произведения, написанные в последние годы, в которых писатель попытался осмыслить и художественно отразить нравственные противоречия нашего времени в судьбах людей.

Успех экранизаций повестей «Завтра была война», «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» в большой степени был обусловлен пронзительностью авторского повествования, подлинностью описываемых событий, трагичностью историй о войне, о которых Б. Васильев знал не понаслышке, а из личного опыта

Борис Васильев
А зори здесь тихие...

Серия «100 главных книг»

В оформлении переплета использованы фотографии: Анатолий Гаранин, Олег Кнорринг, С. Альперин, Ярославцев / РИА Новости; Архив РИА Новости

Фотография снайпера Розы Шаниной на корешке: фонд ГБУК «Архангельский краеведческий музей»

© Васильев Б.Л, наследники, 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

А зори здесь тихие...

1

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались

чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда хмурый старшина Васков писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то!

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. — Непьющих и, это… Чтоб, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Начальству виднее, — осторожно говорил старшина.

— Ладно, Васков, — распаляясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут тебе непьющие. И насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься…

— Так точно, — деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за две недели не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный, — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. — Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь…

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

— С командиром прибыли?

— Не похоже, Федот Евграфыч.

— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. — Власть делить — это хуже нету.

— Погодите радоваться, — загадочно улыбнулась хозяйка.

— Радоваться после войны будем, — резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел на улицу.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, — тусклым голосом отрапортовала старшая. — Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

— Та-ак, — совсем не по-уставному протянул старшина. — Нашли, значит, непьющих…

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой, — объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами? — робко спросила плотненькая: Васков давно уже приметил ее, как самую толковую помощницу.

— Ягод еще нет, — сказал он. — Клюква разве что.

— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова. — Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, будто попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, теперь не могло быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Но пуще всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, — ска-

зала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. — Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфовичу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то тряпочки. Подобные украшения старшина счел неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

— Демаскирует.

— А есть приказ, — не задумываясь, сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить

белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись — хихикать будут до осени…

Дни стояли теплые, безветренные, и комарья народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно и вправду был стариком, — вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще и восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть

губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдовая она, — поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. — Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Промолчал старшина: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, — дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — это все так. А внутри — беспорядок: «Люда, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводящая».

Разве ж это команда? Развод караулов положено по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это порушить надо, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у той один ответ:

— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти…

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю — в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди себя соответственно.

— Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти

что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в Гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели…

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они — не гляди, что рядовые, — наука. «Упреждение, квадрант, угол сноса…» Классов семь, а то и все девять: по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет…

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого…

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выпадало, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо

в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял…

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь да плясать да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальца через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне — за догадливость.

Вот за этот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему тот пакгауз блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал, печати и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект

осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь…

Вздохнул старшина.

2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер: встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно вечер тот только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким героем не был, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в самодеятельности и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом… Да, потом он пошел

ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита нисколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать брак, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязы-

вать раненых и стрелять из всех видов оружия, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом, Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до подхода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар, — на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский, огород…» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника

заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «А»…

Теперь Рита могла считать себя довольной: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти: у Риты была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось.

Он вспыхнул, съежился: корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита! Стреляй! — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестья с падающей точки. Но когда немец перед самой землей рванул кольцо, выбросив парашют, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигурку, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад…

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее оказались сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости; болтали взахлеб о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать! — коротко бросала она, выслушав

очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кирьянова. — Пусть себе болтают: занятно.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, по углам лизаться, — этого я не понимаю.

— Пример покажи, — усмехалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое когда-нибудь может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили подносчицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степа-

новна. Женщина на фронте, сами знаете, — объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим, — завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте, — сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.

— Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение…

Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели:

— Женька, ты русалка!

— Женька, у тебя кожа прозрачная!

— Женька, с тебя только скульптуру лепить!

— Женька, ты же без лифчика ходить можешь!

— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате…

— Несчастная баба, — вздохнула Кирьянова. —

Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая, — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь? — улыбнулась Кирьянова.

И Рита замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти — пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:

— И у тебя тоже?

— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала: специально добивали…

— Послушай, Женя, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женя?

— А вот могла! — Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже песни пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то в перерыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.

— На сцену бы тебе, Женька! — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимна-

стерку подогнала — расцвела Галка Четвертак. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, расспросила и сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за отъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, так надо — Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на 171-й разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый же грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

— Подремли, деваха, часок.

А утром была на месте.

— Лида, Рая, — в наряд!

Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась только:

— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттает.

И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль ли-

бо командир какой заинтересуется — и сгоришь.

— Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

— Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела ответить, одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света невзвидишь. Пример был: двух подружек из второго отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то что за реку — со двора выходить зареклись.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем наливающихся трав, и зенитчицы до

вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина и возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, цеплялся за одежду, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены сарая, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик через ольшаник. Рита миновала первый поворот и — замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути.

Из лесу вышел второй, чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом через кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала: никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в кусты, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, ринулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

— Товарищ комендант! Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами.

— Что?

— Немцы в лесу!

— Так… — Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе разыгрывают. — Откуда

известно?

— Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках…

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные.

— Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку — второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубахе сидела на кровати, разинув рот.

— Что ты, Федот Евграфыч?

— Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

— Команду — в ружье: боевая тревога! Кирьянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную. К телефону. Только бы связь была!..

— «Сосна»! «Сосна»!.. Ах ты, мать честная!.. Либо спят, либо опять поломка… «Сосна»! «Сосна»!..

— «Сосна» слушает.

— Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай, чепэ!

— Даю, не ори. Чепэ у него…

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

— Ты, Васков? Что там у вас?

— Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух…

— Кем обнаружены?

— Младшим сержантом Осяниной.

Кирьянова вошла. Без пилотки, между прочим. И кивнула, как на вечерке.

— Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать.

— Погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

— Говорит, в маскнакидках, с автоматами. Разведка, мыслю я.

— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

— Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока

далеко не ушли.

— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?

— Тут, товарищ…

— Дай ей трубку.

Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да пять раз поддакнула. Положила трубку, дала отбой.

— Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

— Ты мне ту давай, которая видела.

— Осянина пойдет старшей.

— Ну, так. Стройте людей.

— Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с автоматами. А у них тут, между прочим, одни родимые образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года…

— Вольно…

— Женя, Галя, Лиза…

Сморщился старшина:

— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли.

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да, вот еще. Может, кто немецкий знает?

— Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — я? Что такое — я? Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо! Как по-ихнему — руки вверх?

— Хенде хох.

— Точно, — махнул рукой старшина. — Ну, давай, Гурвич.

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов… по пять обойм, подзаправиться… Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком, полюбовно… Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую,

истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут. — Палец Осяниной слегка колупнул карту. — А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего это ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам, — не глядя, пояснила Кирьянова.

— Ночным!.. — Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, — опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. — Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем.

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода…

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля.

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению…

— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло, не к шоссе… Да вы хлебайте, хлебайте.

— Там кусты и туман, — сказала Осянина. — Мне казалось…

— Креститься надо, коли что кажется, — проворчал комендант. — Тючки, говоришь, у них?

— Да, и, вероятно, тяжелые: в правых руках несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

— Мыслю, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги неблизко, — сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так, — заволновалась Осянина, — надо же охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит, — сказал Васков. — Мой доклад — в двенадцать тридцать ежедневно,

позывной «Семнадцать». Ты ешь, ешь, Осянина, топать-то весь день придется.

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив особенно.

— Разуться всем!

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как километра через три вояки эти ноги свои собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их младший сержант Осянина правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще столько же — винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется,

тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать, не курить и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

— Знаем, — сказала рыжая. — Одна — справа, другая — слева.

— Скрытно, — уточнил старшина. — Порядок движения такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я… — он оглядел свой отряд, — с переводчицей. В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного… Кто по-звериному или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры!..

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею, — робко сказала Гурвич. — По-ослиному. И-а! И-а!

— Ослы здесь не водятся, — с неудовольствием заметил старшина. — Ладно, давайте крякать учиться. Как утки.

Показал, а они рассмеялись. Чего им вдруг

весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так утица утят собирает, — пояснил он. — Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире: Васков еще в первый день на нее внимание обратил. И голос лихо подделывает, и вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Вопь-озеро, глядите сюда. — Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно. — Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам — верст двадцать, к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам, обходным порядком да таясь, не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно…

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять — вот это война…

— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше: сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то — что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться! Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил.

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта — как зайцу курево, а уж вам-то…

Вышел за околицу, оглядел свою «гвардию»: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Вздохнул:

— Готовы?

— Готовы, — сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два кряка — внимание, вижу противника. Три кряка — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два кряка, три кряка. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись. Впереди — Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором с харчами гнулась, как тростинка. Последними шли Комелькова и Галя Четвертак.

4

За бросок к Вопь-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам аккурат накануне финской. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряду, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались, немцам идти все равно получалось дольше. Раньше, чем к вечеру, они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и поговорит. В конце концов, одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как на медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч

заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаточки и посему сообразил, что немец топал в обход топи. Все выходило пока что так, как он и замыслил.

— Хорошо немчура побегает, — сказал он своей напарнице. — Здорово очень даже побегает — верст на сорок.

Переводчица на это ничего не ответила, потому как сильно умаялась, аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

— Сиротствую?.. — Она улыбнулась. — Пожалуй, знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон.

— В Минске мои родители. — Она подергала

тощим плечом, поправляя винтовочный ремень. — Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут…

— Известия имеешь?

— Ну, что вы…

— Да… — Федот Евграфыч покосился: прикинул, не обидит ли. — Родители еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно… — Комендант сердито посопел. — Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

— Может, уйти успели…

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать восемь накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоке. Глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать.

— А ну, боец Гурвич, крякни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась — и винтовка в руке:

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уж архангелы на том свете встречали, — выговорил ей комендант. — Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

— Вот и хорошо, — миролюбиво сказал Федот Евграфыч. — Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

— Вроде ничего… — Рита замялась. — Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Ко-

мелькова?

— Ничего не заметила, все в порядочке.

— С кустов роса сбита, — торопливо перебила вдруг Лиза Бричкина. — Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз! — довольно отметил старшина. — Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге несколько следов. От немецких резиновых ботинок, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться.

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Потому Васков и нахмурился.

— Не реготать! И не разбегаться. Все!

Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки поставить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых — со звоном! — слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

— Сейчас внимательнее надо быть, — сказал

комендант. — Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но — след в след. Тут слева-справа трясины — маму позвать не успеете. Каждый слегу возьмет и прежде, чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть попробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок.

— Ну, у кого силы много?

— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.

— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

— Зачем? — пискнула Гурвич с возмущением.

— А затем, что не спрашивают. Комелькова!

— Я.

— Взять мешок у красноармейца Четвертак.

— Давай, Четвертачок, заодно и винтовочку…

— Разговорчики! Делать что велят: личное оружие каждый несет сам…

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки дорваться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щебетать. А щебет военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно…

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь…

— Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут.

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое — слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то.

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я — головной. За мной — Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно: при ее росте и ведро — бочажок.

— Местами будет по… Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колено — только трясина

чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, приноравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стоять! Не стоять, засосет!..

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают слегой в трясину: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашли?

— Нет еще!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он вовремя заметил. Заорал так, что жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!

— Я помочь…

— Стоять! Нет назад пути!

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.

— Спокойно, спокойно только. До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина! И холодно!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоим.

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь? Вперед! Вперед, за мной!.. — Повернулся, пошел не оглядываясь. — След в след! Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется,

это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгву эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но обошлось.

У острова, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали товарищи бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись…

— Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы доберемся — и шабаш.

— Нам бы помыться, — сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечное

дело, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, погрела голый палец ладошками, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А мы тебе чуню сообразим, — улыбнулся Федот Евграфыч. — Только уж там, за болотом, не здесь. Потерпишь?

— Потерплю.

— Растрепа ты, Галка, — сердито сказала Комелькова. — Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.

— Я загибала, а он все равно слез.

— Холодно, девочки.

— Я мокрая до самых-самых… — Женька хитро посмотрела на старшину. — Вам по пояс будет.

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду…

Смеются. Значит, еще ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед…

Федот Евграфыч еще раз затянулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

— А ну, разбирай слеги, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на том бережку.

И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа — что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распихаешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

— Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному, и ей было маленько полегче.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его… — Подумал немного и добавил: — Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело…

Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается. Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нароч-

но хода не убыстрял, и отряд подтянулся, уже прямо-таки в затылок шли. К березе почти разом выбрались; дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что земля все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели все разом, обрадовались и слеги побросали. Однако Федот Евграфыч слеги велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.

— Может, сгодятся кому.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел.

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

— Ура!.. — заорала звонкая Комелькова. — Пляж, девочки!

Девушки закричали, завопили что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая с себя скатки, вещмешки…

— Отставить! — гаркнул комендант. — Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже оби-

женно.

— Песок!.. — Старшина сердито потыкал пальцем. — Песок это, понятно? А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки — все в одно место. На мытье и приборку даю полчаса. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина.

— Ну, все. Через тридцать минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и — чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты рядом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье простирнул, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул, чтоб хоть проветрило. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся «гвардию» свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл

мыло — и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А за кустами гомонили, как на побеседушках: все враз и каждая свое. Только смеялись дружно и много, да Четвертак радостно выкрикивала:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!

— Только вперед!.. — заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула вода.

«Ишь ты, купаются…» — уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего невозможно было разобрать, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег! Сейчас же!

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катюшей» по кремню, прикурил от затлевшего фитиля и начал неспешно, с наслаждением курить, подставив теплому майскому солнцу голую спину.

За полчаса, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затя-

нулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтобы шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!

Это старшему-то по званию «можно» кричат подчиненные! Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим отметил, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, румяном и улыбчивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова. Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому.

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да и двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал сверху два шерстяных носка (хозяйки

его рукоделие и подарок) да из свежей бересты кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом.

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы, нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать…

Гнал он девчат своих ходко: требовалось, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались — раскраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться — и снова:

— За мной! Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Вопь-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.

— Тихо-то как, — шепотом сказала Евгения. — Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряда начинается, — пояснил Федот Евграфыч. — С другой стороны эту гряду другое озеро поджимает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает, — вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позицию выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались…

5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика — по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, потом армия: тоже не детский сад. В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина — старшина и есть: он всегда для бойцов старый. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было — в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был участником Гражданской войны и лично пил чай с Василием Иванови-

чем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысль насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходила. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное. Вроде как смущающее даже.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по каменьям, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него так вот ловко все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и стал ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную позицию он выискал. Глубокую, с укрывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам пришлось бы часа три гряду огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки и примера подчиненным сделал, потому что с двумя-то десантниками наверняка

мог управиться и здесь, на основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, если не больше, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась, он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтобы костер был без дыма.

— Замечу дым, вылью все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно, — упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера он лично наломал сушняку, лично развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма видно не было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, такого глаза быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с

младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрелов, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю, — улыбнулась она.

— Вижу! Худющая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а — в теле. Есть на что поглядеть…

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построиться.

— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что правильно поступает насчет этого приказа. — Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек приказано держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Вопь-озеро, сосед справа — Легонтово озеро… — Старшина помолчал, откашлялся, расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв, — улыбнулась Осянина.

— Вопросов нет, все ясненько, — бодро сказала Комелькова.

— А ясненько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры и углы обзора и еще раз предупредил, чтоб лежали как мыши.

— Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки? — съехидничала Гурвич.

— По-русски! — резко сказал старшина. — А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все промолчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому до крайности: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинеечку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь!» не скомандую.

А то не погляжу, что женский род… — Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой и добавил: — Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил бойцов попарно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался. Биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом маманю попросить. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя его над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да

тут вдруг кто-то за ногу его тронул, и он почему-то решил, что это тятька, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?..

— Где?.. — испуганно дернулась она.

— Фу, леший… Показалось.

Рита посмотрела на него, улыбнулась:

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз: под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — и руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашеные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит она сейчас, и кончится вот это вот: простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся.

Во леший, опять это слово выскочило! Потому ведь, что из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный…

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка-гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети?.. — вздохнул Федот Евграфыч. — Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то и не удержался Васков, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя…

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру.

— Как там у тебя, Осянина?

— Никого, товарищ старшина.

— Продолжать наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы – дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.

Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый отсвет в лицах есть…

— Кому читаешь-то? — спросил он, подойдя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего ж в голос?

— Так ведь стихи.

— А-а… — Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету, — полистал. — Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да и вообще… И вот что: ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай.

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— Вот. А в голос все-таки не читай. Ввечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила им ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крякаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот…

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка-то своя была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож», — с ходу, казенным голосом отбарабанил комендант, кашлянул и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.

— А у нас…

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово? — заулыбалась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул, сам

же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, глядите, товарищ старшина! Обещались!

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запропастилась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на вещмешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно…

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли…

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиноватят. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

— Так примешь или водой разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

— Ой, что вы, что вы…

— Приказываю принять! — Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. — Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы…

— Пей без разговору!

— Ну, что вы в самом деле! У меня мама — медицинский работник…

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давясь, со слезою пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонью размазала, улыбнулась:

— Голова у меня… побежала!..

— Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря, — вздохнул старшина. — Однако не думаю. Ежели ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли вообще какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он

за них определил. Могли уж бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу.

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром, что в одной гимнастерке…

— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, спят они сейчас, Федот Евграфыч?

— Спят?..

— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им…

— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь… А? Так мыслю?

— Так, товарищ старшина.

— А коли так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И

спать будут до солнышка. А с солнышком… А?

Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как бабы на ребятню смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

— Нету мне сна, товарищ Осянина… Маргарита, как по батюшке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они — тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, — улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и — заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул:

— Что?

— Тише! Слышишь?

Рита сбросила шинель, одернула юбку, вско-

чила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат…

— Сороки! — Федот Евграфыч тихо засмеялся. — Сороки-белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал патрон в винтовку. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами. Громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему подобралась.

— Доброе утро, товарищ старшина.

— Здорово. Как там Четвертак этот?

— Спит. Будить не стали.

— Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.

— Не высунусь, — пообещала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту

Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряду, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования — уцелеть, — минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите… — беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким кошачьим шагом они двинулись к озеру…

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку.

— Три… пять… восемь… десять… — шепотом считала Гурвич. — Двенадцать… четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать… Шестнадцать, товарищ старшина. Шестнадцать…

Замерли кусты. С далеким криком отлетали сороки.

Шестнадцать диверсантов, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде…

6

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел смысл собственного существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вопь-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина, — почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Те-

перь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно, годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию же секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не «дегтярь» — автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей… Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался пóтом старшина Васков в то росистое июньское утро…

— Товарищ старшина… Товарищ старшина…

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, донельзя растопыренные глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их, поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ…

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир — береза. От березы — прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка цельсь на обгорелый пень, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

— Ага.

— Винтовку, вещмешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не забудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидаючи поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко — можно разглядеть лица, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно поступил, послав именно Лизу Бричкину.

Удостоверившись, что диверсанты не заметили связного, старшина поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он

подхватил оставленное Лизой оружие и прямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не слышно было топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились, как воробьи на коноплю, даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски сдвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, будто в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядком перед ним устроились, молча следили, как он цигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак.

— Ну, как ты?

— Ничего. — Улыбка у нее не получилась: губы не слушались. — Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их. — Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал. — Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа

через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись. Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал, — сказал он погодя. — На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через гряду, — сказал Федот Евграфыч, — надо с пути сбить. Закружить надо, вокруг Легонтова озера направить, в обход. А как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют и — все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел.

А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало — сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натощак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка, — мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах он порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из вещмешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались — это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего?

А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил? Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы…

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне данном — ровно пятеро. А потом?.. А потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться.

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич. Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

— Ежели через час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь… А что — готовьтесь-то? На тот свет

разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше…

Ну, он, однако, готовился. Достал из сидора гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли.

— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять взялись, и — сообразил комендант. Сообразил: часть — какая б ни была — границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, навряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь — и все: засекут, сообщат куда требуется. Потому никогда ведь неизвестно, сколько душ лес валят, где они, какая у них связь…

— Ну, девчата, орлы вы у меня!

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь

человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. Но из-за кустов все же не слишком высовываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что армейскую форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку смотрелись, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костры палить. А вот левый фланг на себя и Комелькову взял: тут другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если б фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить бы успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив

караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!), топором деревья подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, подрубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

— Идут, товарищ старшина!..

— По местам, — приказал Федот Евграфыч. — По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите, позвончее да почаще орите.

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак (подтянулась к тому времени) все еще на том берегу копошились. Гурвич голой ногой воду щупала, а Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел поспешно:

— Погоди, перенесу.

— Ну, что вы, товарищ…

— Погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку

(пустяк: пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи.

— Как с маленькой вы…

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбак нес все-таки, — а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала — холодная, до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрав. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась.

— Ну и водичка — бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч…

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издалека Осянина тотчас же отозвалась:

— Э-ге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда

покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить невозможно было. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой повалить успели, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты с той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли? — шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя…

Это он подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью и — вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу…

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу: без ранцев, налегке. Выставив автоматы, обшаривали глазами голосистый берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры, на шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и… и поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут тогда по нему из всех автоматов, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать…

Он оглянулся: стоя сзади него на коленях, Евгения зло стягивала гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

— Стой… — зашипел старшина. — Приказываю…

— Рая, Вера, идите купаться!.. — звонко выкрикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла

к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А гибкая Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой…

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплому телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснет руками и…

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться!.. — звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. — Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, су-

нул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

— Э-ге-гей, иду!.. — заорал он и снова ударил по стволу. — Идем сейчас, погоди!.. О-го-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не валивал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал. Выглянул осторожно.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-под леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставив солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой.

— Из района звонили: сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему — шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он сел рядом и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами, и ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова, — изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего уже не мог слышать. Увести ее, увести за кусты надо было немедля, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. — А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился достаточно.

— Одевайся. И хватит с огнем играться. Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки…

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяни-

ной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

— Ну, все теперь, — говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельем. — Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит, — сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. — Она быстрая.

— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, — сказал комендант и достал заветную фляжку. — Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное — позади…

7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то, — строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибиралась в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что пред-

ставлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дождаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом…

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет, — сказал он дочери. — А только где же у нас? У нас мать помирает.

— Сеновал найдется, наверно?

— Холодно еще, — несмело сказала Лиза.

— Тулуп дадите?

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал ее в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил.

— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо, — подтвердил гость. — Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

— Так, — сказал отец. — Так, понимаем. Ежели

лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегает да пишшит?

— Волк, например…

— Волк?.. — взъерошился отец. — Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

— А потому, что у него зубы, — улыбнулся охотник.

— А он что, виноват, что волком уродился? Виноват? Не-ет, мил человек, это мы его обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые? Ну, а волк и заяц — совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России! Всех! Что будет?

— Как что будет? — улыбался охотник. — Дичи много будет.

— Мало!.. — рявкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. — Мало, понятно тебе?! Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек,

понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Это можно, только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или из-за границы покупать для страху?

— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? — вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить? — вздохнул хозяин. — Прибытку у меня — два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

— Им?

— Ну, нам!.. — Отец плеснул в стаканы, чокнулся. — Я не волк, мил человек, я — заяц. — Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.

— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боясь, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан, — торопливо сказала она.

— Это мы знаем, — улыбнулся гость и встал. — Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

— Постойте здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему сену, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилось сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы и — исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала,

чтобы он не вздумал курить на сеновале.

— Я знаю, — сказал он и затоптал окурок. — Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза кормила его; он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы ничего с охоты не приносите? — сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет, — улыбнулся он.

— Исхудали только, — не глядя, продолжала она. — Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза, — вздохнул гость. — К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

— Завтра?.. — упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

— Смешно, — печально согласилась она.

Больше они не говорили, но, как только он ушел, Лиза кое-как убралась на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы. А потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто? — тихо спросил он.

— Я, — прошептала Лиза. — Может, постель поправить…

— Не надо, — сухо перебил он. — Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно, — еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове,

утешали и — в этом она себе не признавалась, — может быть, даже поцеловали. Но не могла же она признаться, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать, — сказал он. — Я устал, мне рано ехать.

И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой о лестницу и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал смятый клочок бумаги.

— Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай, устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего — даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый, отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирала на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд…

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногосло-

вие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это! Неправда!..

— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

— Ну, чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ — и

споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Все кругом было в буреломе, сухостоях и валежнике, и Лиза быстро подобрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине жерди, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепенея от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было полное одиночество, мертвая загробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не

исчезал, а с каждым шагом все больше и больше накапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всхлипывала, размазывая слезы по толстым щекам, дрожа от холода, одиночества и омерзительного липучего страха.

Вскочила вдруг — и слезы уже не текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как двигаться дальше, и, не отдохнув, не успокоившись, не собравшись с духом и силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела отдышаться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки по дороге и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж дотерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми ее поворотами и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась,

но теперь с каждым рывком приближался берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять начала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там… Там поглядим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной…

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед нею. Это было так неожиданно, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно шарахнулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повиснув где-то в холодной зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь,

и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага до нее, но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее…

8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился и — как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий и отлично понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумал, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой облоге, когда не поймешь, кто за кем охотится: ты за медведем или медведь за тобой. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в ухи вся влезь. В ухи да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли в заросли всматривался, ухом к земле приникал, воздух нюхал — весь взведенный был, как граната. Высмотрев все и

до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом — в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно и не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать так ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался, отступя от него, на взгорке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшарил, послушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся будто про себя. — Подвела немца культура: кофею

захотел.

— Почему так думаете?

— Дымком тянет, значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень — туже некуда, присел.

— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбился ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется — немедля, в ту же секунду, уходи. Забирай девчат и уходи, и топайте прямиком на восток аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

— Нет, — сказала Рита. — А вы?

— Ты это, Осянина, брось, — строго заметил старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж если обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита нахмуренно молчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— Ясен — должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда же он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она полежала еще немного, а потом отползла назад и села на камень, настороженно вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

— Почему же?

— Растопырилась на пеньке, что семейная те-

терка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро… — недовольно повторил старшина. — Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали вы?

— Я не ворожея, Осянина. Десяток человек пищу принимают — видал их. Двое в секрете справа: остальные, надо полагать, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно — сюда. И чтоб смеху — ни-ни!

— Я понимаю.

— Да, я там махорку сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все близкие и дальние каменья на животе излазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К

вечеру — ну, самое позднее, к рассвету! — подойдет подмога, он поставит ее на след и… и отведет девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слыхали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издали определил. Вроде и не шумели, не брякали ничем, не шептались, а — поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед них несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да рощицам, от соблазна кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула.

— Забыла, Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской — чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать.

— Ну, ничего, ладно уж. Махорка имеется. Си-

дор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем было вышито: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» И не успел он расстройства своего скрыть, как Гурвич назад бросилась.

— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

— Куда, боец Гурвич? Товарищ переводчик!..

Какое там: только сапоги затопали…

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сонина семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и

ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги…

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги на два номера больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И, наверно, поэтому ее голос услыхал один старшина.

— Вроде Гурвич крикнула?

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

— Нет, — сказала Рита. — Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька,

задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она — с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу оказывается всегда у́же, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего не оставалось.

А старшина весь заостренный был, на тот крик заостренный. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слыхал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уже никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был. С рубчиками.

— Немцы?.. — жарко и беззвучно дохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи тем-

нели брызги. Васков осторожно поднял камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.

— Неаккуратно, — тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно…

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул за ремень, приподнял чуть, чтобы под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже — в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до

сердца с первого раза, грудь помешала…

Запахнул ворот, пуговки застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся:

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

— Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток…

9

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце… Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все выходило? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уже высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал: догнать. Догнать, а там разберемся…

— Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь…

Слабый след кое-где еще печатался на валунах,

и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнился и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог: погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они спешат. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело пока и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад…

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись, — еле слышно сказал Федот Евграфыч. — Тут они где-то. Близко где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, а сердце от этого никак не желало успокаиваться.

— Вот они, — шепнул старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

— Мимо пройдут, — не оглядываясь, продолжал Васков. — Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтобы на тебя они оглянулись. И обратно замри. Поняла ли?

— Поняла, — сказала Женька.

— Значит, как крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк: наперерез.

Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб — как в воду…

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в

ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березняке, в весенних, кружевных еще листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов опасался, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади их прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть ни охнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая

голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще только поворачиваться начал. Но то ли у Васкова сил на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он все же, а только не достал этого фрица ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней да березок, но немец покуда помалкивал: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов

оседлал его, сдавил ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу острым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова… — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе… объявляю…

Хотел встать и не смог. Только на того, первого, оглянулся: здоров был фриц, как бык здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже и не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя, — тихо сказал Васков. — На двоих, значит, меньше их стало.

Женька вдруг отбросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала. Маму, что ли…

Старшина поднялся. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, переступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой очерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжко и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал.

И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть

перестав, — кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «ДОРОГОМУ ЗАЩИТНИКУ РОДИНЫ!» Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня… Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь ее перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

— Уйдите…

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось, — сказал он. — Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, рожки запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними: прибыток невелик, а ей все легче. Меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла

не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их — что конопушек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой; нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь… Вздохнул старшина:

— Наших сама найдешь или проводить?

— Найду.

— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит… Может, боишься одна-то?

— Нет.

— С опаской все же иди. Понимать должна.

— Понимаю.

— Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки…

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми

глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккурат нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платьишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о геройской смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мокрых век кровь и накрыл тем же платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла: только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах

доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось держаться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они противника с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера — сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло — в разные, правда, концы, — а барахлишко их осталось, и отряд уже обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте, — сказал старшина.

Взял топор (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался — скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Нарубил веток, устелил дно, вернулся.

— Отличница была, — сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе и в университете.

— Да, — покивал старшина. — Стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла Соня детишек нарожать, а те бы — внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом…

— Берите, — сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную им чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте, — сказал он у ямы. — Кладите тут покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее подержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь — за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?.. — крикнула Осянина. — Не смейте!..

— А затем, что боец босой, вот зачем.

— Нет, нет, нет!.. — затряслась Четвертак.

— Не в цацки же играем, девоньки, — вздохнул старшина. — О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.

— Обувайся. И без переживаний давай, немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавив, а Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим, — сказал. — После войны — памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет!.. Нет, нет, нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник…

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина. — Хватит! Нет у тебя мамы! И не было. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно

игрушку у ребенка сломали…

10

— Ну, зачем же так, зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. — Нам без злобы надо, а то остервенеем. Как немцы остервенеем.

Смолчала Осянина.

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, на четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре: с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении…», осложненное

тем, что в округе не имелось ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные шерлоки холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на Мальчика с пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими последствиями. Дело приняло размеры бедствия,

и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя притихла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкомат и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена ро-

мантики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама…

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть себе находят убитых дозорных. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и… ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал,

патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. — Показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй, вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе… Он впереди шел, Четвертак с Комельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не нарвались. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом — остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.

Но семь шагов этих были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А

характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — ему это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались?

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной посекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды требовались, но сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, и — все тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат: Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за

которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала — это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Все, — вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер — ладони в крови стали: посекло, видно, осколками.

— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.

— Нет, — сказал старшина. — Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке стиснув. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было. Унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков…

— Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков.

— Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова — в копоти пороховой, что цыган — глазищами сверкает.

— Трусость!

Вон оно что…

— Собрание — это хорошо, — свирепея, начал Федот Евграфыч. — Это замечательно: собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. На месте взрыва гранаты крови много: значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видна.

А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно…

— Тогда и слезы и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполняйте.

Молча поели. Федор Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидел ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уже вниз осело, край леса темнеть начал, и старшина забеспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла…

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже,

сказал хмуро:

— В поиск со мной пойдет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем — отходить. Скрытно отходить через наши прежние позиции на восток. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак этой в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир — он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал до тонкостей, назубок знал и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что бы ни случилось, молчать. Молчать, товарищ боец, и про слезы забыть.

Слушая его, боец Четвертак кивала поспешно и испуганно…

11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков над ними голову ломал. Врага понимать надо. Всякое его действие, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из этого всего извлечь мог, пока было неясно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал данные, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что

ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И — две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть все, вычеркнуть из памяти, хотела — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, не догадывался, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни

разу по врагу не выстрелив…

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть приметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть волоча, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди, — шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты: в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие, волосы стриженого затылка курчавились, подпаленные огнем.

— Пристрелили, — определил старшина. — Свои же, в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон…

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот — самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: по-

нимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего уж по отношению к нему не существует: ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и — вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

«Такой, значит, закон? Учтем».

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-дурному боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул.

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих, — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть — не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта как на помешанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

— Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает, — простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится…

— Ну, зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя. — Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он вовсе, а Островский. И не видит ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин?..

Совестно стало Васкову, даже в пот кинуло. А тут еще комар наседает. Вечерний комар, осо-

бенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что…

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он обрадовался. Сроду Васков по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

— В куст! — шепнул. — И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился и — вовремя. Глянул: опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь было нельзя, никак невозможно, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного

лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставляют, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза.

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не забывал. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь ничего не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться следовало, дышать перестав, раствориться во мхах да в кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шарахнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, немцы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали, что

к чему, и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты напрямую шли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же тихо снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их были бы подставлены охотничьему прищуру старшины.

С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

— Ма-а-а!..

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв

с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули и что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, а только за спиной его раздался треск и топот, и он сообразил, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, и бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только успел главное решить: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться требовалось, себя в целости до леса донести и девчат уберечь.

Уж этих-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, от пуль уходя, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для такого маневра осталось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бегали. Поэтому он и злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились, не поняли, что один он здесь, если строго судить. Совсем один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Вас-

ков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки туманов к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем невмоготу становилось. А потом опять выныривал: здрасьте, фрицы, я живой…

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали. А тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и смолк. Патроны кончились, перезаряжать нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепа летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало. Но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть

пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде бы не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться необходимо, рану перевязать, передохнуть; тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить, ног не жалея.

Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уже в глотке где-то булькало, когда он к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что шесть их оставалось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими сапогами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли…

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило вроде бы немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы

отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ту грязь не стал. Замотал поверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было: прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика: по их понятиям, болото непроходимым считалось, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не таилось, в той стороне, наоборот,

жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то все не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался полностью, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны остались все шесть вырубленных им слег. Шесть — значит, боец Бричкина полезла в топь эту трижды клятую без опоры…

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось. Даже надежд, что помощь придет…

12

И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

— Не дошла, значит, Бричкина.

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеясь, что живы они. И еще думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гнили, покуда не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что пер он грудью на берег, и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха цигарку, раздул

«катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать ему теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали…

Конечно, до своих надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен он был, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему,

и считал. И по счету этому выходило, что фрицев бегало за ним никак не более десятка: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало не на догадки, а на полную дюжину, потому что накануне в беготне да суете целиться старшине было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулось и Вопь-озеро, и Синюхина гряда. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в каменьях этих отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя ему было собой рисковать, никак нельзя, потому что, при всей горечи и отчаянии, побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла. И, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет был прост, как задачка на вычита-

ние. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи уж белыми были, а соваться в неясность фрицам совсем даже не следовало. Следовало ждать до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых каменьев в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Васков понимал, что людей поблизости быть не должно, но рисковать сейчас было ему никак невозможно.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье своем собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и вспуганный людьми, которых встречал редко и потому любопытничал. И старшина,

совсем как заяц уши навострив, стал туда же смотреть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, откуда этот заяц выскочил.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где обросшее. Васков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит…» — сообразил старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую кустами дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынул наган и, до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву у крыльца, высохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же диверсанты дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так им было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись,

может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то негромко звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тискал, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то он знал восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому остальные в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в

него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы ведь не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемычку меж озерами. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас находилось, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерком тянет, просто ждал, когда здоровый немец вылезет из избы.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою погибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса.

Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от двери и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый, — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь? Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, — и все. Вмиг притопают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь…

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно, но не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Почему? Чего ждал?

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтобы внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника

до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, взял автомат, сорвал с пояса сумку с запасными обоймами и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал, и — пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если, конечно, не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае собственного невозвращения, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что исполнили они тот приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Он передохнул, послушал, не слышно ли где

чего тревожного, и с осторожностью двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда еще все живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной…

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже как бы и не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться, как шепот услышал:

— Федот Евграфыч…

И крик следом:

— Федот Евграфыч! Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся навстречу: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязного, потного, небритого…

— Ну что вы, девчата, что вы…

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону.

А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

— Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина.

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала.

В кустах у них мешки припрятаны были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать начал, Женька спросила:

— А Галка?

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил, так и рассудив. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Ну, и табак, само собой. Но махорку он только на руке взвесил и отложил. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял свою кружку:

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!..

И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших, а там и бой пора принимать. Последний, по всей видимости…

13

Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света невзвидишь. А отвалит — и ничего вроде, и дышать можно, жить, действовать. Как и не было ничего.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться начали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза каждую вещь перещупал — нету, пропали. Как не было.

Запал для второй гранаты да патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала — просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивать. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова брякнула, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два автомата да

наган. Не очень-то разгуляешься, когда с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издали не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат прибереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

— Поняла, Федот…

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей звать, наверно, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно, да уж какое есть…

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали да проверили и поэтому появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты угрозу эту почувствовали, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав каждой позицию и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев

остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому как Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду. А до этого и дышать через раз, чтобы птицы не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в канал стволов досланы и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать тот момент, когда фрицам надоест в прятки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков выглянул из укрытия: на плесе немец из воды к берегу на карачках спешил, к своим

спешил, назад, и пули вокруг него щелкали, но не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу (подвернул он ее, что ли?..) по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая его, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к девчатам кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал на спуск — напротив, в кустах, два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим

ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для острастки, и снова замерло все, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз фрицы в этом месте так просто не полезут. Они где-то еще попытаются щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат…

Не успел Васков всей диспозиции продумать:

шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова прямиком сквозь кусты ломит.

— Пригнись!

— Скорее! Рита!..

Что с Ритой, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался.

Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем? — только и спросил Васков.

— Граната…

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать их, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все… Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень…

— Тряпок! — крикнул. — Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое…

— Да не шелк! Льняное давай!..

— Нету…

— А, леший! — метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех…

— Немцы, — одними губами сказала Рита. — Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать, губами шевелила — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшее, — зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложив сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего. Он поверху прошел, кишки целые. Заживет.

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди. Туда иди… — с трудом сказала Рита. — Женька там…

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку…

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков

понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить отсюда, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог, и побежал в кусты, чувствуя, как с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое…

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это уж чересчур. Куда готовишься?

— На вечер! — гордо объявила Женька, хотя и знала, что отец имел в виду совершенно иное.

Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной, дочка?

— Не пущу! — пугалась мать. — С ума сошел: девочку на охоту таскать.

— Пусть привыкает! — смеялся отец. — Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюбляясь.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ евгенерал…»

— Врешь ты все, папка!

Счастливое было время, веселое, беззаботное, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя… Непонятно ведет: то тир да стрельбища, лошади да мотоцикл, а то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно так?

— Нужен мне Лужин! — Женька презрительно передергивала плечами и убегала.

А Лужин был интересен, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Боевого Красного Знамени, за финскую — «Звездочку». И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась…

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо, — Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она

просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет…

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добили ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо…

14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет…

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он

войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женя погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женя сразу… умерла?

— Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. — Они ушли. За взрывчаткой, видно… — Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы. Закачался, баюкая раненую руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит. — Он ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так… Все же понятно, война.

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил,

почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом…

— Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал.

— Да… — Васков тяжело вздохнул, помолчал. — Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам. — Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. — Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— Погоди. — Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. — Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита. Понял я все.

— Спасибо тебе. — Она улыбнулась бесцветными губами. — Просьбу мою последнюю вы-

полнишь?

— Нет, — сказал он.

— Бессмысленно, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня, — вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб.

— Колючий… — еле слышно вздохнула она, закрывая глаза. — Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке. Навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие…

Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймляли пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго

всматривался в них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами:

— Прости, Женечка. Прости…

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и хотел он сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле…

Белые сумерки тихо плыли над нагретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой.

А немцев все не было. Не попадались они ему,

не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале ствола его нагана.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было…

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь ему, вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим срубом колодца и перекосившейся, въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там — враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина

продолжал терпеливо ждать. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не хрустнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, когда успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу.

— Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним

броском к железке. Только один не спал: в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот его скок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, фрица швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли: мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, прыткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал. И заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро! А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, даже если

начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся…

…Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть спуск автомата нажать, прежде чем сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец…

Но лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские…

Эпилог

«…Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан: седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домоткано — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал…

…Вчера не успел дописать, кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не

решился.

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня и разглядел...»

1969

В списках не значился

Часть первая
1

За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние три недели. Приказа о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужникову, воинского звания он ждал давно, но вслед за приказом приятные неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха.

После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий, курсантский, а в тот, заветный, где выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с гладкими лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерка из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный

эмалированный абажур.

Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал «Удостоверение личности командира РККА» и увесистый «ТТ». Безусые лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счеты со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот — самый прекрасный из всех вечеров — начался и закончился торжественно и красиво.

Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит. Хрустит приятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупеи, необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, которого за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли «хрустом».

Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета, вчерашние курсанты явились с девушками. А у Коли девушки не было, и он, запинаясь, пригласил библиотекаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: «Не знаю, не знаю...»

— но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все говорил и говорил, а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зоя сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело накрашенные губы:

— Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант.

На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так это и понял, а придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным образом.

— Я хрущу, — не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке.

Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать.

— Хрусти себе на здоровье, — сказал друг. — Только, знаешь, не перед Зойкой: она — дура, Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания.

Но Коля слушал вполуха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился.

На следующий день ребята стали разъезжаться: каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменивались адресами, обещали писать и один

за другим исчезали за решетчатыми воротами училища.

А Коле проездные документы почему-то не выдавали (правда, езды было всего ничего: до Москвы). Коля подождал два дня и только собрался идти узнавать, как дневальный закричал издали:

— Лейтенанта Плужникова к комиссару!..

Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад, пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы.

— Я не курю, — сказал Коля и начал краснеть: его вообще кидало в жар с легкостью необыкновенной.

— Молодец, — сказал комиссар. — А я, понимаешь, все никак бросить не могу, не хватает у меня силы воли.

И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь:

— Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их два года и соскучились. И отпуск вам положен. — Он помолчал,

вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно глядя под ноги. — Все это мы знаем и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам… Это — не приказ, это — просьба, учтите, Плужников. Приказывать вам мы уже права не имеем…

— Я слушаю, товарищ полковой комиссар. — Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведке, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать: «Да!»

— Наше училище расширяется, — сказал комиссар. — Обстановка сложная, в Европе — война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться. Принять его, оприходовать…

И Коля Плужников остался в училище на странной должности «куда пошлют». Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал всякие докладные.

Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо, от подъема до отбоя и без выходных,

получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнительной от сердитого старшины.

В июне народу в училище осталось мало: почти все уже выехали в лагеря. Обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его… приветствуют. Приветствуют по всем правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия.

Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а уши росли и росли, улавливая осторожный шепот:

— Командир…

И, уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение невероятной озабоченности…

— Здравствуйте, товарищ лейтенант.

Это было на третий вечер: носом к носу — Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было. И этот живой трепет был особенно пугающим.

— Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант. И в библиотеку вы больше не приходите…

— Работа.

— Вы при училище оставлены?

— У меня особое задание, — туманно сказал Коля.

Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону.

Зоя говорила и говорила, беспрерывно смеясь; он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратило ли его обмундирование романтичного похрустывания, повел плечом, и портупея тотчас же ответила тугим благородным скрипом…

— …Жутко смешно! Мы так смеялись, так смеялись. Да вы не слушаете, товарищ лейтенант.

— Нет, я слушаю. Вы смеялись.

Она остановилась: в темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме этой

улыбки.

— Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?..

— Нет, — шепотом ответил он. — Просто… Не знаю. Вы ведь замужем.

— Замужем?.. — Она шумно засмеялась. — Замужем, да? Вам сказали? Ну и что же, что замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка…

Каким-то образом он взял ее за плечи. А может быть, и не брал, а она сама так ловко повела ими, что его руки оказались вдруг на ее плечах.

— Между прочим, он уехал, — деловито сказала она. — Если пройти по этой аллейке до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля, правда?

Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллейного сумрака, наплыло и сказало:

— Извините.

— Товарищ полковой комиссар! — отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшей в сторону фигурой. — Товарищ полковой комиссар, я…

— Товарищ Плужников? Что же это вы девушку оставили? Ай, ай.

— Да, да, конечно. — Коля метнулся назад, ска-

зал торопливо: — Зоя, извините. Дела. Служебные дела.

Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна… Комиссар слушал, слушал, а потом спросил:

— Это что же, подруга ваша была?

— Нет, нет, что вы! — испугался Коля. — Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя, из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и…

И замолчал, чувствуя, что краснеет: он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя.

— Это хорошо, что документацию вы не запускаете: мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной армии, не можем. Не можем, допустим, пройтись с замужней женщиной, потому что мы на виду, мы обязаны всегда, каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень

хорошо, что вы это понимаете… Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать тридцать прошу прибыть ко мне. Поговорим о вашей дальнейшей службе, может быть, пройдем к генералу.

— Есть…

— Ну, значит, до завтра. — Комиссар подал руку, задержал, сказал тихо: — А книжку в библиотеку придется вернуть, Коля. Придется!..

Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка — встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой — Коля чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду, — он ничего не мог есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару.

— А, Плужников, здорово! — Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Го-

робцов — бывший командир Колиного учебного взвода, — тоже начищенный, выутюженный и затянутый. — Как делишки? Закругляешься с портянками?

Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, втайне удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил с намеком:

— Вчера товарищ полковой комиссар меня тоже о делах расспрашивал. И велел…

— Слушай, Плужников, — понизив голос, вдруг перебил Горобцов. — Если тебя к Величко будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались…

Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распахнулась дверь комиссарского кабинета и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко.

— Роту дали, — сказал он Горобцову. — Желаю того же!

Горобцов вскочил, привычно одернул гимна-

стерку, согнав одним движением все складки назад, и вошел в кабинет.

— Привет, Плужников, — сказал Величко и сел рядом. — Ну, как дела, в общем и целом? Все сдал и все принял?

— В общем, да. — Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше:

— Коля, будут предлагать — просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты, в общем и целом, просись.

— Куда проситься?

Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей вскочили. Коля начал было «по вашему приказанию…», но комиссар не дослушал:

— Идем, товарищ Плужников, генерал ждет. Вы свободны, товарищи командиры.

К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озабоченного Колю одного.

До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное

оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл.

Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля — еще гражданский, но уже стриженный под машинку — вместе с другими стрижеными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина (тот самый, которого они порывались отлупить после банкета) приказал всем идти в баню. Все и пошли — еще без строя, гуртом, громко разговаривая и смеясь, — а Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом. Коля вскочил, хотел было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули:

— Куда же вы, молодой человек?

Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел на него.

— Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. Вам приказано охранять имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ.

Приказа Коле никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы существовал сам собой. И поэтому, неумело вытянувшись и

сдавленно крикнув: «Есть, товарищ генерал!» — остался при чемоданах.

А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они получили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно стоял возле никому не нужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых курсантов, получивших внеочередные наряды за вчерашнюю самоволку.

— Не пущу! — закричал Коля. — Не смейте приближаться!..

— Чего? — довольно грубо поинтересовался один из штрафников. — Вот сейчас дам по шее…

— Назад! — воодушевленно заорал Плужников. — Я — часовой! Я приказываю!..

Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему не подчинился и потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали выяснять, кто

назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но, сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал, а когда разобрались, баня уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины…

И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отчаянно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских событиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видевших настоящих фашистов и настоящие бои.

Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар поманил его пальцем. Коля поспешно одернул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры.

Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как надеялся. Генерал выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно выпрямившись.

Генерал внимательно поглядел на него, надел очки (Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки…) и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку: Коля еще не знал, что именно так выглядит его, лейтенанта Плужникова, личное дело.

— Все пятерки — и одна тройка? — удивился генерал. — Отчего же тройка?

— Тройка по матобеспечению, — сказал Коля, густо, как девушка, покраснев. — Я пересдам, товарищ генерал.

— Нет, товарищ лейтенант, поздно уже, — усмехнулся генерал.

— Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей, — негромко сказал комиссар.

— Угу, — подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение.

Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому. Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую переносицу.

— А вы, оказывается, отлично стреляете? — спросил генерал. — Призовой, можно сказать, стрелок.

— Честь училища защищал, — подтвердил

комиссар.

— Прекрасно! — Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. — У нас есть к вам предложение, товарищ лейтенант.

Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку.

— Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода, — сказал генерал. — Должность ответственная. Вы какого года?

— Я родился двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать второго года! — отбарабанил Коля.

Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля не мог вот так, вдруг, вскочить и заорать: «С удовольствием, товарищ генерал!» Не мог потому, что командир — он был твердо убежден в этом — становится настоящим командиром, только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими. А он хотел стать таким командиром и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все бредили

авиацией или на крайний случай танками.

— Через три года вы будете иметь право поступать в академию, — продолжал генерал. — А судя по всему, вам следует учиться дальше.

— Мы даже предоставим вам право выбора, — улыбнулся комиссар. — Ну, в чью роту хочешь: к Горобцову или к Величко?

— Горобцов ему, наверно, надоел, — усмехнулся генерал.

Коля хотел сказать, что Горобцов совсем ему не надоел, что он отличный командир, но все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. Ему нужна часть, бойцы, потная лямка взводного — все то, что называется коротким словом «служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал краснеть.

— Можете закурить, товарищ лейтенант, — сказал генерал, пряча улыбку. — Покурите, обдумайте предложение…

— Не выйдет, — вздохнул полковой комиссар. — Не курит он, вот незадача.

— Не курю, — подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. — Товарищ генерал, разрешите?

— Слушаю, слушаю.

— Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно,

и большое спасибо за доверие. Я понимаю, что это — большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал.

— Почему? — Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. — Что за новости, Плужников?

Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом, и Коля приободрился:

— Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал. Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере тоже говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром.

Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на Колю.

— И поэтому большое вам, конечно, спасибо, товарищ генерал, — поэтому я очень вас прошу: пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность.

Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не замечали ее, но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался.

— Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что…

— А ведь он молодчага, комиссар, — вдруг

весело сказал начальник. — Молодчага ты, лейтенант, ей-богу, молодчага!

А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу:

— Спасибо за память, Плужников!

И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения.

— Значит, в часть?

— В часть, товарищ генерал.

— Не передумаешь? — Начальник вдруг перешел на «ты» и обращения этого уже не менял.

— Нет.

— И все равно, куда пошлют? — спросил комиссар. — А как же мать, сестренка?.. Отца у него нет, товарищ генерал.

— Знаю. — Генерал спрятал улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной папке. — Особый Западный устроит, лейтенант?

Коля зарозовел: о службе в Особых округах мечтали как о немыслимой удаче.

— Командиром взвода согласен?

— Товарищ генерал!.. — Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине. — Большое, большое спасибо, товарищ генерал!..

— Но с одним условием, — очень серьезно сказал генерал. — Даю тебе, лейтенант, год вой-

сковой практики. А ровно через год я тебя назад затребую, в училище, на должность командира учебного взвода. Согласен?

— Согласен, товарищ генерал. Если прикажете…

— Прикажем, прикажем! — засмеялся комиссар. — Нам такие некурящие страсть как нужны.

— Только есть тут одна неприятность, лейтенант: отпуска у тебя не получается. Максимум в воскресенье ты должен быть в части.

— Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить, — улыбнулся комиссар. — Она где там живет?

— На Остоженке… То есть теперь это называется Метростроевская.

— На Остоженке… — вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку: — Ну, счастливо служить, лейтенант. Через год жду, запомни!

— Спасибо, товарищ генерал. До свидания! — прокричал Коля и строевым шагом вышел из кабинета.

В те времена с билетами на поезда было сложно, но комиссар, провожая Колю через таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с обходным листком, получал в строевом отделении документы. Там

его ждала еще одна приятная неожиданность: начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня: до воскресенья…

2

В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро — самом красивом метро в мире; он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости, спускаясь под землю. На станции «Дворец Советов» он вышел; напротив поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого высокого здания в мире: Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху.

Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот — самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим двором и множеством кошек, — дом этот был совсем

по-особому дорог ему. Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если понятие «Родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на всей земле.

Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе, на солнечной стороне, наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со всеми, кто проходит мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался.

И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть повыше, платье было с короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась: они носили одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась.

— Вера? — шепотом спросил Коля. — Верка, чертенок, это ты?..

Визг был слышен у Манежа. Сестра с разбегу бросилась на шею, как в детстве, подогнув ко-

лени, и он едва устоял: она стала довольно-таки тяжеленькой, эта его сестренка…

— Коля! Колечка! Колька!..

— Какая же ты большая стала, Вера.

— Шестнадцать лет! — с гордостью сказала она. — А ты думал, ты один растешь, да? Ой, да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта.

Высокая, улыбаясь, шагнула навстречу:

— Здравствуй, Коля.

Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худющих девчонок, голенастых, как кузнечики. И поспешно отвел глаза:

— Ну, девочки, вас не узнать…

— Ой, нам в школу! — вздохнула Вера. — Сегодня последнее комсомольское, и не пойти просто невозможно.

— Вечером встретимся, — сказала Валя.

Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старше и по всем законам смущаться должны были девчонки.

— Вечером я уезжаю.

— Куда? — удивилась Вера.

— К новому месту службы, — не без важности сказал он. — Я тут проездом.

— Значит, в обед. — Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. — Я патефон принесу.

— Знаешь, какие у Валюшки пластиночки? Польские, закачаешься!.. Вшистко мни едно, вшистко мни едно… — пропела Вера. — Ну, мы побежали.

— Мама дома?

— Дома!

Они действительно побежали — налево, к школе: он сам бегал этим путем десять лет. Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья и загорелые икры, и хотел, чтобы девочки оглянулись. И подумал: «Если оглянутся, то…» Он не успел загадать, что тогда будет: высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть.

«Вот ужас-то, — подумал он с удовольствием. — Ну, чего, спрашивается, мне краснеть?..»

Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж.

Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, она вдруг заплакала:

— Боже, как ты похож на отца!..

Отца Коля помнил смутно: в двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и — не вернулся. Маму вызывали в Главное политуправление и там рассказали, что комиссар Плужников был убит в схватке с басмачами у кишлака Коз-Кудук.

Мама кормила его завтраком и беспрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал рассеянно: он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из сорок девятой квартиры и очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы:

— …А я им говорю: «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это непедагогично». Мне, конечно, отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в райком и все объяснила…

Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове все время

вертелась эта Валя-Валентина…

— Да, мама, я Верочку у ворот встретил, — невпопад сказал он, прерывая мать на самом волнующем месте. — Она с этой была… Ну, как ее?.. С Валей…

— Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе?

— Нет, мам, спасибо. — Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие…

Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил:

— А что, Валя эта все еще учится, да?

— Да ты что, Колюша, Вали не помнишь? Она же не вылезала от нас. — Мама вдруг рассмеялась. — Верочка говорила, что Валюша была в тебя влюблена.

— Глупости это! — сердито закричал Коля. — Глупости!..

— Конечно, глупости, — неожиданно легко согласилась мама. — Тогда она еще девчонкой была, а теперь — настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя — просто красавица.

— Ну уж и красавица, — ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его радость. — Обыкновенная девчонка, каких тысячи в нашей стране… Лучше скажи, как Матвеевна себя чувствует? Я вхожу во двор…

— Умерла наша Матвеевна, — вздохнула мама.

— Как так умерла? — не понял он.

— Люди умирают, Коля, — опять вздохнула мама. — Ты счастливый, ты можешь еще не думать об этом.

И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз встретил возле ворот такую удивительную девушку, а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена…

После завтрака Коля отправился на Белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в семь вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта.

— Попозже? — Дежурный помощник тоже был молод и несолидно подмигивал: — Что, лейтенант, сердечные дела?

— Нет, — опустив голову, сказал Коля. — Мама у меня больна, оказывается. Очень… — Тут он испугался, что может накликать действительно болезнь, и поспешно поправился: — Нет, не очень, не очень…

— Понятно, — опять подмигнул дежурный. — Сейчас поглядим насчет мамы.

Он полистал книгу, потом стал звонить по

телефонам, разговаривая вроде бы по другим поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный положил последнюю трубку:

— С пересадкой согласен? Отправление в три минуты первого, поезд Москва — Минск. В Минске — пересадка.

— Согласен, — сказал Коля. — Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант.

Получив билет, он тут же на улице Горького зашел в гастроном и, хмурясь, долго разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, вишневой наливки, потому что такую наливку делала мама, и мадеру, потому что читал о ней в романе про аристократов.

— Ты сошел с ума! — сердито сказала мама. — Это что же: на каждого по бутылке?

— А!.. — Коля беспечно махнул рукой. — Гулять так гулять!

Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одолжила у соседей еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным вопросом:

— А из пулемета ты стрелял?

— Стрелял.

— Из «максима»?

— Из «максима». И из других систем тоже.

— Вот здорово!.. — восхищенно ахала Вера.

Коля озабоченно ходил по комнате. Он подшил свежий подворотничок, надраил сапоги и теперь хрустел всеми ремнями. От волнения он совсем не хотел есть, а Валя все не шла и не шла.

— А комнату тебе дадут?

— Дадут, дадут.

— Отдельную?

— Конечно. — Он смотрел на Верочку снисходительно. — Я ведь строевой командир.

— Мы к тебе приедем, — таинственно зашептала она. — Маму отправим с детским садом на дачу и приедем к тебе…

— Кто это «мы»?

Он все понял, и сердце словно колыхнулось.

— Так кто же такие — «мы»?

— Неужели не понимаешь? Ну «мы» — это мы: я и Валюшка.

Коля покашлял, чтобы спрятать некстати выползшую улыбку, и солидно сказал:

— Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием договориться…

— Ой, у меня картошка переварилась!..

Крутнулась на каблуке, раздула куполом платье, хлопнула дверью. Коля только покровительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый прыжок и в полном восторге захрустел ремнями: значит, они сегодня говорили о поездке, значит, уже планировали ее, значит, хотели встретиться с ним, значит… Но что должно было следовать за этим последним «значит», Коля не произносил даже про себя.

А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, разговор начать было некому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно отказаться от летней поездки.

— Ты никак не можешь задержаться в Москве?

Коля отрицательно покачал головой.

— Неужели так срочно?

Коля пожал плечами.

— На границе неспокойно, да? — понизив голос, спросила она.

Коля осторожно кивнул, сначала, правда, подумав насчет секретности.

— Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо.

— У нас с Германией договор о ненападении, —

хрипло сказал Коля, потому что кивать головой или пожимать плечами было уже невозможно. — Слухи о концентрации немецких войск у наших границ ни на чем не основаны и являются результатом происков англо-французских империалистов.

— Я читала газеты, — с легким неудовольствием сказала Валя. — А папа говорит, что положение очень серьезное.

Валин папа был ответработником, но Коля подозревал, что в душе он немножко паникер. И сказал:

— Надо опасаться провокаций.

— Но ведь фашизм — это же ужасно! Ты видел фильм «Профессор Мамлок»?

— Видел, там Олег Жаков играет. Фашизм — это, конечно, ужасно, а империализм, по-твоему, лучше?

— Как ты думаешь, будет война?

— Конечно, — уверенно сказал он. — Зря, что ли, открыли столько училищ с ускоренной программой? Но это будет быстрая война.

— Ты в этом уверен?

— Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат порабощенных фашизмом и империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии,

задавленный Гитлером. В-третьих, международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное — это решающая мощь нашей Красной армии. На вражеской территории мы нанесем врагу сокрушительный удар.

— А Финляндия? — вдруг тихо спросила она.

— А что Финляндия? — Он с трудом скрыл неудовольствие: это все паникер папочка ее настраивает. — В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения.

— Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит, их просто нет, — улыбнулась Валя. — Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока?

Пластинки у Вали были замечательные: польские фокстроты, «Черные глаза» и «Очи черные» и даже танго из «Петера» в исполнении самой Франчески Гааль.

— Говорят, она ослепла! — широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка. — Вышла сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор и сразу ослепла.

Валя скептически улыбнулась. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но в нее

почему-то очень хотелось верить.

К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а мадеру попробовали и забраковали: она оказалась несладкой, и было непонятно, как мог завтракать виконт де Пресси, макая в нее бисквиты.

— Киноартистом быть очень опасно, очень! — продолжала Вера. — Мало того что они скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов, на них очень вредно действует свет. Исключительно вредно!

Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля опять сомневался и опять хотел во все верить. Голова у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и он никак не мог смахнуть с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата.

Валя тоже улыбалась: снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девчонки превращаются в загадочно молчаливых девушек.

— Верочка хочет быть киноактрисой, — сказала мама.

— Ну и что? — с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулачком по столу. — Это запрещено, да? Наоборот, это пре-

красно, и возле сельскохозяйственной выставки есть такой специальный институт…

— Ну хорошо, хорошо, — миролюбиво соглашалась мама. — Закончишь десятый класс на пятерки — иди куда хочешь. Было бы желание.

— И талант, — сказала Валя. — Знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь поступающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться.

— Ну и пусть! Пусть! — весело кричала красная от вина и споров Верочка. — Пусть заставляют! А я так им сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена. Вот!

— А я бы ни за что не стала целоваться без любви. — Валя всегда говорила негромко, но так, что ее слушали. — По-моему, это унизительно: целоваться без любви.

— У Чернышевского в «Что делать?»… — начал было Коля.

— Надо же различать! — закричала вдруг Верочка. — Надо же различать, где жизнь, а где — искусство.

— Я не про искусство, я про экзамены. Какое же там искусство?

— А смелость? — задиристо наступала Верочка. — Смелость разве не нужна артисту?

— Господи, какая уж тут смелость, — вздохнула мама и начала убирать со стола. — Девочки, помогите мне, а потом будем танцевать.

Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошел к окну и сел на диван: тот самый скрипучий диван, на котором спал всю школьную жизнь. Ему очень хотелось вместе со всеми убирать со стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но он подавил это желание, ибо куда важнее было невозмутимо сидеть на диване. К тому же из угла можно было незаметно наблюдать за Валей, ловить ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро «Дворец Советов».

В девятнадцать лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнения, смотрел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал плохо, танцплощадки не посещал и поэтому за два года учебы так ни с кем и не познакомился. Кроме библиотекарши Зои.

Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не знакомился. То, что было причиной тайных мучений, обернулось вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване, он уже точно знал, что не знакомился только потому, что на свете существовала Валя.

Ради такой девушки стоило страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать ее осторожный взгляд. И Коля был очень доволен собой.

Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы танцевать. И Коля, краснея и сбиваясь, танцевал с Валей, с Верочкой и опять с Валей.

— Вшистко мни едно, вшистко мни едно… — напевала Верочка, покорно танцуя со стулом.

Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти подходящей темы для разговора. А Вале никакой разговор и не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился.

— Вообще-то мне должны дать комнату, — покашляв для уверенности, сказал он. — Но если не дадут, я у кого-нибудь сниму.

Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше, и чувствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которой ослепила его Зоя в полутьме аллеи. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил:

— А пропуск я закажу. Только заранее напишите.

И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит и все

понимает, и был счастлив, что она молчит.

Теперь Коля знал точно, что это — любовь. Та самая, о которой он столько читал и с которой до сих пор так и не встретился. Зоя… Тут он вспомнил о Зое, вспомнил почти с ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про Зою, и тогда Коле осталось бы только застрелиться. И он стал решительно гнать прочь всякие мысли о Зое, а Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал незнакомое доселе чувство бессильного стыда. А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно видела там что-то невидимое для всех. И от восхищения Коля делался еще более неуклюжим.

Потом они долго стояли у окна: и мама, и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-то деле они просто мыли на кухне посуду, но сейчас это было все равно что перебраться на другую планету.

— Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов?

— Нет.

— Там они живут прямо на крышах домов. Как ласточки. И никто их не обижает, потому что они приносят счастье. Белые, белые аисты… Ты обязательно должен их увидеть.

— Я увижу, — пообещал он.

— Напиши, какие они? Хорошо?

— Напишу.

— Белые, белые аисты…

Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить и — не смог. И боялся, что она отдернет ее или что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не отдернула руки:

— Если бы ты ехал на юг, на север или даже на восток…

— Я счастливый. Мне достался Особый округ. Знаешь, какая это удача?

Она ничего не ответила. Только вздохнула.

— Я буду ждать, — тихо сказал он. — Я очень, очень буду ждать.

Он осторожно погладил ее руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь показалась ему прохладной. Очень хотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и не решился. А потом влетела Верочка, затарахтела с порога что-то про Зою Федорову, и Коля незаметно отпустил Валину руку.

В одиннадцать мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то несерьезно простился с нею, потому что девочки уже потащили его чемодан вниз. И мама почему-то вдруг запла-

кала — тихо, улыбаясь, — а он не замечал ее слез и все рвался поскорее уйти.

— Пиши, сынок. Пожалуйста, пиши аккуратно.

— Ладно, мам. Как приеду, сразу же напишу.

— Не забывай…

Коля в последний раз прикоснулся губами к уже поседевшему виску, скользнул за дверь и через три ступеньки понесся вниз.

Поезд отошел только в половине первого. Коля боялся, что девочки опоздают на метро, но еще больше боялся, что они уйдут, и поэтому все время говорил одно и то же:

— Ну, идите же. Опоздаете.

А они ни за что не хотели уходить. А когда засвистел кондуктор и поезд тронулся, Валя вдруг первая шагнула к нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они стукнулись носами и смущенно отпрянули друг от друга. А Верочка кричала: «Колька, опоздаешь!..» — и совала ему сверток с маминими пирожками. Он наскоро чмокнул сестру в щеку, схватил сверток и вскочил на подножку. И все время смотрел, как медленно отплывают назад две девичьи фигурки в легких светлых платьях…

3

Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, где находилось училище, но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно и так важно, что Коля не отходил от окна, а когда уж совсем обессилел и присел на полку, кто-то крикнул:

— Аисты! Смотрите, аисты!..

Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не увидел. Впрочем, он не огорчался, потому что если аисты появились, значит, рано или поздно, а он их обязательно увидит. И напишет в Москву, какие они, эти белые, белые аисты…

Это было уже за Негорелым — за старой границей: теперь они ехали по Западной Белоруссии. Поезд часто останавливался на маленьких станциях, где всегда было много людей. Белые рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли — с касторовыми котелками, темные хустки — с светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона не отрывался, оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского,

русского, польского, литовского, украинского и еще бог весть каких языков и наречий.

— Ну, кагал! — удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке. — Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь — вагон и все дешевые.

Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался: нырял в толпу, что-то выяснял, размахивая руками, и тут же возвращался:

— Тут, брат, такая Европа, что враз ухайдакают.

— Агентура, — соглашался Коля.

— А хрен их знает, — аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова кидался в гущу. — Часы! Тик-так! Мозер!..

Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом; в ответ он до отвала накормил Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что старший лейтенант склонен был обсуждать только одну тему:

— А талия у нее, Коля, ну рюмочка!..

Коля начинал ерзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями. К счастью, в Барановичах он сошел, прокричав на прощание:

— Насчет часов не теряйся, лейтенант! Часы

— это вещь!..

Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамины пирожки уже были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо аистов стал подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжело прогрохотал бесконечный товарный состав.

— В Германию, — сказал пожилой капитан. — Немцам день и ночь хлебушек гоним и гоним. Это как понимать прикажете?

— Не знаю, — растерялся Коля. — У нас ведь договор с Германией.

— Совершенно верно, — тотчас же согласился капитан. — Вы абсолютно правильно размышляете, товарищ лейтенант.

Вслед за товарняком потянулись и они и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну станцию: Жабинка. Следующей был Брест.

Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображений секретности Коля доверял только лицам официальным и поэтому битый час простоял в очереди к дежур-

ному помощнику коменданта.

— В крепость, — сказал помощник, глянув на командировочное предписание. — По Каштановой прямо и упрешься.

Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошел к вокзальному ресторану. И только хотел войти, как дверь распахнулась и вышел коренастый лейтенант.

— Черт жирный, жандармская морда, весь стол один занял. И не попросишь ведь: иностранец!

— Кто?

— Жандарм немецкий, кто же еще! Тут женщины с ребятишками на полу сидят, а он один за столиком пиво жрет. Персона!

— Настоящий жандарм? — поразился Коля. — А можно посмотреть?

Лейтенант неуверенно пожал плечами:

— Попробуй. Стой, куда же ты с чемоданом?

Коля оставил чемодан, одернул гимнастерку, как перед входом в генеральский кабинет, и с замиранием сердца скользнул за тяжелую дверь.

И сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в мундире с бляхой, в непривычно высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, развалясь на

стуле, и самодовольно постукивал ногой. Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из пол-литровой кружки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жесткие усики, смоченные пивной пеной.

Изо всех сил кося глаза, Коля четыре раза продефилировал мимо немца. Это было совершенно необыкновенное, из ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек из того мира, из порабощенной Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он думает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя угнетенного человечества не читалось ничего, кроме тупого самодовольства.

— Насмотрелся? — спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан.

— Ногой постукивает, — почему-то шепотом сказал Коля. — А на груди — бляха.

— Фашист, — сказал лейтенант. — Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребята сказали, тут недалеко ресторан «Беларусь», может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то?

— Коля.

— Тезки, значит. Ну, сдавай чемодан и айда разлагаться. Там, говорят, скрипач мировой:

«Черные глаза» играет как бог…

В камере хранения тоже оказалась очередь, и Коля поволок чемодан с собой, решив прямо оттуда пройти в крепость. Лейтенант Николай о крепости ничего не знал, так как в Бресте у него была пересадка, но утешил:

— В ресторане наверняка кого-нибудь из наших встретим. Сегодня суббота.

По узкому пешеходному мостику они пересекли многочисленные железнодорожные пути, занятые составами, и сразу оказались в городе. Три улицы расходились от ступенек мостика, и лейтенанты неуверенно затоптались.

— Ресторан «Беларусь» не знаю, — с сильным акцентом и весьма раздраженно сказал прохожий.

Коля спрашивать не решался, и переговоры вел лейтенант Николай.

— Должны знать: там какой-то скрипач знаменитый.

— Так то же пан Свицкий! — заулыбался прохожий. — О, Рувим Свицкий — великий скрипач. Вы можете иметь свое мнение, но оно неверное. Это так. А ресторан — прямо. Улица Стыцкевича.

Улица Стыцкевича оказалась Комсомольской. В густой зелени прятались маленькие домишки.

— А я Сумское зенитно-артиллерийское закончил, — сказал Николай, когда Коля поведал ему свою историю. — Вот как смешно получается: оба только что кончили, оба — Николаи…

Он вдруг замолчал: в тишине послышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты остановились.

— Мирово дает! Топаем точно, Коля!

Скрипка слышалась из открытых окон двухэтажного здания с вывеской: «Ресторан «Беларусь». Они поднялись на второй этаж, сдали в крохотной раздевалке головные уборы и чемодан и вошли в небольшой зальчик. Против входа помещалась буфетная стойка, а в левом углу — небольшой оркестр. Скрипач — длиннорукий, странно подмаргивающий — только кончил играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему.

— А наших-то тут маловато, — негромко сказал Николай.

Они задержались в дверях, оглушенные аплодисментами и возгласами. Из глубины зала к ним поспешно пробирался полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке:

— Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда.

Он ловко провел их мимо скученных столов и

разгоряченных посетителей. За кафельной печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая чуждую им обстановку.

— Почему он нас офицерами называет? — с неудовольствием шипел Коля. — Офицер, да еще — пан! Буржуйство какое-то…

— Пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не совал, — усмехнулся лейтенант Николай. — Здесь, Коля, люди еще темные.

Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала, стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной послышался странно звучащий, но несомненно русский разговор:

— Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны ходили по улицам.

— Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это Почетное знамя.

Коля обернулся: за соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них перехватил Колин взгляд и улыбнулся:

— Здравствуйте, товарищ командир. Мы обсуждаем производственный план.

— Здравствуйте, — смутившись, сказал Коля.

— Вы из России? — спросил приветливый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ну, я понимаю: мода. Мода — это бедствие, это — кошмар, это — землетрясение, но это естественно, правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать Почетное знамя — я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир?

— Да, — сказал Коля. — То есть, конечно, только…

— А скажите, пожалуйста, — спросил второй, — что у вас говорят про германцев?

— Про германцев? Ничего. То есть у нас с Германией мир…

— Да, — вздохнули за соседним столом. — То, что германцы придут в Варшаву, было ясно каждому еврею, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву.

— Что вы, что вы!..

За соседним столом все враз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал, ничего не понял и отвернулся.

— По-русски понимают, — шепотом сообщил

он.

— Я тут водочки сообразил, — сказал лейтенант Николай. — Выпьем, Коля, за встречу?

Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то так получилось, что вспомнил он о другой встрече. И рассказал лейтенанту Николаю про Валю и Верочку, но больше, конечно, про Валю.

— А что ты думаешь, может, и приедет, — сказал Николай. — Только сюда пропуск нужен.

— Я попрошу.

— Разрешите присоединиться?

Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился:

— Андрей. В военкомат прибыл за приписниками, да в пути застрял. Придется до понедельника ждать…

Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер.

Коля не знал, что исполнял нескладный, длиннорукий, странно подмаргивающий человек. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где вот-вот должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

— Вам нравится? — тихо спросил пожилой с соседнего столика.

— Очень!

— Это наш Рувимчик. Рувим Свицкий — лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он играет на похоронах…

Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо:

— Пожалуйста, запомните это имя: Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золотыми пальцами, золотыми ушами и золотым сердцем…

Коля долго хлопал. Принесли закуску, лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, понизив голос:

— Музыка — это хорошо. Но ты сюда послушай.

Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста.

— Вчера летчикам отпуска отменили, — тихо сказал Андрей. — А пограничники говорят, что каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки,

тягачи.

— Веселый разговор. — Николай поднял рюмку. — За встречу.

Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом:

— Возможны провокации?

— Месяц назад с той стороны архиепископ перешел, — тихо продолжал Андрей. — Говорит, немцы готовят войну.

— Но ведь ТАСС официально заявил…

— Тихо, Коля, тихо, — улыбнулся Николай. — ТАСС — в Москве. А здесь — Брест.

Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки служителем культа.

Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, неистово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы немецкими летчиками.

— А сбивать нельзя: приказ. Вот и вертимся…

— Как играет!.. — восторгался Коля.

— Да, играет классно. Что-то зреет, ребята? А что? Вопрос.

— Ничего, ответ тоже будет, — улыбнулся Николай и поднял рюмку: — За ответ на любой вопрос, товарищи лейтенанты!..

Стемнело, в зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по стенам метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с гражданином в черном.

— Сегодня, ребята, угощаю я.

— Ты в крепость нацелился? — спросил Андрей. — Не советую, Коля: темно и далеко. Пошли лучше за мной в военкомат: там переночуешь.

— Зачем же в военкомат? — сказал лейтенант Николай. — Топаем на вокзал, Коля.

— Нет, нет. Я сегодняшним числом в часть должен прибыть.

— Зря, лейтенант, — вздохнул Андрей. — С чемоданом, ночью, через весь город…

— У меня — оружие, — сказал Коля.

Вероятно, они уговорили бы его: Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие. Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут пожилой с соседнего столика подошел к ним:

— Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому мо-

лодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой командир…

И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально для него. А лейтенанты ушли, потому что им еще надо было устроиться с ночлегом. Они крепко пожали ему руку, улыбнулись на прощание и шагнули в ночь: Андрей — в военкомат на улицу Дзержинского, а лейтенант Николай — на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую короткую ночь, как в вечность.

Народу в ресторане становилось все меньше, в распахнутые окна вплывал густой, безветренный вечер: одноэтажный Брест отходил ко сну. Обезлюдели под линейку застроенные улицы, гасли огни в затененных сиренью и жасмином окнах, и только редкие дрожкачи погромыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался в тихую ночь — самую тихую и самую короткую ночь в году…

У Коли немного кружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным: и затухающий ресторанный шум, и теплый сумрак, вползавший в окна, и таинственный город за этими окнами, и

ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него, лейтенанта Плужникова. Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее ожидание: Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет играть, но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платят.

— Здравствуйте, товарищ командир.

Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то необязательное.

— Исаак сказал, что вы из России и что вам понравилась моя скрипка.

Длиннорукий держал в руке смычок и скрипку и странно подмаргивал. Вглядевшись, Коля понял причину: левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой.

— Я знаю, что нравится русским командирам. — Скрипач цепко зажал инструмент острым подбородком и поднял смычок.

И скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать, и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появляться

этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

Свицкий сыграл «Черные глаза», и «Очи черные», и еще две мелодии, которые Коля слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной.

— Мендельсон, — сказал Свицкий. — Вы хорошо слушаете. Спасибо.

— У меня нет слов…

— Коли ласка. Вы не в крепость?

— Да, — запнувшись, признался Коля. — Каштановая улица…

— Надо брать дрожкача. — Свицкий улыбнулся: — По-вашему, извозчик. Если хотите, могу проводить: моя племянница тоже едет в крепость.

Свицкий уложил скрипку, а Коля взял чемодан в пустом гардеробе, и они вышли. На улицах никого не было.

— Прошу налево, — сказал Свицкий, когда они дошли до угла. — Миррочка — это моя племянница — уже год работает поваром в столовой для командиров. У нее — талант, настоящий талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Миррочка…

Внезапно погас свет: редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции. Весь

город погрузился во мрак.

— Очень странно, — сказал Свицкий. — Что мы имеем? Кажется, двенадцать?

— Может быть, авария?

— Очень странно, — повторил Свицкий. — Знаете, я вам скажу прямо: как пришли восточники… То есть советские, ваши. Да, с той поры как вы пришли, мы отвыкли от темноты. Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем городе нет больше безработных, а ведь их нет! И люди стали праздновать свадьбы, и всем вдруг понадобился Рувим Свицкий!.. — Он тихо посмеялся. — Это прекрасно, когда у музыкантов много работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь у нас будет достаточно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу, и музыкальное училище. И это очень и очень правильно. Говорят, что мы, евреи, музыкальный народ. Да, мы — такой народ; станешь музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице топают солдатские сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке. Нет, нет, я не хочу гневить бога: кажется, нам повезло. Кажется, дождички действительно пошли по четвергам, и евреи вдруг почувствовали себя людьми. Ах,

как это прекрасно: чувствовать себя людьми! А еврейские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не хотят хохотать — ужасно! Ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. Помните, я играл вам Мендельсона? Он говорит как раз об этом: о детских глазах, в которых всегда печаль. Это нельзя объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой…

Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах.

— Наверно, была авария, — сказал Коля. — А сейчас починили.

— А вот и пан Глузняк. Добрый вечер, пан Глузняк! Как заработок?

— Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое здоровье и ходят только пешком…

Мужчины заговорили на неизвестном языке, а Коля оказался возле извозчичьей пролетки. В пролетке кто-то сидел, но свет далекого фонаря сглаживал очертания, и Коля не мог понять, кто же это сидит.

— Миррочка, деточка, познакомься с товарищем командиром.

Смутная фигура в пролетке неуклюже шевель-

нулась. Коля поспешно закивал, представился:

— Лейтенант Плужников. Николай.

— Товарищ командир впервые в нашем городе. Будь доброй хозяйкой, девочка, и покажи что-нибудь гостю.

— Покажем, — сказал извозчик. — Ночь сегодня добрая, и спешить нам некуда. Счастливых снов, пан Свицкий.

— Веселых поездок, пан Глузняк. — Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку: — До свидания, товарищ командир. Мы обязательно увидимся еще с вами, правда?

— Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам.

— Коли ласка. Миррочка, деточка, загляни завтра к нам.

— Хорошо. — Голос прозвучал робко и растерянно.

Дрожкач поставил чемодан в пролетку, полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому, встал на ступеньку: девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролетка тронулась, покачиваясь на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но сиденье было низким, борта высокими, горизонт перекрыт широкой спиной извозчика.

— Куда же мы? — тихо спросила вдруг девушка из угла.

— Тебя просили что-нибудь показать гостю? — не оборачиваясь, спросил дрожкач. — Ну, а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он в нее едет. Канал? Таки он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске?

— Он, наверно, старинный? — как можно увесистее спросил Коля.

— Ну, если судить по количеству евреев, то он ровесник Иерусалима (в углу робко пискнули от смеха). Вот Миррочке весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то просто перестаю плакать. Так, может быть, люди делятся не на русских, евреев, поляков, германцев, а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете на эту мысль, пан офицер?

Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а командир Красной армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась.

— Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда? — спросил дрожкач, слезая с козел. — Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и пока-

жи столб гостю, Миррочка.

— Ой, — чуть слышно вздохнули в углу. — Я?.. А может быть, вы, дядя Михась?

— У меня другая забота. — Извозчик прошел к лошади. — Ну, старушка, побегаем с тобой эту ночку, а уж завтра отдохнем…

Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке: пролетка заколыхалась, но Коля успел схватить Мирру за руку и поддержать.

— Спасибо. — Мирра еще ниже опустила голову. — Идемте.

Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай погладил кобуру и оглянулся на девушку: заметно прихрамывая, она шла к ограде, что тянулась вдоль тротуара.

— Вот, — сказала она.

Коля подошел: возле ограды стоял приземистый каменный столб.

— Что это?

— Не знаю. — Она говорила с акцентом и стеснялась. — Тут написано про границу крепости. Но сейчас темно.

— Да, сейчас темно.

От смущения они чрезвычайно внимательно осматривали ничем не примечательный камень.

Коля ощупал его, сказал с уважением:

— Старинный.

Они опять замолчали. И дружно с облегчением вздохнули, когда дрожкач окликнул:

— Пан офицер, прошу!

Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки догадался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах.

— Теперь в крепость, пан офицер?

— Никакой я не пан! — сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины. — Я — товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот.

— Не пан? — Дрожкач дернул вожжи, причмокнул, и лошадка неспешно затрусила по брусчатке. — Коли вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то, конечно же, вы — пан. Вот я сижу сзади лошади, и я для нее — тоже пан, потому что я могу стукнуть ее по спине. И так устроен весь мир: пан сидит за паном.

Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами стараясь удержаться в своем углу.

— Каштановая, — сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим. — Уже близко.

За железнодорожным переездом улица расползлась вширь, дома стали редкими, а фонарей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по знакомой дороге.

Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде кремля. Но впереди зачернело что-то бесформенное, и дрожкач остановил лошадь.

— Приехали, пан офицер.

Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку.

— Вы очень богаты, пан офицер? Может быть, у вас имение или вы печатаете деньги на кухне?

— Зачем?

— Днем я беру сорок копеек в этот конец. Но ночью, да еще с вас, я возьму целый рубль. Так дайте его мне и будьте себе здоровы.

Миррочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в карман, долго искал рубль, бормоча:

— Конечно, конечно. Да. Извините, сейчас.

Наконец рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и подошел к девушке:

— Куда тут?

— Здесь КПП. — Она указала на будку у дороги. — Надо показать документы.

— А разве это уже крепость?

— Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут Северные ворота.

— Крепость! — Коля тихо рассмеялся. — Я ведь думал — стены да башни. А она, оказывается, вон какая, эта самая Брестская крепость…

4

На контрольно-пропускном пункте Колю задержали: постовой не хотел пропускать по командировочному предписанию. А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно настойчив:

— Зовите дежурного.

— Так спит он, товарищ лейтенант.

— Я сказал, зовите дежурного!

Наконец явился заспанный сержант. Долго читал Колины документы, зевал, свихивая челюсти:

— Припозднились вы, товарищ лейтенант.

— Дела, — туманно пояснил Коля.

— Вам ведь на остров надо…

— Я проведу, — тихо сказала девушка.

— А кто это я? — Сержант посветил фонариком: так, для шика. — Это ты, Миррочка? Дежурить заступаешь?

— Да.

— Ну, ты — человек нашенский. Веди прямо в казармы 333-го полка: там есть комнаты для командировочных.

— Мне в свой полк надо, — солидно сказал Коля.

— Утром разберетесь, — зевнул сержант. — Утро вечера мудренее…

Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость, за ее первый, внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником. Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный басок да мирно всхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки прессованного сена. Справа туманно вырисовывалась батарея полковых минометов.

— Тихо, — шепотом сказал Коля. — И нет никого.

— Так ночь. — Она, вероятно, улыбнулась. — И потом, почти все уже переехали в лагеря. Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату

обещали, а то очень далеко из города ходить.

Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спящей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Теперь он резко сбавил прыть и, чтобы сменить неприятную тему, солидно поинтересовался:

— Как тут вообще с жильем? Командиров обеспечивают, не знаете?

— Многие снимают.

— Это трудно?

— Нет. — Она сбоку посмотрела на него. — У вас семья?

— Нет, нет. — Коля помолчал. — Просто для работы, знаете…

— В городе я могу найти вам комнату.

— Спасибо. Время, конечно, терпит…

Она вдруг остановилась, нагнула куст:

— Сирень. Уже отцвела, а все еще пахнет.

Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в запыленную листву. Но листва ничем хорошим не пахла, и он сказал дипломатично:

— Много здесь зелени.

— Очень. Сирень, жасмин, акация…

Она явно не торопилась, и Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас отдыхает.

Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием подумал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится.

— А что в Москве о войне слышно? — понизив голос, спросила она.

— О войне? О какой войне?

— У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-вот, — очень серьезно продолжала девушка. — Люди покупают соль, и спички, и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто. А западники… Ну, те, которые к нам с Запада пришли, от немцев бежали… Они говорят, что и в тридцать девятом тоже так было.

— Как так — тоже?

— Пропали соль и спички.

— Чепуха какая-то! — с неудовольствием сказал Коля. — Ну, при чем здесь соль, скажите, пожалуйста? Ну, при чем?

— Не знаю. Только без соли вы супа не сварите.

— Суп! — презрительно сказал он. — Это пусть немцы запасаются солью для своих супов. А мы… Мы будем бить врага на его территории.

— А враги об этом знают?

— Узнают! — Коле не понравилась ее ирония: люди здесь казались ему подозрительными. —

Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как.

— Господи… — Она вздохнула. — Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не было.

— Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германией заключен Пакт о ненападении. А во-вторых, вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу выдавать военных тайн, но вы, кажется, допущены к секретной работе…

— Я к супам допущена.

— Это не важно, — веско сказал он. — Важно, что вы допущены в расположение воинских частей. И вы, наверно, сами видели наши танки…

— А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневичков, и все.

— Ну зачем же вы мне это говорите? — Коля поморщился. — Вы же меня не знаете и все-таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии…

— Да про это наличие весь город знает.

— И очень жаль!

— И немцы тоже.

— А почему вы думаете, что они знают?

— А потому что!.. — Она махнула рукой. — Вам приятно считать других дураками? Ну, считайте

себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так лучше сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату.

— Ну, знаете…

Коле не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, постарался зевнуть, спросил равнодушно:

— Это что за домик?

— Санчасть. Если вы отдохнули…

— Я?! — От возмущения его кинуло в жар.

— Я же видела, что вы еле тащите свои вещи.

— Ну, знаете, — еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан. — Куда идти?

— Приготовьте документы: перед мостом еще один КПП.

Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще: выкрашенная в белую краску кайма кирпичного тротуара ярко светилась в темноте. Повеяло свежестью. Коля понял, что они подходят к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими мыслями.

Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна, не глупа, остра на язык: с этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в крепости бронетанковых сил, о передислокации частей лагеря,

даже о спичках и соли не могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры — все не случайно. Он припомнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом, Свицкого, играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его специально выделили из их лейтенантской троицы. Выделили, заговорили, усыпили бдительность скрипкой, подсунули какую-то девчонку, и теперь… Теперь он идет за нею неизвестно куда, как баран. А кругом — тьма, и тишина, и кусты, и, может быть, это вообще не Брестская крепость, тем более что никаких стен и башен он так и не заметил.

Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и портупея тотчас же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля, несколько успокоил его. Но все же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а правой осторожно расстегнул клапан кобуры.

«Что ж, пусть ведут, — с горькой гордостью подумал он. — Придется подороже продать свою жизнь, и только…»

— Стой! Пропуск!

«Вот оно…» — подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан.

— Добрый вечер, это я, Мирра. А лейтенант со мной. Он приезжий: вам не звонили с того КПП?

— Документы, товарищ лейтенант.

Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, и правая рука сама собой скользнула к кобуре…

— Ложись! — заорали от КПП. — Ложись, стреляю! Дежурный, ко мне! Сержант! Тревога!..

Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, щелкал затвором. Кто-то уже шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось.

— Да свой он! Свой! — кричала Миррочка.

— Он «наган» цапает, товарищ сержант! Я его окликнул, а он — цапает!

— Посвети-ка. — Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой — сержантский — голос скомандовал: — Встать! Сдать оружие!..

— Свой я! — крикнул Коля, поднимаясь. — Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы. Вот документы, вот командировка.

— А чего ж за «наган» цапался, если свой?

— Да почесался я! — кричал Коля. — Почесался,

и все! А он кричит «ложись!».

— Он правильно действовал, товарищ лейтенант, — сказал сержант, разглядывая Колины документы. — Неделю назад часового у кладбища зарезали: вот какие тут дела.

— Да знаю я! — сердито сказал Коля. — Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, что ли?..

Миррочка не выдержала первой. Она приседала, всплескивала руками, попискивала, вытирала слезы. За нею басом захохотал сержант, завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно.

— Я же почесался! Почесался только!..

Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастерка — все было в мельчайшей дорожной пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Колиных щеках, потому что он прижимался ими к земле поочередно.

— Не отряхивайтесь! — крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очистить гимнастерку. — Пыль только вобьете. Надо щеткой.

— А где я ее ночью возьму?

— Найдем! — весело сказала Миррочка. — Ну, можно нам идти?

— Идите, — сказал сержант. — Ты правда почи-

сти его, Миррочка, а то ребята в казарме от смеха попадают.

— Почищу, — сказала она. — А какие кинокартины показывали?

— У пограничников — «Последнюю ночь», а в полку — «Валерия Чкалова».

— Мировой фильм!.. — сказал постовой. — Там Чкалов под мостом на самолете — вжиг, и все!..

— Жалко, я не видела. Ну, счастливо вам додежурить.

Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой взошел на мост.

— Это что, Буг?

— Нет, это Мухавец.

— А-а…

Они прошли мост, миновали трехарочные ворота и свернули направо, вдоль приземистого двухэтажного здания.

— Кольцевая казарма, — сказала Мирра.

Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах за толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго по линейке.

«Вот и мой взвод где-то здесь спит, — думал он. — И скоро я буду приходить по ночам и проверять…»

Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стриженые головы дневальных, пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной четвертой главой Краткого курса истории ВКП(б).

«Вот и я так же буду сидеть, — думал Коля. — Готовиться к занятиям, писать письма…»

— Это какой полк? — спросил он.

— Господи, куда же это я вас веду? — вдруг тихо засмеялась девушка. — Кругом! За мной шагом марш, товарищ лейтенант.

Коля затоптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьез.

— Зачем?

— Вас сначала вычистить надо, выбить и выколотить.

После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно перестала стесняться и уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда смешно, то надо обязательно смеяться.

— А где вы меня собираетесь выколачивать?

— Следуйте за мной, товарищ лейтенант.

Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь, за нею еще какие-то здания; где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом, и Коля приободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи.

— В столовую идем, что ли? — как можно независимее спросил он, припомнив, что девушка специализируется на супах.

— Разве такого грязнулю в столовую пустят? — весело спросила она. — Нет, мы сначала в склад зайдем, и тетя Христя из вас пыль выбьет. Ну а потом, может быть, и чайком угостит.

— Нет уж, спасибо, — солидно сказал Коля. — Мне к дежурному по полку надо: я обязательно должен прибыть сегодняшним числом.

— Так сегодняшним и прибудете: суббота уже два часа как кончилась.

— Не важно. Важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается.

— А вот у меня не всякий. Осторожно, ступеньки. И пригнитесь, пожалуйста.

Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За массив-

ной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля с удивлением оглядывал низкий сводчатый потолок, кирпичные стены и тяжелые каменные ступени.

— Подземный ход?

— Склад. — Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула: — Здравствуйте, тетя Христя! Я гостя веду!..

И отступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно:

— Сюда, значит?

— Сюда, сюда. Да не бойтесь же вы!

— Я не боюсь, — серьезно сказал Коля.

Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым сводчатым потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и Коля видел только ближайшую стену с узкими, как бойницы, отдушинами под самым потолком. В склепе этом было прохладно, но сухо: кирпичный пол кое-где покрывал мелкий речной песок.

— Вот и мы, тетя Христя! — громко сказала Мирра, закрывая дверь. — Здравствуйте, Анна Петровна! Здравствуйте, Степан Матвеич! Здравствуйте, люди!

Голос ее гулко проплыл под сводами каземата

и не заглох, а как бы растаял.

— Здравствуйте, — сказал Коля.

Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин — толстую и не очень толстую — и усатого старшину, присевшего на корточки перед железной печуркой.

— А, щебетуха пришла, — усмехнулся усатый.

Женщины сидели за большим столом, заваленным мешками, пакетами, консервными банками, пачками чая. Они что-то сверяли по бумажкам и никак не отреагировали на их появление. И старшина не вытянулся, как полагалось при появлении старшего по званию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник.

— Здравствуйте, здравствуйте! — Мирра обняла женщин и по очереди поцеловала. — Уже все получили?

— Я тебе когда велела приходить? — строго спросила толстая. — Я тебе к восьми велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь.

— Ай, тетя Христя, не ругайтесь. Я еще отосплюсь.

— Командира где-то подцепила, — не без удовольствия отметила та, что была помоложе, Анна

Петровна. — Какого полка, товарищ лейтенант?

— Я в списках еще не значусь, — солидно сказал Коля. — Только что прибыл…

— И уже испачкался, — весело перебила девушка. — Упал на ровном месте.

— Бывает, — благодушно сказал старшина.

Он чиркнул спичкой, и в печурке загудело пламя.

— Щеточку бы, — вздохнул Коля.

— Здорово извалялся, — сердито проворчала тетя Христя. — А пыль наша въедлива особо.

— Выручай его, Миррочка, — улыбнулась Анна Петровна. — Из-за тебя, видно, он на ровном месте падал.

Люди здесь были своими и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мирра разыскала щетку, вымыла ее под висевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому сказала:

— Пойдем уж чиститься, горе… чье-то.

— Я сам! — поспешно сказал он. — Сам, слышите?

Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплелся следом.

— Во, обратала! — с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. — Правильно, щебетуха: с нашим братом только так и надо.

Несмотря на протесты, Мирра энергично вычистила его, сухо командуя: «Руки!», «Повернитесь!», «Не вертитесь!». Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопротивление бессмысленно. Покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, сердито скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тоне нотки, явно покровительственные, выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на три года старше ее, — он был командиром, полновластным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела себя так, будто не он, а она была этим командиром, и Коля очень обижался.

— И не вздыхайте! Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно.

— Вредно, — не без значения подтвердил он. — Ох и вредно!

Светало, когда они той же крутой лестницей спустились в склад. На столе остался только хлеб, сахар да кружки, и все сидели вокруг и неторо-

ливо разговаривали, ожидая, когда же наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины, здесь оказались еще двое: хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный под машинку красноармеец. Красноармеец все время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказывал:

— Ребята в кино пошли, а меня начбой хватает. «Стой, говорит, Федорчук, дело, говорит, до тебя». Что, думаю, за дело? А дело вон какое. «Разряди, говорит, Федорчук, все диски, выбей, говорит, из лент все патроны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и снова набей». Во! Тут на целую роту три дня без перекура занятий. А я — один: две руки, одна башка. «Помощь, говорю, мне». И дают мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, первогодка стриженого. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков?

В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно улыбнулся:

— Спать охота.

— Спать! — с неудовольствием сказал Федорчук. — Спать у маменьки будешь. А у меня ты,

Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема. Понял? Вот чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. Христина Яновна, ты нам сегодня заварочки не пожалей.

— Деготь налью, — сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик заварки. — Сейчас настоится, и перекусим. Куда это вы, товарищ лейтенант?

— Спасибо, — сказал Коля. — Мне в полк надо, к дежурному.

— Успеется, — сказала Анна Петровна. — Служба от вас не убежит.

— Нет, нет. — Коля упрямо помотал головой. — Я и так опоздал: в субботу должен был прибыть, а сейчас уже воскресенье.

— Сейчас и не суббота, и не воскресенье, а тихая ночь, — сказал Степан Матвеевич. — А ночью и дежурным подремать положено.

— Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант, — улыбнулась Анна Петровна. — Чайку попьем, познакомимся. Откуда будете-то?

— Из Москвы. — Коля немного помялся и сел к столу.

— Из Москвы, — с уважением протянул Федорчук. — Ну, как там?

— Что?

— Ну, вообще.

— Хорошеет, — серьезно сказал Коля.

— А как с промтоварами? — поинтересовалась Анна Петровна. — Здесь с промтоварами очень просто. Вы это учтите, товарищ лейтенант.

— А ему-то зачем промтовары? — улыбнулась Мирра, садясь за стол. — Ему наши промтовары ни к чему.

— Ну, как сказать, — покачал головой Степан Матвеевич. — Костюм бостоновый справить — большое дело. Серьезное дело.

— Гражданского не люблю, — сказал Коля. — И потом, меня государство обеспечивает полностью.

— Обеспечивает, — неизвестно почему вздохнула тетя Христя. — Ремнями оно вас обеспечивает: все в сбруе ходите.

Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу. Сел напротив, глядел в упор, часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок.

Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накапливаясь

под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а тяжело оседала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белесом полумраке. Старшина выключил их, но темнота была еще густой и недоброй, и женщины запротестовали:

— Темно!

— Экономить надо энергию, — проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет.

— Сегодня свет в городе погас, — сказал Коля. — Наверно, авария.

— Возможное дело, — лениво согласился старшина. — У нас своя подстанция.

— А я люблю, когда темно, — призналась Мирра. — Когда темно — не страшно.

— Наоборот! — сказал Коля, но тут же спохватился: — То есть, конечно, я не о страхе. Это всякие мистические представления насчет темноты.

Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же недовольной гримасой:

— Темнота — ворам удобство. Воровать да грабить — для того и ночь.

— И еще кой для чего, — улыбнулась Анна Петровна.

— Ха! — Федорчук зажал смешок, покосился

на Мирру. — Точно, Анна Петровна. И это, стало быть, воруем, так понимать надо?

— Не воруем, — солидно сказал старшина. — Прячем.

— Доброе дело не прячут, — непримиримо проворчал Федорчук.

— От сглазу, — веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник. — От сглазу и доброе дело подальше прячут. И правильно делают. Готов наш чайник, берите сахар.

Анна Петровна раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник, разлил кипяток.

— Берите хлебушко, — сказала тетя Христя. — Выпечка сегодня удалась, не переквасили.

— Чур, мне горбушку! — быстро сказала Мирра.

Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них и тоже улыбнулась, но как бы про себя, и Коле это не понравилось.

«Будто я за ней бегаю, — обиженно подумал он

про Мирру. — И чего все выдумывают?..»

— А маргаринчику нет у тебя, хозяюшка? — спросил Федорчук. — Одним хлебушком сил не напасешь…

— Поглядим. Может, и есть.

Тетя Христя прошла в серую глубину подвала; все ждали ее и к чаю не притрагивались. Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся.

— Да вы пейте, пейте, — сказала из глубины тетя Христя. — Пока тут найдешь…

За узкими щелями отдушины холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись лампочки под потолком.

— Гроза, что ли? — удивилась Анна Петровна. Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. Вздрогнули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов.

А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряженны-

ми, словно все старательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады.

— Склад! — вдруг закричал Федорчук, вскакивая. — Склад боепитания взорвался! Точно говорю! Лампу я там оставил! Лампу!..

Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины.

— Война! — крикнул Степан Матвеевич. — Война это, товарищи, война!

Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, но он не заметил.

— Стой, лейтенант! — Старшина на ходу схватил его. — Куда?

— Пустите! — кричал Коля, вырываясь. — Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь, понимаете?!

Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побежал наверх по неудобным стертым ступенькам. Под ногами громко хрустнула штукатурка.

Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко вздрагивал каземат, все вокруг выло и стонало, и было 22 июня 1941 года, четыре часа пятнадцать минут по московскому времени…

Часть вторая
1

Когда Плужников выбежал наверх — в самый центр незнакомой, полыхающей крепости, — артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление: немцы начали переносить огневой вал на внешние обводы. Снаряды еще продолжали падать, но падали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратам, и поэтому Плужников успел оглядеться.

Кругом все горело. Горела кольцевая казарма, дома возле церкви, гаражи на берегу Муховца. Горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, овощехранилища — горело все, что могло гореть, а что не могло — горело тоже, и в реве пламени, в грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди.

И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновязи, за спиной Плужникова, и этот необычный, неживотный крик заглушал сейчас все остальное, даже то жуткое, нечеловеческое,

что изредка доносилось из горящих гаражей. Там, в промасленных и пробензиненных помещениях с крепкими решетками на окнах, в этот час заживо сгорали люди.

Плужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость предстала перед ним в снарядных всплесках, дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом определил трехарочные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен был обязательно запомнить его и объяснить, куда теперь являться. А явиться куда-то, кому-то доложить было просто необходимо.

И Плужников побежал к воротам, прыгая через воронки и завалы земли и кирпича и прикрывая затылок обеими руками. Именно затылок: было невыносимо представить себе, что в его аккуратно подстриженный и такой беззащитный затылок каждое мгновение может вонзиться иззубренный и раскаленный осколок снаряда. И поэтому он бежал неуклюже, балансируя телом, странно сцепив руки на затылке и спотыкаясь.

Он не расслышал тугого снарядного рева: рев этот пришел позже. Он всей спиной почувствовал приближение чего-то беспощадного и, не снимая рук с затылка, лицом вниз упал в ближайшую

воронку. В считаные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем телом, как краб, зарывался в сухой неподатливый песок. А потом опять не расслышал разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силой вдавило в песок, вдавило настолько, что он не мог вздохнуть, а лишь корчился под этим гнетом, задыхаясь, хватая воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме. А затем что-то грузное, но вполне реальное навалилось на спину, окончательно пригасив и попытки глотнуть воздуха, и остатки в клочья разорванного сознания.

Но очнулся он быстро: он был здоров и яростно хотел жить. Очнулся с тягучей головной болью, горечью в груди и почти в полной тишине. Вначале он — еще смутно, еще приходя в себя — подумал, что обстрел кончился, но потом сообразил, что просто ничего не слышит. И это совсем не испугало его; он вылез из-под завалившего его песка и сел, все время сплевывая кровь и противно хрустевший на зубах песок.

«Взрыв, — старательно подумал он, с трудом разыскивая слова. — Должно быть, тот склад завалило. И старшину, и девчонку ту с хромой ногой...»

Думал он об этом тяжело и равнодушно, как

о чем-то очень далеком и во времени и в пространстве, пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова еще не слушалась. И он просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплевывал окровавленный песок и никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит.

В воронке ядовито воняло взрывчаткой. Плужников лениво подумал, что надо бы вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придет в себя, но двигаться мучительно не хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотную вонь, при каждом вздохе ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился на дно за его спиной. Шея не ворочалась, и повернуться пришлось всем телом.

На откосе сидел парнишка в синей майке, черных трусах и пилотке. По щеке у него текла кровь; он все время вытирал ее, удивленно глядел на ладонь и вытирал снова.

— Немцы в клубе, — сказал он.

Плужников половину понял по губам, половину расслышал.

— Немцы?

— Точно. — Боец говорил спокойно: его занимала только кровь, что медленно сползала по

щеке. — По мне жахнули. С автомата.

— Много их?

— А кто считал? По мне один жахнул, и то я щеку побил.

— Пулей?

— Не. Упал я.

Они разговаривали спокойно, будто все то была игра и мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил из рогатки. Плужников пытался осознать себя, почувствовать свои собственные руки и ноги, спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряженно, потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чем говорит тот парнишка с расцарапанной щекой.

— Кондакова убило. Он слева бежал и упал сразу. Задергался и ногами забил, как припадочный. И киргиза того, что дневалил вчера, тоже убили. Того раньше.

Боец говорил что-то еще, но Плужников вдруг перестал его слушать. Нет, теперь он слышал почти все — и ржание покалеченных лошадей у коновязи, и взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу, — он все слышал и поэтому успокоился и перестал слушать. Он переварил в себе и понял самое главное из того, что успел наговорить ему тот красноармеец: немцы ворвались в крепость,

и это означало, что война действительно началась.

— …А из него кишки торчат. И вроде — дышат. Сами собой дышат, ей-богу!..

Голос разговорчивого паренька ворвался на мгновение, и Плужников — теперь он уже контролировал себя — тут же выключил это бормотание. Представился, назвал полк, куда был направлен, спросил, как до него добраться.

— Подстрелят, — сказал боец. — Раз они в клубе — в церкви бывшей, значит, — так обязательно жахнут. Из автоматов. Оттуда им все — как на ладошке.

— А вы куда бежали?

— За боеприпасом. Нас с Кондаковым в склад боепитания послали, а его убило.

— Кто послал?

— Командир какой-то. Все перепуталось, не поймешь, где твой командир, где чужой. Бегали мы сперва много.

— Куда приказано было доставить боеприпасы?

— Так ведь в клубе немцы. В клубе, — неторопливо и доброжелательно, точно ребенку, объяснил боец. — Куда ни приказывали, а не пробежать. Как жахнут…

Он любил это слово и произносил его особенно впечатляюще: в слове слышалось жужжание. Но Плужникова больше всего интересовал сейчас склад боепитания, где он надеялся раздобыть автомат, самозарядку или, на худой конец, обычную трехлинейку с достаточным количеством патронов. Оружие давало не только возможность действовать, не только стрелять по врагу, засевшему в самом центре крепости, — оружие обеспечивало личную свободу, и он хотел заполучить его как можно скорее.

— Где склад боепитания?

— Кондаков знал, — нехотя сказал боец.

Кровь по щеке больше не текла — видно, засохла, — но он все время бережно ощупывал грязными пальцами глубокую ссадину.

— Черт! — рассердился Плужников. — Ну, где он может быть, этот склад? Слева от нас или справа? Где? Ведь если немцы проникли в крепость, они же на нас могут наткнуться, это вы соображаете? Из пистолета не отстреляешься.

Последний довод заметно озадачил парнишку: он перестал ковырять коросту на щеке, тревожно и осмысленно глянул на лейтенанта.

— Вроде слева. Как бежали, так он справа был. Или — нет: Кондаков-то слева бежал. Погодите,

гляну, где он лежит.

Повернувшись на живот, он ловко пополз наверх. На краю воронки оглянулся, став вдруг очень серьезным, и, сняв пилотку, осторожно высунул наружу стриженную под машинку голову.

— Вон Кондаков, — не оглядываясь, приглушенно сообщил он. — Не дергается больше, все. А до склада мы чуток только не добежали: вижу его. И вроде он не разбомбленный.

Оступаясь — ему очень не хотелось ползти при этом молоденьком красноармейце, — Плужников поднялся на откос, лег рядом с бойцом и выглянул: неподалеку действительно лежал убитый в гимнастерке и галифе, но без сапог и пилотки. Темная голова отчетливо виднелась на белом песке. Это был первый убитый, которого видел Плужников, и жуткое любопытство невольно притягивало к нему. И поэтому молчал он долго.

— Вот тебе и Кондаков, — вздохнул боец. — Конфеты любил, ириски. А жаден был — хлебца не выпросишь.

— Так. Где склад? — спросил Плужников, с усилием отрываясь от убитого Кондакова, который был когда-то жадным и очень любил ириски.

— А вон бугорок вроде. Видите? Только вход где в него, это не знаю.

Недалеко от склада, за изрытой снарядами, изломанной зеленью, виднелось массивное здание, и Плужников понял, что это и есть клуб, в котором, по словам бойца, уже засели немцы. Оттуда слышались короткие автоматные очереди, но куда они били, Плужников понять не мог.

— По Белому дворцу салют, — сказал боец. — Левей гляньте. Инженерное управление.

Плужников глянул: за низкой оградой, окружавшей двухэтажное, уже меченное снарядами здание, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых беспорядочных выстрелов.

— По моей команде бежим до… — Он запнулся, но продолжал: —…до Кондакова. Там падаем, даже если немцы не откроют огня. Поняли? Внимание. Приготовились. Вперед!

Он бежал в рост, не пригибаясь, не столько потому, что голова его еще кружилась, а чтобы не выглядеть трусом в глазах этого перепуганного парнишки в синей майке. На одном дыхании он домчался до убитого, но не остановился, как сам же приказывал, а побежал дальше, к оружейному складу. И только добежав до него, вдруг испугался, что вот сейчас-то его и убьют. Но тут, громко дыша, притопал боец, и Плужников поспешно отогнал от себя страх и даже улыбнулся этому

смешному стриженому красноармейцу:

— Чего пыхтишь?

Боец ничего не ответил, но тоже улыбнулся, и обе эти улыбки были похожи друг на друга как две капли воды.

Они трижды обошли земляной бугор, но нигде не нашли ничего похожего на вход. Все вокруг было уже взрыто и вздыблено, и то ли вход завалило при обстреле, то ли боец что-то напутал, то ли мертвый Кондаков бежал совсем не в ту сторону, а только Плужников понял, что вновь остался с одним пистолетом, променяв удобную дальнюю воронку на почти оголенное место рядом с церковью. Он с тоской оглянулся на низкую ограду Белого дворца, на беспорядочные огоньки выстрелов: там были свои, и Плужникову нестерпимо захотелось к ним.

— К нашим бежим, — не глядя сказал он. — Как скажу «три». Готов?

— Готов, — вздохнул боец. — А они в лоб жахнут: как раз сюда целят-то.

— Не жахнут, — не очень уверенно ответил Плужников. — Свои же мы, красные.

Он так и сказал — «красные». Как в детстве, когда играл во дворе в Чапаева, но Чапаевым его никто не признавал, и ему всегда приходилось

довольствоваться ролью командира эскадрона Жихарева.

По его команде они снова побежали, прыгая через воронки и через убитых, не ложась и не пригибаясь. Бежали навстречу огонькам, и Плужников все время кричал: «Свои!» — но оттуда все стреляли и стреляли, и несколько раз он отчетливо слышал негромкий пулевой посвист. И опять им повезло; они добежали до ограды, перемахнули через нее и, задыхаясь, упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант в старательно застегнутой, но очень грязной гимнастерке сердито кричал:

— Перебежками надо, понятно? Перебежками!..

Отдышавшись, Плужников хотел доложить, но старший лейтенант доклада слушать не стал, а послал его на левый фланг жиденькой обороны с приказом вести наблюдение в сторону Тереспольских ворот: он был убежден, что немцы прорвались оттуда. Очень коротко ознакомив Плужникова с обстановкой и не ответив ни на один из вопросов, старший лейтенант хмуро добавил:

— Винтовку у сержанта заберешь. И следи за воротами, понял? Нам бы только до своих про-

держаться.

До каких «своих» надеялся продержаться старший лейтенант и откуда они должны были появиться, Плужников расспрашивать не стал. Он сам верил, что свои вот-вот подойдут и все образуется само собой. Надо только держаться. Просто отстреливаться, и все.

Явившись на левый фланг, Плужников не нашел там никакого сержанта: угол здания медленно горел, неохотно выбрасывая из дома огненные языки, а возле ограды лежали полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулеметом Дегтярева.

— Почему пожар не ликвидируете? — сердито спросил Плужников.

Ему никто не ответил: все напряженно глядели в сторону ворот с высокой водонапорной башней. Плужников понял несвоевременность указаний, спросил у пулеметчиков о сержанте. Старший коротко кивнул:

— Там.

Небольшого роста человек ничком лежал на земле, широко разбросав ноги в стоптанных сапогах. Чернявая голова его лбом упиралась в прицельную планку винтовки и только тяжело закачалась, когда Плужников тронул сержанта

за плечо.

— Товарищ сержант…

— Убитый он, — сказал пограничник.

Плужников сразу отдернул руку, беспомощно оглянулся, но никто сейчас не обращал на него внимания. Не решаясь вновь притронуться к мертвецу, он потянул винтовку за ствол, но убитый по-прежнему цепко держался за нее, а Плужников все дергал и дергал, и круглая чернявая голова тупо вздрагивала, стукаясь лбом о прицельную планку.

— Опять бегут, — сказал кто-то. — Это с 84-го ребята.

— Музыканты это, — сказал второй. — Они над воротами…

Со стороны клуба послышалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно выворачивать из его мертвых рук трехлинейку. Убитый некоторое время волочился за нею, но потом мертвые пальцы вдруг разжались, и Плужников, схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться.

У Тереспольских ворот металось несколько бойцов: один нес ярко начищенную трубу, и на

ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупо, и музыканты то падали, то вновь вскакивали и продолжали метаться. У коновязи бились и храпели лошади, и Плужников больше смотрел на них, а когда опять глянул в сторону ворот, то музыканты уже куда-то подевались, унеся с собой веселый солнечный зайчик.

— Вот с 84-го! — крикнул пограничник, который был первым номером у пулемета. — К нам, что ли?

От кольцевых казарм правильными перебежками продвигались красноармейцы. Не растерянные музыканты, а бойцы с оружием, и немецкие автоматчики сразу усилили огонь.

Рядом резко застучал «дегтярь»: пограничники короткими очередями били по костелу, прикрывая товарищей.

— Огонь! — закричал Плужников.

Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима. Но, скомандовав, он так и не смог выстрелить: в сержантской винтовке патронов не оказалось. И Плужников только без толку щелкал курком, лихорадочно передергивая затвор.

— Вели диски набить, лейтенант! — закричал

второй номер — рослый брюнет со значком ворошиловского стрелка на гимнастерке. — Диски кончаются!

Плужников побежал к дому мимо редкой цепочки бойцов. Старшего лейтенанта нигде не было видно, и он, волоча винтовку, долго суетился возле горящего здания.

— Патроны! Где патроны?

— В подвале спроси, — сказал полуголый сержант с забинтованной головой. — Хлопцы оттуда цинки таскали.

Тяжелый смрадный дым медленно сползал в подвалы. Кашляя и вытирая слезы, Плужников ощупью спустился по крутым стертым ступеням, с трудом разглядел в полумраке раненых и спросил:

— Патроны где?

— Кончились, — сказал вдруг женский голос из темноты. — Что наверху слышно?

Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но, как он ни вглядывался, ничего разобрать не смог.

— К нам из казарм прорываются, — сказал он. — Из 84-го, что ли. Старшего лейтенанта не видали?

— Пройдите сюда. Осторожнее: люди на полу.

У стены лежал старший лейтенант в испачканной гимнастерке, разорванной до пояса. Кое-как перебинтованная грудь его чуть вздымалась, и при каждом вздохе выступала розовая пена на белых, стянутых в нитку губах. Плужников опустился подле него на колени, позвал:

— Товарищ старший лейтенант. Товарищ…

— Уже не дозоветесь, — сказал все тот же голос. — Наши-то скоро из города подойдут, ничего не слышно?

— Подойдут, — сказал Плужников, вставая. — Должны подойти. — Он еще раз оглянулся, смутно различил темную фигуру и тихо добавил: — Пожар наверху. Уходите отсюда.

— Куда? Здесь — раненые.

— Опасно оставаться.

Женщина промолчала. Подавленный не столько отсутствием патронов, сколько смертью командира, Плужников выбрался из задымленного подвала. В подъезде уже невозможно было стоять: над головой занимались перекрытия. У входа на ступеньках по-прежнему сидел сержант, неторопливо, по-домашнему, сворачивая цигарку.

— Надо бы из подвала раненых вынести, — сказал Плужников. — Огонь вход отрежет. И

женщина там.

— Надо, — спокойно согласился сержант. — А куда? Кругом горит.

— Ну, не знаю. Куда-нибудь.

— Не вертись, — вдруг перебил сержант. — Старшего лейтенанта аккурат тут стукнуло, где ты стоишь.

Плужников поспешно вышел. Во дворе приутихла стрельба, слышались неразборчивые голоса. Плужников вспомнил о патронах, хотел было опять вернуться к сержанту, расспросить, но раздумал и, волоча пустую винтовку, побежал к людям.

Они толпились за углом вокруг черноволосого замполитрука. Черноволосый говорил решительно и зло, и все с видимым облегчением слушали его резкий голос.

— ...По моей команде. Не останавливаться, не отвлекаться. Только вперед! Ворваться в клуб и ликвидировать автоматчиков врага. Задача ясна?

— Ясна! — с привычной бодростью отозвались бойцы.

— А ликвидировать чем? — хмуро спросил немолодой, видно из приписников, боец в синей майке. — Винтовки без штыков, а у меня так и

вовсе нету.

— Зубами рви! — громко сказал замполитрук. — Кирпич вон захвати: зачем глупые вопросы? Главное — всем вместе, дружно, с громким «ура»! И не ложиться! Бежать и бежать прямо в клуб.

— Как в кино! — сказал круглоголовый, как мальчишка, боец.

Все засмеялись, и Плужников засмеялся тоже. И не потому, что круглоголовый боец сказал что-то уж очень смешное, а потому, что все сейчас испытывали нетерпеливое волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое трудное: принимать решения за всех.

— У кого нет винтовок, вооружиться лопатами, камнями, палками — всем, чем можно проломить фашисту голову.

— Она у него в каске! — опять крикнул круглоголовый: он числился ротным шутником.

— Значит, бей сильней! — улыбнулся замполитрук. — Бей, как хороший хозяин грабителя бьет. Пять минут на сбор оружия. В атаку идти всем! Кто останется — дезертир… — Тут он замолчал, заметив Плужникова. И спросил: — Какого полка, товарищ лейтенант?

— Я в списках не значусь. Вот командировочное…

— Документы потом. Полковой комиссар приказал мне лично возглавить атаку.

— Конечно, конечно! — торопливо согласился Плужников. — Я — в вашем полном распоряжении…

— Возьмите на себя окна, — подумав, сказал замполитрук. — Десять человек — в распоряжение лейтенанта!

Из толпы вразнобой вышли десятеро: оба пограничника, хмурый приписник, ротный острослов, сержант с забинтованной головой, молоденький боец в трусах и майке с расцарапанной щекой, еще кто-то, кого Плужников не успел приметить. Они молча стояли перед ним, ожидая указаний или распоряжений, а он не знал, что им сказать. Старший пограничник держал на плече «дегтярь», будто дубину: ствол еще не остыл, и пограничник все время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил цигарку, а приписник, жадно поглядывая, шептал:

— Оставь маленько, товарищ сержант. Разок, а?

— Значит, окна, — сказал Плужников. — Там стекла?

— Стекла все повылетали, — сказал сержант и

дал приписнику окурок. — Тебя как зовут-то?

— Фамилия — Прижнюк, — сказал тот, жадно затягиваясь.

— Эх, гранатку бы! — вздохнул смуглый пограничник.

— Да, вооружиться всем, — спохватился Плужников. — Ну, кто что найдет. Только быстро.

Солдаты разошлись, остались только пограничники, потому что у старшего был «дегтярь», а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок.

— Не думал, не гадал, — усмехнулся старший. — Меня сегодня Ленка ждет. В семь вечера, представляешь?

— Никуда Ленка не денется, — сказал второй. — Еще нацелуешься.

— Вопрос, когда…

Постепенно подходили бойцы, вооруженные кто саперной лопатой, а кто и выломанным из ограды железным прутом. Винтовка, которая досталась Плужникову после убитого, тоже была без штыка, но он вспомнил о пистолете и отдал винтовку бойцу с расцарапанной щекой.

— Не надо, — сказал боец и показал саперную лопатку. — Я ее на камне наточил: может, автомат добуду.

— Без штанов, а тоже — автомат, — сказал старший пограничник. — Голову сбереги, и то ладно.

Винтовку взял Прижнюк. Повертел ее в руках, как дубину, проворчал:

— Годится.

— Как окна поделим? — спросил пограничник, с пулеметом. — Мое первое или ваше?

— Первое — мое, — торопливо сказал Плужников, потому что внутренне был убежден, что первое — число счастливое. — Мое первое…

— Готовы? — крикнул замполитрук. — Как только наши откроют огонь, я дам команду.

Прошло еще несколько томительных, как часы, минут. Плужников стоял за углом горящего здания, покашливая от дыма. Ладони потели, он то и дело перекладывал пистолет из руки в руку и вытирал их о гимнастерку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал пограничник с пулеметом.

— Ну, чего тянут?

— Тихо, — сказал Плужников. — Обычная атака.

Атака была настоящей, и ему стало неудобно за мальчишеские слова. Но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни на никому не известного лейтенанта. Слышалось только учащенное дыхание, редкое позвякивание желе-

за, рев пламени за кирпичной стеной да частая стрельба по всему периметру кольцевых казарм. И еще — гул сражения в Бресте. Гул, который Плужников слушал почти с восторгом: там были свои, там громили немцев, оттуда должна была вот-вот прийти помощь.

Как ни ловил Плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох, и он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил за плечо, потому что команды еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, веера ответных очередей из костела, и в этот миг замполитрук закричал сорвавшимся голосом:

— Вперед! За Родину!..

— Вперед! — закричал Плужников, бросаясь к ограде.

Он бежал, не видя дороги и крича «ура!», пока хватало сил. «Ура!» получалось коротким, но он вновь глотал воздух широко разинутым ртом и вновь выдыхал его в тягучем крике. Пули свистели над головой, взбивали пыль у ног, резали еще уцелевший кустарник, но он одним из первых добежал до стены костела и прижался к ней, потому что из окна били и били частые очереди. Где-то рядом кричали сорванными, напряжен-

ными голосами, что-то звенело, и не переставая вспарывали воздух автоматные очереди.

— Окно! — крикнул пограничник. — Окно, мать вашу!..

Оттолкнув Плужникова, он бросился к оконному проему, тонко, по-мальчишечьи взвизгнул и упал грудью на подоконник. Плужников дважды выстрелил в оскаленный вспышками сумрак костела, прыгнул на мокрую, вздрагивающую спину пограничника и, перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигающе ударило очередью, он выстрелил еще раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал один из бойцов, что тоже прыгал через мертвого пограничника, Плужникова больно ударили по голове сапогом, но он сумел вскочить и прижаться спиной к кирпичам.

Со света казалось, что в костеле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно матерясь, дрались врукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромсали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался, разобрать уже было невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный

звериный рев.

Все это пронеслось перед ним в мгновение, как моментальная фотография, потому что в следующее мгновение он оторвался от стены и кинулся в глубину, где еще вспыхивали короткие веера очередей. Он не решался стрелять издалека, потому что между ним и вспышками то появлялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, выстрелил в близкое ощеренное чужое лицо, споткнулся, упал на клубок тел, катавшихся по полу, бил тяжелым «ТТ» по стриженому затылку, и затылок этот дергался все медленнее, все безвольнее, а когда совсем перестал дергаться, самого Плужникова с такой силой ударили по голове, что на какое-то время он потерял сознание и сунулся лицом в раздробленный им же самим немецкий недавно подстриженный затылок.

Очнувшись, он не нащупал пистолета, а встать не смог и опять на четвереньках пополз к стене, размазывая по лицу чужую кровь. Голова не хотела держаться прямо, клонилась, и он уговаривал себя не терять сознания, смутно соображая, что растопчут. Он почти добрался до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад, под ноги надсадно хрипящих солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо, остро

торчащие остатки зубов в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший, вывалившийся язык и закричал. Он кричал тонко, визгливо, а немец, улыбаясь мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок, и Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это — смерть, и сразу вспотел, и продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил, медленно и неуклонно, как во сне. И, совсем как во сне, у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишающий рассудка страх.

Кто-то упал на него и пополз от головы к ногам, к немцу, упираясь босой ногой в подбородок лейтенанта. И Плужников почувствовал, как немец отпустил его ногу и как странно подпрыгивает на его животе полуголый маленький боец. Это было больно, но уже не страшно, и Плужников кое-как вылез из-под бойца и увидел, что боец этот — с расцарапанной щекой, — стоя на коленях, бьет и бьет полотном саперной лопатки по шее немца и что лопатка эта с каждым ударом все глубже и глубже входит в тело, а немец судорожно корчится на полу.

Бой кончился, затихали последние стоны, последние крики и последняя ругань: немцы, не выдержав, бежали из костела, а кто не смог

убежать, доходил сейчас на окровавленном кирпичном полу.

— Вы живой, товарищ лейтенант? А я лопаткой его, лопаткой! Хак! Хак! Как мамане телушку!

Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. Ломило голову, тошнота волнами подступала к горлу, и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился, что сам он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости. А маленький боец говорил и говорил, захлебываясь от восторга:

— Я ему жилу перерубил. Жилу подрезал, как телку. Тут, на шее, место такое…

— Пистолет, — с трудом сказал Плужников: ему было неприятно это восторженное оживление. — Пистолет мой…

— Найдем! А меня и не зацепил никто. Я верткий. Я, знаешь…

— Мой пистолет, — упрямо повторил Плужников. — Он в удостоверении записан. Личное оружие.

— А я автомат раздобыл! А пограничник говорил: без штанов, мол. А сам — убитый, а я — с автоматом.

— Лейтенант! — позвали откуда-то из глубины забитого пылью костела. — Лейтенант живой, никто не видал?

— Живой я. — Плужников поднялся, шагнул и сел на пол. — Голова только. Сейчас пройдет.

Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием передернул затвор: выпал тускло блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на предохранитель, оперся на него и кое-как встал на ноги.

К нему шел черноволосый замполитрук. Гимнастерки на замполитруке не было, белая, залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов.

— Ранило вас? — спросил Плужников.

— Немец спину кинжалом порезал, — сказал черноволосый. — Вам тоже досталось?

— Прикладом по голове, что ли. Или душили. Не помню.

— Глотните. — Замполитрук протянул фляжку. — Бойцы с убитого немца сняли.

Непослушными пальцами Плужников отвинтил пробку, глотнул. Теплая вонючая водка перехватила дыхание, и он тотчас же вернул фляжку:

— Водка.

— Хороши вояки? — спросил замполитрук, вешая фляжку на брючный пояс. — Полковому комиссару покажу. Кстати, как мне доложить о вас?

Плужников показал документы. Замполитрук внимательно просмотрел их, вернул:

— Вам придется остаться здесь. Комиссар сказал, что костел — ключ обороны цитадели. Я пришлю станковый пулемет.

— И воды. Пожалуйста, пришлите воды.

— Не обещаю: вода нужна пулеметам, а до берега не доберешься. — Замполитрук оглянулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой: — Товарищ боец, соберите все фляжки и лично сдайте их лейтенанту.

— Есть собрать фляжки.

— Минуточку. И оденьтесь: в трусах воевать не очень удобно.

— Есть.

Боец бегом кинулся выполнять приказания: сил у него хватало. А замполитрук сказал Плужникову:

— Воду берегите. И прикажите всем надеть каски: немецкие, наши — какие найдут.

— Хорошо. Это правильно, осколки.

— Кирпичи страшней, — улыбнулся зампо-

литрук. — Ну, счастливо, товарищ лейтенант. Раненых мы заберем.

Замполитрук пожал руку и ушел, а Плужников тут же сел на пол, потому что в голове опять все поплыло: и костел, и замполитрук с израненной ножом спиной, и убитые на полу. Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, оскал изломанных зубов и кровавые слюни, капающие из раздробленной челюсти.

— Черт возьми!

Огромным усилием он заставил себя сесть и вновь открыть глаза. Все по-прежнему дрожало и плыло, но в этой неверной зыби он все-таки выделил знакомого бойца: тот шел к нему, брякая фляжками.

«А все-таки я — смелый, — подумал вдруг Плужников. — Я ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил. Есть что рассказать Вале…»

— Вроде две с водой… — Боец протянул фляжку. Плужников пил долго и медленно, смакуя каждый глоток. Он помнил о совете замполитрука беречь воду, но оторваться от фляжки не смог и отдал ее, когда осталось на донышке.

— Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия?

— Сальников я… — Молоденький боец засмущался. — Сальников Петр. У нас вся деревня — Сальниковы.

— Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников.

Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие немецкие сапоги. Все это было ему велико, висело мешком, но он не унывал:

— Не в складе ведь.

— С погибших? — брезгливо спросил Плужников.

— Они не обидятся!

Голова почти перестала кружиться: осталась только тошнота и противная слабость. Плужников поднялся, с горечью обнаружил, что гимнастерка его залита кровью, а воротник разорван. Он кое-как оправил ее, подтянул портупею и, повесив на грудь трофейный автомат, пошел к дверному пролому.

Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый приписник и круглоголовый остряк были легко ранены, сержант в порыжевшей от засохшей крови рубахе сидел на обломках и курил, усмехаясь, но не поддерживая разговора.

— Досталось вам, товарищ лейтенант?

— На то и бой, — строго сказал Плужников.

— Бой — для победы, — усмехнулся сержант. — А досталось тем, кто без цели бежал. Я в финской участвовал и знаю, что говорю. В рукопашной нельзя кого ни попадя, кто под руку подвернулся. Тут, когда еще на сближение идешь, надо цель выбрать. Того, с кем сцепишься. Ну, по силам, конечно. Приглядел и рвись прямо к нему, не отвлекайся. Тогда и шишек будет поменьше.

— Пустые разговоры, — сердито сказал Плужников: сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину и этим не понравился. — Надо оружие собрать…

— Собрано уже, — опять усмехнулся сержант. — Долго отдыхали…

— Воздух! — крикнул круглоголовый боец. — Штук двадцать бомбовозов!

— Ховайтесь, хлопцы, — сказал сержант, старательно притушив окурок. — Сейчас дадут нам жизни.

— Наблюдателю остаться! — крикнул Плужников, приглядываясь, куда бы спрятаться. — Они могут снова…

— Станкач волокут! — снова закричал тот же боец. — Сюда…

— Каски! — вспомнил Плужников. — Каски

надеть всем!..

Нарастающий свист первых бомб заглушил слова. Рвануло где-то близко, с потолка посыпалась штукатурка, и горячая волна подняла с пола кирпичную пыль. Схватив чью-то каску, Плужников метнулся к стене, присел. Бойцы побежали в глубину костела, а Сальников, покрутившись, сунулся в тесную нишу рядом с Плужниковым, лихорадочно натягивая на голову тесную немецкую каску. Вокруг все грохотало и качалось.

— В укрытие! — кричал Плужников сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома. — В укрытие, слышите?..

Удушливая волна ударила в разинутый рот, Плужников мучительно закашлялся, протер запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые стены костела.

— Сержант!.. Сержант, в укрытие!..

— Пулемет!.. — надсадно прокричал сержант. — Пулемет бросили. От дурни!..

Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку. Плужников хотел закричать, и снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задыхаясь, он осторожно выглянул.

Низко пригнувшись, сержант бежал среди

взрывов и пыли. Грудью падал в воронки, на миг скрываясь, выныривал и снова бежал. Плужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемета, как стащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли.

— Накрыло! — кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова. — По нем жахнуло! Одни пуговицы остались!..

Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела. Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и грохот тяжко давили на плечи, рядом вздрагивал Сальников.

Вдруг стало тихо, только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу свиста бомб больше не слышалось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и осторожно выглянул. Сквозь дым и пыль кровавым пятном просвечивало солнце. И больше Плужников ничего не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом,

толкаясь, пристраивался Сальников.

— Повзрывали все, что ли?

— Все взорвать не могли. — Плужников тряс головой, чтобы унять застрявший в ушах звон.

— Долго бомбили, не знаешь?

— Долго, — сказал Сальников. — Бомбят всегда долго. Глядите, сержант!

В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант: он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами.

— Целы? — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел.

— Мы-то целы, — сказал сержант, — а одного дурня убило. Разве ж можно — под бомбами…

— Хороший был пулеметчик, — вздохнул боец, что нес ленты.

— Товарищ лейтенант! — гулко окликнули из глубины. — Тут гражданские!

К ним шли бойцы и среди них — три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза.

— Кто такие? Откуда?

— Здешние мы, здешние, — торопливо закивала старшая. — Как стрелять начали, так мы сюда.

— Они говорят, немцы в подвалах, — сказал

смуглый пограничник — тот, что был вторым номером у ручного пулемета. — Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а?

— Правильно, — согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемета.

— Ступайте, — сказал сержант, не оглядываясь. — Мне пулеметик почистить треба.

— Ага. — Плужников потоптался, добавил неуверенно: — Остаетесь тут за меня.

— Вы в темноту-то не очень суйтесь, — сказал сержант. — Шуруйте гранатами.

— Взять гранаты. — Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой. — Шесть человек — за мной.

Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал:

— Укройтесь чем-нибудь. Сквозняк.

Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал:

— Там на столе — скатерка красная. Может, дать ей?..

И побежал за скатеркой, не дожидаясь приказа.

— Ведите в подвалы, — сказал Плужников пограничнику.

Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело оступался, всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно поводил плечами, но молчал.

С каждым шагом все тише доносился и рев немецких бомбардировщиков, и частые выстрелы, что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог.

— Шумим больно, — тихо сказал Сальников. — А они как жахнут на шум…

— Тут они и сидели, женщины эти, — сказал пограничник, останавливаясь. — Дальше я не ходил.

— Тише, — сказал Плужников. — Послушаем.

Все замерли, придержав дыхание. Где-то далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино.

Глаза постепенно привыкали к мраку: медленно прорисовывались темные своды, черные провалы ведущих куда-то коридоров, светлые пятна отдушин под самым потолком.

— Сколько тут проходов? — шепотом спросил Плужников.

— Вроде три.

— Идите прямо. Еще двое — левым коридором, я — правым. Один боец останется у выхода. Сальников, за мной.

Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому бесконечному подвалу. Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного дыхания.

— Интересно, есть здесь крысы? — как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается, спросил Плужников.

— Наверняка, — шепотом сказал Сальников. — Боюсь я темноты, товарищ лейтенант.

Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. Это был непонятный страх: не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не перед неожиданной очередью из мрака. Просто в темноте ему все время мерещились непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил он впотьмах с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя еще немного, не без облегчения решил:

— Показалось им. Возвращаемся.

Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся.

— Скажите, чтоб выходили.

Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым выходом стояли женщины: наверху опять бомбили.

Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы.

— Ход там какой-то, — сказал пограничник. — Темень — жуткое дело.

— Немцев не видели?

— Я же говорю: темень. Гранату туда швырнул: вроде никто не закричал.

— Показалось бабам с испугу, — сказал круглоголовый.

— Женщинам! — строго поправил Плужников. — Баб на свете нет, запомните это.

Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед.

Полуголый сержант строчил из пулемета, рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом, цокали в щит. Плужников упал подле, подполз.

— Немцы?

— Окна! — ощерясь, кричал сержант. — Держи окна!..

Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось то, через которое он прыгал в костел. Мертвый пограничник свешивался поперек подоконника: голова его уперлась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна.

Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь: автомат забился в руках, как живой, задираясь в небо.

«Задирает, — сообразил он. — Надо короче. Короче».

Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали, и ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда: он размазал эту кровь, только когда отвалился за стену, чтобы перезарядить автомат.

А потом все стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел спросить, как там, у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжко загудело небо, и надсадный свист

бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух.

Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же, у сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого взрыва. А когда бомбежка кончалась, Плужников поднимался и стрелял по бегущим на него фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в заложенных ушах, муторно першило в пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата.

И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, «юнкерсы» с ревом пронеслись в прощальном круге над горящими, задымленными развалинами, и никто больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры: двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости.

Хотелось просто лечь на пол и закрыть глаза.

Хоть на минуту. Но он не мог позволить себе даже этой минуты: надо было узнать, сколько их осталось в живых, и где-то раздобыть патроны. Он поставил автомат на предохранитель и, пошатываясь, побрел к входному проему.

— Живы? — спросил сержант: он сидел у стены, вытянув ноги. — Это хорошо. А патронов больше нет.

— Сколько людей? — спросил Плужников, тяжело опустившись рядом.

— Целехоньких — пятеро, раненых — двое. Один вроде в грудь.

— А пограничник?

— Дружка, сказал, пойдет хоронить.

Медленно подходили бойцы: почерневшие, притихшие, с ввалившимися глазами. Сальников потянулся к фляжкам:

— Горит все.

— Оставь, — сказал сержант. — В пулемет.

— Так патронов нет.

— Достанем.

Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал сухие, запекшиеся губы:

— А если я к Бугу сбегаю?

— Не сбегаешь, — сказал сержант. — Немцы отсеки у Тереспольских ворот заняли.

Подошел пограничник. Молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурок.

— Схоронил?

— Схоронил, — вздохнул пограничник. — И никто не узнает, где могилка моя.

Все молчали, и молчание это было тяжелым, как свинец. Плужников подумал, что нужны патроны, вода, связь с командованием крепости, но подумал как-то отрешенно: просто отметил про себя. А сказал совсем другое:

— Что-то наши запаздывают.

— Кто? — спросил пограничник.

— Ну, армия. Есть же здесь наша армия?

Ему никто не ответил. Только потом сержант сказал:

— Может, ночью прорвутся. Или, скорее всего, к утру.

И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно к утру. Все-таки это был какой-то временной рубеж, грань между ночью и днем, срок, которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали.

— Патроны. — Плужников заставил себя говорить. — Где можно достать патронов? Кто знает склад?

— В казарме, знаю, — сказал сержант. — Все

равно туда идти надо: говорят, в 84-м полку есть комиссар.

— Спросите у него указаний, — с надеждой сказал Плужников. — И насчет патронов, конечно.

— Это само собой, — сказал сержант, тяжело поднимаясь. — Идем со мной, Прижнюк.

Грохнул где-то взрыв, ударила автоматная очередь. Сержант и приписник растаяли в пыльном сумраке.

— Воды надо, — маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников. — Ну, позвольте попробовать к Бугу пробраться, товарищ лейтенант. Или — к Мухавцу.

— Далеко это?

— По прямой — рядом, — усмехнулся пограничник. — Только по прямой теперь не побегаешь. А вода нужна.

— Ну, попробуйте. — Плужников вдруг подумал, что никакой он не командир, что все вопросы за него решает либо сержант, либо этот смуглый пограничник, но подумал спокойно, потому что обижаться или расстраиваться означало тратить силы, которых не было. — Только, пожалуйста, осторожнее.

— Есть! — оживился Сальников. — Может, я немецкую водку выпью, а в их посуду наберу?

— А если не наберешь? — спросил круглоголовый шутник, легко раненный в предплечье.

— Возьмите пустые фляжки. Водку вылить.

— Не всю, — сказал пограничник. — Одну оставь раны обрабатывать. И не бренчи там.

— Не брякну, — заверил Сальников, цепляя на пояс фляжки. — Ну, пошел я, а? Пить больно хочется.

И он исчез, растворившись среди воронок. Немцы лениво постреливали из орудий: редко бухали взрывы.

— Видать, чай немец пьет, — сказал круглоголовый боец. — А вчера еще кино показывали. Вот смехота-то.

Непонятно было, то ли он говорил про вчерашнюю кинокартину, которую смотрел в этом же костеле, то ли про немцев, которые, по его мнению, пили сейчас чай, но всем стало вдруг больно оттого, что вчера уже прошло, а завтра снова начнется война. И Плужникову тоже стало больно, но он прогнал все воспоминания, что лезли в голову, и заставил себя встать.

— Надо бы убитых куда-нибудь, а? В угол, что ли.

— Надо немцев пощупать, — сказал пограничник. — Как, товарищ лейтенант?

Плужников понимал, что ему не следует уходить из костела, но мальчишеское любопытство вновь шевельнулось в нем. Захотелось вблизи, своими глазами увидеть тех, кто бежал на его очереди и кто лежал сейчас в пыли перед костелом. Увидеть, запомнить, а потом рассказать Вале, Верочке и маме.

— Пойдемте вместе.

Он перезарядил автомат и с сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за пограничником на изрытый крепостной двор.

Пыль еще не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, забивалась под веки, вызывая зуд, и Плужников все время моргал и часто тер рукой слезящиеся глаза.

— Автоматы не берите, — шептал пограничник. — Рожки берите да гранаты.

Убитых было много. Сначала Плужников старался не касаться их, ворочал за ремни, но вскоре привык. Он уже набил полную пазуху автоматными обоймами, напихал в карманы гранат. Пора было возвращаться, но его неудержимо тянуло к каждому следующему убитому, точно именно у него он мог найти что-то очень нужное, прямотаки необходимое позарез. Он уже притерпелся к тошнотному запаху взрывчатки, перемазался

в чужой крови, что так щедро лилась сегодня на эту пыльную развороченную землю.

— Офицер, — чуть слышно сказал пограничник. — Документы захватить?

— Захватите…

Совсем рядом послышался стон, и он сразу примолк. Стон повторился: протяжный, мучительно болезненный. Плужников привстал, всматриваясь.

— Куда?

— Раненый.

Он подался вперед, и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка, и пуля резко щелкнула по каске. Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза: ему показалось, что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть.

— А, гад!

Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко глохнувшие в живом теле удары, нечеловеческий, сорвавшийся в хрип выкрик.

— Не смейте! — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза.

Перед затуманенным взглядом возникло потное дергающееся лицо.

— Не сметь?.. Дружка моего кончили — не сметь?! В тебя пальнули — тоже не сметь? Сопля ты, лейтенант: они нас весь день мордуют, а мы — не сметь?..

Он неуклюже перевалился к Плужникову. Помолчал, тяжело дыша.

— Кончил я его. Не ранило?

— В каску и — рикошет. До сих пор звенит.

— Идти можешь?

— Круги перед глазами.

Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок.

— На крик бьет, что ли?

Опять взревел снаряд, они еще раз приникли, а потом вскочили и побежали к костелу. Пограничник впереди. Плужников сквозь слезы с трудом угадывал его спину. Нестерпимо жгло глаза.

Сержант уже вернулся. Вместе с Прижнюком они принесли четыре цинки с патронами и теперь набивали ленты. Ночью приказано было собрать оружие, наладить связь, перевести женщин и детей в глубокие подвалы.

— Наши бабы в казармы 333-го полка перебежали, — сказал сержант.

Плужников хотел сделать замечание насчет баб, но воздержался. Спросил только:

— Нам конкретно что приказано?

— Наше дело ясное: костел. Обещали людей прислать. После поверки.

— Из города ничего не слышно? — спросил круглоголовый боец. — Будет помощь?

— Ждут, — лаконично ответил сержант.

По тому, как он это сказал, Плужников понял, что комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждет. У него сразу ослабели колени, заныло в низу живота, и он сел, где стоял: на пол, рядом с сержантом.

— Пожуй хлебца. — Сержант достал ломоть. — Хлебец мысли оттягивает, товарищ лейтенант.

Есть Плужникову не хотелось, но он машинально взял хлеб, машинально начал жевать. Последний раз он ел в ресторане… Нет, перед самым началом он пил чай в каком-то складе вместе с хромоножкой. И склад, и тех двух женщин, и хромоножку, и бойцов — всех засыпало первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костела. А ему повезло, он выскочил. Ему повезло…

Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно:

— Напился вволюшку! Налетайте, ребята.

— Сперва пулемету, — сказал сержант.

Он аккуратно, стараясь не ронять капель, долил водой пулеметный кожух, сказал Плужникову, что напиваться от пуза надо бы запретить. Плужников равнодушно согласился, сержант лично выделил каждому по три глотка и бережно упрятал фляжки.

— Жахают там, страшное дело! — с удовольствием рассказывал Сальников. — Ракету пустят и — жах! Жах! Многих поубивало.

После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошел. Он был сейчас оживлен, даже весел, и Плужникова это злило.

— Сходите к соседям, — сказал он. — Доложите, что костел мы держим. Может, патронов дадут.

— Гранат, — сказал пограничник. — Немецкие — дерьмо.

— И гранат, конечно.

Через час пришли десять бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить возле окон, договориться о сигналах, но из обожженных глаз продолжали течь слезы, сил не было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилег на пол и заснул, как провалился.

Так кончился первый день его войны, и он, скорчившись на грязном полу костела, не знал и

не мог знать, сколько их будет впереди. И бойцы, вповалку спавшие рядом и дежурившие у входа, тоже не знали и не могли знать, сколько дней отпущено каждому из них. Они жили единой жизнью, но смерть у каждого была своя.

2

Смерть у каждого была своя, и на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак, легко раненный в руку. Он потерял много крови, его все время клонило ко сну, и, чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше, к входу в подвалы.

Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемет под своды, все забились в углы.

Обстрел еще не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист бомб рвал тяжелую пыль, взрывы сотрясали костел. Плужников лежал в оконной нише, зажав уши. В широко разинутый рот било горячей пылью. Он не расслышал, он почувствовал крик. Истошный, нечеловеческий крик, прорвавшийся сквозь вой,

свист и грохот. Оглянулся — в пыльном сумраке бежал круглоголовый:

— Немцы-и-и!..

Пронзительный выдох оборвался автоматной очередью, коротко и раскатисто прогремевшей под сводами.

Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на камни, как в пыли замерцали вспышки, и тоже закричал:

— Немцы-и-и!..

Невидимые за пылью автоматчики в упор били по лежавшим бойцам. Кто-то кричал, кто-то метнулся к выходу прямо под бомбежку, кто-то, сообразив, уже стрелял в непроницаемую глубину костела. Автоматные пули крошили кирпич, чиркали об пол, свистели над головой, а Плужников, зажав уши, все еще лежал под стеной, придавив телом собственный автомат.

— Бежим!..

Кто-то — кажется, Сальников — тряс за плечо:

— Бежим, товарищ лейтенант!..

Вслед за Сальниковым Плужников выпрыгнул в окно, упал, на карачках перебежал в воронку, глотая пыль широко разинутым ртом. Самолеты низко кружили над крепостью, расстреливая из пулеметов все живое. Из костела доносились

автоматные очереди, крики, взрывы гранат.

— В подвал надо! — кричал Сальников. — В подвал!..

Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом, но страх перед автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в задымленном костеле, был так велик, что он вскочил и помчался за юрким Сальниковым. Падал, полз по песку, глотал пыль и вонючий, еще не растаявший в воронках дым и снова бежал.

Он не помнил, как добрался до черной дыры, как ввалился внутрь. Пришел в себя уже на полу: двое бойцов в драных гимнастерках трясли за плечи:

— Командир пришел, слышите? Командир!

Напротив стоял коренастый темноволосый старший лейтенант с орденом на пропыленной, в потных потеках гимнастерке. Плужников с трудом поднялся, доложил, кто он и каким образом здесь очутился.

— Значит, немцы заняли клуб?

— С тыла, товарищ старший лейтенант. Они в подвалах прятались, что ли. А тут во время бомбежки…

— Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной, — старший лейтенант кивнул на Саль-

никова, замершего у стены, — доложил, что вы закрепились в костеле.

Плужников промолчал. Безотчетный страх уже оставил его, и теперь он ясно сознавал, что нарушил свой долг, что, поддавшись панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, которую было приказано держать во что бы то ни стало. Он вдруг перестал слышать старшего лейтенанта: его бросило в жар.

— Виноват.

— Это не вина, это — преступление, — жестко сказал старший лейтенант. — Я обязан расстрелять вас, но у меня мало боеприпасов.

— Я искуплю. — Плужников хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он шепотом: — Я искуплю.

Внезапно все прекратилось: грохот разрывов, снарядный вой, пулеметная трескотня. Еще били где-то одиночные винтовки, еще трещало пламя на верхних этажах дома; но бой затих, и тишина эта была пугающа и непонятна.

— Может, наши подходят? — неуверенно спросил боец. — Может, кончилось?..

— Хитрят, сволочи, — сказал старший лейтенант. — Усилить наблюдение!

Боец убежал. Все молчали, и в этом молчании

Плужников расслышал тихий плач ребенка и мягкие голоса женщин где-то в глубинах подвала.

— Я искуплю, товарищ старший лейтенант, — поспешно повторил он. — Я сейчас же…

Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил его слова. Голос — нерусский, старательно выговаривающий слова — звучал где-то снаружи, над задымленными развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех подвалах и казематах:

— Немецкое командование предлагает прекратить бессмысленное сопротивление. Крепость окружена, Красная армия разгромлена, доблестные немецкие войска штурмуют столицу Белоруссии город Минск. Ваше сопротивление потеряло всякий тактический смысл. Даем час на размышление. В случае отказа все вы будете уничтожены, а крепость сметена с лица земли.

Глухой голос дважды повторил обращение. Дважды, размеренно и четко выговаривая каждое слово. И все в подвале, замерев, слушали этот голос и дружно вздохнули, когда он замолк и репродукторы донесли мерное постукивание метронома.

— За водой, — сказал старший лейтенант моло-

денькому бойцу, почти мальчишке, что все время молча стоял с ним рядом, колюче поглядывая на Плужникова. — Только смотри, Петя.

— Я осторожно.

— Разрешите мне, — умоляюще попросил Плужников. — Позвольте, товарищ старший лейтенант. Я принесу воду. Сколько понадобится.

— Ваша задача — отбить клуб, — сухо сказал старший лейтенант. — По всей видимости, через час немцы начнут обстрел: вы прорветесь к клубу во время обстрела и любой ценой выбьете оттуда немцев. Любой ценой!

Отчеканив последнюю фразу, старший лейтенант ушел, не слушая сбивчивых и ненужных заверений. Плужников виновато вздохнул и огляделся: в сводчатом отсеке подвала, под глубоким окном, сидели Сальников и легкораненый рослый приписник. Плужников с трудом припомнил его фамилию: Прижнюк.

— Соберите наших, — сказал он и сел, чувствуя противную слабость в коленях.

Сальников и Прижнюк нашли в подвалах еще четверых. Все разместились в одном отсеке, шепотом переговариваясь. Где-то в глубине подвала по-прежнему тихо плакал ребенок, и этот робкий плач был для Плужникова страшнее всякой пыт-

ки. Он сидел на полу не шевелясь, угрюмо думая, что совершил самое страшное: предал товарищей. Он не искал оправданий, не жалел себя, он стремился понять, почему это произошло.

«Нет, я струсил не сейчас, — думал он. — Я струсил во вчерашней атаке. После нее я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать. Не о том, как буду воевать, а что буду рассказывать…»

Подошли два пограничника с ручным пулеметом.

— Прикрывать вас приказано.

Плужников молча кивнул. Пограничники возились с пулеметом, проверяли диски, а он с тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костела, а попросить помощи не решался.

«Лучше умру, — тихо повторял он про себя. — Лучше умру».

Он почему-то упорно избегал слова «убьют», а говорил «умру». Словно надеялся погибнуть от простуды.

— Гранат-то у нас всего две, — сказал Прижнюк, ни к кому не обращаясь.

— Принесут, — сказал пограничник. — Так не бросят: свои же ребята.

Потом пришло еще человек пятнадцать. Рыжий старший сержант с эмблемами артиллериста доложил, что люди присланы в помощь. Вместе с ним Плужников развел бойцов по отсекам, расположил перед оконными нишами.

Все было готово, а немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая секунды. Плужников все время слышал этот отсчет, пытался заглушить его в себе, сосредоточиться на атаке, но громкое тиканье назойливо лезло в уши.

Вскоре подошел старший лейтенант. Проверил готовность, лично расставил бойцов. Плужникова он не замечал, хотя Плужников старательно вертелся рядом. Потом вдруг сказал:

— Атаковать днем невозможно. Согласны, лейтенант?

Плужников растерялся, не нашел слов и неуверенно кивнул.

— Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы будем атаковать днем. Главное — не ложиться, каким бы сильным ни казался огонь. Автоматы бьют рассеянно, оценили это?

— Оценил.

— Даю вам возможность искупить свою вину.

Плужников хотел заверить усталого старшего

лейтенанта, что скорее умрет, но слов не нашел и снова кивнул.

— Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам. — На замкнутом лице старшего лейтенанта впервые показалось что-то вроде улыбки. — Пойдемте к бойцам.

Старший лейтенант прошел по всем отсекам, из которых готовилась атака, повторив в каждом то, что уже сказал Плужникову: автоматы бьют рассеянно, немцы не ожидают атаки, главное — не ложиться, а бежать и бежать к костелу, под его стены.

— Осталось пять минут на размышление! — громко сказал глухой голос диктора.

— Значит, вы пойдете через четыре минуты, — сказал старший лейтенант, достав карманные часы. — Атака по моей команде и без всякой стрельбы. Тихо и внезапно: это — наше оружие.

Он поглядел на Плужникова, и, поняв этот взгляд, Плужников прошел к подвальному окну. Окно было высоко, подоконник скошен, и вылезать из него было трудно. Но красноармейцы уже передавали кирпичи и строили ступени. Плужников влез на ступени, перевел автомат на боевой взвод и изготовился. Кто-то протянул ему две гранаты, он сунул их за ремень, ручками

вниз.

— Вперед! — громко крикнул старший лейтенант. — Быстро!

Плужников рванулся, кирпичи разъехались, но он все же выскочил из окна и, не оглядываясь, побежал вперед к такой далекой сейчас стене костела.

Он бежал молча и, как ему казалось, в полном одиночестве. Сердце с такой силой колотилось в груди, что он не слышал за спиной топота, а оглянуться не было времени.

«Не стреляйте. Не стреляйте. Не стреляйте!..» — кричал он про себя.

Плужников не знал, стучит ли еще метроном или немцы уже спешно вгоняют снаряды в казенники орудий, но пока по нему, бегущему через перепаханный снарядами двор, не стрелял никто. Только бил в лицо горячий ветер, пропахший дымом, порохом и кровью.

Прямо перед ним метнулась из воронки фигура, и Плужников чуть не упал, но узнал пограничника, того, что ночью спас его, добив раненого автоматчика. Видно, пограничник тоже удрал из костела, но до подвалов не добрался и отлеживался в воронке, а теперь бежал впереди атакующих. И Плужников только успел порадоваться, что по-

граничник жив, как тишину разорвало десятком очередей и над головой взвизгнули пули: немцы открыли огонь.

Сзади кто-то закричал. Плужников хотел упасть и упал бы, но пограничник по-прежнему несся впереди огромными скачками и пока был жив. И Плужников подумал, что пули эти — не его, и не упал, а, втянув голову, в плечи, закричал:

— Ура-а!..

И на едином выдохе, на протяжном «а-а!..» добежал до стены, вжался в простенок и оглянулся.

Только трое упали: один — не шевелясь, а двое еще корчились в пыли. Остальные уже ворвались в мертвое пространство: пограничник стоял у соседнего простенка и кричал:

— Гранаты! Кидай гранаты!..

Плужников вырвал из-за пояса гранату, швырнул в окно — прямо в яркий огонек строчившего автомата. Грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного взрыва. Ударился лодыжкой о выщербленный осколками подоконник, упал на пол, но успел откатиться, и пограничник тяжело шлепнулся рядом. Кругом грохотали взрывы, в дыму и пыли мелькали вспышки выстрелов, пули дробили стены. Плужников, сидя на полу, бил по вспышкам короткими

очередями.

— На хоры уходят! На хоры! Выше бей! Выше! — кричал пограничник.

Немцы откатились наверх, на хоры: огоньки автоматов сверкали оттуда. Плужников вскинул автомат, дал длинную очередь, и одна из вспышек разом погасла, точно захлебнулась, и затвор, дернувшись, отскочил назад.

— Да бей же, лейтенант! Бей!

Плужников лихорадочно шарил по карманам: рожков не было. Тогда он выхватил последнюю гранату и побежал в густой сумрак навстречу бившим очередям. Пули ударили возле ног, по сапогам больно стегануло кирпичной крошкой. Плужников размахнулся, как на ученье, бросил гранату и упал. Гулко грохнул взрыв.

— Толково, лейтенант, — сказал пограничник, помогая ему подняться. — Ребята на хоры ворвались. Добьют без нас: деваться немцу некуда.

Сверху доносились крики, хриплая ругань, звон металла, тупые удары: немцев добивали в рукопашной. Плужников огляделся: в задымленном сумраке смутно угадывались пробегавшие красноармейцы, трупы на полу, разбросанное оружие.

— Проверь подвалы и поставь у выхода часо-

вого, — сказал Плужников и удивился, до чего просто прозвучала команда: вчера еще он не умел так разговаривать.

Пограничник ушел. Плужников подобрал с пола автомат, рывком повернул ближайшего убитого немца, сорвал с пояса сумки с рожками и пошел к выходу.

И остановился, не доходя: у выхода по-прежнему стоял их пулемет, а на нем лицом вниз, крепко обняв щит, лежал сержант. Шесть запекшихся дырок чернело на спине, выгнутой в предсмертном рывке.

— Не ушел, — сказал подошедший Сальников.

— Не отдал, — вздохнул Плужников. — Не то что мы с тобой.

— Знаете, если я вдруг испугаюсь, то все тогда. А если не вдруг, то ничего. Отхожу.

— Надо его похоронить, Сальников.

— А где? Тут камней метра на три.

— Во дворе, в воронке.

Тугой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба бросились к оконным нишам, упали на пол. И тотчас же волна взметнула пыль, вздрогнули стены, и взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости.

— После налета пойдут в атаку! — кричал

Плужников, не слыша собственного голоса. — Я прикрою вход! А ты — окна! Окна, Сальников, окна-а!..

Оглушительный взрыв раздался рядом, закачались стены, посыпались кирпичи. Взрывной волной перевернуло пулемет, отбросив мертвого сержанта. Вмиг все заволокло дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемету, на четвереньках отволок его к стене.

— Окна, Сальников!..

Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс его, дергал, бил ногой, но боец только плотнее прижимался к кирпичам.

— Окна-а!..

Снова грохнуло рядом, с дверного свода посыпались кирпичи. Раздался еще один взрыв, еще и еще, и заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их: все слилось в единый оглушающий грохот.

Никто не помнил, сколько часов продолжался обстрел. А когда затихло и они выползли из-под обломков, низкий гул повис в воздухе и на крепость с неудержимым, выматывающим воем начали пикировать бомбардировщики. И опять они вжались в стены, опять застонала земля,

опять посыпались кирпичи и закачался, грозя обвалом, костел, сложенный триста лет назад. И нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари, и давно уже не было сил. Сознание меркло, и только тело еще тупо, без боли воспринимало удары и взрывы.

«Живой, — смутно думал Плужников в плотной тишине, наглухо заложившей уши. — Я живой».

Шевелиться не хотелось, хотя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. Нестерпимо болела голова, ломало все тело: каждая кость кричала о своей боли. Язык стал сухим и огромным: он занимал весь рот и жег нёбо.

— Немцы!..

Это донеслось издалека, точно с той стороны обступившей его тишины. Но он уловил смысл, попробовал встать. С шумом посыпались кирпичи, он с трудом выбрался из-под них, открыл забитые пылью глаза.

Пограничник, торопясь, устанавливал пулемет: кожух был смят, прицельная планка погнута. Рядом незнакомый боец рылся в кирпичах, вытаскивая пулеметные ленты. Плужников встал, его качнуло, но он все же сумел сделать несколько шагов и рухнул на колени возле пулемета.

— Пусти. Сам.

— Немцы!

По искаженном улицу пограничника текла кровь. Плужников слабо оттолкнул его, повторив:

— Сам. Окна — тебе.

Лег за пулемет, намертво вцепившись ослабевшими пальцами в рукоятки. Пограничника уже не было, рядом лежал боец, вталкивая в патронник ленту. Плужников откинул крышку, поправил ленту и увидел немцев: они бежали прямо на него сквозь густую пелену дыма и пыли.

— Стреляй! — кричал боец. — Стреляй же!

— Сейчас, — бормотал Плужников, ловя сквозь прорезь щита бегущих. — Сейчас. Сил нет…

Он боялся, что не сможет надавить на гашетку: пальцы дрожали и подламывались. Но гашетка подалась, пулемет забился в руках, взметнув перед костелом широкий веер пыли. Плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие темные фигуры.

Времени больше не было. Возникали из дымной завесы темные фигуры, Плужников нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали. В перерывах рылся в обломках, вытаскивал помятые цинки, лихорадочно, в кровь сбивая пальцы, набивал

ленты. И снова стрелял по набегавшим волнам автоматчиков.

Весь день немцы не давали вздохнуть. Атаки сменялись обстрелами, обстрелы — бомбежкой, бомбежка — очередной атакой. Плужников хватал пулемет, волок его к стене, а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял: оглохший, полуослепший, ничего не соображающий. Второй номер погиб под сорвавшейся со свода глыбой, долго и страшно кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кожух то ли распаялся, то ли его продырявило осколком: пар бил из пулемета, как из самовара, а Плужников, обжигаясь, таскал его от пролома к стене и обратно и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костеле, но кончил стрелять, когда намертво перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередью по немцам и, спотыкаясь о камни и трупы, побежал в темную глубину костела.

Он не добежал до подвалов: снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое, сорванное «Ура!». Плужников понял, что подошли свои, и, качаясь, побрел к выходу, волоча автомат за собой. Кто-то кинулся к нему, что-то говорил, но он,

с трудом выдавив из пересохшего горла: «Пить…» — упал и уже ничего не видел и не слышал.

Очнулся он от воды. Открыл глаза, увидел фляжку, потянулся к ней, глотнул еще и еще и разобрал, что поит его Сальников: в темноте белела свежая повязка на голове.

— Ты живой, Сальников?

— Живой, — серьезно подтвердил боец. — Я же вам ленты подтаскивал, когда парня того придавило. А вы меня к окнам послали.

Плужников помнил темные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные крики придавленного глыбой второго номера. Помнил раскаленный пулемет, который нестерпимо жег его руки. А больше ничего вспомнить не мог и спросил:

— Отбили костел?

— Спасибо, ребята помогли. Во фланг немцам ударили.

— А вода? Откуда вода?

— Так вы же пить просили. Ну, я и сходил. Страшно: светло как днем. Там-то меня и зацепило маленько, но семь фляг донес.

— Не надо больше пить, — сам себе приказал Плужников и завинтил фляжку. — Сколько нас?

— Прижнюк у подвала стоит, мы с вами да

пограничник.

— Цел пограничник? — Плужников вдруг хрипло засмеялся. — Цел, значит? Цел?

— Кирпичом бровь рассекло, а так и не ранило: везучий. Тепленьких обшаривает. Ну, немцев, много их тут, во дворе.

Плужников пошатываясь прошел к выходу, где валялся его искалеченный пулемет. Во дворе стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мертвым светом заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины: они рвались звонко и коротко.

— Сержанта схоронили?

— Засыпало его. Один каблук торчит.

Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Плужников вспомнил вдруг, что сержант ходил в сапогах, и, значит, под кирпичами лежал тот боец, которого придавило рухнувшим сводом, но промолчал. Сел на обломок, вспомнил, что почти двое суток ничего не ел, и сказал об этом. Сальников принес немецкие галеты, и они стали неторопливо жевать их, глядя на освещенный крепостной двор.

— А все-таки мы сегодня тоже не отдали, — сказал Плужников. — Значит, мы тоже можем не отдавать, да, Сальников?

— Конечно, можем, — подтвердил Сальников.

Вернулся пограничник, притащив набитую автоматными рожками гимнастерку. Сказал вдруг:

— Запомни мой адрес, лейтенант: Гомель, улица Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. Денищик Владимир.

— А я смоленский, — сказал Сальников. — Из-под Духовщины.

— Уходить отсюда придется, — сказал пограничник после того, как они обменялись адресами. — Вчетвером не отобьемся.

— Не уйду, — сказал Плужников.

— Глупо, лейтенант.

— Не уйду, — повторил Плужников и вздохнул. — Пока приказа не получу, никуда не уйду.

Он хотел сказать о долге, которого не выполнил сегодня утром, о сержанте, не отдавшем пулемет, о Родине, где — конечно же! — принимают сейчас все меры, чтобы спасти их. Хотел, но ничего не сказал: все слова показались ему слишком маленькими и незначительными в эту вторую ночь войны.

— Врут немцы насчет Минска, правда? — спросил Сальников. — Не может быть, чтобы допустили их так далеко. Громят, наверно.

— Громят, — согласился пограничник. — Толь-

ко грома что-то не слышно.

Они невольно прислушались, но, кроме редких минных разрывов да пулеметных очередей, ничего не было слышно: грозное дыхание фронта откатилось далеко на восток.

— Значит, одни, — тихо сказал пограничник. — А ты говоришь: не уйду. А тут пулемет нужен.

Плужников и сам понимал, что без пулемета им не отбить следующей атаки. Но пулемета у него не было, а о том, чтобы уйти отсюда, он не хотел думать. Он помнил колючие глаза черноволосого старшего лейтенанта с орденом на груди, тоскливый, запуганный плач ребенка, женщин в подвале и вернуться туда без приказа уже не мог. И отпустить тоже никого не мог и поэтому сказал:

— Всем спать. Я подежурю.

Сальников тут же свернулся в клубок, а пограничник отказался, пояснив, что отоспался в воронке. Ушел в глубину костела, долго пропадал (Плужников уже начал беспокоиться), вернулся с Прижнюком и еще тремя; у рыжего старшего сержанта с артиллерийскими петлицами была задета голова. Он все тряс ею и прислушивался.

— Будто вода в ушах.

— Пованивают соседи, — сказал пограничник.

Плужников сообразил, что он говорит о трупах, что до сих пор валялись в костеле. Приказал убрать. Бойцы ушли, остался один артиллерист. Потряхивая контуженной головой, сидел у стены на полу, тупо глядя в одну точку. Потом сказал:

— А у меня жена есть. Родить в августе должна.

— Она здесь? — спросил Плужников, сразу вспомнив женщин в подвалах.

— Не, у матери. На Волге. — Он помолчал. — Как думаешь, придут наши?

— Придут. Не могут не прийти. О нас не забудут, не беспокойся.

— Сила у него, — вздохнул артиллерист. — Сегодня в атаку перли — жуткое дело.

— У нас тоже сила.

Старший сержант промолчал. Повздыхал, потряс головой:

— Может, в подвалы сходить?

— Скажите, что пулемета нет. Может, дадут.

— У них у самих не густо, — сказал артиллерист, уходя.

Немцы по-прежнему бросали ракеты. Вспыхивая, они медленно опускались на парашютах, освещая притихшую крепость. Изредка падали мины, с берегов доносились пулеметные оче-

реди. Мучительно борясь со сном, Плужников, нахохлившись, сидел у пролома. Рядом мирно посапывал Сальников.

«А все-таки я — счастливый, — подумал вдруг Плужников. — До сих пор не задело».

Подумав так, он испугался, что накличет беду, стал поспешно внушать себе, что ему очень не повезло, но внутренняя убежденность, что его, лейтенанта Плужникова, невозможно, немыслимо убить, была сильнее всяких заклинаний. Ему было всего девятнадцать лет и два месяца, и он твердо верил в собственное бессмертие. Вернулся пограничник с бойцами, доложил, что убитых из костела вытащили. Плужников молча покивал: говорить не было сил.

— Приляг, лейтенант.

Плужников хотел отказаться, качнул головой, сполз по стене на битые кирпичи и мгновенно заснул, подложив кулак под гладкую мальчишескую щеку.

…Он плыл куда-то на лодке, и волны перехлестывали через борт, и он пил холодную, необыкновенно вкусную воду, сколько хотел. А на корме в белом ослепительном платье сидела Валя и смеялась. И он смеялся во сне…

— Лейтенант!

Плужников открыл глаза, увидел Денищика, Прижнюка, Сальникова, еще каких-то бойцов и сел.

— Нам в подвалы приказано.

— Почему в подвалы?

— Сменяют. Шило на мыло.

У входного пролома распоряжался незнакомый молодой лейтенант. Бойцы устанавливали станковый пулемет, складывали из кирпичей бруствер. Лейтенант представился, передал приказ:

— В распоряжение Потапова. Подвалы под костелом проверил?

— Некогда было проверять. Поставь на всякий случай часового с гранатами: там узкая лестница. И смотри за окнами.

— Ага. Ну, счастливо.

— Счастливо. Я своих бойцов заберу. Их трое всего, сдружились.

— Думаешь, там легче будет? У них знаешь какая теперь тактика? Втихаря к окнам подползают и забрасывают гранатами. Между прочим, учти: их гранаты срабатывают с запозданием секунды на три. Если рядом упадет, свободно можешь успеть перебросить обратно. Наши так делают.

— Учту. Спасибо.

— Да, вода у вас есть?

— Сальников, у нас есть вода?

— Пять фляжек, — с неудовольствием сказал Сальников. — Пить вам тут некогда будет.

— А нам не пить, нам — в пулеметы.

— Забирайте, — сказал Плужников. — Отдай им фляжки, Сальников, и пошли.

Вчетвером они осторожно выскользнули из костела, Денищик шел впереди. Чуть светало, и по-прежнему лениво, вразнобой падали мины.

— Через часок-полтора начнут утюжить, — сказал Сальников, сладко зевнув. — Хорошо еще, немец передых дает.

— Он ночей боится, — улыбнулся Плужников.

— Ничего он не боится, — зло сказал пограничник, не оглядываясь. — С комфортом воюют, гады: восемь часов — рабочий день.

— А разве у немцев рабочий день — восемь часов? — усомнился Плужников. — У них же фашизм.

— Фашизм — это точно.

— А зачем я в солдаты сейчас пошел? — вдруг сказал Прижнюк. — Мне воинский начальник говорит: хочешь — сейчас иди, хочешь — осенью. А я говорю: сейчас…

Короткая очередь вспорола предутреннюю

тишину. Все упали, скатившись в воронку. Огня больше не было.

— Может, свои? — шепотом спросил Прижнюк. — Может, наши ползают, а?

— На голос бил, — еле слышно отозвался Денищик. — Какие тебе, к черту, свои…

Он замолчал, и все опять настороженно прислушались. Плужникову показалось, что где-то совсем рядом слабо звякнуло железо. Он сжал пограничнику локоть:

— Слышишь?

Денищик надел каску на автомат, приподнял над краем воронки. Никто не стрелял, и он опустил каску.

— Погляжу. Лежите пока.

Он бесшумно выполз из воронки, пропал за гребнем, Сальников передвинулся вплотную, зашипел в ухо:

— Вот тебе и восемь часов. Зря мы воду оставили, товарищ лейтенант. Пусть сами…

— Да свои это, — упрямо повторил Прижнюк. — Видать, оружие собирают.

Что-то упало на край воронки, скатилось по песку, стукнув по каске. Плужников повернул голову: перед ним лежала ручная граната с длинной ручкой.

В какой-то миг ему показалось, что он слышит ее шипение. Он успел подумать, что это — конец, успел ощутить острую боль в сердце, успел вспомнить что-то милое-милое — маму или Верочку, — но все это заняло лишь долю секунды. И не успела эта секунда истечь, как он схватил гранату за горячий набалдашник и швырнул ее в темноту. Грохнул взрыв, их осыпало песком, и тотчас же раздался отчаянный крик Денищика:

— Немцы! Бегите, ребята! Бегите!..

Предрассветную тишь рванули автоматные очереди. Они били со всех сторон: путь к костелу и подвалам 333-го полка был отрезан.

— Сюда! — крикнул пограничник.

Плужников успел заметить, откуда раздался крик, пригнувшись, кинулся к Денищику. Огоньки автоматных очередей стягивали кольцо. Плужников скатился в воронку, из которой, прикрывая их, коротко бил пограничник. Следом ввалился Сальников.

— Где Прижнюк?

— Убило его! — кричал Сальников, отстреливаясь. — Убило!

Немцы огнем прижимали их к земле, стягивая кольцо.

— Бегите до следующей воронки! — кричал

Денищик. — Потом меня прикроете! Скорее, лейтенант! Скорее!..

Стрельба усилилась: из костела по вспышкам бил пулемет, стреляли из подвала 333-го полка, из развалин левее. Плужников перебежал в следующую воронку, упал, торопливо открыл огонь, стараясь не попасть в темную фигуру бегущего на него Денищика. У Сальникова заело автомат.

Прикрывая друг друга, они перебежками добрались до каких-то пустынных развалин, и немцы отстали. Постреляв немного, замолчали, растаяв в предрассветном сумраке. Можно было отдышаться.

— Вот это напоролись, — сказал Денищик, сидя на обломках и тяжело переводя дыхание. — Рванул я стометровку сегодня почище чемпиона мира.

— Повезло! — вдруг захохотал Сальников. — Обратно же повезло!

— Молчать! — оборвал Плужников. — Лучше автомат разбери, чтоб не заедал следующий раз.

Обиженно примолкнув, Сальников разбирал автомат. Плужникову стало неудобно за этот окрик, но он боялся, что радостное хвастовство в конце концов накличет на них беду. Кроме того, его очень беспокоило, что теперь они отрезаны

от своих.

— Осмотрите помещение, — сказал он. — Я понаблюдаю.

Стрельба кончилась, только по берегам еще стучали редкие очереди. В незнакомых развалинах пахло гарью, бензином и чем-то тошнотно-приторным, чего Плужников не мог определить. Слабый предрассветный ветерок нес запах разлагавшихся трупов, его мутило от этого запаха.

«Надо перебираться, — думал он. — Только куда?»

— Гаражи, — сказал, вернувшись, Денищик. — В соседнем блоке ребята сгорели: страшно смотреть. И подвалов нет.

— Ни подвалов, ни водички, — вздохнул Сальников. — А ты говорил — восемь часов. Эх, страж родины!

— Немцы близко?

— Вроде на том берегу, за Мухавцом. Справа — казармы какие-то. Может, перебежим, пока тихо?

Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин. Здания тут были снесены прямыми попаданиями: громоздились горы битого кирпича. За ними угадывалась река и темнели кусты противоположного берега.

— Там немцы, — сказал Денищик. — Колечко у нас тесное, лейтенант. Может, рванем отсюда следующей ночью?

— А приказ? Есть такой приказ, чтобы оставить крепость?

— Это уже не крепость, это — мешок. Осталось завязать потуже — и не выберемся.

— Мне дали приказ держаться. А приказа бежать мне никто не давал. И тебе тоже.

— А самостоятельно соображать ты после контузии разучился?

— В армии исполняют приказ, а не соображают, как бы удрать подальше.

— А ты объясни мне этот приказ! Я не пешка, я понимать должен, для какой стратегии я тут по кирпичам ползаю. Кому они нужны? Фронта уж сутки как не слыхать. Где наши сейчас, знаешь?

— Знаю, — сказал Плужников. — Там, где надо.

— Ох, пешки! Вот потому-то нас и бьют, лейтенант. И бить будут, пока…

— Мы бьем! — закричал вдруг Плужников. — Это мы бьем их, понятно? Это они по кирпичам ползают, понятно? А мы… Мы… Это наши кирпичи, наши! Под ними советские люди лежат. Товарищи наши лежат, а ты… Паникер ты!

— А ну поосторожнее, лейтенант! За такое слово

я и на звание не посмотрю: как дам между глаз…

— Свои! — радостно удивился Сальников. — Саперы наши, глядите!

Возле уцелевшей стены казармы суетилось человек восемь. Плужников хотел вскочить, но пограничник придержал его:

— В сапогах они.

— Ну и что?

— В немецких: видишь, голенища короткие?

— Я тоже в немецких, — сказал Сальников. — Колодка у них неудобная.

— А наши саперы в обмотках ходили, — сказал Денищик. — А эти — сплошь в сапогах. Так что спешить погодим.

— Да чего ты боишься? — возмутился Сальников. — Форма наша…

— Форму надеть — три минуты делов. Обождите здесь.

Пригнувшись, Денищик перебежал к остаткам стены, ловко взобрался наверх, к разбитому оконному проему.

— Наши это ребята, ясно же, — недовольно ворчал Сальников. — У них, поди, водичка есть: Мухавец рядом.

Пограничник негромко свистнул. Приказав нетерпеливому Сальникову лежать, Плужников

влез к пограничнику.

— Ну, гляди. — Денищик отодвинулся, освобождая место.

Сверху хорошо был виден противоположный берег Мухавца, позиции на валу, немецкие солдаты, мелькавшие в кустах у самого берега.

— А по саперам они, между прочим, не стреляют, — тихо сказал пограничник. — Почему?

— Да, — вздохнул Плужников. — Пошли вниз, тут заметить могут.

Они вернулись к Сальникову. Тот лежал, как приказано, но изо всех сил вытягивал шею, чтобы дальше видеть.

— Ну? Чего насмотрели?

— Немцы это.

— Брось! — не поверил Сальников. — А как же форма?

— А ты не форме верь, а содержанию, — усмехнулся пограничник. — Они, гады, взрывчатку под стены кладут. Шуганем их, лейтенант? Наши ведь за стенами-то.

— Шугануть бы следовало, — задумчиво сказал Плужников. — А куда отходить будем?

— Так кто же из нас о бегстве думает: ты или я?

— Дурак ты! — рассердился Плужников. — Они нас тут запросто минами забросают: крыши-то

нет.

— Соображаешь, — одобрительно сказал пограничник.

Плужников огляделся. В грудах битого кирпича укрыться от мин было невозможно, а уцелевшие кое-где стены обещали рухнуть при первой хорошей бомбежке. Принимать же бой без удобных отходов было равносильно самоубийству: немцы обрушивали лавину огня на очаги сопротивления. Это Плужников знал по собственному опыту.

— А если вперед? — предложил Сальников. — В той казарме — наши. Прямо к ним, а?

— «Вперед»! — насмешливо передразнил пограничник. — Тоже, стратег нашелся.

— А может, и правда — вперед? — сказал Плужников. — Подползти, забросать гранатами и — одним рывком к казарме. А там — подвалы.

Пограничник нехотя согласился: его пугала атака на глазах у противника. Здесь требовалась особая осторожность, и поэтому ползли они долго. Продвигались только по очереди: пока один ужом скользил между обломков, двое следили за немцами, готовые прикрыть его огнем.

Немецкие саперы, занятые устройством фугасов под уцелевшей стеной казармы, не смотрели

по сторонам. То ли были убеждены, что никого, кроме них, здесь нет, то ли очень надеялись на наблюдателей с той стороны Мухавца. Они уже заложили взрывчатку и аккуратно прокладывали шнуры, когда из ближайшей воронки одновременно вылетели три гранаты.

Уцелевших в упор добили из автоматов. Все было сделано быстро и внезапно: с той стороны Мухавца не прозвучало ни одного выстрела.

— Взрывчатку! — кричал Плужников, лихорадочно обрывая шнуры. — Доставай взрывчатку!

Денищик и Сальников успели вытащить пакеты, когда, немцы, опомнившись, открыли ураганный огонь. Пули дробно стучали о кирпичи. Они бросились за угол, но здесь уже с визгом рвались мины. Оглушенные и полуослепшие, они скатились в дыру. В черный провал подвала.

— Обратно живы! — Сальников возбужденно смеялся. — Я же говорил! Я же говорил!..

— Нога. — Плужников потрогал разорванное голенище — рука была в крови. — Бинт есть?

— Глубоко? — обеспокоенно спросил Денищик.

— Кажется, нет. Поверху осколок.

Пограничник оторвал лоскут от пропотевшей нижней рубахи:

— Перетяни потуже.

Плужников стащил сапог, задрал штанину. Из рваной раны обильно текла кровь. Он подложил под лоскут грязный носовой платок, крепко перевязал. Повязка сразу набухла, но кровь больше не шла.

— Заживет, как на собаке, — сказал Денищик.

Подошел Сальников. Сказал озадаченно:

— Тут выхода нет. Только этот отсек.

— Не может быть.

— Точно. Все стены проверил.

— Ловко будет, когда они фугас рванут, — невесело усмехнулся Денищик. — Братская могила на трех человек.

Они еще раз обошли подвальный отсек, старательно обшаривая каждый метр. У противоположной стены кирпичи лежали навалом, точно рухнув со свода, и они начали торопливо разбирать их. Наверху слышался рев пикирующих бомбардировщиков, грохот: немцы начали утреннюю бомбежку. Гремело над самой головой, дрожали стены, но они продолжали растаскивать кирпичи: в каменном мешке иного выхода не было.

Это был слабый шанс, и на сей раз он выпал не им; убрав последние обломки, они обнаружили плотный кирпичный пол — этот отсек подвала

не имел второго выхода. А оставаться здесь было невозможно: немцы подбирались вплотную, и если бы обнаружили их, то двух гранат, брошенных в пролом, было бы вполне достаточно. Уходить следовало немедленно.

— Надо, пока бомбят! — кричал пограничник. — Автоматчиков тогда нету!

Грохот заглушал слова. Взрывы гнали в окно пыль, раскаленный воздух, тяжелый смрад взрывчатки и гниющих трупов. Пот разъедал глаза, ручьями тек по телу. Нестерпимо хотелось пить.

Бомбежка кончилась, отчетливо слышался вой бомбардировщиков и частая стрельба. Отбомбившись, самолеты продолжали кружить над крепостью, расстреливая ее из пушек и пулеметов.

— Идем! — кричал Денищик, стоя у пролома. — Они в стороне кружат. Идем, ребята, пока опять не отрезали!

Он кинулся в пролом, выглянул и тут же отпрянул, чуть не сбив Плужникова:

— Немцы.

Они прижались к стене. Рев самолетов затихал, яснее звучала ружейная стрельба. И все же они уловили сквозь нее и шаги, и чужой говор: они

уже научились выбирать из оглушающего грохота то, что непосредственно угрожало им.

Темная фигура на миг заслонила пролом: кто-то осторожно заглянул в каменный мешок и тотчас же отпрянул. Плужников беззвучно снял автомат с предохранителя. Сердце билось так сильно, что он боялся, как бы немцы не услыхали этот стук.

Вновь совсем рядом раздались голоса. В пролом влетела граната, ударилась о дальнюю стенку подвала, но они успели упасть на пол, и раздался взрыв. Тут, в тесном подземелье, он был болезненно резок. В стены застучали осколки, вонючий дым близкого разрыва опалил лицо.

Плужников не успел ни испугаться, ни обрадоваться, что осколки прошли выше. Немцы были рядом, в двух шагах, и он не смел даже спросить товарищей, не задело ли кого. Надо было лежать, лежать, не шевелясь, безропотно ожидая очередных гранат.

Но гранат немцы больше не кидали. Поговорив, пошли дальше, к следующему подвальному отсеку. Шаги удалялись, глухо донесся гранатный взрыв: немцы проверяли соседние помещения.

— Целы? — еле слышно спросил Плужников.

— Целы, — отозвался Денищик. — Замри, лейтенант.

Весь день они пролежали в этом подвале. Весь день до темноты, боясь шевельнуться, не решаясь вздохнуть, потому что немцы ходили рядом: настороженным слухом они ловили их непонятный говор. От постоянного напряжения мучительно сводило мускулы.

Они не знали, что происходит наверху. Отчетливо слышалась стрельба, дважды противник обращался с предложением сложить оружие, давая часовые передышки. Но они не смогли воспользоваться и ими: немцы заняли этот участок казарм.

Рискнули выползти ночью, хотя эта ночь была беспокойнее предыдущих. Немцы прочно блокировали берега, ярко освещали крепость ракетами и не прекращали минный обстрел. То и дело слышались глухие взрывы: немецкие саперы методически рвали фугасами стены, потолки и перекрытия, расчищая путь своим штурмовым группам.

Денищик вызвался в разведку. Долго не возвращался. Сальников уже шипел, что надо тикать. Но близких выстрелов не слышалось, а Плужников не мог поверить, что пограничник сдастся без боя, и поэтому ждал.

Наконец послышался шорох, в проломе появи-

лась голова:

— Ползите. Тихо: немец рядом.

Снаружи было душно, отчетливо доносился сладковатый трупный запах, и пересохшее горло все время сжимали судорожные рвотные спазмы. Плужников старался дышать ртом.

Повсюду слышались немецкие голоса, стук ломов и кирок: саперы проламывали проходы в стенах, подводили фугасы. Пришлось долго ползти по обломкам, замирая при каждом вылете ракеты.

В глубокой яме, куда наконец ввалились они, нестерпимо воняло: на дне лежали вспухшие на трехдневной жаре, развороченные взрывами трупы. Но здесь можно было передохнуть, оглядеться и решить, что делать дальше.

— Обратно в костел надо, — горячо убеждал Сальников. — Там стены — ого! А водичку я достану. Под носом проползу, а достану.

— Костел — мышеловка, — упрямился пограничник. — Немцы по ночам до стен добираются, окружат и — хана. Надо в подвалы: там народу побольше.

— А водички поменьше! Ты день в воронке дрых, я там сидел: раненым по столовой ложке водички отпускают, как лекарство. А здоровые

лапу сосут. А я без водички…

Плужников слушал эти пререкания, думая о другом. Весь день они пролежали в двух шагах от немцев, и он собственными глазами увидел, что противник действительно изменил тактику. Саперы упорно долбили стены, закладывали фугасы, подрывали перекрытия. Немцы грызли оборону, как крысы: об этом следовало доложить немедленно. Он поделился этими соображениями с бойцами. Сальников сразу заскучал:

— Мое дело маленькое.

— Как бы свои не подстрелили, — озабоченно сказал Денищик. — Напоремся в темноте. А крикнуть — немцы минами забросают.

— Надо через казарму, — сказал Плужников. — Не могут же все подвалы быть изолированными.

— Еле уползли, теперь — обратно, — недовольно ворчал Сальников. — Лучше в костел, товарищ лейтенант.

— Завтра в костел, — сказал Плужников. — Надо сперва саперов пугнуть.

— Это мысль, лейтенант, — поддержал пограничник. — Шуранем немчуру и — к своим.

Но шурануть саперов не удалось. Под Плужниковым осыпались кирпичи, когда он вскочил: подвела задетая осколком нога. Он упал, и тут же

прицельная очередь автомата разнесла кирпич возле его головы.

Им так и не удалось прорваться к своим, но все же они перебежали к кольцевым казармам на берегу Мухавца. Этот участок казался вымершим, в оконных проемах не было видно ни своих, ни чужих. Но раздумывать было некогда, и они вскочили в ближайший черный пролом подвала. Вскочили, прижались к стенам: немецкие сапоги протопали поверху.

— Долго совещались, — сказал Денищик, когда все стихло.

Никто не успел ответить. В темноте клацнул затвор, и хриплый голос спросил:

— Кто? Стреляю!

— Свои! — громко сказал Плужников. — Кто тут?

— Свои? — из темноты говорили с трудом, в паузах слышалось тяжелое дыхание. — Откуда?

— С улицы, — резко сказал Денищик. — Нашел время допрашивать: немцы наверху. Ты где тут?

— Не подходить, стреляю! Сколько вас?

— Вот чумовой! — возмутился Сальников. — Ну, трое нас, трое. А вас?

— Один — ко мне, остальным не двигаться.

— Один иду, — сказал Плужников. — Не стре-

ляйте.

Растопырив руки, чтобы не наткнуться в темноте, он ушел в черную глубину подвала.

— Жрать хочу, — шепотом признался Сальников. — Супцу бы сейчас.

Денищик достал плитку шоколада, отломил четвертую часть:

— Держи.

— Откуда взял?

— Одолжил, — усмехнулся пограничник.

— То-то несладкий он.

Вернулся Плужников. Сказал тихо:

— Политрук из 455-го полка. Ноги у него перебиты, вторые сутки лежит.

— Один?

— Товарища вчера убило. Говорит, над ним — дыра на первый этаж. А там к нашим пробраться можно. Только рассвета ждать придется: темно очень.

— Обождем. Пожуй, лейтенант.

— Шоколад, что ли? А политруку?

— Есть и политруку.

— Пошли. Сальников, останешься наблюдать.

У противоположной стены лежал человек, они определили его по прерывистому дыханию и тяжелому запаху крови. Присели рядом. Плужни-

ков рассказал, как дрались в костеле, как ушли оттуда, нарвались на немцев и отлеживались потом в каменном отсеке.

— Отлеживались, значит? Молодцы, ребята: кто-то воюет, а мы — отлежимся.

Политрук говорил с трудом. Дыхание было коротким, и у него уже не было сил вздохнуть полной грудью.

— Ну и перебили бы нас там, — сказал Плужников. — Пара гранат, и все дела.

— Гранат испугался?

— Глупо погибать неохота.

— Глупо? Если убил хоть одного, смерть уже оправдана. Нас двести миллионов. Двести! Глупо, когда никого не убил.

— Там очень невыгодная позиция.

— Позиция… У нас одна позиция: не давать им покоя. Чтоб стрелял каждый камень. Знаешь, что они по радио нам кричат?

— Слыхали.

— Слыхали, да не анализировали. Сначала они просто предлагали сдаваться. Запугивали: «Сметем с лица земли». Потом: «Стреляйте комиссаров и коммунистов и переходите к нам». А вчера вечером — новая песня: «Доблестные защитники крепости». Обещают райскую жизнь всем, кто

сложит оружие, даже комиссарам и коммунистам. Почему их агитация повернулась на сто восемьдесят градусов? Потому что мы стреляем. Стреляем, а не отлеживаемся.

— Ну, мы сдаваться не собираемся, — сказал Денищик.

— Верю. Верю, потому и говорю. Задача одна: уничтожать живую силу. Очень простая задача.

Политрук говорил что-то еще, а Плужников опять плыл в лодке, и опять через борт плескалась вода, и опять он пил эту воду и никак не мог напиться. И опять на корме сидела Валя в таком ослепительном платье, что у Плужникова слезились глаза. И наверно, поэтому он не смеялся во сне…

Растолкали его, когда рассвело, и он сразу увидел политрука: невероятно худого, заросшего щетиной, среди которой все время двигались искусанные в кровь тонкие губы. На изможденном, покрытом грязью и копотью лице жили только глаза — острые, немигающие, пристально упершиеся в него.

— Выспался?

Возраста у политрука уже не было.

Втроем они вытащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Здесь

стояли двухъярусные койки, покрытые голыми досками: сенники и постельное белье защитники унесли с собой. На полу валялись стреляные гильзы, битый кирпич, обрывки заскорузлого, в засохшей крови обмундирования. Разбитые прямой наводкой простенки зияли провалами.

Политрука уложили на койку, хотели сделать перевязку, но так и не решились отодрать намертво присохшие бинты. От ран шел тяжелый запах.

— Уходите, — сказал политрук. — Оставьте гранату и уходите.

— А вы? — спросил пограничник.

— А я немцев подожду. Граната да шесть патронов в пистолете: будет чем встретить.

Канонада оборвалась резко, будто вдруг выключили все звуки. И сразу зазвучал знакомый, усиленный динамиками голос:

— Доблестные защитники крепости! Немецкое командование призывает вас прекратить бессмысленное сопротивление. Красная армия разбита…

— Врешь, сволочь! — крикнул Денищик. — Брешешь, жаба фашистская!

— Войну не перекричишь. — Политрук чуть усмехнулся. — Она выстрел слышит, а голос —

нет. Не горячись.

Иссушающая жара плыла над крепостью, и в этой жаре вспухали и сами собой шевелились трупы. Тяжелый, густо насыщенный пылью и запахом разложения пороховой дым сползал в подвалы. И дети уже не плакали, потому что в сухих глазах давно не было слез.

— Всем, кто в течение получаса выйдет из подвалов без оружия, немецкое командование гарантирует жизнь и свободу по окончании войны. Вспомните о своих семьях, о невестах, женах, матерях. Они ждут вас, солдаты!

Голос замолчал, и молчала крепость. Она молчала тяжело и грозно, измотанная круглосуточными боями, жаждой, бомбежками, голодом. И это молчание было единственным ответом на очередной ультиматум противника.

— О матерях вспомнили, — сказал политрук. — Значит, не ожидал немец такого поворота.

Степь да степь кругом,

Путь далек лежит…

Чисто и ясно зазвучала в раскаленном воздухе песня. Родная русская песня о великих просторах и великой тоске. От неожиданности у Плужникова перехватило дыхание, и он изо всех сил

стиснул зубы, чтобы сдержать нахлынувшие вдруг слезы. А сильный голос вольно вел песню, и крепость слушала ее, беззвучно рыдая у закопченных амбразур.

— Не могу-у!.. — Сальников упал на пол, вздрагивая, бил кулаками по кирпичам. — Не могу! Мама, маманя песню эту…

— Молчать! — крикнул политрук. — Они же на это и бьют, сволочи! На это, на слезы наши!..

Сальников замолчал. Музыка еще звучала, но сквозь нее Плужников уловил вдруг странный протяжный гул.

Прислушался, не смог разобрать слов, но понял: где-то под развалинами хриплыми, пересохшими глотками нестройно и страшно пели «Интернационал». И поняв это, он встал.

Это есть наш последний и решительный бой… —

из последних сил запел политрук. Хрипя, он кричал слова гимна, и слезы текли по изможденному лицу, покрытому копотью и пылью. И тогда Плужников запел тоже, а вслед за ним и пограничник. И Сальников поднялся с пола и встал рядом, плечом к плечу, и тоже запел «Интернационал»:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой…

Они пели громко, так громко, как не пели никогда в жизни. Они кричали свой гимн, и этот гимн был ответом сразу на все немецкие предложения. Слезы ползли по грязным лицам, но они не стеснялись этих слез, потому что это были другие слезы. Не те, на которые рассчитывало немецкое командование.

3

Спотыкаясь, Плужников медленно брел по бесконечному, заваленному битым кирпичом подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы. За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик: он сам принес заросшему по брови, иссохшему фельдшеру десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое дорогое, что он мог раздобыть: полстакана мутной вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он все вре-

мя чувствовал, как она булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно сознавал, что на эту воду он не имеет права.

Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькала у бедра, он считал дни. Он отчетливо помнил только три первых дня обороны, а потом дни и ночи сливались в единую цепь вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки, минут забытья. И постоянного, изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить.

Они еще возились с политруком, стараясь поудобнее устроить его, когда откуда-то появились немцы. Политрук закричал, чтобы они бежали, и они побежали через разгромленные комнаты, где вместо окон зияли разорванные снарядами дыры. Сзади прозвучало несколько выстрелов и грохнул взрыв: политрук принял последний бой, выиграв для них секунды, и они опять ушли, сумев в тот же день пробраться к своим через чердачные перекрытия. И Сальников опять радовался, что им повезло.

Они пришли к своим, и не было ни воды, ни патронов, только пять ящиков гранат без взрывателей. И по ночам они ходили к немцам, и в

узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололи штыками и кинжалами, а днем отражали атаки тем оружием, какое смогли захватить. И ползали за водой под фиолетовым светом ракет, раздвигая ослизлые трупы. А потом те, кто остался в живых, ползли назад, сжимая в зубах дужку котелка и уже не опуская головы. И кому не везло, тот падал лицом в котелок, и, может быть, перед смертью успевал напиться воды. Но им везло, и пить они не имели права.

А днем — от зари до зари — бомбежки сменяли обстрелы и обстрелы — бомбежки. И если вдруг смолкал грохот, значит, опять чужой механический голос предлагал прекратить сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли знакомыми песнями. И они молча слушали эти песни и тихий плач умирающих от жажды детей.

Потом пришел приказ о прорыве, и им подкинули патронов и даже взрывателей для гранат. Они — все трое — атаковали по мосту и уже добежали до половины, когда немцы в упор, с двадцати шагов, ударили шестью пулеметами. И ему опять повезло, потому что он успел прыгнуть через перила в Мухавец, вволю напиться воды и

выбраться к своим. А потом опять пошел на этот мост, потому что там остался Володька Денищик. Пограничник из Гомеля, Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. А Сальников опять уцелел и, дергаясь, кричал потом в каземате:

— Обратно повезло, вот! Кто-то за меня богу молится, ребята! Видно, бабуня моя в церковь зачастила!

Только когда все это было? До или после того, как приняли решение отправить в плен женщин и детей? Они выползали из щелей на залитый солнцем двор: худые, грязные, полуголые, давно изорвавшие платья на бинты. Дети не могли идти, и женщины несли их, бережно обходя неубранные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот — уже после смерти искореженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый — мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слез, и немцы впервые спокойно и открыто стояли на берегах.

Когда это было — до или после их неудачной попытки вырваться из кольца? До или после? Плужников очень хотел вспомнить и — не мог. Никак не мог.

Плужников рассчитывал увидеть слабый от-

блеск свечи, но, еще не видя его, еще не дойдя до поворота, услышал стон. Несмотря на оглушающие бомбежки и постоянный звон в ушах, слух его работал пока исправно, да и стон, что донесся до него — протяжный, хриплый, уже даже и не стон, а рев, — был громок и отчетлив. Кричал обожженный боец: накануне немцы сбрасывали с самолетов бочки с бензином, и горячая жидкость ударила в красноармейца. Плужников сам относил его в подвал, потому что оказался рядом, и его тоже обожгло, но не сильно, а боец уже тогда начал кричать и, видно, кричал до сих пор.

Но крик этот не был одиноким. Чем ближе подходил Плужников к глухому и далекому подвалу, куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. Здесь лежали умирающие — с распоротыми животами, оторванными конечностями, проломленными черепами, — а единственным лекарством была немецкая водка да руки тихого фельдшера, на котором кожа от жажды и голода давно висела тяжелыми слоновьими складками. Отсюда уже не выходили, отсюда выносили тех, кто уже успокоился, а в последнее время перестали и выносить, потому что не было уже ни людей, ни сил, ни времени.

— Воды не принес?

Фельдшер спрашивал не для себя: здесь, в подвале, заполненном умирающими и мертвыми вперемешку, глоток воды был почти преступлением. И фельдшер, медленно и мучительно умирая от жажды, не пил никогда.

— Нет, — солгал Плужников. — Водка это.

Он сам добыл эту воду во время утренней бомбежки. Дополз до берега, оглохнув от взрывов и звона бивших в каску осколков. Он зачерпнул не глядя, сколько мог, он сам не сделал ни глотка из этой фляжки: он нес ее, единственную драгоценность, Денищику и поэтому солгал.

— Живой он, — сказал фельдшер.

Сидя у входа подле ящика, на котором чадила свеча, он неторопливо рвал на длинные полосы грязное, заскорузлое обмундирование: тем, кто жив, еще нужно было делать перевязки.

Плужников дал ему три немецких сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не мог прикурить, попадая мимо пламени: дрожали руки, да и сам он качался из стороны в сторону, уже не замечая этого.

Свеча едва горела в спертом, густо насыщенном тлением, болью и страданием воздухе. Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек,

то вдруг выравнивался, взлетая ввысь, снова съеживался, но — жил. Жил и не хотел умирать. И, глядя на него, Плужников почему-то подумал о крепости. И сказал:

— Приказано уходить. Кто как сможет.

— Прощаться зашел? — Фельдшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, повернулся, глянул мертвыми, ничего уже не выражающими глазами. — Им не говори. Не надо.

— Я понимаю.

— Понимаешь? — Фельдшер покивал. — Ничего ты не понимаешь. Ничего. Понимал бы — мне бы не сказал.

— Приказ и тебя касается.

— А их? — Фельдшер кивнул в стонущую мглу подвала. — Их что, кирпичами завалим? Даже и пристрелить нечем. Пристрелить нечем, это ты понимаешь? Вот они меня касаются. А приказы… Приказы уже не касаются: я сам себе пострашнее приказ отдал. — Он замолчал, глаза его странно, всего на мгновение, на миг один блеснули. — Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его — сдохнет немец. Сдохнет! И война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится.

И замолчал, скорчился, высасывая сигарет-

ный дым сухим, проваленным ртом. Плужников молча постоял рядом, достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его рядом со свечой и медленно пошел в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже навеки замолчавших.

Денищик лежал с закрытыми глазами, и перевязанная грязным, пропитанным кровью тряпьем грудь его судорожно, толчками приподнималась при каждом вздохе. Плужников хотел сесть, но рядом, плечом к плечу, лежали другие раненые, и он смог только опуститься на корточки. Это было трудно, потому что у него давно уже болела отбитая кирпичами спина.

— Соседа отодвинь, — не открывая глаз, сказал Денищик. — Он вчера еще помер.

Плужников с трудом повернул на бок окоченевшее тело — напряженно вытянутая рука тупо, как палка, ударилась о каменный пол, — сел рядом. Осторожно, страшась привлечь внимание, отцепил от пояса фляжку. Денищик потянулся к ней и — отстранился:

— А сам?

— Я — целый.

Она все-таки булькнула, эта фляжка, и сразу в подвальной мгле зашевелились люди. Кто-то уже полз к ним, полз через еще живых и уже мертвых,

кто-то уже хватал Плужникова за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись, телом прикрывая пограничника, Плужников торопливо шептал:

— Пей. Пей, Володя. Пей.

А подвал шевелился, стонал, выл, полз к воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рук, страшных в неживой уже цепкости. И хрипел единым страшным выдохом:

— Воды-ы!..

— Нету воды! — громко крикнул Плужников. — Нету воды, братцы, товарищи, нету!

— Воды-ы!.. — хрипели пересохшие глотки.

И кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то руки по-прежнему рвали Плужникова за плечи, за портупею, за перепревшую от пота гимнастерку.

— Ночью принесу, товарищи! — кричал Плужников. — Ночью, сейчас головы не поднимешь! Да пей же, Володька, пей!..

Замер на миг подвал, и в наступившей тишине все слушали, как трудно глотает пограничник. Пустая фляжка со стуком упала на пол, и снова кто-то заплакал, забился, закричал.

— Значит, завтра помру, — вдруг сказал Денищик, и в слабой улыбке чуть блеснули зубы. — Думал, сегодня, а теперь — завтра. А до войны я в Осводе работал. Целыми днями в воде. Река

быстрая у нас, далеко сносит. Бывало, наглотаешься… — Он помолчал. — Значит, завтра… Сейчас что, ночь или день?

— День, — сказал Плужников. — Немцы опять уговаривают.

— Уговаривают? — Денищик хрипло засмеялся. — Уговаривают, значит? Сто раз убили и всё — уговаривают? Мертвых уговаривают! Значит, не зря мы тут, а?.. — Он вдруг приподнялся на локтях, крикнул в темноту: — Не кляните за глоток, ребята! Ровно глоточек был, делить нечего. Уговаривают нас, слышали? Опять упрашивают…

Он трудно закашлялся, изо рта булькающими пузырями пошла кровь. В подвале примолкли, только по-прежнему тягуче выл обожженный боец. Кто-то сказал из тьмы:

— Ты прости нас, браток. Прости. Что там, наверху?

— Наверху? — переспросил Плужников, лихорадочно соображая, как ответить. — Держимся. Патронов достали. Да, утром наши «ястребки» прилетали. Девять штук! Три круга над нами сделали. Значит, знают про нас, знают! Может, разведку делали, прорыв готовят…

Не было никаких самолетов, никто не готовил прорыва, и никто не знал, что на крайнем западе

страны, далеко в немецком тылу, живой человеческой кровью истекает старая крепость. Но Плужников врал, искренне веря, что знают, что помнят, что придут. Когда-нибудь.

— Наши придут, — сказал он, чувствуя, как в горле щекочут слезы, и боясь, что люди в подвале почувствуют их и все поймут. — Наши обязательно придут и пойдут дальше. И в Берлин придут, и повесят Гитлера на самом высоком столбе.

— Повесить мало, — тихо сказал кто-то. — Водички бы ему не давать недели две.

— В кипятке его сварить.

— Про чаи отставить, — сказал тот, что просил прощения. — Продержись до своих, браток. Обязательно продержись. Уцелей. И скажешь им: тут, мол, ребята… — Он замолчал, подыскивая то самое, то единственное слово, которое мертвые оставляют живым.

— Умирали, не срамя, — негромко и ясно сказал молодой голос.

И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших головы и за той чертой, что отделяет живых от мертвых. И Плужников молчал вместе со всеми, не чувствуя слез, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу.

— Коля… — Денищик теребил за рукав. — Я ни о чем не прошу: патроны дороги. Только выведи меня отсюда, Коля. Ты не думай, я сам дойду, я чувствую, что дойду. Я завтра помру, сил хватит. Только помоги мне маленько, а? Я солнышко хочу увидеть, Коля.

— Нет. Там бомбят все время. Да и не дойдешь ты.

— Дойду, — тихо сказал пограничник. — Ты должен мне, Коля. Не хотел говорить, а сейчас скажу. В тебя пули шли, лейтенант, в тебя, Коля, твой это свинец. Так что сведи меня к свету. И все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть.

Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, пошел к выходу сам: Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать через лежавших на полу бойцов.

Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически, аккуратно разрывая на полосы одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе гниения и смерти,

и все так же лежал подле нее нетронутый кусок ржавого армейского сухаря.

Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто, в простреленной груди что-то клокотало и булькало, он то и дело вытирал с губ розовую пену неуверенной, дрожащей рукой. На остановках Плужников усаживал его. Денищик приваливался к стене, закрывал глаза и молчал: берег силы. Раз только спросил:

— Сальников живой?

— Живой.

— Он везучий. — Пограничник сказал это без зависти, просто отметил факт. — И все за водой ходит?

— Ходит. — Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. — Слушай, Володя, приказ нам всем: разбегаться. Кто куда.

— Как?

— Мелкими группами уходить из крепости. В леса.

— Понятно. — Денищик медленно вздохнул. — Прощай, значит, старушка. Ну, правильно: здесь как в мешке.

— Считаешь, правильно?

Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то

в глубоком провале густо заросшей щеки.

— С Сальниковым иди, Коля.

Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой Денищиком, и не сказал.

Он оставил Денищика в пустом каземате. Уложил на кирпичный пол лицом к узкой отдушине, сквозь которую виднелось серое, задымленное небо.

— Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел.

— Не надо.

— Я сверху принесу. Пока тихо.

— Ну, принеси.

Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками лестнице подняться в первый этаж. Там еще держались те, кто был способен стрелять, кого собрал после ночной атаки незнакомый Плужникову капитан-артиллерист.

Он не дошел до поворота, когда наверху, над самой головой, раздался грохот. По плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная

волна, ударившись в стену за углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола.

Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, но Плужников уже нырнул в вонючий, пропыленный дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу, и Плужников совсем близко увидел грязное, искаженное яростью лицо Сальникова:

— Подорвали, гады! Стену подорвали!

— Где капитан? — Плужников вырвался. — Капитана не видел?

Сальников, надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. Там, в дыму и пыли, мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников метнулся в задымленный первый этаж, споткнулся о тело — еще дышащее, еще ползущее, еще волочившее за собой перебитые ноги в распустившихся, окровавленных обмотках. Упал, запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил — разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожженному, кроваво-красному лицу ручьями текли слезы.

— Не вижу! — строго и обиженно кричал он. — Почему не вижу? Почему? Где лейтенант?

— Здесь я. — Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром; опаленное лицо казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. — Здесь, товарищ капитан, перед вами.

— Патроны, лейтенант! Где хочешь достань патронов! Я не вижу, не вижу, ни черта не вижу!..

— Достану, — сказал Плужников.

— Стой! Положи меня за пулемет. Положи за пулемет!..

Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, почему-то прижал к груди.

— Вот он — я. Вот он.

— Все, — вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ощупывая его. — Нету моих глазынек. Нету. Патроны. Где хочешь! Приказываю достать!

Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука привычно скользнула к кобуре.

— Ты еще здесь, лейтенант?

— Здесь.

— Документы мои зароешь. — Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил предохранитель, и

рука его больше не дрожала. — А пистолет возьми: семь патронов останется.

Он поднял пистолет, несколько раз косо, вслепую потыкал им в голову.

— Товарищ капитан! — крикнул Плужников.

— Не сметь!..

Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову оглушительным, простреленная голова тупо ударилась о стену, капитан мучительно выгнулся и сполз на пол.

— Готов.

Плужников оглянулся: рядом стоял сержант.

— Отбили, — сказал сержант. — А доложить не успел. Жалко.

Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала, виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома.

— Три диска осталось, — сказал сержант. — Еще раз подорвут — и амба.

— Я достану патроны.

Плужников вынул тяжелый «ТТ» из еще теплой руки капитана, положил в карман. Сказал, вставая:

— Документы его зароешь, он просил. А патроны я принесу. Сегодня же.

И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым.

В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно уже не покидало его: он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутило от постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого трупного запаха, которым была пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, только о том, как отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, что застрелился на его глазах, не о Денищике, что умирал на голом полу каземата, — он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из окруженной крепости.

Сальников вернулся через окно: от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, сказал:

— Вот гады немцы: без фляжек в атаку ходят.

— Слушай, Сальников, ты тот, первый, день помнишь? Ты вроде за патронами тогда бежал. Вроде склад какой-то…

— Кондаков тот склад знал. А мы с тобой искали и не нашли.

— Мы тогда дураками были.

— Теперь поумнели? — Сальников вздохнул. — Искать пойдем?

— Пойдем, — сказал Плужников. — У сержанта три диска к пулемету осталось.

— При солнышке?

— Ночью не найдем.

— Пишите письма, — усмехнулся Сальников. — С приветом к вам.

Плужников промолчал. Сальников порылся в карманах, вытащил пригоршню грязных, изломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты: в сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки.

— Водички бы… — привычно вздохнул Сальников.

— Поди шинель разыщи, — сказал Плужников. — Володька на голом полу лежит. Зайдем к нему, а потом — двинем. На солнышко.

— К черту в зубы, к волку в пасть, — проворчал

Сальников, уходя.

Он скоро приволок шинель — прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. Молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по осыпающимся кирпичам в черную дыру подземелья.

Денищик был еще жив: лежал не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый клочок неба. В черной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешенно и снова уставился в окно.

— Не узнает, — сказал Сальников.

— Везучий, — с трудом сказал пограничник. — Ты — везучий. Хорошо.

— В бане сейчас хорошо, — улыбнулся Сальников. — И тепло, и водичка.

— Не носи. Воду не носи. Зря. К утру помру.

Он сказал это так просто и спокойно, что они не стали разуверять его. Он действительно умирал, ясно осознавал это, не отчаивался, а хотел только смотреть в небо. И они поняли, что высшее милосердие — это оставить Денищика одного. Наедине с самим собой и с небом. Они подсунули под него шинель, пожали вялую, уже холодную руку и ушли. За патронами для живых.

Немцы уже ворвались в цитадель, расчленив

оборону на изолированные очаги сопротивления. Днем они упорно продвигались по запутанному лабиринту кольцевых казарм, стремясь оставить за собою развалины, а ночью развалины эти — подорванные саперами, взметенные прицельной бомбежкой и добела выжженные огнеметами — оживали вновь. Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей.

Но Плужников с Сальниковым шли за патронами днем. Ползли, царапая щеки о кирпичи, глотая пыль, задыхаясь в тяжком трупном запахе, напряженными спинами каждое мгновение ожидая автоматных очередей. Каждый миг здесь был последним, и каждое неосторожное движение могло приблизить этот миг. И поэтому они переползали понемногу, по нескольку шагов и только по очереди, а перед тем, как ползти, долго и напряженно вслушивались. Крепость сотрясалась от разрывов, автоматного треска и рева пламени, но здесь, где ползли они, было пока тихо.

Спасали воронки: на дне можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для

очередного шага вперед. Шага, который следовало проползти, ощущая каждый миллиметр.

В ту воронку, со дна которой так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, Сальников сполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску.

— Женюсь, — прохрипел Сальников, сев рядом. — Если живой выберусь, непременно женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватали…

Резкая тень упала на лицо, и Плужников, еще ничего не поняв, успел только удивиться, откуда она взялась, эта тень.

— Хальт!

Тугая автоматная очередь рванула воздух над головами: на откосе стоял немец. Стоял в двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью видел засученные по локоть руки, серо-зеленый, в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота на две пуговицы, и черную дыру автомата, пронзительно глядевшую прямо в сердце. Они оба медленно встали, а их автоматы остались лежать у ног, на дне воронки. И так же медленно, точно во сне, подняли вверх руки.

А немец стоял над ними, нацелив автомат,

стоял и улыбался — молодой, сытый, чисто выбритый. Сейчас он должен был чуть надавить на спусковой крючок, обжигающая струя ударила бы в грудь, и они навеки остались бы здесь, в этой воронке. И Плужников уже чувствовал эти пули, чувствовал, как они, ломая кости и разбрызгивая кровь, вонзаются в его тело. Сердце забилось отчаянно быстро, а горло сдавило сухим обручем, и он громко, судорожно икнул, нелепо дернув головой.

А немец расхохотался. Смех его был громким, уверенным: смех победителя. Он снял левую руку с автомата и указательным пальцем поманил их к себе. И они, не отрывая напряженных, немигающих глаз от автоматного дула, покорно полезли наверх, оступаясь и мешая друг другу. А немец все хохотал и все манил их из воронки указательным пальцем.

— Сейчас, — задыхаясь, бормотал Сальников. — Сейчас, сейчас.

Он обогнал Плужникова и, уже высунувшись по пояс из воронки, упал вдруг грудью на край и, схватив немца за ноги, с силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо, немец и Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик:

— Беги, лейтенант! Беги! Беги! Беги!

И еще — топот. Плужников выскочил на гребень, увидал немцев, что спешили на крик, и побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съежившаяся, согнутая в три погибели собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль — от жизни.

Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что порассказать тем, кто не видел этой потехи.

А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже перестал

кричать, а только хрипел, и они размеренно, как молотобойцы, били и били прикладами. Изо рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками.

Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не верил, что кружится на пятачке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в карман, стукал по ноге, он все время чувствовал его, но не было, не хватало того мгновения, когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения, не было воздуха, не было сил, и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая Плужникова.

Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавший из развороченной земли. Плужников упал за него, спасаясь от очереди, что раздробила кирпичи в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба, и за эту секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту и неизвестность, и он не раздумывая пополз в нее, пополз со всей скоростью, на какую только был способен, извиваясь телом, в кровь обдирая пальцы, локти, колени. Щель резко заворачива-

ла вправо, и он успел скользнуть за поворот и, вдруг потеряв опору, полетел куда-то, растопырив руки. И, падая, услышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную тишину подземелья.

Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол, но удачно, на руки. Не разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь. Размазывая ее по лицу, по гимнастерке, он лежал не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди, дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И, еще не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу.

И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая; только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет; в нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще издалека уловил смутные фигуры: шли двое.

— Стой! — негромко скомандовал он, когда они

приблизились. — Кто идет?

Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета.

— Стреляю!

— Да свои мы, свои, товарищи! — радостно и торопливо закричал тот, что шел на него. — Федорчук, запали паклю, осветись!

Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах.

— Свои мы, свои, дорогой! — кричал первый. — Засыпало нас аж в первые залпы. Сами выкапывались, ходы рыли, думали… думали… думали…

Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными, веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание.

Он пришел в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди; все

еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох, оглох полностью, навсегда, и, мучительно напрягаясь, ловил, искал, ждал знакомых звуков: грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но услышал тихий женский голос, почти шепот:

— Очнулся, тетя Христя.

Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах и круглое девичье лицо: черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками — они были свободны, не связаны, — ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел.

— Где я?

От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье, бородатые мужчины и два женских лица: молодое, что было совсем рядом, и постарше, порыхлее, — в глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерке. Шарил и не находил оружия.

— Выпейте воды.

Молодая протягивала жестяную кружку. Он

недоверчиво взял, недоверчиво глотнул: вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекшие сутки, и он жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых: троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него; у пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но — улыбалась. Что-то знакомое, далекое, как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо:

— Пистолет. Мой пистолет.

— Вот он. — Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему. — Не узнаете, товарищ лейтенант?

Он молча взял пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были, он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился.

— Не узнаете? Помните, в субботу — ту, перед войной, — мы в крепость пришли. Вы упали еще. У КПП. Я — Мирра, помните?

— Да, да.

Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп, и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный, последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!..» Он вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал.

— Сытые? — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. — Сытые, чистые, целые?.. А там, там братья ваши, товарищи ваши, там, над головой, мертвые лежат, неубранные, землей не засыпанные. И мы — мертвые! Мертвые бой ведем, давно уж сто раз убитые немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали — пулеметам. Дети от жажды с ума сходили, а мы — пулеметам! Только пулеметам! Чтоб стреляли! Чтоб немцев, немцев не пустить!.. А вы отсиживались?.. — Он вдруг вскочил. — Сволочи! Расстреляю! За трусость, за предательство! Я теперь право имею! Я право такое имею: именем тех, что наверху лежат! Их именем!..

Он кричал, кричал в полный голос и трясся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата.

— Ты нас не сволочи.

Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей, окровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал:

— Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек.

«Вот я и вернулся, — устало подумал Плужников. — Вернулся…»

Часть третья
1

Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.

Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, мертвой кладки, стены, склад заваливало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол, вырыли его,

и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать: они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.

Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.

Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.

— Хана, — прохрипел Федорчук.

Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней; от трупного смрада ее душили

спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор.

— Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня?

— Дети. — Она на секунду обернулась. — Дети там. Мои дети.

Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.

— Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти, где они, наши?

— Куда разведку-то, куда? — вздохнул Федорчук. — Немцы кругом.

А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто ее не окликнул и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и взошла на мост — еще скользкий от крови, еще заваленный трупами — и упала здесь, среди своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала как шла: прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.

Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант Плужников.

Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников, — и он увидел новенькие, тусклые от смазки ППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией.

К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой; каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь.

— Вернемся, — сказал Плужников.

Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовно-

стью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмелился. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке.

Только раз старшина негромко вмешался:

— Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан.

Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол.

— Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Теперь понемногу надо. Живот надо заново приучать.

Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся.

Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно-молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз

из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо.

— За мной. И не спеши: слушай сначала.

Они облазили все воронки, проверили каждый завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было.

— Живой, — с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим. — В плен увели: наших убитых они не закапывают.

Все же он чувствовал себя виноватым: виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но, понимая, что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был — не перед собой, нет! — перед теми, кто послал его в этот поиск, попытаться уйти — и ушел, Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого

и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно:

— Живой.

Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов: прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим зараз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос, решить безотлагательно, но как подступиться к нему, Плужников не знал.

Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход был один.

— Вы останетесь здесь, — сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. — Завтра днем — у немцев с четырнадцати до шестнадцати обед, самое тихое время, — завтра выйдете наверх с белыми тряпками. И сдадитесь в плен.

— В плен? — тихо и недоверчиво спросила

Мирра.

— Еще чего выдумал! — не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христя. — В плен — еще чего выдумал! Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка? — Она обняла Мирру, прижала к себе. — С сухой-то ножкой, на деревяшке?.. Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать, будет!

— Не дойду я, — еле слышно сказала Мирра.

И Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен. Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин.

— Ишь чего выдумал! — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христя. — Негодное твое решение, хоть ты и командир. Вовсе негодное.

— Нельзя вам тут оставаться, — неуверенно сказал он. — И был приказ командования, все женщины ушли…

— Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Миррочкой помешаем в норе-то нашей? Да никому, воюйте себе на здоровье! А у нас и место есть, и еда, и

никому мы не в обузу, и отсидимся тут, покуда наши не вернутся.

Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий.

— Девчонка-то жидовочка, — вдруг сказал Федорчук. — Жидовочка да калека: прихлопнут они ее как пить дать.

— Не смейте так говорить! — крикнул Плужников. — Это их слово, их! Фашистское это слово!

— Тут не в слове дело, — вздохнул старшина. — Слово, конечно, нехорошее, а только Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации…

— Знаю! — резко оборвал Плужников. — Понял. Все. Останетесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь.

Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за посланным в разведку

тихим Васей Волковым.

Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны — ужас заживо погребенного, — он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь. Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.

А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников,

как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.

— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед.

Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Денищик, где у сержанта оставалось три диска к «дегтярю». И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.

— Подорвали! — крикнул Плужников. — Немцы стену подорвали!

На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился:

— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!

— Пустите! Там ребята, там патронов нет, там раненые…

— Куда пустить-то, куда?

— Пусти!..

Плужников бился, стараясь высвободиться

из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться.

— Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно. Послушай.

Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плужников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.

Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.

— Обходят. — Федорчук подергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, что ли?

— Помоги.

Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, — и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:

— Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?

Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.

Он не знал, сколько суток лежал вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые плошки, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.

С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все погибшие по его вине — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.

Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные

очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, в его бьющую навстречу смерть, кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом — уже мертвый — он продолжал прикрывать Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо как напоминание.

А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и — не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька Денищик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосту. Так же, как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их вовремя.

Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на

вопросы. И даже не думал: просто считал долги.

Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это — закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений: он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни.

— Тронулся лейтенантик, — говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет. — Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.

Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто — жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, неизвестное немцам подземелье.

— Ослаб он, — вздыхал старшина. — Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.

Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть — не знал.

И только Мирра знала, что ей делать: ей надо

было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.

— Ну, чего ты там грохочешь? — ворчал Федорчук. — Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.

Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.

— Вот! — радостно сказала она, притащив его к столу. — Я помнила, что он у дверей стоял.

— Вон чего ты искала, — вздохнула тетя Христя. — Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло.

— Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только — зря, — сказал Степан Матвеевич. — Ему бы забыть все в пору: и так слишком много помнит.

— Рубаха лишняя не помешает, — сказал Федорчук. — Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь.

Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмот-

рел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышку.

— Это — ваши вещи. Ваши, — тихо сказала Мирра.

— Я помню.

И отвернулся к стене.

— Все, — вздохнул Федорчук. — Теперь уж точно — все. Кончился паренек.

И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.

— Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой какой?

— Чего решать? — неуверенно сказала тетя Христя. — Решено уж: дождемся.

— Чего? — закричал Федорчук. — Чего дождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?

— Красной армии дождемся, — сказала Мирра.

— Красной?.. — насмешливо переспросил Федорчук. — Дура! Вот она, твоя Красная армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?

Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился

ждать.

Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасли на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, ощупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.

Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.

Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор

все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.

Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев: здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал: кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудился на славу.

Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход нисколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам вынес себе. Подумав так, он достал пистолет, пе-

редернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце…

— Коля!..

Если бы она крикнула любое другое слово, даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово — и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, опустил, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.

— Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!

Ноги не удерживали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в

девичьем упругом теле, он не нажмет на курок.

— Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.

Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.

— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он.

Мирра впервые подняла лицо: свет факела дробился в слезах.

— Ты — Красная армия, — сказала она. — Ты — моя Красная армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?

Его не смутила красивость ее слов — смутило другое. Оказывается, кто-то нуждается в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ.

— Опусти руку.

— Сначала брось пистолет.

— Он на боевом взводе. Может быть выстрел.

Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел.

— Пойдем?

Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась:

— Я никому не скажу. Даже тете Христе.

Он молча погладил ее по голове. Как маленькую. И загасил факел в песке.

— Спокойной ночи! — шепнула Мирра, ныряя в лаз.

Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и — заснул. Крепко и спокойно.

Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал все со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку.

— На поправку повернуло, товарищ лейтенант? — недоверчиво улыбаясь, спросил старшина.

— Вода найдется? Кружки три хотя бы.

— Есть вода, есть! — засуетился Степан Матвеевич.

— Польете мне, Волков. — Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана

смену белья, мыло, полотенце. — Мирра, пришей мне подворотничок к летней гимнастерке.

Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что тратит воду, впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и так же молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу — худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким.

— Докладывайте.

Переглянулись. Старшина спросил неуверенно:

— Что докладывать?

— Все. — Плужников говорил жестко и коротко: рубил. — Где наши, где противник.

— Так это… — Старшина замялся. — Противник известно где: наверху. А наши… Наши неизвестно.

— Почему неизвестно?

— Известно, где наши, — угрюмо сказал Федорчук. — Внизу. Немцы наверху, а наши — внизу.

Плужников не обратил внимания на его слова.

Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это.

— Почему не знаете, где наши?

Степан Матвеевич виновато вздохнул:

— Разведку не производили.

— Догадываюсь. Я спрашиваю: почему?

— Да ведь как сказать. Болели вы. А мы выход заложили.

— Кто заложил?

Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то пояснить, но Мирра остановила ее.

— Я спрашиваю, кто заложил?

— Ну я! — громко сказал Федорчук.

— Не понял.

— Я.

— Еще раз не понял, — тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта.

— Старший сержант Федорчук.

— Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен.

— Днем работать не буду.

— Через час доложите об исполнении, — повторил Плужников. — А слова «не буду», «не хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы — подразделение Красной армии. Обыкновенное подразделение, только и всего.

Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту — минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умывание, переодевание, бритье: он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить который ему было суждено.

2

В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова: путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук — со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих.

— Одни побитые, — вздыхал Степан Матвеевич. — Много побито нашего брата. Ой, много!

Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась попросту бессмысленной.

Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота: регулярно, каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать, а, обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников, и автоматов у них было явно поменьше: карабины стали более обычным оружием.

— Либо я вырос, либо немцы съежились, — невесело пошутил Плужников вечером. — Что-то в них изменилось, а вот что — не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы

тоже поглядели.

Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки казарм 84-го полка: Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами: Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот.

Утро было ясным и тихим, лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно прекращалась, и Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости.

— Товарищ лейтенант! — напряженным шепотом окликнул старшина.

Плужников перебрался к нему, выглянул: совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя — манера бывалых солдат, которым многое прощается, — все было вполне обычным. Немцы не съежились, не стали меньше, они оставались такими же, какими на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников.

Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, командир доложил шедшему первым — высокому и немолодому, видимо старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры, один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам.

— Ордена выдает, — сообразил Плужников. — Награды на поле боя. Ах ты, сволочь ты немецкая, я тебе покажу награды…

Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замершие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат.

Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром: растерянность их была мгновенной, и не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из всех автоматов.

Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы рассвирепели, никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще простреливали каждый закуток в развалинах казарм.

— Не изменился немец. — Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. — Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго.

— Про ту дверь в полку только старшины знали, — вздохнул Степан Матвеевич. — Вот она, значит, и пригодилась.

Он с трудом стащил сапог: портянка набухла от крови. Тетя Христя закричала, замахала руками.

— Пустяк, Яновна, — сказал старшина. — Мясо зацепило, чувствую. А кость цела. Кость цела, это главное: дырка зарастет.

— Ну и зачем это? — раздраженно спросил Федорчук. — Постреляли, побегали — а зачем? Что, война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в свой час завершится, а вот мы…

Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного торжества и боевого азарта, и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось.

А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волынил, и Плужникову пришлось прикрикнуть.

— Ладно, иду, иду, — проворчал старший сержант. — Нужны эти наблюдения, как…

В секреты уходили на весь день: от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать невесть куда сгинувшего старшего сержанта.

— Автомат оставь, — сказал он Волкову. — Возьми карабин.

Сам он шел с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брякал и не высовывал ее где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того,

что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить.

Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта: живого, раненого или мертвого, но — обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего.

Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением.

— Немцы…

Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его потому лишь, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул.

Немцы — человек десять — стояли на проти-

воположном берегу, у моста. Стояли свободно: галдели, смеялись, размахивали руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть.

От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами.

— Товарищ Федорчук, — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант…

— Товарищ?.. — Плужников не глядя требовательно протянул руку: — Винтовку.

Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко:

— Зачем?

— Винтовку! Живо!

Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников торопился. Он хорошо стрелял, но именно

сейчас, когда никак нельзя было промахнуться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост и до немцев ему оставалось четыре шага.

Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слыхали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший выстрел за спиной был его выстрелом: выстрелом, которого ждала его широкая, вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогоча и веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками.

Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дико и непонятно. И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плужников сделал, как на училищных соревнованиях по скоростной

стрельбе.

Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневичком.

— Вот так, — задыхаясь, сказал Плужников. — Гад он. Гадина. Предатель.

Волков глядел на него круглыми перепуганными глазами и кивал поспешно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же:

— Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой продал. Гадюка. С платочками, а? Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шел, обдуманно.

Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он не чувствовал угрызений совести, застрелив человека, с которым не один

раз сидел за общим столом. Наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил.

А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере, пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней — самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо учил его оружейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов.

А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины

для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант — худой, страшный и непонятный, — этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием.

Думая так, Волков не испытывал ничего, кроме одиночества, и одиночество это было мучительным и неестественным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и бойцом, оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым. И Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не верил.

Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота, — много, до взвода. Вышли строем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам отсеки кольцевых казарм; вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там же загрохотали взрывы и тяжко

заухали огнеметы. Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить, но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелья, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом…

Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять время на расспросы. Боец был без оружия (его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне), чувствовал себя неуютно и, наверно, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся, но и подмигивание, и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем Волков.

— Ладно, добудем тебе оружие, — хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться. — Пошел вперед. До следующей воронки.

Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно было передохнуть и осмотреться.

— Здесь не найдут, не бойся.

Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове. И вздохнул.

Где-то за развалинами — не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть, — послышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много, они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего, сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них.

— Сиди здесь, — сказал Плужников. — Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь.

И опять Волков промолчал. И опять глянул странными напряженными глазами.

— Жди, — повторил Плужников, поймав этот взгляд.

Он осторожно крался через развалины. Пробирался по кирпичным осыпям, не сдвинув ни

одного обломка, перебегал открытые места, часто останавливался, замирая и вслушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все яснее, и Плужников уже догадывался, кто бродит там, по ту сторону развалин, догадывался, но еще сам не решался поверить.

Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и выглянул.

На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, песком. Не осмотрев, не собирая документов, не сняв медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не заметив охраны, Плужников понял, что это — пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решался поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдаленных от него, кадрового лейтенанта Красной армии Плужникова, зловещим словом ПЛЕН.

Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают: безостановочно и равнодушно, как

автоматы. Смотрел, как ходят: ссутулившись, шаркая ногами, точно втрое вдруг постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, определиться, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека.

Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и сочувствуют тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто работал, не нашел и — обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь его не было, и, значит, в покорного исполнителя его не превра-

тили. Но какой-то другой знакомый — крупный, медлительный и старательный — здесь был, и Плужников, приметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой.

А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромной совковой лопатой подгребая кирпичную крошку. Ходил рядом, царапал своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом…

Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнал, вдруг припомнив и бои в костеле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец этот был приписником, из местных, что жалел, добровольно пойдя на армейскую службу в мае вместо октября, и что Сальников утверждал тогда, что он погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспомнил очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал:

— Прижнюк!

Вздрогнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно.

— Это я, Прижнюк, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?

Пленный не поворачивался, ничем не показы-

вая, что слышит голос своего бывшего командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной, изодранной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания: так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижнюк с ужасом ждет выстрела и что спина его — огромная и незащищенная спина — стала сутулой и покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела.

— Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого.

— В лазарете он.

— Где?

— В лазарете лагерном.

— Болен, что ли?

Прижнюк промолчал.

— Что с ним? Почему он в лазарете?

— Товарищ командир, товарищ командир… — воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижнюк. — Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные, тех домой отпустят, обещали, что непременно домой…

— Ладно, не причитай, — зло перебил Плужников. — Служи им, зарабатывай свободу, беги домой — все равно не человек ты. Но одну штуку ты сделаешь, Прижнюк. Сделаешь — или пристрелю тебя сейчас к чертовой матери.

— Не губите… — В голосе пленного звучали рыдания, но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку.

— Сделаешь, спрашиваю? Или — или, я не шучу.

— Ну, что могу я, что? Подневольный я.

— Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь, пусть на работу в крепость просится. Понял?

Прижнюк молчал.

— Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижнюк. Держи.

Размахнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнюка. И как только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнюк вдруг метнулся в сторону и побежал, громко крича:

— Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский!

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомнился, Прижнюк уже выбежал из сектора его обстрела,

к норе, грохоча подкованными сапогами, бежала лагерная охрана и первый сигнальный выстрел уже ударил в воздух.

Отступать назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим.

Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беготня по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку, покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала.

Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой темноте подземелья, Плужников не мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже согнутом Прижнюке. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал совсем о другом и куда более важном: о немцах.

Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости отчаянных

молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании, упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым после крика Прижнюка. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу, поджидая, когда к ним подойдет поднявший руки красноармеец. И не хохотали бы после первого выстрела. И уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела перебежчика.

Те немцы, эти немцы… Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные, «штурмовые» немцы выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и откровенно побаиваются темных, стреляющих подземелий.

Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде: пошел к выходу в рост, не скрываясь и нарочно грохоча сапогами.

Так он и вышел из подвала: только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у входа не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало их положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать новую тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией.

Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных — за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье — и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни подле нее не оказалось.

Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излазил соседние развалины, заглянул в каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого, необстрелянного бойца со странными, поч-ти немигающими глазами, но отыскать его так и не смог. Волков исчез необъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, ни крика и ни вздоха.

3

— Стало быть, снял ты Федорчука, — вздохнул Степан Матвеевич. — А парнишку жалко. Пропадет парнишка, товарищ лейтенант, больно уж с детства он напуганный.

Тихого Васю Волкова вспомнили еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили. Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра спросила, когда остались одни:

— Застрелил?..

Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке. И еще — о болезнях, которых всегда хватало.

— Застрелил?

Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести, только усталость.

— Боже мой! — вздохнула Мирра. — Боже мой, твои дети сходят с ума!

Она сказала это по-взрослому горько и спокой-

но. И так же по-взрослому спокойно притянула к себе его голову и трижды поцеловала: в лоб и в оба глаза.

— Я возьму твое горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья.

Так говорила ее мама, когда заболевал кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало чужих хвороб и чужого горя. Но всех своих девочек она учила сначала думать не о своих бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом:

— А тебе век за чужих болеть: своих не будет, доченька.

Мирра с детства свыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сестрам. Свыклась и уже не горевала, потому что ее особое положение — положение увечной, на которую никто не позарится, — тоже имело свои преимущества, и прежде всего свободу.

А тетя Христя все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И шептала при этом:

— Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету.

В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекли

ноги, да сама она без солнца, движения и свежего воздуха стал рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна. Без материнской руки и женского совета.

Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще во младенчестве, муж уехал на заработки, да так и сгинул, дом отобрали за долги, и тетя Христя, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная армия. Эта Красная армия — веселая, щедрая и добрая — впервые в жизни дала тете Христе постоянную работу, достаток, товарищей и комнату по уплотнению.

— То — божье войско, — важно поясняла тетя Христя непривычно тихому брестскому рынку. — Молитесь, панове.

Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась. Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила всякое общение с Небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, хотя очень

хотелось помолиться и за Красную армию, и за молоденького лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в каземате.

— Считаете, другой немец пришел?

От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела непрестанно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в собственное здоровье, а поскольку кость у него была цела, то дырка обязана была зарасти сама собой.

— А почему они за мной не побежали? — размышлял Плужников. — Всегда бегали, а тут — выпустили. Почему?

— А могли и не менять немцев, — сказал старшина, подумав. — Могли приказ им такой дать, чтоб в подвалы не совались.

— Могли, — вздохнул Плужников. — Только я знать должен. Все о них знать.

Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь ползал, задыхаясь от пыли и трупного смрада,

звал, вслушивался. Ответа не было.

Встреча произошла неожиданно. Два немца, мирно разговаривая, вышли на него из-за уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и только она до сих пор спасала его.

А второго немца спасла случайность, которая раньше стоила бы Плужникову жизни. Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока Плужников вышибет застрявший патрон.

Солнце давно уже село, но было еще светло; эти немцы припозднились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами крепостной двор. Не успели, и теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив голову. И молчал.

И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени

противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ — не предположения, не домыслы, а точный, реальный ответ! — ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти.

— Комм, — сказал он, указав автоматом, куда следовало идти.

Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штатские плечи.

Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, насмерть перепуганного и далеко не молодого врага.

— «Языка» добыл, — сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру. — Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич.

Немец опять заговорил громким плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. Протягивал вперед дрожавшие руки, показывал ладони то старшине, то Плужникову.

— Ничего не понимаю, — растерянно сказал Плужников. — Тарахтит.

— Рабочий он, — сообразил старшина. — Видите, руки показывает?

— Лянгзам, — сказал Плужников. — Битте, лянгзам.

Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку.

— Испуганный человек, — вздохнула тетя Христя. — Дрожмя дрожит.

— Он говорит, что он не солдат, — сказала вдруг Мирра. — Он — охранник.

— Понимаешь по-ихнему? — удивился Степан Матвеевич.

— Немножечко.

— То есть как так — не солдат? — нахмурился Плужников. — А что он в нашей крепости делает?

— Нихт зольдат! — закричал немец. — Нихт зольдат, нихт вермахт!

— Дела, — озадаченно протянул старшина. — Может, он наших пленных охраняет?

Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только она замолчала.

— Пленных охраняют другие, — не очень уверенно переводила девушка. — Им приказано охранять входы и выходы из крепости. Они — караульная команда. Он — настоящий немец, а крепость штурмовали австрияки из 45-й дивизии, земляки самого фюрера. А он — рабочий, мобилизован в апреле…

— Я же говорил, что рабочий! — с удовольствием отметил старшина.

— Как же он — рабочий, пролетарий, — как он мог против нас… — Плужников замолчал, махнул рукой. — Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части или их уже отвели.

— А как по-немецки боевые части?

— Ну, не знаю… Спроси, есть ли солдаты.

Медленно, подбирая слова, Мирра начала переводить. Немец слушал, от старания свесив голову. Несколько раз уточнил, что-то переспросив, а потом опять зачастил, затараторил, то тыча себе в грудь, то изображая автоматчика: «Ту-ту-ту!..»

— В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнеметчики. Их вызывают, когда обнаруживают русских: таков приказ. Но он — не солдат, он — караульная служба, он ни разу не стрелял по людям.

Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Христине Яновне и неторопливо, важно достал из кармана мятого мундира черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол.

— Дети, — вздохнула тетя Христя. — Детишек своих кажет.

— Киндер! — крикнул немец. — Майн киндер! Драй!

И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь: руки его больше не дрожали.

Мирра и тетя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках,

простудах, завтраках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя:

— Придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой трудно. А отпустить опасно: дорогу к нам знает.

Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло тяжело и безнадежно, и он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта вызвала в нем физическую дурноту: даже сейчас он не годился в палачи.

— Ты уж извини, — виновато сказал старшина. — Нога, понимаешь…

— Понимаю, понимаю! — слишком торопливо перебил Плужников. — Патрон у меня перекосило…

Он резко оборвал, поднялся, взял автомат:

— Комм!

Даже при чадном свете жировиков было видно, как посерел немец. Посерел, ссутулился еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол.

— Форвертс! — крикнул Плужников, взводя

автомат.

Он почувствовал, что еще мгновение, и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки.

— Форвертс.

Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу.

— Карточки свои забыл! — всполошилась тетя Христя. — Обожди.

Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял покачиваясь, тупо глядел перед собой.

— Комм! — Плужников толкнул пленного дулом автомата.

Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирая и обирая полы мятого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади.

А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вдруг вспотевшую сутулую спину. Спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же, этот немец не хотел воевать, конечно же, не своей охотой

забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет. Плужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед:

— Шнелль! Шнелль!

Не оборачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда, и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не увидит ее глаза. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно на душе.

— Ну, лезь же ты!

Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад, на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло: даже Плужников, притерпевшийся к вони, с трудом выносил этот запах — запах смерти в еще живом существе.

— Лезь!..

Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер.

Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже

не видимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было.

В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит рядом.

— Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека.

Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощутил ее щеку, она была мокрой от слез.

— За что нам это? За что, ну, за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще не успели, ничего!

Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие плечи.

— Ну, что ты, сестренка? Зачем?

— Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика. — Она вдруг крепко обняла его, несколько раз торопливо поцеловала. — Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: пусть это будет наша тайна. Ну, как будто ты для меня это сделал, ладно?

Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что.

— Они не спросят.

Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христя вдвоем с девушкой, старшина — на досках, а Плужников — на скамье.

И эту ночь тетя Христя не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топочут в темноте крысы, как беззвучно вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христя давно уж не вытирала их, потому что левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала девушка. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым.

Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христя думала сейчас, что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно попробует, есть ли у нее еще силы и не пора ли ей, пока не поздно, уходить.

С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор.

Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался — благо воды теперь хватало, — и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников сердился, а девушка смеялась.

— Куда вы, тетя Христя?

— А к дыре, к дыре, — торопливо пояснила она. — Подышать хочу.

— Может, проводить вас? — спросила Миррочка.

— Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта.

— Да она балуется! — сердито сказал Плужников.

И они опять засмеялись, а тетя Христя, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христю.

«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек погожу, может, еще поживу маленько».

Тетя Христя была уже возле самой дыры, но шум

наверху услыхала первой не она, а Плужников. Он услыхал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз:

— Скорее!

Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля: она уже привыкла слушаться. А Плужников, напряженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть:

— Тетя Христя, назад!

Гулко ухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом, успел нащупать дыру и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный, нечеловеческий крик, и объятая пламенем тетя Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь.

Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом.

Откричавшись, Мирра примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и мужчинами, было передаточное звено: тетя Христя. Тетя Христя согревала ее ночами, тетя Христя кормила ее за столом, тетя Христя ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христя помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христя грубовато прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной Мирра жила без стеснения.

Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической

беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи.

— Значит, засекли они нас, — вздохнул Степан Матвеевич. — Как ни береглись, как ни хоронились.

— Я виноват! — Плужников вскочил, заметался по каземату. — Я, один я! Я вчера…

Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Коля!..», который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дыхание которого он почувствовал на своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить.

— А в чем ты виноват, лейтенант?

До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте, и их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но

сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой.

— В чем же ты виноват?

— Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христя, и Волков, и даже этот… сволочь эта. Все — из-за меня. Жили же вы до меня спокойно.

— Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если б не ты — немца бы ни одного так бы и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот?

У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось в это верить, и Плужников подтвердил:

— Двоих, по-моему.

— За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут…

В этот день они не выходили из своего каземата. Не то что они боялись немцев — немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелья, — просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила

огнеметная струя.

— Завтра пойдем, — сказал старшина. — Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре той… Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят?

— Через Тереспольские. А что?

— Так. Для сведения.

Старшина помолчал, искоса поглядывая на Мирру. Потом подошел, взял за руку, потянул к скамье:

— Сядь-ка.

Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум.

— Ты возле меня спать будешь.

Мирра резко выпрямилась.

— Зачем еще?

— Да ты не пугайся, дочка. — Степан Матвеевич невесело усмехнулся. — Старый я. Старый да больной и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна отгоняла.

Мирра низко опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, сказал, понизив голос:

— Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним останешься.

Не спорь, знаю, что говорю.

В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилев, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи.

Забылся он ненадолго: передремал, обманул усталость и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, достав гранаты, начал вязать связки.

— Что взрывать собираетесь? — спросил Плужников, застав его за этим занятием.

— Найду. — Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: — Ты не обижай ее, Николай.

Плужникова знобило. Он кутался в шинель и зевал.

— Не понимаю.

— Не обижай, — строго повторил старшина. — Она маленькая еще. И больная, это тоже понимать надо. И одну не оставляй: если уходить надумаешь, так о ней сперва вспомни. Вместе из

крепости выбирайтесь: пропадет девчонка одна.

— А вы… Вы что?

— Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать, так с музыкой.

— Степан Матвеевич…

— Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказания твои теперь недействительны: теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. Назло им — выживи. За всех нас.

Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его: главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе.

— Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите!

И вылез. Из раскрытого лаза несло горелым смрадом.

— Утро доброе.

Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза.

— Чем это пахнет так…

Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил автомат:

— Я наверх. К дыре не подходи!

— Коля!

Это был совсем другой выкрик: растерянный, беспомощный. Плужников остановился.

— Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я догоню.

— Догоним. — Она торопливо копошилась в углу. — Только — вместе.

— Да куда тебе… — Плужников запнулся.

— Я знаю, что я хромая, — тихо сказала Мирра. — Но это от рождения, что же делать. И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу.

— Идем.

Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей, и это было все, что осталось от тети Христи.

— Не смотри, — сказал Плужников. — Вернемся, зарою.

Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемета. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неумело, срываясь на скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай придержал:

— Подожди.

Еще раз осмотрелся: солнце еще не появлялось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужников не хотел рисковать.

— Вылезай.

Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы поторопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно. И молчал: он впервые видел ее при свете дня.

— Вот ты какая, оказывается.

Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув платьем колени. Она поглядывала на него, потому что тоже впервые видела его не в чадном пламени коптилок, но поглядывала украдкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподнимая длинные ресницы.

Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще была незаметной — заметными были только большие печальные глаза да ресницы, — но здесь сейчас не было никого прекраснее ее.

— Так вот ты какая, оказывается.

— Ну такая, — сердито сказала она. — Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять залезу в дырку.

— Ладно. — Он улыбнулся. — Я не буду, только ты слушайся.

Плужников пробрался к обломку стены, выглянул: ни старшины, ни немцев не было на пустом развороченном дворе.

— Иди сюда.

Мирра, оступаясь на кирпичах, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову.

— Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тереспольские.

— Я знаю.

— Что-то он про них меня спрашивал…

Мирра ничего не сказала. Оглядываясь, она узнавала и не узнавала знакомую крепость. Здание комендатуры лежало в развалинах, мрачно темнела разбитая коробка костела, а от каштанов, что росли вокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете.

— Как страшно, — вздохнула она. — Там, под землей, все-таки кажется, что наверху еще кто-то есть. Кто-то живой.

— Наверняка есть, — сказал он. — Не мы одни такие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы не было бы, а она случается. Где-то есть, и я найду где.

— Найди, — тихо попросила она. — Пожалуй-

ста, найди.

— Немцы, — сказал он. — Спокойно. Только не высовывайся.

Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое немцев появились из темного провала ворот, постояли, неторопливо пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то издалека донеслась отрывистая песня: словно ее не пели, а выкрикивали доброй полусотней глоток. Песня делалась все громче. Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот.

— А где же Степан Матвеевич? — обеспокоенно спросила Мирра.

Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах: они шли по трое, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху, с разбитой башни. Мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок гранат рванул утреннюю тишину.

— Вот Степан Матвеевич! — крикнул Плужников. — Вот он, Мирра! Вот он!..

Часть четвертая
1

Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески избегали друг друга, насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у стола, второй отходил в угол, а если и садился за стол, то — подальше, на противоположный конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встретятся в темноте.

После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая огнеметными залпами. Их много сбежалось во двор, они расползлись по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них, а она кричала и билась на обломках кирпичей, и Плужников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил Мирру в охапку и потащил

к дыре.

— Пусти. — Она вдруг перестала биться. — Сейчас же пусти! Слышишь?

— Нет.

Она оказалась очень легкой, но сердце его неистово забилось от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее глубоких темных глазах был молчаливый и непонятный для него страх.

— Пусти, — еще раз очень тихо попросила она. — Пожалуйста.

Плужников отпустил ее только возле дыры. Оглянулся в последний раз, действительно услышал отчетливый шорох шагов, шепнул:

— Лезь.

Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе, понял, что она не сможет спрыгнуть на пол там, под землей, и остановил:

— Я первым.

— Нет! — испугалась она. — Нет, нет!

— Не бойся, успеем!

Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал:

— Иди! Скорее!

Мирра сорвалась на скользких кирпичах, но

Плужников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а потом вдруг рванулась, оттолкнула его и быстро пошла по коридору, волоча ногу. А он остался в темноте у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в каземат, уже не решался заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе и — не заговаривал. И прятал глаза. И все время чувствовал, что она — здесь, рядом, и что, кроме них двоих, нет никого во всем мире.

Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана Матвеевича и тихая радость, что рядом — хрупкая и беззащитная девушка; ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла; упрямое желание уничтожить врага и тревожное сознание своей ответственности за чужую жизнь — все это жило в его душе в полной гармонии, как единое целое. Он никогда еще не ощущал себя таким сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас: не мог протянуть руку и коснуться девушки. Очень хотел этого и — не мог.

— Ешь, — тихо сказала она.

Наверное, наверху уже зашло солнце. Они про-

молчали и проголодали весь этот день. Наконец Мирра сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных концах стола.

— Ты ложись. Я не буду спать.

— Я тоже не буду, — поспешно сказала она.

— Почему?

— Так.

— Крыс боишься? Не бойся, я их буду отгонять.

— Ты каждую ночь решил не спать? — Мирра вздохнула. — Не беспокойся, я уже привыкла.

— Завтра я разведаю дорогу и отведу тебя в город.

— А сам?

— А сам вернусь. Здесь — оружие, патроны. Есть чем воевать.

— Воевать… — Она опять вздохнула. — Один против всех? Ну и что ты можешь сделать один?

— Победить.

Плужников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так. И повторил упрямо:

— Победить. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. А фашисты — не люди, значит, я должен победить.

— Запутался! — Она неуверенно засмеялась и

тут же испуганно оборвала смех: таким неуместным показался он в этом темном, мрачном и чадном каземате.

— А ведь это правда, что человека нельзя победить, — медленно повторил Плужников. — Разве они победили Степана Матвеевича? Или Володьку Денищика? Или того фельдшера в подвале: помнишь, я рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их только убили, понимаешь? Всего-навсего убили.

— Этого достаточно.

— Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти. Выше.

Плужников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а — для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом, он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мирра встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть

вместе — это просто прикоснуться к нему.

Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола. И сказал чужим голосом:

— Завтра разведаю дорогу, а послезавтра ты уйдешь.

Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она — калека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее, она опустилась на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки.

— Ты что это? — удивленно спросил Плужников. — Почему ты плачешь?

— Оставь меня, — громко всхлипнув, сказала она. — Оставь и иди куда хочешь. Только не надо меня жалеть. Не надо, не надо!

Он неуверенно подошел к ней, постоял, неумело погладил по голове. Как маленькую.

— Не трогай меня! — Мирра резко встала, сбросив его руку. — Я не виновата, что оказалась здесь, не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смей меня жалеть!

Оттолкнув его, она прошла в свой угол и нич-

ком упала на постель. Плужников постоял, послушал, как она всхлипывает и вздыхает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими и сбросила бушлат, и он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлат, а, жалобно всхлипнув, съежилась под ним и затихла. Плужников улыбнулся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как провести завтрашнюю разведку. И не заметил, как уронил голову на стол.

— Ты прости меня, — сказала утром Мирра.

— За что?

— Ну, за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду.

— Будешь, — улыбнулся он. — Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая.

Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему, чтобы прикоснуться и приласкаться, потому что сердце ее уже изнемогало без этой простой, мимолетной, ни к чему не обя-

зывающей ласки. Но она опять сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять тихо заплакала, жалея его и себя и мучаясь от этой жалости.

То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плужников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У трехарочных тоже что-то делали, оттуда долетал шум моторов, и Плужников решил пробраться в северо-западную часть цитадели: посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводы.

Он не имел права рисковать и поэтому шел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где даже полз, несмотря на то что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелку и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку.

Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то ни

стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один. Совсем один в развороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал.

Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти за излучину Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехарочных ворот, не могли его видеть, и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры.

— Стой!

Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат.

— Бросай оружие.

— Ребята… — От волнения Плужников всхлипнул. — Ребята, свои, милые…

— Мы-то милые, а ты какой?

— Свой я, ребята, свой! Лейтенант Плужников…

Остановили его на переходе в тяжелом подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел, кроме неясной фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади, в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит.

— Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант.

— Шагаю, шагаю! — радостно сказал Плужников. — Сколько вас тут, ребята?

— Сейчас посчитаем.

Их было двое, заросших по самые брови, в рваных, грязных ватниках. Представились:

— Сержант Небогатов.

— Ефрейтор Климков.

— Какие планы, лейтенант? — спросил Небогатов после короткого знакомства. — Наши планы — рвать в Беловежскую Пущу. Давно бы туда ушли, да патронов нет: я тебя на голом нахальстве останавливал.

— Ну, для страховочки я за спиной стоял, — хмуро усмехнулся Климков. — А у меня — ножичек гитлеровский.

На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах.

— Вместе рвать будем. — От радости, что встретил своих, Плужников сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца. — Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется, консервы…

— Консервы? — недоверчиво переспросил ефрейтор. — Шикарно живешь, лейтенант.

— Веди сперва к консервам, — усмехнулся сержант Небогатов. — Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так, грызем чего-то, как крысы.

Плужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, малоприметную для непосвященных, рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. А про немца, что навел на них огнеметчиков, рассказывать не

стал, объяснять этим ожесточенным, черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно.

— Мирра! — еще в подземелье закричал Плужников. — Мирра, это мы, не бойся!

— Какая еще Мирра? — насторожился сержант.

Он первым пролез в каземат, и не успели еще Плужников с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал:

— Миррочка, ты ли это? Глазам не верю!

— Небогатов?.. — ахнула Мирра. — Толя Небогатов? Живой?

— Дохлый, Мирра! — смеялся сержант. — Копченый, сушеный и вяленый!

Светясь от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятывала. Плужников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно и, как показалось Плужникову, недружелюбно.

— Житье тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру.

Плужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра ото-

шла от стола, спросил угрюмо:

— Она что, тоже с нами пойдет?

— Конечно! — с вызовом сказал Плужников. — Она хорошая девчонка, смелая. Только крыс боится!

Но Климков не намерен был сводить разговор к шутке. Переглянулся с Небогатовым, и по тому, как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями.

— Хромая она.

— Ну и что? Не настолько уж она…

Плужников запнулся. Отрицать хромоту Мирры было бессмысленно, но даже если бы она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой — это Плужников сообразил сразу.

— Я и сам собирался довести ее до первых домов…

— До первой пули! — жестко перебил Климков. — Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно, да подальше, а не переть к ним в военной форме.

— Странный разговор! Не оставлять же ее, правда?

— Пусть сама выбирается. Только после нас, а

то на первом же допросе продаст ни за понюшку. Чего молчишь, сержант?

— Брать с собой нельзя, — нехотя сказал Небогатов.

— А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно?

В гулком, пустом подвале далеко разносились звуки, и Мирра слышала каждое слово. Тем более что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не ее судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Мирры самым важным была сейчас не ее судьба, хотя сердце ее замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на весь этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все их аргументы. Съежившись в самом дальнем и темном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мирра слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.

— Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? — приглушенно говорил Небогатов. — За внешним обводом — поле, там по-пластунски километра два ползти придется. Сможет она

ползти?

— С хромой-то ногой! — вставил ефрейтор.

— О чем вы говорите! — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. — О себе вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать вы способны?

— Тут думай не думай…

— Нет, будем думать! Обязаны думать!

— Не подойдешь ты к домам, — со вздохом сказал сержант. — Ну, никак не подойдешь, понимаешь? Совались мы, пробовали: везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь: думать.

— Мы — Красная армия, — тихо сказал Плужников. — Мы — Красная армия, это вы понимаете?

— Красная армия?.. — Ефрейтор громко, зло рассмеялся. — Ты еще комсомол вспомни, лейтенант!

— А я его не забывал! — крикнул Плужников. — Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью!

— Нету больше Красной армии! — заорал Климков, и непрочное пламя коптилок забилось, заметалось над столом. — Нету Красной армии,

нету никакого комсомола! Нет!

— Молчать!

Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся:

— Командуешь?

— Не командую, а приказываю, — сдерживаясь, негромко сказал Плужников. — Как старший по званию. Приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре.

— Такой, значит, разговор? — продолжая улыбаться, спросил Небогатов. — А если не подчинимся? Доложишь по команде? Рапорт напишешь?..

— Подожди, Толя, — перебил Климков. — Глупо ссориться: нужны ведь друг другу.

— А мы не ссоримся…

— Ближайшая задача: переправить Мирру в город. Все остальное — потом.

— Не пойму, кто ты: дурак или контуженый?

— Тихо, Толя! — Ефрейтор перегнулся через стол. — На кой хрен тебе эта калека, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко товар. А эту колченогую…

Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахиваясь, ударил в него

кулаком. Ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвел затвор:

— Руки на стол!

Ефрейтор медленно отпустил рукоять, сел, положил перед собой большие жилистые руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое, а он — один.

— Сволочь, — тяжело дыша, сказал Климков. — Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с бабой… Войну пережидаешь?

— Выходи по одному через лаз! — резко скомандовал Плужников. — Предупреждаю, что не шучу: автомат у меня заряжен.

Он повел стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали.

— Мы не можем уйти без оружия, — тихо сказал Небогатов.

— Берите свои автоматы.

Они молча подняли пустые ППШ. Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата.

— Выход наверх — направо, в самом конце, — сказал Плужников сержанту.

Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил.

— Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры.

— Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости.

Плужников молчал.

— Будь человеком, лейтенант, — умоляюще сказал Небогатов. — Мы же сдохнем здесь без патронов.

Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непочатую цинку. Металл нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу.

— Спасибо. — Небогатов поднял ящик. — Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все равно дурак, лейтенант.

И нырнул в лаз.

Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное место — он всегда оставлял его возле лаза, вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. Он не думал, что Климков и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, ворвутся в каземат, но на душе его было тяжело. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменилась тупым отчаянием, и

переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг словно обессилел. Словно эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры, и эта потеря была ощутима до ноющей физической боли. Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце. Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирра.

— Ушли, — вздохнул он. — Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться.

— Я не могу стать на колени, — дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она. — Я не могу стать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на колени, я…

Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она схватила эту руку и начала исступленно целовать ее. Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подземелье, только тогда эта его рука держала взведенный пистолет.

— Я боялась, я так боялась.

— Что уйду с ними?

— Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты — не такой.

— Какой — не такой?

— Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: и дети, и взрослые — все жалели! Но когда жалеют, отдают половину, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, не отправил к немцам, как они тебе предлагали! Я же слышала все, каждое слово слышала!

Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь.

— Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то не смела, что могу полюбить! Мне же с детства, с самого детства все-все только одно и твердили, что я — калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом гово-

рила, потому что жалела меня и хотела, чтобы я привыкла к тому, что я — такая, привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а я что могла построить, о чем помечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже наверное глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я — дура набитая, что нашла время влюбиться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине остаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас…

Плужников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожавшие, распухшие губы. И почувствовал кровь.

— Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя.

— Больно?

— Меня никто никогда не целовал. А наверху — война. А я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется! — Мирра

прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно: — Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась…

2

Теперь они говорили и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь общим теплом, и сердца их бились одинаково бурно или одинаково устало.

— А твоя сестра похожа на тебя?

— Наверно, нет. Она похожа на маму, а я — на отца.

— Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно.

— Почему?

— Счастливый внук всегда бывает похожим на деда.

— А счастливая внучка?

— Тоже. Скажи… Только — честно, слышишь? Обязательно честно.

— Честное-пречестное.

— Честное-честное-пречестное?

Она помолчала, повозилась, поплотнее укрывая его.

— Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня?

По тому, как робко, приглушенно прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее.

— Моя мама будет очень любить тебя. Очень.

— Ты обещал говорить честно.

— Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама, и Верочка.

— Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать.

— В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть…

— Нет. Ничего не может быть. Может быть только протез.

— Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная нога.

— Какой ты худенький! — Она нежно провела рукой по его заросшей щеке. — Знаешь, мы не сразу поедем в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя растолстит. А я буду кормить тебя морковкой.

— Я похож на кролика?

— Морковка очень полезна. Очень, потому что

мама говорила, что в ней есть железо. И когда ты растолстеешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И Мавзолей.

— И метро.

— И метро. И еще мы обязательно пойдем в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он съехал со своего места. Понимаешь?

— Ну конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все-все. А потом уедем.

— В Брест?

— Куда пошлют. Ты забыла, что твой муж — кадровый командир Красной армии?

— Муж… — Она тихо, радостно засмеялась. — Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой. Крепко-крепко.

И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а были двое. Двое на земле: Мужчина и Женщина.

— Ты когда-нибудь видела аистов?

— Аистов? Каких аистов?

— Говорят, они белые-белые.

— Не знаю. В городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросил о них?

— Так. Вспомнил.

— Тебе не холодно?

— Нет. А тебе?

— Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю, ночь сказал мне, что ты застыл.

— Как застыл?

— Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь и только женщина может тогда отогреть. А я не знала, что я — женщина и тоже могу кого-то отогреть… Я отогрела тебя? Хоть немножечко?

— Я боюсь растаять.

— Ну, ты смеешься.

— Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы, по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют: начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх.

— Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя.

— Нет, Миррочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости.

— Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или…

— Я вернусь. Я просто ухожу на работу. Ведь

уходят же мужья на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа.

Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: трактора стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужников поначалу решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать.

Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой, — сейчас сама мысль эта была для него ужасна, — и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог напомнить им, кто хозяин этой крепости.

Теперь он шел осторожно, куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху,

могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно вслушиваясь.

Он услышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих беспросветных ниш. Кто-то шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных дыр и проломов. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно:

— Озяб я. Озяб.

Плужников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг запел. Запел жалобным детским голосом бессмысленно и тупо:

Васька-савраска,
Шурка-каурка,
Ванька-буланка,
Сенька гнедой…

Плужников замер. Что-то страшное и бес-

просветно безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:

Васька-савраска,

Шурка-каурка,

Ванька-буланка,

Сенька гнедой…

Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света, совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, узнал сразу, несмотря на длинные, свалявшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул навстречу:

— Волков? Вася Волков?

Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, тупо глядя безумными, отсутствующими глазами.

— Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников!

Шурка-каурка…

— Вася, это же я, я!

Васька-савраска…

— Да очнись же ты, Волков, очнись! — Плужников схватил его за грудь, встряхнул. — Это я, я, лейтенант Плужников, твой командир!

Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промелькнуло в голове Плужникова; спросил он о другом:

— Ты почему ушел тогда, Волков?

Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий, необъяснимый ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове.

— Вася, успокойся, Вася.

Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум:

Васька-савраска,

Шурка-каурка…

Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой.

Шурка-каурка…

— Хальт! Цурюк!

Ванька-буланка…

Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск.

Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко всполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдышался в

глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и нырнул в свою дыру.

Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго — дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова, — но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.

Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и — замер: впереди, в тускло освещенном каземате, тихонько звучал тонкий девичий голос:

Очаровательные глазки,
Очаровали вы меня.
В вас столько жизни, столько ласки,
В вас столько неги и огня…

Контраст с тем пением, которое он совсем

недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичьим — был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать.

Я опущусь на дно морское,
Я поднимусь под облака,
Я дам тебе все, все земное —
Лишь только ты люби меня…

Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку, даже их первую любовь.

Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А потом понял, что хочет заплакать, и — улыбнулся. Слез не было.

Все-таки он звякнул автоматом, и она сразу замолчала. Он шагнул к столу, и Мирра нежно потянулась к нему, потянулась вся — доверчиво,

тепло и наивно.

— Сейчас я тебя покормлю. — Она прошла в темноту, к стеллажам. — Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.

— Откуда ты знаешь эту песню?

— Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. Он — замечательный скрипач… — Она засмеялась: — Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.

— Знаю?

— Конечно, знаешь. — Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила. — Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда, представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье… Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда…

— Если бы я тогда не захотел есть, — усмехнулся он.

— Или если бы вдруг сел на другой поезд.

— А я и сел на другой поезд, — сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату. — А знаешь, почему я сел

на другой поезд?

— Почему? — Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать.

— Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов. — И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула:

— Должно быть, эта Валя — очень хорошая девушка.

— Почему ты так решила?

— Потому что она была в тебя влюблена, — сказала Мирра, полагая, что этой характеристики вполне достаточно. — А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака — это еще не голод. Голод, когда нет хлеба.

— Хлеба? — Плужников достал вычерченную старшиной схему. — Ты не помнишь, где была пекарня?

— Пекарня — за Мухавцом. А вот здесь был прод-склад и столовая. — Мирра показала на кольцевые казармы, что шли по берегу Мухавца. — Я ходила туда с тетей Христей.

— Вот где он брал еду… — задумчиво сказал Плужников.

— Кто?

Плужников думал о Волкове, которого встретил

как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:

— Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.

И Мирра не стала расспрашивать.

Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой, и женщины целый день радовались тогда этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его.

Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Как-то Плужников издалека видел, как из развалин, лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал,

немцы вывели троих без оружия — заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.

— Никакого хлеба, — категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины. — Обойдемся.

— Придется обойтись, — сказал Плужников. — Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, что это они так заметались.

— Обещай, что будешь осторожен.

— Обещаю.

— Нет, ты поклянись! — сердито сказала она. — Скажи: чтоб я так жива была.

— Ну, клянусь.

— Нет, ты скажи!

— Чтоб ты так жива была, — послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх.

В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры,

хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник.

Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал уже давно, скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичные обломки. Где-то совсем рядом бродили немцы, он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже добравшись до костела, не вбежал в него, а вполз и замер, забившись в ближайшую нишу.

Тяжелый смрад от неубранных трупов слоился в костеле. Зажав нос и с трудом удерживая судорожные спазмы, Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку — они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету, — и он разглядел разбитый станковый пулемет у входа и семь трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемет стоял на том же самом месте, где

когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким.

Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мутило от тяжкого вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Он добрался до разрушенной, заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразложившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше.

Так он взобрался на самый верх: здесь дул ветерок, он смог отдышаться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен бы открываться вид на южную часть цитадели и Тереспольские ворота.

По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела, раздались гулкие шаги. Плужников замер, вжимаясь в стену: позиция была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы — а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения, — если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они б в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой.

Снизу раскатисто и гулко доносились голоса: слов разобрать было невозможно, да Плужников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял затаив дыхание, замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушенно звучали только голоса: видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и огляделся.

Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие, более выносливые или более старательные, немцы рано или поздно обнаружили бы его. А там,

в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью.

Мучительно долго Плужников пробирался по карнизу. Цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом осыпалась штукатурка, он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец он добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу.

Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев, только на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно офицеров. Это строгое построение было непохоже на то, когда раздавали кресты и которое они разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффектнее и торжественнее, и Плужников никак не мог понять, для

чего немцам понадобился весь этот парад.

Откуда-то донеслась музыка — он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: одна из них была в темном плаще, вторая — покрупнее первой и потолще — в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шли еще несколько человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, что шли впереди, на генералов не были похожи, но почести, которые оказывались им, музыка, игравшая в честь их прибытия, — все это убеждало его, что немцы принимают здесь, в его крепости, каких-то очень важных гостей.

Ох как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейная, пусть без оптического прицела! Он хорошо стрелял и даже если бы и не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии было бессмысленно. И он только шепотом

выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать.

Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворог. А миновав башню, появились снова, уже в крепости, в четком четырехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, печатая шаг, пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт. Плужников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем отошли к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапортовавший офицер почтительно давал пояснения.

Плужников не знал и никогда не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигурку того, чей личный приказ обрушил 22 июня в три часа пятнадцать минут по местному времени первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуче итальянских

фашистов Бенито Муссолини.

3

Много дней Плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что он боялся привлечь шумом патрули — после того парада, свидетелем которого он оказался, немцев в крепости стало значительно меньше, — а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться и, подняв кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончались концентраты, оставалось совсем мало сахара, а мясные консервы Мирра уже ела с трудом. И поэтому он упорно, каждый день перекладывал с места на место эти проклятые кирпичи.

Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насквозь, а высушить

его было негде. Правда, он раздобыл еще четыре ватника. Мирра строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже поселилась в каземате и незаметно, день ото дня, все росла и росла, теперь он чистил оружие два раза в сутки.

А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать. Плужников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы всполошились и бросились прочесывать развалины, но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к Мирре.

— Не стреляй, — умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого и измученного. — Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь!

Появились в крепости и гражданские: они прибывали целыми группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи. Плужников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от тех семерых пограничников. Он попытался было наладить с ними контакт, но немцы охраняли

их очень бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Белым дворцом, откуда он шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды группу женщин. Их тоже стерегли: они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщин построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но выяснил только, что у них есть получасовой перерыв на обед. А поговорить с ними, окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность. Мирра очень волновалась тогда:

— Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жива!

Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб.

Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложился кирпичами и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто выглядывая поверх кирпичей, чтобы

не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро, и уставал быстро, а задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда все войдет в норму.

Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными: белый порошок просыпался из них по земле. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери.

— Пудра, — улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку. — Неужели на свете еще есть женщины, которые пудрятся, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз жизни напудрить нос?

— Там много. Хватит и на лоб, и на щеки.

— Много? — Она нахмурилась, что-то старательно припоминая. — Подожди, подожди. В столовой был ларек военторга. Был, был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом.

Он рыл в этом месте с ожесточением, порой

забывая об опасности. Рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящиков. И где-то под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань мешковины.

До глубокой ночи на ощупь он отрывал этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И наконец сумел вытащить его — целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал толстые, шершавые квадраты стандартных армейских сухарей.

Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к лицу, не видя, ощутил запах — густой дух ржаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную соленую точечку, не понял, лизнул снова и только тогда сообразил, что на корявый армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их ощущать.

Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный день в

их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость. Последнее время он частенько заставал ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхалась от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что виной тому однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он хотел бы отыскать для нее что-либо иное, чем консервы, но не знал где и не знал что.

— Ну а если помечтать? Давай вообразим, что я — волшебник.

— А ты и есть волшебник, — сказала она. — Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?

— Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет самое невозможное.

— Фаршированной щуки. И большой соленый огурец.

В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх рань-

ше обычного: еще в темноте.

— Не ходи сегодня, — робко попросила Мирра. — Пожалуйста, не ходи.

— Выходной кончился, — попробовал отшутиться Плужников.

— Не ходи, — с непонятной тоской повторила она. — Побудь со мной, я так мало вижу тебя.

— Все равно не увидишь, даже если останусь.

Они экономили жир и зажигали теперь только одну плошку. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон: они давно уже жили ощупью.

— И хорошо, что ты меня не видишь, — вздохнула Мирра. — Я сейчас страшная-страшная.

— Ты — самая красивая, — сказал он, поцеловал ее и вышел.

Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не расслышал, кроме монотонно моросящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и че-рез кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья.

Кажется, где-то здесь в первые часы войны прятали раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий

запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию.

Странно: он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыв в животной неподвижности. Он вспомнил, как когда-то — давным-давно, еще до войны — ждал, когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надраенные сапоги, уютную, мягкую, чистую гимнастерку. «Через год вызовем вас в училище...» Через год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год... вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить.

И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут

взять Москву. Они могли прорваться за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная армия продолжает вести ожесточенные бои, перемалывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелет и пойдет вперед и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны была еще целая вечность, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, что крепость не сдана, отправить Мирру к маме в Москву и вместе с Красной армией идти дальше. На запад, в Германию.

Наконец-то он услышал шаги: не солдатские — четкие, словно собранные воедино, а гражданские — шаркающие, словно рассыпанные. Выглянул: к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади и по трое с каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих он разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бокам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это — наши винтовки с примкнутыми четырехгран-

ными штыками. Разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев федорчуки.

Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы: кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз, слышались и белорусские, и какие-то иные, совсем непонятные: то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути отхода.

Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и

качнулся назад, еще глубже, уходя во мрак. Но бойница опять просветлела, хотя и изменила свои очертания. Он вгляделся: в нише лежал узелок. Обычный женский узелок из головного платка, связанного концами: кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в защищенное от тусклого осеннего дождя место.

Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпич. Развязал платок, развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: никогда еще ему так не везло. Никогда. Шесть варенных в мундире картофелин, луковица и щепотка соли лежали в этом узелке.

Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин, мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная об этом, сделала сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских сухаря, завязал, как было, четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой и луковицей спрятал за пазуху и ушел в самый дальний, глухой отсек подвала.

И до ночи сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра.

— Ты действительно волшебник?

Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.

— Ты как будто не рада?

— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.

— Это — тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.

— Глупый, — с какой-то странной болью выдохнула она. — Боже мой, какой ты еще глупенький у меня.

Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в недоеденную картошку.

— Что с тобой? Миррочка? Да что же с тобой?

Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее лицо, он видел огромные, полные тоски глаза: в слезах дрожал робкий фитилек коптилки…

— Миррочка…

— Мы должны расстаться, — тихо, словно через силу, сказала она. — Родной мой, муж мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.

— Расстаться? — Он ничего не понимал. — Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!

— У нас будет маленький.

— Маленький? Как маленький?..

Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума леденящий страх одиночества.

— Видишь, я — нормальная женщина, — странная и неуместная нотка гордости прозвучала в голосе Мирры. — Я — нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. Вероятно, это — счастье, даже наверное это — огромное счастье, но за счастье надо платить.

— Не уходи, — с тупым отчаянием сказал он. — Только не уходи.

Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой:

— Нельзя.

— Да, да, я понимаю, понимаю.

Он уже отстранился от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвинулась еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала: он сидел не шевелясь, словно окаменев.

Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что он тоже должен свыкнуться с этим, как свыклась она. А Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось погибнуть, потому что боль, которую он испытал сейчас, была страшнее смерти. Но он сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет: он уже мог вынести все, что возможно, и, что невозможно, мог вынести тоже.

Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда:

— Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, что так и будет, что я умру немножечко раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты — моя жизнь, мое солнышко, моя радость, все — ты, ты все, что у меня есть. Но маленький должен родиться, Коленька, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться здоровеньким, обязательно здоровеньким, а здесь… Здесь я каждую секунду чувствую, как убывают его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине бог дает

немножечко счастья и очень много долга. А я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты один и только мне одной. Дал вопреки войне, вопреки немцам, вопреки моей судьбе, вопреки всему на свете! Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты остаешься один, а я уношу с собою кусочек твоего будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все продумала. Ты только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня из крепости.

— А там?

— Там — мама, не беспокойся! Там — мама и родственники. Столько родственников, сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете.

— Женщин водят строем.

— Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, ми-лый, все будет хорошо! Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, и дождички пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михась: помнишь, он вез нас когда-то в крепость? Мы еще смотрели столб на дороге, и там я впервые наткнулась на твою

руку…

Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз неудержимо катились слезы. Они капали на руку Плужникову, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слезы упали на ржавый армейский сухарь и больше слез уже не осталось. И вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горящими угольями.

— Ты должна идти, — сказал он. — Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. И если только я останусь в живых…

— Коля!

— Если я останусь в живых, я найду вас, — строго повторил он. — А если нет… Ты расскажешь ему о нас. О всех нас, кто остался тут под камнями.

— Он будет молиться на эти камни.

— Молиться не надо. Надо просто помнить.

Они вышли в темноте и благополучно добрались до развалин Белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее протеза. Местами Плужников нес ее на руках, и ему было не тяжело: таким исхудалым и легким было это родное, теплое тело. И там, в подвале, когда он уже разведал выход и показал ей, откуда он будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени,

укутал и не отпускал уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно вышла из подвала.

Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязана платком, и на нее действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала работать.

— Ну, чего ты тут мучаешься? — ворчливо спросила какая-то женщина. — Нога, что ли, болит?

А вторая вздохнула горько:

— Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди вон кирпич складывай.

Кирпичи складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала укладывать целые кирпичи друг на друга.

Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения перекрыли другие женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял и больше уже не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что больше не увидит ее, и не подозревая, что судьба на сей

раз уберегла его от самого жестокого и самого страшного.

Вечерело, когда появились конвоиры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они либо грелись у костра, либо жались к уцелевшим стенам. Сейчас они появились и забегали — здоровые, продрогшие от безделья.

— Становись! Быстрее, быстрее, бабы!

Старшими были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили старательные охранники в серо-зеленых бушлатах, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Они исполнительно суетились вокруг медленно строившихся женщин, отдавая команды на русском языке.

— Разберись по четыре!

Мирра старалась забраться в середину колонны, но женщины, выстраиваясь по четверкам, невольно выталкивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четверки, и снова отодвигали туда, где никаких четверок не было, а была она одна.

— Почему толкотня? — сердито закричал рослый конвоир: он и старался больше всех, и кричал чаще, чем остальные. — Разобраться по своим

четверкам! Живо, бабы, живо!

— Мы разобрались, — сказал чей-то недовольный голос. — Да тут одна лишняя оказалась.

— Какая лишняя? Откуда лишняя? Не может быть лишних. Разберись получше!

— Да вот…

Сердце Мирры забилось стремительно и отчаянно. Конвоир шел вдоль строя, приближался к ней, и она заулыбалась ему из последних сил.

— Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвоир, остановившись против нее.

— Из города. Не узнаете, что ли?

— Из города?

— Ну, пойдемте же, пойдемте! — с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о том, что Плужников все видит. — Пойдемте, разве на ходу нельзя выяснить!

— Правда, идти пора! — недовольно зашумели женщины. — Весь день на холоду! И чего к девчонке пристал: не убыль ведь, а прибыль.

— Прибыль?.. — озадаченно повторил конвоир. — Прибыль, значит? А откуда ты взялась тут, прибыль?

Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах.

— Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?..

Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, стерва, выползла на божий свет? Господин обер-ефрейтор!

— Пойдемте, — задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону. — Пойдемте. Прошу вас. Пожалуйста…

— Откуда взялась? Откуда?

Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плужникова.

— Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из подвалов, видать, вылезла.

Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора, и это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот — с красным, замерзшим носом, а — тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками перебиравший фотографии собственных детей.

— Юде! — закричал немец, уткнув в нее худой,

узловатый палец. — Юде! Бункер! Юде! Бункер!

— Ну, чего к девчонке привязались? — кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, угрожающе покачивая штыками. — Идти пора, застыли! Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша! Наша… Не наша…

— Юде! Бункер! Юде! Бункер! — выкрикивал немец, пятясь, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы.

Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывались лишь два страшных слова: «Юде!», «Бункер!», «Юде!», «Бункер!». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше оттесняя немца.

И даже когда ее ударили — ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, — она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым.

Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленную в протезе ногу.

Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.

Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а — еще живую, торопясь, — за-

валивали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца.

Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми, осенними тучами.

Часть пятая
1

Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытье, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насилуя себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.

Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь, в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив.

Вернулся почти здоровым, только шатало от слабости. Вскипятил на толовых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все свои бушлаты. Теперь он опять верил в свои силы, опять вел счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.

Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом Брестской крепости.

Но, кроме этой основной задачи, существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, будто высокий поверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание, словно в самоволку от самого себя.

Он вдруг решил найти, обязательно, непременно найти свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за ногу, снова улыбался мертвым оскалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день: встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет.

Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись перед тем, как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад,

но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом. Поколебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что — может быть! — к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки.

Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки: он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемна пришлось сидеть наверху, в оконной нише: уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов.

Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свежие скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он

приглядывался, тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях.

Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно, это: то, второе, он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки, он выбрал сам, сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается; он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника.

Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет… До этого или после? Нет, до: его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стреляными гильзами.

Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разби-

тыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов — мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один в немом одиночестве, но немота прорвалась, и одиночество отступило, и он понял вдруг, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его жизни.

— Смерти нет, — вслух сказал он. — И все-таки смерти нет, ребята.

Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь, словно провожая этот звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то шум, что чуть доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы тихо оцепляли костел.

Они еще не замкнули кольцо и — может быть,

нарочно, а может, второпях — оставили ему единственную щель: через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу среди ясного дня: шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы, он хотел жить, а если и умереть, то — свободным. И выпрыгнул из окна.

Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полпути услыхал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натыкаясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца.

Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги — еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а желая лишь уйти от этих голосов и этого топота.

Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, а потом заболел и с той поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал

вслепую, натыкаясь на тупики и завалы и все время слыша топот преследователей. Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно прочесывали подвалы.

За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот, свой, знакомый участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели.

Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту: он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть пощадила его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперерез бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять жи-вым.

Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться

и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках, он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене, под кирпичи, бросился в соседнее помещение.

Это была конюшня: ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены, и он не раздумывая стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И замер, только когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении.

Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в

голову, что он никуда отсюда не ушел.

Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь, рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипенье звук, не понял и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни.

Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немоту, что посте-

пенно завладевала телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.

Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал разглядывать, что там; перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.

Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрел до выхода, нашел за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны — всего-то восемь штук — и сунул их в карман, а

диск положил за кирпичи, где прятал автомат.

Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий.

Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толовые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало о Мирре.

Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он видел ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которые приняли ее, как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше ника-

ких радостей у него не было: только те, что уже прошли.

Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.

А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: все было погребено под вывороченными кирпичами. Все, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую.

Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.

А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых

казарм.

Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.

Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались: наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы — калибр к калибру — и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу.

Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари, — впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил, как у новой, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою: он заново набил магазин

и достал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь: первый он изгрыз еще ночью.

Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул: невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом, и сложением.

Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком.

При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку: тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал,

не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним: виноваты были руки, что повернули этот штык против него.

Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он протер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение всегда было отличным, и все же он сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.

Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.

Он шел быстро, но часто останавливался, при-

глядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.

И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-нибудь лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли.

Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом, сразу за уступом подвальной стены, в переходе настолько корот-

ком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода: ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно как в могиле и как в могиле тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.

Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.

Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.

— Пронесло гадов?

Он резко повернулся: голос звучал из темноты.

Хриплый, задыхающийся. Сердце его забилось в бешеном ритме:

— Кто?

— А ты-то кто?

— Свой!

— Ну а я еще больше свой. Сколько вас?

— Один.

— Последний?

— Не считал. Да где ты тут?

— Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая…

Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую, длиннопалую руку, клок черной, с густой проседью, бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему на ящике огарку, и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.

— Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!.. — Худой, обессиленный человек хрипло,

торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил: — Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все?

— Стерпел, — сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седобородый. — Значит, один ты?

— Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом — четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился.

— Кто будешь?

— Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?

— Для немцев — правильно. А я-то свой, лейте-

нант Плужников.

— Какого полка?

— В списках не значился, — усмехнулся Плужников. — Что, моя очередь рассказывать?

— Выходит, твоя.

Плужников рассказал о себе — без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного.

— Теперь можно и познакомиться, — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. — Старшина Семишный. Из Могилева.

Семишный был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега.

— Ты зарядку делай, лейтенант, — сказал Семишный на следующее утро. — Нам с тобой

распускать себя не годится: одни остались, без санчасти.

Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя гнулся, разводил руками, пока не начинал задыхаться.

— Да, похоже, что одни мы с тобой, — вздохнул Плужников. — Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его — война бы еще летом кончилась. Здесь, у границы.

— Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? — усмехнулся старшина. — Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на каждой версте такие же, как мы с тобой, лежат. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а — присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. — Он вдруг посуровел и кончил жестко, почти зло: — Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца — возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю: такой у меня закон.

Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в робком пламени свечи.

— Что ж не спрашиваешь, почему тобой командую?

— А ты — начальник гарнизона, — усмехнулся Плужников.

— Право я такое имею, — тихо и очень веско сказал Семишный. — Имею право на смерть вас посылать. Ступай. — И задул свечу.

В этот раз он не выполнил приказа старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто так, не наверняка, он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прицел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб.

Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он жив и здоров.

Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил

спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии.

Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся вниз, в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усеян кирпичами с рухнувшего свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат: сверху в узкую щель проникал свет. Он огляделся: каземат был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании.

Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе еще сохранились волосы, густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой

прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны.

Он хотел встать и уйти, но под скелетом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым: старшина Семишный мерз в норе, да и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще колебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью и мертвому была не нужна.

— Прости, браток.

Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата.

Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды. И сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуй, Володька.

Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что

осталось от Володьки Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата.

— Мертвым не холодно, — сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке. — Мертвым не холодно, лейтенант.

Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет.

Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а — умирает.

— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь.

С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела.

— Стонать начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.

— Ты что это, старшина?

— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет.

— Этой радости им хватает, — вздохнул Плужников.

— Этой радости они не видели! — Семишный

вдруг рванул лейтенанта к себе. — Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай.

— Ничего не понимаю. Чего — святого?

— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали: крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться!

Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но ненависть эта в отличие от ненависти Семишного была холодной и расчетливой.

В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил наповал, из хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела вьюга и следы его не взяла бы и самая опытная собака.

Он увел погоню подальше от норы: почти к Холмским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлеживался в глухой нише и пошел к себе: доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет. Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле.

— Видно, не дожить мне, — с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного приступа. — Видно, тебе придется.

— Что придется?

— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?

— Не похоже.

— А чего сидишь? Патроны есть?

— Есть, — сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро.

А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно,

кричал Семишный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков. Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это — конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить.

Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников подумал, что это — конец. Но старшина открыл глаза:

— Я кричал?

— Кричал.

— Почему не разбудил? — Плужников промолчал, и Семишный вздохнул: — Понятно. Себя жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги…

Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза.

— Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать

себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертию смерть поправ. Только так.

— Сил нету, Семишный, — тихо сказал Плужников. — Сил больше нету.

— Сил нету? Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни. Ватник, гимнастерку — все. Расстегнул? Сунь руку. Ну? Чуешь силу? Чуешь?

Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми, обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени.

— С первого дня на себе ношу. — Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания. — Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал, до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — Родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант.

— Не запятнаю.

— Повторяй: клянусь…

— Клянусь, — сказал Плужников.

— …никогда, ни живым, ни мертвым…

— Ни живым, ни мертвым…

— …не отдавать врагу боевого знамени…

— Боевого знамени…

— …моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик.

— Моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик, — повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины.

— Когда помру, на себя наденешь, — сказал Семишный. — А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу.

Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал:

— Двоих я сегодня убил. Метель на дворе, удобно.

— Не сдали мы крепость, — тихо сказал старшина. — Не сдали.

— Не сдали, — подтвердил Плужников. — И не сдам.

Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мертвым.

Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк

вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время — и когда хоронил Семишного, и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами.

Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его Родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. Важным было одно — важным было, чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.

А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов.

Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непо-

нятного народа.

Еще не было Хатыни, и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И преддверием этого ада была Брестская крепость.

Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему. К непокоренному сыну непокоренной Родины…

2

Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах. Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела большая шестиконечная звезда; знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на нем,

как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, каждую секунду ожидая удара, тычка или пули.

Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад.

Рядом резко затормозила машина. Его большие, чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать — тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.

— Юде!

Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор.

— Говоришь по-русски?

— Так точно, господин майор.

— Садись.

Свицкий покорно сел на самый краешек задне-

го сиденья. Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это — генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места.

Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съежился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.

— Выходи!

Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский «Хорьх» стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру, и два накрытых накидками тела, лежавшие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых — женщины разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный «Хорьх».

Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, нахо-

дится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору.

— Юде!

Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется.

— Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустишься вниз и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним — вас сожгут огнеметами, если выйдешь без него — будешь расстрелян. Дайте ему фонарь.

Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась, начался заваленный кирпичом коридор. Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос:

— Стой! Стреляю!

— Не стреляйте! — закричал Свицкий, остановившись. — Я — не немец! Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!

— Освети лицо.

Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче.

— Иди прямо. Свети только под ноги.

— Не стреляйте, — умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. — Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь…

Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом.

— Погаси фонарь.

Свицкий нащупал кнопку. Свет погас, густая тьма обступила его со всех сторон.

— Кто ты?

— Кто я? Я — еврей.

— Переводчик?

— Какая разница? — тяжело вздохнул Свицкий. — Какая разница, кто я? Я забыл, что я — еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я — еврей. Я — просто еврей, и только. И они сожгут вас огнем, а меня расстреляют.

— Они загнали меня в ловушку, — с горечью сказал голос. — Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку.

— Их много.

— У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?

— Понимаете, ходят слухи… — Свицкий понизил голос до шепота. — Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно

разбили.

— А Москва наша? Немцы не брали Москву?

— Нет, нет, что вы! Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?

В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому стало не по себе от этого смеха.

— Теперь я могу выйти. Я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помоги мне, товарищ.

— Товарищ! — странный, булькающий звук вырвался из горла Свицкого. — Вы сказали — товарищ!.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова!

— Помоги мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обопрусь на твое плечо.

Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое, прерывистое дыхание.

— Пойдем. Не зажигай свет: я вижу в темноте.

Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом.

— Скажешь нашим, — тихо сказал неизвестный. — Скажешь нашим, когда они вернутся,

что я спрятал… — Он вдруг замолчал. — Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля… Какое сегодня число?

— Двенадцатое апреля.

— Двадцать лет. — Неизвестный усмехнулся. — А я просчитался на целых семь дней…

— Какие двадцать лет?

Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, кого он вывел из глухого каземата.

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые, черные, отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпря-

мившись, высоко вскинув голову, и не отрываясь смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы.

И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.

— Назовите ваше звание и фамилию, — перевел Свицкий.

— Я — русский солдат.

Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил.

— Господин генерал настоятельно просит вас сообщить звание и фамилию…

Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал и плакал, уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам.

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И

густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке:

— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?

Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.

Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врачи и два санитара с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел прямо к машине.

Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги.

И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке.

А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы

и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.

Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости.

А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел.

Возле машины.

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертию смерть поправ.

Эпилог

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы: меньше суток идет поезд. И не только туристы — все, кто едет за рубеж или возвращается на родину, обязательно приходят в крепость.

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела.

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.

А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени — единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут.

Ищут, потому что крепость не сдалась и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга.

Крепость не пала. Крепость истекла кровью.

Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат.

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца — так называли защитники крепости здание инженерного управления.

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагают венки, замирает почетный караул.

Каждый год 22 июня самым ранним поездом

приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита:

> С 22-го ИЮНЯ ПО 2-е ИЮЛЯ 1941 ГОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ
> (фамилия неизвестна) И СТАРШИНЫ ПАВЛА БАСНЕВА ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГЕРОИЧЕСКИ ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ.

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв:

> «НИКОЛАЙ»

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, что люди не должны забывать билеты, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина.

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что

они погибли.

Завтра была война

Пролог

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись; иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

На фотографии мы были 7-м «Б». После экзаменов Искра Полякова потащила нас в фотоателье на проспекте Революции: она вообще любила проворачивать всяческие мероприятия.

— Мы сфотографируемся после седьмого, а потом после десятого, — ораторствовала она. — Представляете, как будет интересно рассматривать фотографии, когда мы станем старенькими бабушками и дедушками!

Мы набились в тесный «предбанник»; перед нами спешили увековечиться три молодые пары, старушка с внучатами и отделение чубатых

донцов. Они сидели в ряд, одинаково картинно опираясь о шашки, и в упор разглядывали наших девочек бесстыжими казачьими глазами. Искре это не понравилось; она тут же договорилась, что нас позовут, когда подойдет очередь, и увела весь класс в соседний сквер. И там, чтобы мы не разбежались, не подрались или, не дай бог, не потоптали газонов, объявила себя Пифией. Лена завязала ей глаза, и Искра начала вещать. Она была щедрой пророчицей: каждого ожидали куча детей и вагон счастья.

— Ты подаришь людям новое лекарство.

— Твой третий сын будет гениальным поэтом.

— Ты построишь самый красивый в мире Дворец пионеров.

Да, это были прекрасные предсказания. Жаль только, что посетить фотоателье второй раз нам не пришлось, дедушками стали всего двое, да и бабушек оказалось куда меньше, чем девочек на фотографии 7-го «Б». Когда мы однажды пришли на традиционный сбор школы, весь наш класс уместился в одном ряду. Из сорока человек, закончивших когда-то 7-й «Б», до седых волос дожило девятнадцать. А из всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.

Наша компания тогда была небольшой: три девочки и трое ребят — я, Пашка Остапчук да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зиночки была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой; мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались «надеждой школы», а увалень Александров был признанным изобретателем. Пашка числился влюбленным в Леночку, я безнадежно вздыхал по Зине Коваленко, а Валька увлекался только собственными идеями, равно как Искра — собственной деятельностью. Мы ходили в кино, читали вслух те книги, которые Искра объявляла достойными, делали вместе уроки и — болтали. О книгах и фильмах, о друзьях и недругах, о дрейфе «Седова», об Интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе и просто так, ни о чем.

Иногда в нашей компании появлялись еще двое. Одного мы встречали приветливо, а второго откровенно не любили.

В каждом классе есть свой тихий отличник, над которым все потешаются, но которого чтут как достопримечательность и решительно защи-

щают от нападок посторонних. У нас того тихаря звали Вовиком Храмовым: чуть ли не в первом классе он объявил, что зовут его не Владимиром и даже не Вовой, а именно Вовиком, да так Вовиком и остался. Приятелей у него не было, друзей — тем более, и он любил «прислоняться» к нам. Придет, сядет в уголке и сидит весь вечер, не раскрывая рта, — одни уши торчат выше головы. Он стригся под машинку и поэтому обладал особо выразительными ушами. Вовик прочитал уйму книг и умел решать самые заковыристые задачи; мы уважали его за эти качества и за то, что его присутствие никому не мешало.

А вот Сашку Стамескина, которого иногда притаскивала Искра, мы не жаловали. Он был из отпетой компании, ругался как ломовой. Но Искре вздумалось его перевоспитывать, и Сашка стал появляться не только в подворотнях. А мы с Пашкой так часто дрались с ним и с его приятелями, что забыть этого уже не могли: у меня, например, сам собой начинал ныть выбитый лично им зуб, когда я обнаруживал Сашку на горизонте. Тут уж не до приятельских улыбок, но Искра сказала, что будет так, и мы терпели.

Зиночкины родители поощряли наши сборища. Семья у них была с девичьим уклоном.

Зиночка родилась последней, сестры ее уже вышли замуж и покинули отчий кров. В семье главной была мама: выяснив численный перевес, папа быстро сдал позиции. Мы редко видели его, поскольку возвращался он обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал в Зиночкину комнату и всегда приятно удивлялся:

— А, молодежь? Здравствуйте, здравствуйте. Ну, что новенького?

Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.

— Как вы рассматриваете заключение Договора о ненападении с фашистской Германией?

Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался. Мы с Пашкой считали, что он навеки запуган прекрасной половиной человечества. Правда, Искра чаще всего задавала вопросы, ответы на которые знала назубок.

— Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.

— Правильно, — говорил Зинин папа. — Это ты верно рассудила. А вот у нас сегодня случай был:

заготовки подали не той марки стали…

Жизнь цеха была ему близка и понятна, и он говорил о ней совсем не так, как о политике. Он размахивал руками, смеялся и сердился, вставал и бегал по комнате, наступая нам на ноги. Но мы не любили слушать его цеховые новости: нас куда больше интересовали спорт, авиация и кино. А Зинин папа всю жизнь точил какие-то железные болванки; мы слушали с жестоким юношеским равнодушием. Папа рано или поздно улавливал его и смущался.

— Ну, это мелочь, конечно. Надо шире смотреть, я понимаю.

— Какой-то он у меня безответный, — сокрушалась Зина. — Никак не могу его перевоспитать, прямо беда.

— Родимые пятна, — авторитетно рассуждала Искра. — Люди, которые родились при ужасающем гнете царизма, очень долго ощущают в себе скованность воли и страх перед будущим.

Искра умела объяснять, а Зиночка — слушать. Она каждого слушала по-разному, но зато всем существом, словно не только слышала, но и видела, осязала и обоняла одновременно. Она была очень любопытна и чересчур общительна, почему ее не все и не всегда посвящали в свои секреты. Зато

любили бывать в их семье с девичьим уклоном.

Наверное, поэтому здесь было по-особому уютно, по-особому приветливо и по-особому тихо. Папа и мама разговаривали негромко, поскольку кричать было не на кого. Здесь вечно что-то стирали и крахмалили, чистили и вытряхивали, жарили и парили и непременно пекли пироги. Они были из дешевой темной муки; я до сих пор помню их вкус и до сих пор убежден, что никогда не ел ничего вкуснее этих пирогов с картошкой. Мы пили чай с дешевыми карамельками, лопали пироги и болтали. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.

— А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?

— Чтобы чай был с керосином?

— Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.

— Ну, собачь, — соглашалась Зина.

Валька что-то пристраивал, грохотал, дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.

— У Эдисона тоже не все получалось.

— Может, мне Вальку разок за уши поднять? — предлагал Пашка. — Эдисона один раз подняли, и

он сразу стал великим изобретателем.

Пашка и вправду мог поднять Вальку за уши: он был очень силен. Влезал по канату, согнув ноги пистолетом, делал стойку на руках и лихо вертел на турнике «солнце». Это требовало усиленных тренировок, и книг Пашка не читал, но любил слушать, когда их читали другие. А так как чаще всего читала Лена Бокова, то Пашка слушал не столько ушами, сколько глазами: он начал дружить с Леной еще с пятого класса и был постоянен в своих симпатиях и антипатиях. Искра тоже неплохо читала, но уж очень любила растолковывать прочитанное, и мы предпочитали Лену, если предполагалось читать нечто особенно интересное. А читали мы тогда много, потому что телевизоров еще не изобрели и даже дешевое дневное кино было нам не по карману.

А еще мы с детства играли в то, чем жили сами. Классы соревновались не за отметки или проценты, а за честь написать письмо папанинцам или именоваться «чкаловским», за право побывать на открытии нового цеха завода или выделить делегацию для встречи испанских детей.

Я попал однажды в такую делегацию, потому что победил на стометровке, а Искра — как круглая отличница и общественница. Мы при-

несли с этой встречи ненависть к фашизму, переполненные сердца и по четыре апельсина. И торжественно съели эти апельсины всем классом: каждому досталось по полторы дольки и немножко кожуры. Я и сегодня помню особый запах этих апельсинов.

И еще я помню, как горевал, что не смогу помочь челюскинцам, потому что мой самолет совершил вынужденную посадку где-то в Якутии, так и не долетев до ледового лагеря. Самую настоящую посадку: я получил «плохо», не выучив стихотворения. Потом-то я его выучил: «Да, были люди в наше время…» А дело заключалось в том, что на стене класса висела огромная самодельная карта и каждый ученик имел свой собственный самолет. Отличная оценка давала пятьсот километров, но я получил «плохо», и мой самолет был снят с полета. И «плохо» было не просто в школьном журнале: плохо было мне самому и немного — чуть-чуть! — челюскинцам, которых я так подвел.

А карту выдумала Искра.

В девятом классе Валентина Андроновна предложила нам тему свободного сочинения «Кем я хочу стать?». И все ребята написали, что они хотят стать командирами Красной Армии. Даже Вовик

Храмов пожелал быть танкистом, чем вызвал бурю восторга. Да, мы искренне хотели, чтобы судьба наша была суровой. Мы сами избирали ее, мечтая об армии, авиации и флоте: мы считали себя мужчинами, а более мужских профессий тогда не существовало.

В этом смысле мне повезло. Я догнал в росте своего отца уже в восьмом классе, а поскольку он был кадровым командиром Красной Армии, то его старая форма перешла ко мне. Гимнастерка и галифе, сапоги и командирский ремень, шинель и буденовка из темно-серого сукна. Я надел эти прекрасные вещи в один замечательный день и не снимал их целых пятнадцать лет. Пока не демобилизовался. Форма тогда уже была иной, но содержание ее не изменилось: она по-прежнему осталась одеждой моего поколения. Самой красивой и самой модной.

Мне люто завидовали все ребята. И даже Искра Полякова.

— Конечно, она мне немного велика, — сказала Искра, примерив мою гимнастерку. — Но до чего же в ней уютно. Особенно если потуже затянуться ремнем.

Я часто вспоминаю эти слова, потому что в них — ощущение времени. Мы все стремились

затянуться потуже, точно каждое мгновение нас ожидал строй, точно от одного нашего вида зависела готовность этого общего строя к боям и победам. Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой, чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям. Мы не знали, но это знали наши отцы и матери, прошедшие яростный огонь революции.

Кажется, ни у кого из нас не было в доме ванной. Впрочем, нет, одна квартира была с ванной, но об этом после. Мы ходили в баню обычно втроем: я, Валька и Пашка. Пашка драил наши спины отчаянно жесткой мочалкой, а потом долго блаженствовал в парной. Он требовал невыносимого жара, мы с Валькой поддавали этот жар, но сами сидели внизу. А Пашка издевался над нами с самой верхней полки:

— Здравствуйте, молодежь.

Как-то в парную, стыдливо прикрываясь шайкой, бочком проскользнул Андрей Иванович Коваленко — отец Зиночки. В голом виде он был еще мельче, еще неказистее.

— Жарковато у вас.

— Да разве это жар? — презрительно заорал сверху Пашка. — Это же субтропики! Это же Анапа сплошная! А ну, Валька, поддай еще!

— Борькина очередь, — объявил Валька. — Борька, поддай.

— Стоит ли? — робко спросил Коваленко.

— Стоит! — отрезал я. — Пар костей не ломит.

— Это кому как, — тихо улыбнулся Андрей Иванович.

И тут я шарахнул полную шайку на каменку. Пар взорвался с треском. Пашка восторженно взвыл, а Коваленко вздохнул. Постоял немного, подумал, взял свою шайку, повернулся и вышел.

Повернулся…

Я и сейчас помню эту исколотую штыками, исполосованную ножами и шашками спину в сплошных узловатых шрамах. Там не было живого места — все занимал этот сине-багровый автограф Гражданской войны.

А вот мать Искры вышла из той же Гражданской иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Такие же, как на спине у отца Зиночки.

Мать Искры — я забыл, как ее звали, и теперь уже никто не напомнит мне этого — часто вы-

ступала в школах, техникумах, в колхозах и на заводах. Говорила резко и коротко, точно командуя, и мы ее побаивались.

— Революция продолжается, запомните. И будет продолжаться, пока мы не сломим сопротивление классовых врагов. Готовьтесь к борьбе. Суровой и беспощадной.

А может, все это мне только кажется? Я старею, с каждым днем все дальше отступая от того времени, и уже не сама действительность, а лишь представление о ней сегодня властвует надо мной. Может быть, но я хочу избежать того, что диктует мне возраст. Я хочу вернуться в те дни, стать молодым и наивным…

Глава 1

— Ясненько-ясненько-прекрасненько! — прокричала Зиночка, не дослушав материнских наставлений.

Она торопилась закрыть дверь и накинуть крючок, а мать, как всегда, застряла на пороге с последними указаниями. Постирать, погладить, почистить, прокипятить, подмести. Ужас сколько всего она придумывала каждый раз, когда уходила на работу. Обычно Зиночка терпеливо выслушивала ее, но именно сегодня мама непозволительно медлила, а идея, возникшая в Зиночкиной голове, требовала действий, поскольку была неожиданной и, как подозревала Зина, почти преступной.

Сегодня утром во сне Зиночка увидела себя на берегу речки. Этим летом она впервые поехала в лагерь не обычной девочкой, а помощником вожатой, переполненная ощущением ответственности. Она все лето так строго сдвигала колючие бровки, что на переносице осталась белая вертикальная складочка. И Зиночка очень гордилась ею.

Но увидела она себя не с пионерами, ради

которых и приходилось сдвигать брови, а со взрослыми: с вожатыми отрядов, преподавателями и другими начальниками. Они загорали на песке, а Зиночка еще плескалась, потому что очень любила бултыхаться на мелководье. Потом на нее прикрикнули, и Зиночка пошла к берегу, так как еще не разучилась слушаться старших.

Уже выходя на берег, она почувствовала взгляд: пристальный, оценивающий, мужской. Зиночка смутилась, крепко прижала руки к мокрой груди и постаралась поскорее упасть на песок. А в сладком полусне ей представилось, что там, на берегу, она была без купальника. Сердце на мгновение екнуло, но глаз Зиночка так и не открыла, потому что страх не был пугающим. Это был какой-то иной страх, на который хотелось посмотреть. И она торопила маму, пугаясь не страха, а решения заглянуть в него. Решения, которое боролось в ней со стыдом, и Зиночка еще не была уверена, кто кого переборет.

Накинув крючок на входную дверь, Зиночка бросилась в комнату и первым делом старательно задернула занавески. А потом в лихорадочной спешке стала срывать с себя одежду, кидая ее куда попало: халатик, рубашку, лифчик, трусики… Она лишь взялась за них, оттянула резинку и тут

же отпустила: резинка туго щелкнула по смуглому животу, и Зиночка опомнилась. Постояла, ожидая, когда уймется застучавшее сердце, и тихонечко пошла к большому маминому зеркалу. Она приближалась к нему как к бездне: чувствуя каждый шаг и не решаясь взглянуть. И, только оказавшись перед зеркалом, подняла глаза.

В свинцовом зеркальном холодке отразилась смуглая маленькая девушка с круглыми от преступного любопытства, блестящими, как вишенки, глазами. Вся она казалась шоколадной, и лишь не по росточку большая грудь да полоски от бретелек были неправдоподобно белыми, словно не принадлежавшими этому телу. Зиночка впервые сознательно разглядывала себя как бы со стороны, любовалась и одновременно пугалась того, что казалось ей уже созревшим. Но созревшей была только грудь, а бедра никак не хотели наливаться, и Зиночка сердито похлопала по ним руками. Однако бедра еще можно было терпеть: все-таки они хоть чуточку да раздались за лето, и талия уже образовалась. А вот ноги огорчали всерьез: они сбегали каким-то конусом, несоразмерно утоньшаясь к щиколоткам. И икры еще были плоскими, и коленки еще не округлились и торчали, как у девчонки-пятиклашки. Все

выглядело просто отвратительно, и Зиночка с беспокойством подозревала, что природа ей тут не поможет. И вообще все счастливые девочки жили в прошлом веке, потому что тогда носили длинные платья.

Зиночка осторожно приподняла грудь, словно взвешивая: да, это уже было взрослым, полным будущих ожиданий. Значит, такая она будет — кругленькая, тугая, упругая. Конечно, хорошо бы еще подрасти, хоть немного; Зина вытянулась на цыпочках, прикидывая, какой она станет, когда наконец подрастет, и, в общем, осталась довольна. «Подождите, вы еще не так будете на меня смотреть!» — самодовольно подумала она и потанцевала перед зеркалом, мысленно напевая модное «Утомленное солнце».

И тут раздался звонок. Он ворвался так неожиданно, что Зиночка было ринулась к дверям, но потом метнулась назад, торопливо, кое-как напялила разбросанную одежду и вернулась в прихожую, на ходу застегивая халатик.

— Кто там?

— Это я, Зиночка.

— Искра? — Зина сбросила крючок. — Знала бы, что это ты, сразу бы открыла. Я думала…

— Саша из школы ушел.

— Как ушел?

— Совсем. Ты же знаешь, что у него только мама. А теперь за ученье надо платить, вот он и ушел.

— Вот ужас-то! — Зина горестно вздохнула и примолкла.

Она побаивалась Искорку, хотя была почти на год старше. Очень любила ее, в меру слушалась и всегда побаивалась той напористости, с которой Искра решала все дела и за себя, и за нее, и вообще за всех, кто, по ее мнению, в этом нуждался.

Мама Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень, оставлявший после удара жгучие красные полосы. Про эти полосы Искра никому никогда не говорила, потому что стыд был больнее. И еще потому, что лишь она одна знала: ее резкая, крутая, несгибаемая мать была глубоко несчастной и, в сущности, одинокой женщиной; Искра очень жалела и очень любила ее.

Три года назад сделала она это страшное открытие: мама несчастна и одинока. Сделала случайно, проснувшись среди ночи и услышав глухие, стонущие рыдания. В комнате было темно, только из-за шкафа, что отделял Искоркину кровать, виднелась полоска света. Искра вы-

скользнула из-под одеяла, осторожно выглянула. И обмерла. Мать, согнувшись и зажав голову руками, раскачивалась перед столом, на котором горела настольная лампа, прикрытая газетой.

— Мамочка, что случилось? Что с тобой, мамочка?

Искра рванулась к матери, а мать медленно вставала ей навстречу, и глаза у нее были мертвые. Потом побелела, затряслась и впервые сорвала с себя солдатский ремень.

— Подглядывать? Подслушивать?..

Такой Искра навсегда запомнила маму, а вот папу не помнила совсем: он наградил ее необыкновенным именем и исчез еще в далеком детстве. И мама сожгла в печке все фотографии с привычной беспощадностью.

— Он оказался слабым человеком, Искра. А ведь был когда-то комиссаром!

Слово «комиссар» для мамы решало все. В этом понятии заключался ее символ веры, символ чести и символ ее юности. Слабость была антиподом этого вечно юного и яростного слова, и Искра презирала слабость пуще предательства.

Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который предстояло достичь. С одной, правда, поправкой:

Искра очень надеялась стать более счастливой.

В классе подружек любили. Но если Зиночку просто любили и быстро прощали, то Искру не только любили, но слушали. Слушали все, но зато ничего не прощали. Искра всегда помнила об этом и немного гордилась, хотя оставаться совестью класса было порой нелегко.

Вот Искорка ни за что на свете не стала бы танцевать перед зеркалом в одних трусиках. И когда Зиночка подумала об этом, то сразу начала краснеть, пугаться, что Искра заметит ее внезапный румянец, и от этого краснела еще неудержимее. И вся эта внутренняя борьба настолько занимала ее, что она уже не слушала подругу, а только краснела.

— Что ты натворила? — вдруг строго спросила Искра.

— Я? — Зиночка изобразила крайнее удивление. — Да что ты! Я ничего не натворила.

— Не смей врать. Я прекрасно знаю, когда ты краснеешь.

— А я не знаю, когда я краснею. Я просто так краснею, вот и все. Наверное, я многокровная.

— Ты полоумная, — сердито сказала Искра. — Лучше признайся сразу, тебе же будет легче.

— А! — Зиночка безнадежно махнула рукой. —

Просто я пропадушка.

— Кто ты?

— Пропадушка. Пропащий человек женского рода. Неужели непонятно?

— Болтушка, — улыбнулась Искра. — Разве можно с тобой серьезно разговаривать?

Зиночка знала, чем отвести подозрения. Правда, «знать» — глагол, трудно применимый к Зине, здесь лучше подходил глагол «чувствовать». Так вот, Зиночка чувствовала, когда и как смягчить суровую подозрительность подруги. И действовала хотя и интуитивно, но почти всегда безошибочно.

— Представляешь, Саша — с его-то способностями! — не закончит школу. Ты соображаешь, какая это потеря для всех нас, а может быть, даже для всей страны! Он же мог стать конструктором самолетов. Ты видела, какие он делал модели?

— А почему Саша не хочет пойти в авиационную спецшколу?

— А потому что у него уши! — отрезала Искра. — Он застудил в детстве уши, и теперь его не принимает медкомиссия.

— Все-то ты знаешь, — не без ехидства заметила Зиночка. — И про модели, и про уши.

— Нет, не все. — Искра была выше девичьих

шпилек. — Я не знаю, что нам делать с Сашей. Может, пойти в райком комсомола?

— Господи, ну при чем тут райком? — вздохнула Зиночка. — Искра, тебе за лето стал тесным лифчик?

— Какой лифчик?

— Обыкновенный. Не испепеляй меня, пожалуйста, взглядом. Просто я хочу знать: все девочки растут вширь или я одна такая уродина?

Искра хотела рассердиться, но сердиться на безмятежную Зиночку было трудно. Да и вопрос, который только она могла задать, был вопросом и для Искры тоже, потому что при всем командирстве ее беспокоили те же шестнадцать лет. Но признаться в таком она не могла даже самой близкой подруге: это была слабость.

— Не тем ты интересуешься, Зинаида, — очень серьезно сказала Искра. — Совершенно не тем, чем должна интересоваться комсомолка.

— Это я сейчас комсомолка. А потом я хочу быть женщиной.

— Как не стыдно! — с гневом воскликнула подруга. — Нет, вы слыхали, ее мечта, оказывается, быть женщиной. Не летчицей, не парашютисткой, не стахановкой, наконец, а женщиной. Игрушкой в руках мужчины!

— Любимой игрушкой, — улыбнулась Зиночка. — Просто игрушкой я быть не согласна.

— Перестань болтать глупости! — прикрикнула Искра. — Мне противно слушать, потому что все это отвратительно. Это буржуазные пошлости, если хочешь знать.

— Ну, рано или поздно их узнать придется, — резонно заметила Зиночка. — Но ты не волнуйся, и давай лучше говорить о Саше.

О Саше Искра согласна была говорить часами, и никому, даже самым отъявленным сплетницам, не приходило в голову, что «Искра плюс Саша равняется любовь». И не потому, что сама любовь, как явление несвоевременное, Искрой гневно отрицалась, а потому, что сам Саша был продуктом целеустремленной деятельности Искры, реально существующим доказательством ее личной силы, настойчивости и воли.

Еще год назад имя Сашки Стамескина склонялось на всех педсоветах, фигурировало во всех отчетах и глазело на мир с черной доски, установленной в вестибюле школы. Сашка воровал уголь из школьной котельной, макал девичьи косы в чернильницы и принципиально не вылезал из «оч. плохо». Дважды его собирались исключить из школы, но приходила мать, рыдала и обещала,

и Сашку оставляли с директорской пометкой «до следующего замечания». Следующее замечание неукротимый Стамескин хватал вслед за уходом матери, все повторялось и к Ноябрьским прошлогодним праздникам достигло апогея. Школа кипела, и Сашка уже считал дни, когда получит долгожданную свободу.

И тут на безмятежном Сашкином горизонте возникла Искра. Появилась она не вдруг, не с бухты-барахты, а вполне продуманно и обоснованно, ибо продуманность и обоснованность были проявлением силы как антипода человеческой слабости. К Ноябрьским Искра подала заявление в комсомол, выучила Устав и все, что следовало выучить, но это было пассивным, сопутствующим фактором, это могла вызубрить любая девчонка. А Искра не желала быть «любой», она была особой и с помощью маминых внушений и маминого примера целеустремленно шла к своему идеалу. Идеалом ее была личность активная, беспокойная, общественная — та личность, которая с детства определялась гордым словом «комиссар». Это была не должность — это было призвание, долг, путеводная звездочка судьбы. И, собираясь на первое комсомольское собрание, делая первый шаг навстречу своей звезде, Искра

добровольно взвалила на себя самое трудное и неблагодарное, что только могла придумать.

— Не надо выгонять из школы Сашу Стамескина, — как всегда звонко и четко сказала она на своем первом комсомольском собрании. — Перед лицом своих товарищей по Ленинскому комсомолу я торжественно обещаю, что Стамескин станет хорошим учеником, гражданином и даже комсомольцем.

Искре аплодировали, ставили ее в пример, а Искра очень жалела, что на собрании нет мамы. Если бы она была, если бы она слышала, какие слова говорят о ее дочери, то — кто знает! — может быть, она действительно перестала бы знакомым судорожным движением расстегивать широкий солдатский ремень и кричать при этом коротко и зло, будто отстреливаясь:

— Лечь! Юбку на голову! Живо!

Правда, в последний раз это случилось два года назад, в самом начале седьмого класса. Искру тогда так мучительно долго трясло, что мама отпаивала ее водой и даже просила прощения.

— Ненормальная! — кричала после собрания Зиночка. — Нашла кого перевоспитывать! Да он же поколотит тебя. Или… Или знаешь что может сделать? То, что сделали с той девочкой, в парке,

про которую писали в газетах!

Искра гордо улыбалась, снисходительно выслушивая Зиночкины запугивания. Она отлично знала, что делала: она испытывала себя. Это было первое, робкое испытание ее личных «комсомольских» качеств.

На другой день Стамескин в школу не явился, и Искра после уроков пошла к нему домой. Зиночка мужественно вызвалась сопровождать, но Искра пресекла этот порыв:

— Я обещала комсомольскому собранию, что сама справлюсь со Стамескиным. Понимаешь, сама!

Она шла по длинному, темному, пронзительно пропахшему кошками коридору, и сердце ее сжималось от страха. Но она ни на мгновение не допускала мысли, что можно повернуться и уйти, сказав, будто никого не застала дома. Она не умела лгать, даже себе самой.

Стамескин рисовал самолеты. Немыслимые, сказочно гордые самолеты, свечой взмывающие в безоблачное небо. Рисунками был усеян весь стол, а то, что не умещалось, лежало на узкой железной койке. Когда Искра вошла в крохотную комнату с единственным окном, Саша ревниво прикрыл свои работы, но всего прикрыть не мог

и разозлился.

— Чего приперлась?

С чисто женской быстротой Искра оценила обстановку: грязная посуда на табуретке, смятая, заваленная рисунками кровать, кастрюлька на подоконнике, из которой торчала ложка, — все свидетельствовало о том, что Сашкина мать во второй смене и что первое свидание с подшефным состоится с глазу на глаз. Но она не позволила себе струсить и сразу ринулась в атаку на самое слабое Сашкино место, о котором в школе никто не догадывался: на его романтическую влюбленность в авиацию.

— Таких самолетов не бывает.

— Что ты понимаешь! — закричал Сашка, но в тоне его явно послышалась заинтересованность.

Искра невозмутимо сняла шапочку и пальтишко — оно было тесновато, пуговки сдвинуты к самому краю, и это всегда смущало ее — и, привычно оправив платье, пошла прямо к столу. Сашка следил за нею исподлобья, недоверчиво и сердито. Но Искра не желала замечать его взглядов.

— Интересная конструкция, — сказала она. — Но самолет не взлетит.

— Почему это не взлетит? А если взлетит?

— «Если» в авиации понятие запрещенное, — строго произнесла она. — В авиации главное расчет. У тебя явно мала подъемная сила.

— Что? — настороженно переспросил отстающий Стамескин.

— Подъемная сила крыла, — твердо повторила Искра, хотя была совсем не уверена в том, что говорила. — Ты знаешь, от чего она зависит?

Сашка молчал, подавленный эрудицией. До сих пор авиация существовала в его жизни, как существуют птицы: летают, потому что должны летать. Он придумывал свои самолеты, исходя из эстетики, а не из математики: ему нравились формы, которые сами рвались в небо.

Все началось с самолетов, которые не могли взлететь, потому что опирались на фантазии, а не на науку. А Сашка хотел, чтобы они летали, чтобы «горки», «бочки» и «иммельманы» были покорны его самолетам, как его собственное тело было покорно ему, Сашке Стамескину, футболисту и драчуну. А для этого требовался сущий пустяк — расчет. И за этим пустяком Сашка нехотя, криво усмехаясь, пошел в школу.

Но Искре было мало, что Сашка возлюбил математику с физикой, терпел литературу, мыкался на истории и с видимым отвращением зубрил

немецкие слова. Она была трезвой девочкой и ясно представляла срок, когда ее подопечному все надоест и Стамескин вернется в подворотни, к подозрительным компаниям и привычным «оч. плохо». И, не ожидая, пока это наступит, отправилась в районный Дворец пионеров.

— Отстающих не беру, — сказал ей строгий, в очках, руководитель авиамодельного кружка. — Вот пусть сперва…

— Он не простой отстающий, — перебила Искра, хотя перебивать старших было очень невежливо. — Думаете, из одних отличников получаются хорошие люди? А Том Сойер? Так вот, Саша — Том Сойер, правда, он еще не нашел своего клада. Но он найдет его, честное комсомольское, найдет! Только чуть-чуть помогите ему. Пожалуйста, помогите человеку.

— А знаешь, девочка, мне сдается, что он уже нашел свой клад, — улыбнулся руководитель кружка.

Однако Сашка поначалу наотрез отказался идти в заветный авиамодельный кружок. Он боялся, как бы там ему в два счета не доказали, что все его мечты — пустой звук и что он, Сашка Стамескин, сын судомойки с фабрики-кухни и неизвестного отца, никогда в жизни своей не

прикоснется к серебристому дюралю настоящего самолета. Попросту говоря, Сашка не верил в собственные возможности и отчаянно трусил, и Искре пришлось потопать толстыми ножками.

— Ладно, — обреченно вздохнул он. — Только с тобой. А то сбегу.

И они пошли вместе, хотя Искру интересовали совсем не самолеты, а звучный Эдуард Багрицкий. И не просто интересовал — Искра недавно сама начала писать поэму «Дума про комиссара»: «Над рядами полыхает багряное знамя. Комиссары, комиссары, вся страна — за вами!..» Ну, и так далее еще две страницы, а хотелось, чтоб получилось страниц двадцать. Но сейчас главным было авиамоделирование, элероны, фюзеляжи и не вполне понятные подъемные силы. И она не сожалела об отложенной поэме, а гордилась, что наступает на горло собственной песне.

Вот об этом-то, о необходимости подчинения мелких личных слабостей главной цели, о радости преодоления и говорила Искра, когда они шли во Дворец пионеров. И Сашка молчал, терзаемый сомнениями, надеждами и снова сомнениями.

— Человек не может рождаться на свет просто так, ради удовольствий, — втолковывала Искра, подразумевая под словом «удовольствия» время

будущее, а не прошедшее. — Иначе мы должны будем признать, что природа — просто какая-то свалка случайностей, которые не поддаются научному анализу. А признать это — значит пойти на поводу у природы, стать ее покорными слугами. Можем мы, советская молодежь, это признать? Я тебя спрашиваю, Саша.

— Не можем, — уныло сказал Стамескин.

— Правильно. А это означает, что каждый человек — понимаешь, каждый! — рождается для какой-то определенной цели. И нужно искать свою цель, свое призвание. Нужно научиться отбрасывать все случайное, второстепенное, нужно определить главную задачу жизни…

— Эй, Стамеска!

От подворотни отклеилось трое мальчишек; впрочем, одного можно было бы уже назвать парнем. Двигались они лениво, враскачку, загребая ногами.

— Куда топаешь, Стамеска?

— По делу. — Сашка весь съежился, и Искра мгновенно уловила это.

— Может, подумаешь сперва? — Старший говорил как-то нехотя, будто с трудом отыскивая слова. — Отшей девчонку, разговор есть.

— Назад! — звонко выкрикнула Искра. — Сами

катитесь в свои подворотни!

— Что такое? — насмешливо протянул парень.

— Прочь с дороги! — Искра обеими руками толкнула парня в грудь.

От толчка парень лишь чуть покачнулся, но тут же отступил в сторону. Искра схватила растерянного Стамескина за руку и потащила за собой.

— Ну, гляди, бомбовоз! Попадешься нам — наплачешься!

— Не оглядывайся! — прикрикнула Искра, волоча Стамескина. — Они все трусы несчастные.

— Знала бы ты, — вздохнул Сашка.

— Знаю! — отрезала она. — Смел только тот, у кого правда. А у кого нет правды, тот просто нахален, вот и все.

Несмотря на победу, Искра была в большом огорчении. Она каждый день по строгой системе делала зарядку, с упоением играла в баскетбол, очень любила бегать, но пуговки на кофточках приходилось расставлять все чаще, платья трещали по всем швам, а юбки из года в год наливались такой полнотой, что Искра впадала в отчаяние. И глупое словечко «бомбовоз» — да еще сказанное при Сашке! — было для нее во сто крат обиднее любого ругательства.

Сашка враз влюбился и в строгого руководите-

ля, и в легкокрылые планеры, и в само название «авиамодельный кружок». Искра рассчитала точно: теперь Сашке было что терять, и он цеплялся за школу с упорством утопающего. Наступил второй этап, и Искра каждый день ходила к Стамескину не просто делать уроки, но и учить то, что утерялось в дни безмятежной Сашкиной свободы. Это было уже, так сказать, сверх обещанного, сверх программы: Искра последовательно лепила из Сашки Стамескина умозрительно сочиненный идеал.

Через полмесяца после встречи с прежними Сашкиными друзьями Искра вновь столкнулась с ними — уже без Саши, без поддержки и помощи, и даже не на улице, где в конце концов можно было бы просто заорать, хотя Искра скорее умерла бы, чем позвала на помощь. Она вбежала в темный и гулко пустой подъезд, когда ее вдруг схватили, стиснули, поволокли под лестницу и швырнули на заплеванный цементный пол. Это было так внезапно, стремительно и беззвучно, что Искра успела только скорчиться, согнуться дугой, прижав коленки к груди. Сердечко ее замерло, а спина напряглась в ожидании ударов. Но ее почему-то не били, а мяли, тискали, толкали, сопя и мешая друг другу. Чьи-то руки стащили

шапочку, тянули за косы, стараясь оторвать лицо от коленок, кто-то грубо лез под юбку, щипал за бедра, кто-то протискивался за пазуху. И все это вертелось, сталкивалось, громко дышало, пыхтело, спешило…

Нет, ее совсем не собирались бить, ее намеревались просто ощупать, обмять, обтискать: «полапать», как это называлось у мальчишек. И когда Искра это сообразила, страх ее мгновенно улетучился, а гнев был столь яростен, что она задохнулась от этого гнева. Вонзилась зубами в чью-то руку, ногами отбросила того, что лез под юбку, сумела вскочить и через три ступеньки взлететь по лестнице в длинный Сашкин коридор.

Она ворвалась в комнату без стука: красная, растрепанная, в пальтишке с выдранными пуговицами, все еще двумя руками прижимая к груди сумку с учебниками. Ворвалась, закрыла дверь и привалилась к ней спиной, чувствуя, что вот-вот, еще мгновение — и рухнет на пол от безостановочной дрожи в коленках.

Сашкина мать, унылая и худая, жарила картошку на керосинке, а сам Сашка сидел за столом и честно пытался решить задачу. Они молча уставились на Искру, а Искра, старательно улыбаясь,

пояснила:

— Меня задержали. Там, внизу. Извините, пожалуйста.

Всем телом оттолкнулась от двери, сделала два шага и рухнула на табурет, отчаянно заплакав от страха, обиды и унижения.

— Да что вы, Искра? — Сашкина мама из уважения обращалась к ней как к взрослой. — Да господи, что сделали-то с вами?

— Шапочку стащили, — жалко и растерянно бормотала Искра, упорно улыбаясь и размазывая слезы по крутым щекам. — Мама расстроится, заругает меня за шапочку.

— Да как же это, господи! — плачуще выкрикнула женщина. — Водички выпейте, Искра, водички.

Сашка вылез из-за стола, молча отодвинул суетившуюся мать и вышел.

Вернулся он через полчаса. Положил перед Искрой ее голубую вязаную шапочку, выплюнул в таз вместе с кровью два передних зуба, долго мыл разбитое лицо. Искра уже не плакала, а испуганно следила за ним; он встретил ее взгляд, с трудом улыбнулся:

— Будем заниматься, что ли?

С того дня они всюду ходили вдвоем. В школу

и на каток, в кино и на концерты, в читальню и просто так. По улицам. Только вдвоем. Но ни у кого и мысли не возникало позубоскалить на этот счет. Все в школе знали, как Искра умела дружить, но никто, ни один человек — даже Сашка — не знал, как она умела любить. Впрочем, и сама Искра тоже не знала. Все пока называлось дружбой, и ей вполне хватало того, что содержалось в этом слове.

А теперь Сашка Стамескин, положивший столько сил и упорства, чтобы поверить в реальность собственной мечты, догнавший, а кое в чем и перегнавший многих из класса, расставался со школой. И это было не просто несправедливостью — это было крушением всех Искриных надежд. Осознанных и еще не осознанных.

— Может быть, мы соберем ему эти деньги?

— Вот ты — то умная-умная, а то — дура дурой! — Зина всплеснула руками. — Собрать деньги — это ты подумала. А вот возьмет ли он их?

— Возьмет, — не задумываясь, сказала Искра.

— Да, потому что ты заставишь. Ты даже меня можешь заставить съесть пенки от молока, хотя я наверняка знаю, что умру от этих пенок. — Зиночка с отвращением передернула плечами. — Это

же милостынька какая-то, и поэтому ты дура. Дура, вот и все. В смысле неумная женщина.

Искра не любила слово «женщина», и Зиночка сейчас слегка подразнивала ее. Ситуация была редкой: Искра не знала выхода. А Зина нашла выход и поэтому тихонечко торжествовала. Но долго торжествовать не могла. Она была порывистой и щедрой и всегда выкладывала все, что было на душе.

— Ему нужно устроиться на авиационный завод!

— Ему нужно учиться, — неуверенно сказала Искра.

Но сопротивлялась она уже по инерции, по привычному ощущению, что до сих пор была всегда и во всем права. Решение звонкой подружки оказалось таким простым, что спорить было невозможно. Учиться? Он будет учиться в вечерней школе. Кружок? Смешно: там завод, там не играют в модели, там строят настоящие самолеты, прекрасные, лучшие в мире самолеты, не раз ставившие невероятные рекорды дальности, высоты и скорости. Но сдаться сразу Искра не могла, потому что решение — то решение, при известии о котором Сашины глаза вновь вспыхнут огоньком, — на этот раз принадлежало не ей.

— Думаешь, это так просто? Это совершенно секретный завод, и туда принимают только очень проверенных людей.

— Сашка шпион?

— Глупая, там же анкеты. А что он напишет в графе «отец»? Что? Даже его собственная мама не знает, кто его отец.

— Что ты говоришь? — В глазах у Зиночки вспыхнуло преступное любопытство.

Тут Искре пришлось замолчать. Но, сдав и этот пункт, она по-прежнему уверяла, что устроиться на авиазавод будет очень трудно. Она нарочно пугала, ибо в запасе у нее уже имелся выход: райком комсомола. Всемогущий райком комсомола. И выход этот должен был компенсировать тот укол самолюбию, который нанесла Зина своим предложением.

Но Зиночка мыслила конкретно и беспланово, опираясь лишь на интуицию. И эта природная интуиция мгновенно подсказала ей решение:

— А Вика Люберецкая?

Папа Вики Люберецкой был главным конструктором авиационного завода. А сама Вика восемь лет просидела с Зиночкой за одной партой. Правда, Искра сторонилась Вики. И потому, что Вика тоже была круглой отличницей, и потому, что

немного ревновала ее к Зиночке, и, главное, потому, что Вика держалась всегда чуть покровительственно со всеми девочками и надменно со всеми мальчишками, точно вдовствующая королева. Только Вику подвозила служебная машина; правда, останавливалась она не у школы, а за квартал, и дальше Вика шла пешком, но все равно об этом знали все. Только Вика могла продемонстрировать девочкам шелковое белье из Парижа — предмет мучительной зависти Зиночки и горделивого презрения Искры. Только у Вики была шубка из настоящей сибирской белки, швейцарские часы со светящимся циферблатом и вечная ручка с золотым пером. И все это вместе определяло Вику как существо из другого мира, к которому Искра с детства испытывала ироническое сожаление.

Они соперничали даже в прическах. И если Искра упорно носила две косички за ушами, а Зина — короткую стрижку, как большинство девочек их класса, то у Вики была самая настоящая прическа, какую делают в парикмахерских.

И еще Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии

девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен: он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль, и даль эта была прекрасна, потому что Вика всегда ей улыбалась.

У Искры и Зины были разные точки зрения на красоту. Искра признавала красоту, запечатленную раз и навсегда на полотнах, в книгах, в музыке или в скульптуре, а от жизни требовала лишь красоты души, подразумевая, что всякая иная красота сама по себе уже подозрительна. Зиночка же поклонялась красоте как таковой, завидовала этой красоте до слез и служила ей как святыне. Красота была для нее божеством, живым и всемогущим. А красота для Искры была лишь результатом, торжеством ума и таланта, очередным доказательством победы воли и разума над непостоянным и слабым человеческим естеством. И поэтому просить о чем-либо Вику Искра не могла.

— Я сама попрошу! — горячо заверяла Зина. — Вика — золотая девчонка, честное комсомольское!

— У тебя все золотые.

— Ну, хоть раз, хоть разочек доверь мне. Хоть единственный, Искорка!

— Хорошо, — милостиво согласилась Искра после некоторого колебания. — Но не откладывать. Первое сентября — послезавтра.

— Вот спасибо! — засмеялась Зина. — Увидишь сама, как замечательно все получится. Дай я тебя поцелую за это.

— Не можешь ты без глупостей, — со вздохом сказала Искра, подставляя тем не менее тугую щеку подруге. — Я — к Саше, как бы он чего-нибудь от растерянности не наделал.

Первого сентября черная «эмка» притормозила за квартал до школы. Вика выпорхнула из нее, дошла до школьных ворот и, как всегда никого не замечая, направилась прямо к Искре.

— Здравствуй. Кажется, ты хотела, чтобы Стамескин работал на авиационном заводе? Можешь ему передать: пусть завтра приходит в отдел кадров.

— Спасибо, Вика, — сказала Искра, изо всех сил стараясь не обращать внимания на ее торжествующую надменность.

Но настроение было испорчено, и в класс она вошла совсем не такой сияющей, какой полчаса назад вбежала на школьный двор.

Глава 2

Летом Артем устроился разнорабочим: копал канавы под водопровод, обмазывал трубы, помогал слесарям. Он не чурался никакого труда, одинаково весело спешил и за гаечным ключом, и за пачкой «Беломора», держал где просили, долбил где приказывали, но принципов своих не нарушал. И с самого начала поставил в известность бригаду:

— Только я, это… Не курю. Вот. Лучше не предлагайте.

— Чахотка, что ли? — участливо спросил старший.

— Спортом занимаюсь, это… Легкая атлетика.

Говорил Артем всегда скверно и хмуро стеснялся. Ему мучительно не хватало слов, и спасительное «это» звучало в его речах чаще всего остального. Тут была какая-то странность, потому что читал Артем много и жадно, письменные писал не хуже других, а с устным выходила одна неприятность. И поэтому Артем еще с четвертого класса преданно возлюбил науки точные и люто возненавидел все предметы, где надо много говорить. Приглашение его к доске всегда вызывало

приступ веселья в классе. Остряки изощрялись в подсказках, зануды подсчитывали, сколько раз прозвучало «это», а самолюбивый Артем страдал не только морально, но и физически, до натуральной боли в животе.

— Ну, я же с тобой нормально говорю? — жаловался он лучшему другу Жорке Ландысу. — И ничего у меня не болит, и пот не прошибает, и про этого… про Рахметова могу рассказать. А в классе не могу.

— Ну, еще бы. Ты у доски помираешь, а она гляделки пялит.

— Кто она? Кто она? — сердился Артем. — Ты, это… Знаешь, кончай эти штучки.

Но *она* была. *Она* появилась в конце пятого класса, когда в стеклах плавилось солнце, орали воробьи, а хмурый Григорий Андреевич — классный руководитель, имеющий скверную привычку по всем поводам вызывать родителей, — принес микроскоп.

Собственно, *она* существовала и раньше. Существовала где-то впереди, в противном мире девчонок и отличников, и Артем ее не видел. Не видел самым естественным образом, будто взгляд его проходил сквозь все ее косички и бантики. И ему жилось хорошо, и ей, наверное, тоже.

До конца мая в пятом классе. До того дня, когда Григ принес микроскоп и забыл предметные стекла.

— Не трогать, — сказал он и ушел.

А Артем остался у доски, поскольку был дежурным и не получил разрешения сесть на место. Григ задерживался, класс развлекался как мог, и скоро с «камчатки» к доске стала летать пустая сумка тихого отличника Вовика Храмова, Вовик не протестовал, увлеченный берроузовским «Тарзаном», сумку швыряли через весь класс, Артем картинно ловил ее и кидал обратно. И так шло до поры, пока он не сплоховал и не угодил сумкой в микроскоп.

Григ вошел, когда микроскоп грохнулся на пол. Класс замер, «камчатка» пригнулась к партам, отличники съежились, а остальное население в бесстрашном любопытстве вытянуло шеи. Пауза была длинной; Григ поднял микроскоп, и в нем что-то зазвенело, как в пустой бутылке.

— Кто? — шепотом спросил Григ.

Если б он закричал, все было бы проще, но тогда Артем так бы и не узнал, кто такая *она.* Но Григ спросил тем самым шепотом, от которого в жилах пятиклассников вся кровь свернулась в трусливый комочек.

— Кто это сделал?

— Я! — звонко сказала Зиночка. — Честное-пречестное, но не нарочно.

Именно в тот миг Артем понял, что *она* — это Зина Коваленко. Понял сразу и на всю жизнь. Это было великое открытие, и Артем свято хранил его в тайне. Это было нечто чрезвычайно серьезное и радостное, но радость Артем не спешил реализовать ни сегодня, ни завтра, ни вообще в обозримые времена. Он знал теперь, что радость эта существует, и твердо был убежден, что она найдет его, нужно лишь терпеливо ждать.

Артем был младшим: два брата уже слесарили, а Роза — самая красивая и самая непутевая — как раз в это лето ушла из отчего дома. Артем в тот день собирался на работу: он только что устроился копать канавы и очень важничал. Отец с братьями уже ушли на завод, мать кормила Артема на кухне; Артем считал, что он один на один с мамой, и капризничал:

— Мам, я не хочу с маслом. Мам, я хочу с сахаром.

И тут вошла Роза. Взъерошенная, невыспавшаяся, в детском халатике, из которого давно уже торчали коленки, локти и клочок живота. Она была всего на три года старше Артема, училась в

строительном техникуме, носила челку и туфли на высоком каблуке, и Артем был чуточку влюблен в жгучее сочетание черных волос, красных губ и белых улыбок. А тут никаких улыбок не было, а была какая-то невыспавшаяся косматость.

— Роза, где ты была ночью? — тихо спросила мама. Роза выразительно повела насильно втиснутым в старенький халатик плечом.

— Роза, здесь мальчик, а то бы я спросила не так, — опять сказала мама и вздохнула. — Тебя один раз нахлестал по щекам отец, и тебе это, кажется, не понравилось.

— Оставьте вы меня! — вдруг выкрикнула Роза. — Хватит, хватит и хватит!

Мама спокойно и внимательно посмотрела на нее, долила чайник, поставила на примус и еще раз посмотрела. Потом заговорила:

— Я сажала тебя на горшочек и чинила твои чулочки. Неужели же сейчас мне нельзя сказать всей правды?

— А мне надоело, вот и все! — громко, но все же потише, чем прежде, заявила Роза. — Я люблю парня, и он меня любит, и мы распишемся. И если надо уйти из дома, то я уйду из дома, но мы все равно распишемся, вот и все.

Так Артем узнал о любви, из-за которой бегут из

родного дома. И любовь эта была не в бальном наряде, а в стареньком халатике, выпирала из него бедрами, плечами, грудью, и халатик трещал по всем швам. А в том, что это любовь, у Артема не было никаких сомнений, поскольку уйти из их дома от сурового, но такого справедливого отца и от мамы, добрее и мудрее которой вообще не могло быть, — уйти из этого дома можно было только из-за безумной любви. И гордился, что любовь эта нашла Розу, и немного беспокоился, что его-то она как раз обойдет стороной.

Отец категорически запретил упоминать имя дочери в своем доме. Он был суров и никогда не изменял даже нечаянно сорвавшемуся слову. Все молчаливо согласились с изгнанием блудной дочери, но через неделю, когда взрослые ушли на работу, мама сказала, старательно пряча глаза:

— Мальчик мой, тебе придется обмануть своего отца.

— Как обмануть? — От удивления Артем перестал жевать.

— Это большой грех, но я возьму его на свою душу, — вздохнула мама. — Завтра Розочка празднует свою свадьбу с Петром, и ей будет очень горько, если рядом не окажется никого из родных. Может быть, ты сходишь к ней на полчасика, а до-

ма скажем, что ты смотришь какое-нибудь кино.

— А какое? — спросил Артем.

Мама пожала плечами. Она была в кино два раза до замужества и знала только Веру Холодную.

— «Остров сокровищ»! — объявил Артем. — Я его уже смотрел и могу рассказать, если Матвей спросит.

Матвей был ненамного старше Артема и снисходил до расспросов. Старший, Яков, до этого не унижался и звал Артема Шпендиком.

— Шпендик, тащи молоток! Не видишь, в кухонном столе гвоздь вылез, мама может оцарапаться.

И мама в таких случаях говорила:

— Не надо мне никакого богатства, а дайте мне хороших детей.

На другой день Артем надел праздничную курточку, взял цветы и отправился к Розе. До нее было пять трамвайных остановок, но Артем сесть в трамвай не решился, опасаясь помять букет, и всю дорогу нес его перед собой, как свечку. И поэтому опоздал: в красном уголке общежития за разнокалиберными столами уже полно набилось чрезвычайно шумной молодежи. Оглушенный смехом и криками, Артем затоптался у входа, пытаясь за горами винегрета разглядеть Розу.

— Тимка пришел! Ребята, передайте сюда моего братишку!

Артем не успел опомниться, как его схватили, подняли, в полном соответствии с просьбой пронесли вдоль столов и поставили на ноги рядом с Розой.

— Принимай подарок, Роза!

И тут только Артем увидел, что по обе стороны жениха и невесты сидят братья. Роза расцеловала его, а Яков пробурчал одобрительно:

— Молодец, Шпендик. Гляди отцу не проболтайся.

Роза прибегала по утрам, и Артем видел ее редко. А вот Петьку часто, потому что Петька заходил на их водопроводные канавы, учил Артема газовой сварке, и за лето они подружились. Петька все мог и все умел, и с ним Артему было проще, чем с братьями. Но это было летом. А к сентябрю Артем получил расчет и принес деньги маме.

— Вот. — Он выложил на стол все бумажки и всю мелочь.

— Для трудовых денег нужен хороший кошелек, — сказала мама и достала специально к этому событию купленный кошелек. — Положи в него свои деньги и сходи в магазин вместе с Розочкой и Петром.

— Нет, мам. Это тебе. Для хозяйства.

— У тебя будет костюм, а у меня будет удовольствие. Ты думаешь, это мало: иметь удовольствие от костюма, который сын купил на собственные деньги?

Артем для порядка поспорил, а потом положил заработок в кошелек и наутро отправился к молодым. Но в общежитии был один Петр: Роза ушла в техникум.

— Костюм — это вещь, — одобрил идею Петр. — Я знаю, какой надо: мосторговский. Или ленинградский. А еще бывает на одной пуговице, спортивный покрой называется. А может, ты на заказ хочешь? Купим материал бостон…

— А мне и в куртке хорошо, — сказал Артем. — Мне, это, шестнадцать. Дата?

— Дата, — кивнул Петр. — Хочешь, чтоб к дате?

— Хочу, это… — Артем солидно помолчал. — Отметить хочу.

— Ага, — сообразил Петр. — Значит, вместо костюма?

— Вместо. А про деньги скажу, что потерял. Или стащили.

— Вот это не пойдет, — серьезно сказал Петр. — Это просто никак не годится: первая получка — и вранье? Получается, с вранья жизнь начинаешь,

братишка. Так получается? Это во-первых. А во-вторых, мать с отцом зачем обижать? Они тоже порадоваться должны на твое рождение. Так или не так?

— Вроде так. Только, это, а ты с Розой?

— Мы тебя отдельно поздравим, — улыбнулся Петр. — А сейчас крой к маме и скажи, что меняешь костюм на день рождения.

Мама согласилась сразу, отец, поворчав, тоже, и Артем вместо магазинов, которые очень не любил, помчался к закадычному другу Жорке — советоваться, кого приглашать на первый в жизни званый вечер.

У Жорки Ландыса было два дела, которыми он занимался с удовольствием: коньки и марки, причем коньки были увлечением, а марки — страстью. Он разыскивал их в бабушкиных сундуках, до унижения клянчил у знакомых, выменивал, покупал, а порой и крал, не в силах устоять перед соблазном. Он первым в классе вступил в МОПР, лично писал письма в Германию, потом в Испанию, а затем в Китай, хищно отклеивал марки и тут же сочинял новые послания. Эта активность закрепила за ним славу человека делового и оборотистого, и Артем шел к нему советоваться.

— Нужен список, — сказал Жорка. — Не весь же класс звать.

Артем был согласен и на весь, лишь бы пришла *она.* Жорка достал бумагу и приступил к обсуждению.

— Ты, я, Валька Александров, Пашка Остапчук…

С мужской половиной они покончили быстро. Затем Жорка отложил ручку и выбрался из-за стола:

— Девчонок пиши сам.

— Нет, нет, зачем это? — Артем испугался. — У тебя почерк лучше. Натренированный.

— Это точно, — с удовольствием отметил Ландыс. — Знаешь, куда я письмо накатал? В Лигу Наций насчет детского вопроса. Может, ответят? Представляешь, марочка придет!

— Вот и давай, — сказал Артем. — С кого начнем?

— Задача! — рассмеялся Жорка. — Лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко.

— Искру. — Артем сосредоточенно хмурился. — Ну, кого еще? Еще Лену Бокову, она с Пашкой дружит. Еще…

— Еще Сашку Стамескина, — перебил Жорка. — Из-за него Искра надуется, а без Искры…

— Без Искры нельзя, — вздохнул Артем.

Оба не любили Сашку: он был из другой компании, с которой не раз случались серьезные столкновения. Но без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.

— Пиши Стамескина, — махнул рукой Артем. — Он теперь рабочий класс, может, не так задается.

— И Вику Люберецкую, — твердо сказал Жорка.

Артем улыбнулся: Вика давно уже была Жоркиной мечтой. Голубой, как ответ из Лиги Наций.

День рождения решено было отмечать в третье воскресенье сентября. Они еще не совсем привыкли к слову «воскресенье» и написали «в третий общевыходной», но почта сработала быстрее, чем рассчитывал Артем: в среду к нему подошла Искра и строго спросила:

— Эта открытка не розыгрыш?

— Ну, зачем? — Артем недовольно засопел. — Я, это… Шестнадцать лет.

— А почему не твой почерк? — допытывалась дотошная Искра.

— Жорка писал. Я — как курица лапой, сама знаешь.

— У нашей Искры недоверчивость прокурора сочетается с прозорливостью Шерлока Холм-

са, — громко сказала Вика. — Спасибо, Артем, я обязательно приду.

Артема немного беспокоило, как поведут себя братья в их школьной компании, но оказалось, что как раз в этот день и у Якова и у Матвея возникли неотложные дела. Они утром поздравили младшего и отбыли за час до прихода гостей, предварительно перетащив в одну комнату все столы, стулья и скамейки.

— К одиннадцати вернемся. Счастливо гулять, Шпендик!

Братья ушли, а мать и отец остались. Они сидели во главе стола; мама наливала девочкам ситро и угощала их пирогами. Мальчики пили мамину наливку, а отец водку. Он выпил две рюмки и ушел, и осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла.

— Мировые у тебя старики, — сказал Валька Александров, на редкость общительный парень, очень не любивший ссор и быстро наловчившийся улаживать конфликты. — У меня только и слышишь: «Валька, ты что там делаешь?»

— За тобой, Эдисон, глаз нужен, — улыбнулся лучший спортсмен школы Пашка Остапчук. — А то ты такое изобретешь…

Вальку прозвали Эдисоном за тихую страсть

к усовершенствованиям. Он изобретал вечные перья, велосипеды на четырех колесах и примус, который можно было бы накачивать ногой. Последнее открытие вызвало небольшой домашний пожар, и Валькин отец пришел в школу просить, чтобы дирекция пресекла изобретательскую деятельность сына.

— Эдисон кого-нибудь спалит!

— А я считаю, что человеку нельзя связывать крыльев, — ораторствовала Искра. — Если человек хочет изобрести полезную для страны вещь, ему необходимо помочь. А смеяться над ним просто глупо!

— Глупо по всякому поводу выступать с трибуны, — сказала Вика, и опять ее услышали, несмотря на смех, разговоры и шум.

— Нет, это не глупо! — звонко объявила Искра. — Глупо считать себя выше всех только потому, что…

— Девочки, девочки, я фокус знаю! — закричал миролюбивый изобретатель.

— Ну, договаривай, — улыбалась Вика. — Так почему же?

Искра хотела выложить все про духи, белье, шубки и служебную машину, которая сегодня в десять должна была заехать за Викой. Хоте-

ла, но не решилась, потому что дело касалось некоторых девичьих тайн. И проклинала себя за слабость.

— Потому что у меня папа конструктор? Ну и что же здесь плохого? Мне нечего стыдиться своего папы…

— Артемон! — вдруг отчаянно крикнула Зиночка: ей до боли стало жалко безотцовщину Искру. — Налей мне ситро, Артемон… Все хохотали долго и весело, как можно хохотать только в детстве. И Зиночка хохотала громче всех, неожиданно назвав Артема именем верного пуделя, а Сашка Стамескин даже хрюкнул от восторга, и это дало новый повод для смеха. А когда отсмеялись, разговор изменился, Жорка Ландыс начал рассказывать про письмо в Лигу Наций и при этом так смотрел на Вику, что все стали улыбаться. А потом Искра, пошептавшись с Леной Боковой, предложила играть в шарады, и они долго играли в шарады, и это тоже было весело. А потом громко пели песни про Каховку, про Орленка и про своего сверстника, которого шлепнули в Иркутске. И когда пели, Зина пробралась к Артему и виновато сказала:

— Ты прости, пожалуйста, что я назвала тебя Артемоном. Я вдруг назвала, понимаешь? Я не

придумывала, а — вдруг. Как выскочило.

— Ничего. — Артем боялся на нее смотреть, потому что она была очень близко, а смотреть хотелось, и он все время вертел глазами.

— Ты правда не обижаешься?

— Правда. Даже, это… Хорошо, словом.

— Что хорошо?

— Ну, это. Артемон этот.

— А… А почему хорошо?

— Не знаю. — Артем собрал все мужество, отчаянно заглянул в Зиночкины блестящие глазки, почувствовал вдруг жар во всем теле и выложил: — Потому что ты, понимаешь? Тебе можно.

— Спасибо, — медленно сказала Зина, и глаза ее заулыбались Артему особой, незнакомой ему улыбкой. — Я иногда буду называть тебя Артемоном. Только редко, чтобы ты не скоро привык.

И отошла как ни в чем не бывало. И ничего ни в ней, ни в других не изменилось, но на Артема вдруг обрушился приступ небывалой энергии. Он пел громче и старательнее всех, он заводил старенький патефон, что принес Пашка Остапчук, он даже порывался танцевать — но не с Зиной, нет! — с Искрой, оттопал ей ноги и оставил это занятие. Мама следила за ним и улыбалась так, как улыбаются все мамы, открывая в своих детях

что-то новое: неожиданное и немного взрослое. А когда все разошлись и Артем помогал ей убирать со стола, сказала:

— У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья, но знаешь, кто мне понравился больше всех? Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.

— Правда, мам? — расцвел Артем.

И это был лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить.

Но это было уже поздно вечером, когда черная «эмка» увезла Вику, а остальные весело пошли на трамвай. И громко пели в пустом вагоне, а когда кому-нибудь надо было сходить, то вместо «до свидания» уходящий почему-то кричал:

— Физкульт-привет!

И все хором отвечали:

— Привет! Привет! Привет!

Но и это было потом, а тогда танцевали. Собственно, танцевали только Лена с Пашкой да Зиночка с Искрой. Остальные танцевать стеснялись, а Вика сказала:

— Я танцую или вальс, или вальс-бостон.

Чего-то не хватало — то ли танцующих, то ли

пластинок, — от танцев вскоре отказались и стали читать стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена — Пушкина, Зиночка — Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки — у нее была настоящая дамская сумочка из Парижа! — тонкий потрепанный томик.

— Я прочитаю три моих любимых стихотворения одного почти забытого поэта.

— Забытое — значит, ненужное, — попытался сострить Жорка.

— Ты дурак, — сказала Вика. — Он забыт совсем по другой причине.

Она прошла на середину комнаты, раскрыла книжку, строго посмотрела вокруг и негромко начала:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду…

— Это Есенин, — сказала Искра, когда Вика замолчала. — Это упадочнический поэт. Он воспевает кабаки, тоску и уныние.

Вика молча усмехнулась, а Зиночка всплеснула руками:

— Ну и пусть себе упадочнический-разупаднический! Это изумительные стихи, вот и все. И-зу-ми-тель-ны-е!

Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились и спорить она не могла. И не хотела. Она точно знала, что стихи упадочнические, потому что слышала это от мамы, но не понимала, как могут быть упадочническими такие стихи. Между знанием и пониманием возникал разлад, и Искра честно пыталась разобраться в себе самой.

— Тебе понравились стихи? — шепнула она Сашке.

— Ничего я в этом не смыслю, но стихи мировецкие. Знаешь, там такие строчки… Жалко, не запомнил.

— «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» — задумчиво повторила Искра.

— «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» — вздохнул Сашка.

Вика слышала разговор. Подошла, спросила вдруг:

— Ты умная, Искра?

— Не знаю, — опешила Искра. — Во всяком случае, не дура.

— Да, ты не дура, — улыбнулась Вика. — Я ни-

кому не даю эту книжку, потому что она папина, но тебе дам. Только читай не торопясь.

— Спасибо, Вика. — Искра тоже улыбнулась ей, кажется, впервые в жизни. — Верну в собственные руки.

На улице два раза рявкнул автомобильный сигнал, и Вика стала прощаться. А Искра бережно прижимала к груди зачитанный сборник стихов упадочнического поэта Сергея Есенина.

Глава 3

Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать, в коридорах стояли кадки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал — редчайшая вещь по тем временам.

— Прекрасный подарок нашей детворе, — сказал представитель гороно. — Значит, так. На первом этаже — первые и вторые классы; наверх не пускать, чтобы на перилах не катались. На втором, соответственно, третьи и четвертые, и так далее по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.

— Это удивительно точно, — подтвердила Валентина Андроновна. — Даже символично в прекрасном *нашем* смысле этого слова.

Валентина Андроновна преподавала литературу и временно замещала директора. Ее массивная фигура источала строгость и целеустремленную готовность следовать новейшим распоряжениям и циркулярам.

Сделали согласно приказу, добавив по своей инициативе дежурных на лестничных площадках со строгим уговором никого из учеников

не пускать ни вниз, ни вверх. Школа была прослоена, как пирог, десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Каждый этаж жил жизнью своего возраста, но зато, правда, никто не катался на перилах. Кроме дежурных.

Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги «шимми» и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами, был по-кавалерийски шумлив, любил громко хохотать и чихать на всю школу.

— Кадетский корпус, — заявил он, ознакомившись с символической школьной структурой.

— Распоряжение гороно, — со значением сказала Валентина Андроновна.

— Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея — воспитать гражданина новой социалистической Родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром.

Он немного подумал и написал первый приказ:

«1-й этаж. Первый и шестой классы.

2-й этаж. Второй, седьмой и восьмой.

3-й этаж. Третий и девятый.

4-й этаж. Четвертый, пятый и десятый».

— Вот, — сказал он, полюбовавшись на раскладку. — Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузотеры? В четвертом и пятом; теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных, пусть шуруют по всем этажам. Ребенок — существо стихийно-вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало — одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышишь, Михеич? Купить и повесить.

— Кокоток растить будем? — ядовито улыбнулась Валентина Андроновна.

— Не кокоток, а женщин. Впрочем, вы не знаете, что это такое.

Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала. Куда следует. Но там на это письмо не обратили никакого внимания: то ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, чем и привели девочек в состояние постоянно действующего ажиотажа.

Появились новые бантики и новые челки, на переменах школа победно ревела сотнями глоток, и директор был очень доволен.

— Жизнь бушует!

— Страсти преждевременно будим, — поджимала губы Валентина Андроновна.

— Страсти — это прекрасно. Хуже нет бесстрастного человека. И поэтому надо петь!

Специальных уроков пения в школе не было из-за отсутствия педагогов, и директор решил вопрос волюнтаристски: отдал приказ об обязательном совместном пении три раза в неделю. Старшеклассников звали в спортзал, директор брал в руки личный баян и отстукивал ритм ногой.

Мы красные кавалеристы,
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ…

Эти спевки Искра очень любила. У нее не было ни голоса, ни слуха, но она старалась громко и четко произносить слова, от которых по спине пробегали мурашки:

Мы беззаветные герои все…

А вообще-то директор преподавал географию, но своеобразно, как и все, что делал. Он не любил установок, а тем паче — указаний, и учил не столько по программе, сколько по совести большевика и бывшего конармейца.

— Что ты мне все по Гангу указкой лазаешь! Плавать придется, как-нибудь разберешься в притоках, а не придется, так и не надо. Ты нам, голуба, лучше расскажи, как там народ бедствует, как английский империализм измывается над трудящимся людом. Вот о чем надо помнить всю жизнь!

Это когда дело касалось стран чужих. А когда своей, директор рассказывал совсем уж вещи непривычные.

— Берем Сальские степи. — Он аккуратно обрисовывал степи на карте. — Что характерно? А то характерно, что воды мало, и если случится вам летом там быть, то поите коня с утра обильно, чтоб аж до вечера ему хватило. И наш конь тут не годится, надо на местную породу пересаживаться, они привычнее.

Может, за эти рассказы, может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом любила директора школа. Любила, уважала, но и побаи-

валась, ибо директор не терпел наушничанья и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал: не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства.

В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:

— Найти и доставить. Немедленно. Все. Идите.

К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы, поставил в центре доставленного и сказал:

— Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек. Но знаю одно: сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожнее. С ним нельзя дружить, потому что он предаст, его нельзя любить, потому что он подлец, ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость, пока не станет настоящим мужчиной. А чтоб ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина

тот, кто любит только двух женщин. Да, двух, что за смешки! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть, и это самые главные предметы в жизни!

Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара. И весь зал зааплодировал за нею.

— Тише, хлопцы, тише! — Директор заулыбался. — Между прочим, в строю нельзя в ладоши бить. — Он повернулся к парню, усердно изучавшему пол, и в мертвой тишине сказал негромко и презрительно: — Иди учись. Средний род.

Да, они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали столь дружно и глубоко, что не затрачивались уже ни на какие иные эмоции. Разговоров с нею не искали: терпеливо выслушивали, стараясь не отвечать, а если отвечать все же приходилось, то

пользовались ответами наипростейшими: «да» и «нет». Но Валентина Андроновна была далеко не глупа, прекрасно знала, как к ней относятся, и, не найдя путей к умам и душам, начала чуть-чуть, самую малость заискивать. И это «чуть-чуть» было тотчас же отмечено классом.

— Что-то наша Валендра заюлила? — громко удивился Пашка Остапчук.

— Льет масло в будущие волны страстей человеческих, — с пафосом изрекла Лена Бокова.

— Ворвань она льет, а не масло, — проворчал просвещенный филателист Жорка Ландыс. — Откуда у такой задрыги масло?

— Прекрати, — строго сказала Искра. — О старших так не говорят, и я не люблю слово «задрыга».

— А зачем же произносишь, если не любишь?

— Для примера. — Искра покосилась на Вику, отметила, что она улыбается, и расстроилась. — Нехорошо это, ребята. Получается, что мы злословим всем классом.

— Ясно, ясно, Искра! — торопливо согласился Валька Эдисон. — Действительно, в классе не надо. Лучше дома.

Но Валентина Андроновна вовсе не ограничивала свои цели классом. Да, ей хотелось

властвовать над умами и душами строптивого 9-го «Б», но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа — ее школа, где она целых полгода правила единовластно, — ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это «пока».

Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере даже тайно, даже про себя. Она думала о *линии*, и эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния представлялась ей ошибочной. Валентина Андроновна боролась не за личное, а за общественное благо. Ничего личного в ее аскетической жизни одинокой и необаятельной женщины давно уже не существовало.

В воскресенье веселились, в понедельник вспоминали об этом, а во вторник после уроков Искру вызвала классная руководительница.

— Садись, Искра, — сказала она, плотно прикрывая дверь 1-го «А», в котором принимала для разговоров наедине.

В отличие от Зиночки, Искра не боялась ни вызовов, ни отдельных кабинетов, ни бесед с

глазу на глаз, поскольку никогда не чувствовала за собой никакой вины. А вот Зиночка чувствовала вину — если не прошлую, то будущую — и отчаянно боялась всего.

Искра села, одернула платье — это ужасно, когда торчат коленки, ужасно, а ведь торчат! — и приготовилась слушать.

— Ты ничего не хочешь мне рассказать?

— Ничего.

— Жаль, — вздохнула Валентина Андроновна. — Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить с Остапчуком или Александровым, с Ландысом или Шефером, с Боковой или Люберецкой, но я хочу говорить с тобой, Искра.

Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9-го «Б», но Зиночка…

— Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола. Не только как к отличнице и общественнице. Не только как к человеку идейному и целеустремленному… — Валентина Андроновна сделала паузу, — но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь: зачем

это вступление? Затем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать…

— Мне нечего вам сказать, — ответила Искра, лихорадочно соображая, что же они такое натворили в воскресенье.

— Да? А разве тебе неизвестно, что Есенин — поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения — я проверила анкету Шефера: он родился второго сентября. Второго, а собрал вас через три недели! Зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого певца?

— Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.

— Люберецкая? — Валентина Андроновна была явно удивлена, и Искра не дала ей опомниться.

— Да, Вика, Зина Коваленко напутала в своей информации.

Это был пробный шар. Искра даже отвернулась, понимая, что идет на провокацию. Но ей необходимо было проверить подозрения.

— Значит, Вика? — Валентина Андроновна окончательно утеряла наступательный пафос. —

Да, да, Коваленко много болтала лишнего. Кто-то ушел из дома, кто-то в кого-то влюбился, кто-то читал стихи. Она очень, очень несобранная, эта Коваленко! Ну что же, тогда все понятно, я… и ничего страшного. Отец Люберецкой — виднейший руководитель, гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.

— Я могу идти? — спросила Искра, вставая.

— Что? Да, конечно. Видишь, как все просто решается, когда говорят правду. А твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.

— Я подумаю об этом, — сказала Искра и вышла.

Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы. Ей необходимо было объяснить кое-что про сплетни, длинный язык и легкомысленную склонность к откровениям.

Зиночка весело щебетала в обществе двух десятиклассников, Юрия и Сергея, а вдали маячил Артем. Искра молча взяла подружку за руку и повлекла за собой; Артем двинулся было за ними, но одумался и исчез.

— Куда ты меня тащишь?

Искра завела Зину за угол школы, втиснула в закуток у входа в котельную и спросила без

предисловия:

— Ты кто — идиотка, сплетница или предатель?

Вместо ответа Зиночка тут же вызвала на помощь слезы. Она всегда прибегала к ним в затруднительных случаях, но на сей раз это было ошибкой.

— Значит, ты предатель.

— Я? — Зина враз перестала плакать.

— Ты что наговорила Валендре?

— А я наговорила? Она поймала меня в уборной перед зеркалом. Стала ругать, что верчусь и… кокетничаю. Это она так говорит, а я вовсе не кокетничаю и даже не знаю, как это делают. Ну, я стала оправдываться. Я стала оправдываться, а она — расспрашивать, подлая. И я ничего не хотела говорить, честное слово, но… все рассказала. Я не нарочно рассказала, Искорка, я же совсем не нарочно.

Осторожно всхлипывая, Зиночка говорила что-то еще, но Искра уже не слушала, а размышляла. Потом скомандовала:

— Утрись, и идем к Люберецким.

— Куда? — От удивления Зиночка мгновенно перестала всхлипывать.

— Ты подвела человека. Завтра Вику начнет

допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.

— Но мы же никогда не были у Люберецких!

— Не были, так будем. Пошли!

Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Но если Искра гордилась про себя, то Вика — открыто и победоносно. Гордилась его наградами: орденом Боевого Красного Знамени за Гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве. Гордилась его многочисленными именными подарками от наркома: фотоаппаратами и часами, радиоприемниками и патефонами. Гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем.

Мать Вики давно умерла. Первое время с ними жила тетя — сестра отца; позднее она вышла замуж, переехала в Москву и навещала Люберецких нечасто. Хозяйство вела домработница, быт был налажен, девочка росла и развивалась нормально, и тете не о чем было особенно беспокоиться. Беспокоился всегда сам Люберецкий. И с каждым годом беспокоился все больше именно потому, что дочь нормально росла и нормально развивалась.

Беспокойство выражалось в крайностях. Страх

за нее породил машину, доставлявшую Вику в школу и из школы, в театр и из театра, за город и домой. Желание видеть ее самой красивой привело к заграничным нарядам, прическам и шубкам, которые были бы впору молодой женщине, а не девочке, только-только начинавшей взрослеть. Он сам невольно торопил ее развитие, гордился, что развитие это обогнало ее сверстниц, и тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания.

Вика очень гордилась отцом и очень тяготилась одиночеством. Но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-нибудь вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.

— Извини, мы по важному делу, — сказала Искра.

— Какое зеркало! — ахнула Зина: зеркала были ее слабостью.

— Старинное, — не удержалась Вика. — Папе подарил знакомый академик.

Она хотела провести девочек к себе, но на голоса вышел папа — Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Здравствуйте, девочки. Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книж-

ками да с книжками. Очень рад, очень! Проходите в столовую, я сейчас подам чай.

— Чай может подать Поля, — с легким неудовольствием сказала Вика.

— Может, но лучше я, — улыбнулся отец и ушел на кухню.

За чаем Леонид Сергеевич ухаживал за девочками, угощал пирожными и конфетами в нарядных коробках. Искру и Зину смущали пирожные: они привыкли есть их только по великим праздникам. Но отец Вики при этом шутил, улыбался, и ощущение чужого праздника, на котором они оказались незваными гостьями, постепенно оставило девочек. Зиночка вскоре завертелась, с любопытством разглядывая хрусталь за стеклами дубового буфета, а Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.

— Девочки, это все несерьезно. — Отец Вики тем не менее почему-то погрустнел и тяжело вздохнул. — Никто Сергея Есенина не запрещал, и в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает, а разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.

— Нет, — сказала Искра. — Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разби-

раться сами. Надо вырабатывать характер.

— Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.

— Папа!

— А разве это тайна? Извини. — Он снова обратился к Искре: — Оказалось, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в Гражданскую, воевали в одной дивизии. Удивительно отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.

— Комиссар, — тихо, но твердо поправила Искра.

Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.

— Комиссар, — согласился Люберецкий. — А что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный — крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.

— Не-ет, — недоверчиво протянула Зиночка. — Искусство должно будить чувства.

— Зинаида! — сквозь зубы процедила Искра.

— Зиночка абсолютно права, — сказал Леонид Сергеевич. — Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен: состояние покоя и довольства собой порождает леность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.

— А Маяковский? — тихо спросила Искра. — Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.

— В огромнейшем таланте Маяковского никто не сомневается, — улыбнулся Леонид Сергеевич.

— Папа был знаком с Владимиром Владимировичем, — пояснила Вика.

— Знаком? — Зина живо развернулась на стуле. — Не может быть!

— Почему же? — сказал отец. — Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами, мы искали и спорили. Спорили ночи напролет, до одури.

— А разве можно спорить с… — Искра хотела сказать «с гением», но удержалась.

— Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму, она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.

В дверь заглянула пожилая домработница:

— Машина пришла, Леонид Сергеевич.

— Спасибо, Поля. — Леонид Сергеевич встал, задвинул на место стул. — Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.

— Ты надолго, папа?

— Раньше трех с совещаний не отпускают, — улыбнулся отец и вышел.

Искра долго вспоминала и случайную встречу, и возникший вдруг разговор. Но тогда, слушая немолодого (как ей казалось) человека с молодыми глазами, она со многим не соглашалась, многое пыталась оспорить, над многим намеревалась поразмыслить, потому что была человеком основательным, любившим докапываться до корней. И шла домой, раскладывая по полочкам услышанное, а Зиночка щебетала рядом:

— Я же говорила, что Вика золотая девчонка, ведь говорила же, говорила! Господи, восемь лет из-за тебя потеряли. Какая посуда! Нет, ты видела, какая посуда? Как в музее, ну честное комсомольское, как в музее! Наверное, из такой посуды Потемкин пил.

— Истина, — вдруг неторопливо, точно вслушиваясь, произнесла Искра. — Зачем же с ней спорить, если она — истина?

— «В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека…» — Зина очень похоже передразнила Валентину Андроновну и рассмеялась. — Попробуй поспорь с этой истиной, а Валендра тебе «оч. плохо» вкатит.

— Может, это не истина? — продолжала размышлять Искра. — Кто объявляет, что истина — это и есть истина? Ну, кто? Кто?

— Старшие, — сказала Зиночка. — А старшим — их начальники… А мне налево, и дай я тебя поцелую.

Искра молча подставила щеку, дернула подружку за светло-русую прядку, и они расстались. Зина бежала, нарочно цокая каблучками, а Искра шла хоть и быстро, но степенно и тихо, старательно продолжая думать.

Мама была дома, и, как обычно, с папиросой:

после той страшной ночи, когда за нею случайно подсмотрела Искра, мама стала курить. Много курить, разбрасывая по всей комнате пустые и начатые пачки «Дели».

— Где ты была?

— У Люберецких.

Мама чуть приподняла брови, но промолчала. Искра прошла в свой угол, за шкаф, где стояли маленький столик и этажерка с ее книгами. Пыталась заниматься, что-то решала, переписывала, но разговор не выходил из головы.

— Мама, что такое истина?

Мать отложила книгу, которую читала внимательно, с выписками и закладками, сунула папиросу в пепельницу, подумала, достала ее оттуда и прикурила снова.

— По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.

— Тогда скажи: существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательства.

— Конечно. Если бы не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.

— Значит, человек живет во имя истины?

— Мы — да. Мы, советский народ, открыли

непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови и принято столько мук, что спорить с нею, а тем более сомневаться — значит предавать тех, кто погиб и... и еще погибнет. Эта истина — наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?

— Да, да, спасибо, — задумчиво сказала Искра. — Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.

— С друзьями спорить не о чем, а с врагами надо драться.

— Но ведь надо уметь спорить?

— Надо учить самой истине, а не способам ее доказательства. Это казуистика. Человек, преданный нашей истине, будет, если понадобится, защищать ее с оружием в руках. Вот чему надо учить. А болтовня не наше занятие. Мы строим новое общество, нам не до болтовни. — Мать бросила в пепельницу окурок, вопросительно поглядела на Искру. — Почему ты спросила об этом?

Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, о восклицательных и вопросительных знаках, по которым Леонид Сергеевич оценивал искусство, но посмотрела в привычно

суровые материнские глаза и сказала:

— Просто так.

— Не читай пустопорожних книг, Искра. Я хочу проверить твой библиотечный формуляр, да все никак не соберусь. На ужин выпьешь молока, я ничего не успела сготовить, а мне завтра предстоит серьезное выступление.

Формуляр Искры был в полном порядке, но Искра читала и помимо формуляра. Обмен книгами в школе существовал, вероятно, еще с гимназических времен, и Искра уже знала Гамсуна и Келлермана, придя от «Виктории» и «Ингеборг» в странное состояние тревоги и ожидания. Тревога и ожидание не отпускали даже по ночам, и сны ей снились совсем не формулярного свойства. Но об этом она не говорила никому, даже Зиночке, хотя Зиночка о подобных снах частенько говорила ей. Тогда Искра очень сердилась, и Зина не понимала, что сердится она за угаданные сны.

Разговор с матерью укрепил Искру в мысли о существовании непреложных истин, но, кроме них, существовали и истины спорные, так сказать, истины второго порядка. Такой истиной, в частности, было отношение к Есенину, которого Искра все эти дни читала, учила наизусть и кое-что из которого переписывала в тетрадь,

поскольку книга подлежала скорому возврату. Она переписывала тайком от матери, потому что запрет, хоть и не гласный, все же действовал, и Искра впервые спорила с официальным положением, а значит, и с истиной.

— А я давно все понял, — сказал Сашка, когда она поведала ему о своих сомнениях. — Есенину просто завидуют, вот и все. И хотят, чтобы мы его забыли.

Такое простое объяснение Искру устроить не могло. А посоветоваться было не с кем, и она, основательно подумав, решила расспросить при случае Леонида Сергеевича.

В школе царила тишина, словно не было неприятного разговора среди парт первоклашек, не было чтения крамольных стихов, да и самого вечера у Артема тоже вроде бы не было. Валентина Андроновна никого больше не вызывала, при встречах милостиво улыбалась, и Искра решила, что Леонид Сергеевич прав: все случилось под горячую руку. Никто не путал порядок вещей, истины оставались истинами — такими же чистыми, недоступными и манящими, как восьмитысячники Гималаев. Искра по-прежнему усердно занималась, читала стихи и неформулярные романы, играла в баскетбол, ходила с Сашей в

кино или просто так и регулярно выпускала стенгазету, поскольку была ее главным редактором.

И еще болтала с Зиночкой о разных пустяках, не подозревая, что подружка переживает сложнейший внутренний конфликт, страстно желая в кого-нибудь влюбиться, но не зная, кого же избрать для этой возвышенной цели.

Глава 4

Строго говоря, Зиночка постоянно жила в сладком состоянии легкой влюбленности. Влюбленность являлась насущной необходимостью, без нее просто невозможно было бы существовать, и каждое первое сентября, заново возвращаясь в класс, Зиночка срочно определяла, в кого она будет влюблена в данном учебном году. Выбранный ею объект и не подозревал, что стал таковым: Зиночка не усложняла свою жизнь задачей кому-то понравиться — ей вполне хватало того, что сама она считала себя влюбленной, мечтала о взаимности и страдала от ревности. Это была прекрасная жизнь в мечтах, но в этом году старый способ себя почему-то не оправдал, и Зиночка пребывала в состоянии странного желания куда-то все время бежать и в то же время оставаться на месте и ждать, ждать нетерпеливо и отчаянно, а чего ждать, она не знала.

В пятом классе Артем вовсе не был предметом ее тайной любви (он был предметом в третьем, но не знал этого). Зиночка тогда спасла его от возмездия по страсти к сильным ощущениям: у нее была такая тяга к страшному — ляпнуть что-то,

а потом посмотреть, что из этого выйдет. Из того опыта ничего доброго не вышло, но зато Зина всласть наревелась и долгое время ходила в героинях, даже за косы ее дергали сильнее и чаще, чем остальных девочек. И этого было достаточно, и она не обращала на Артема ровно никакого внимания еще целых три года, успев заменить косички короткой стрижкой. А на дне рождения вдруг открыла, что сама, оказывается, стала объектом, что нравится Артему, что он совершенно особенно смотрит на нее и совершенно особенно с ней говорит.

Это было великое открытие. Зиночка невероятно возгордилась, стала пуще прежнего вертеться перед встречными зеркалами и испытывать острую потребность в разговорах о том вечере, о любви, тоске и страданиях. Вот тут-то на нее и наткнулась Валентина Андроновна и легко выпытала все, правда, все настолько запутанное, что запуталась сама и оставила это бесперспективное дело.

Все шло просто замечательно, если бы не два десятиклассника, проявившие энергичный интерес. Один был просто самый красивый парень в школе, которого за красоту девичье большинство регулярно выбирало старостой класса и

который с завидным постоянством ничего не делал на этом высоком посту. Второй тоже был ничего, и Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать, а решать Зиночка не любила — страдала, убивалась и никогда ничего не решала.

Все всегда решала Искра. Зина выкладывала проблемы, Искра на мгновение сдвигала брови и выдавала программу. Точную, завершенную, не подлежащую сомнениям. И все было просто и ясно, но идти к подруге с вопросом, в кого влюбляться, казалось немыслимым. Искра строго осудила бы прежде всего саму постановку вопроса как явно скороспелую и отчасти мелкобуржуазную (все, что не было направлено на служение обществу, Искра считала мелкобуржуазным). А затем последовал бы логичный анализ собственного Зиночкиного существа, и тут выяснилась бы такая бездна недостатков, которые Зине предстояло изжить до того, как влюбляться, что сама возможность любви откатилась бы лет этак на сорок. И Зиночке тогда оставалось бы только плакать, потому что иных аргументов, кроме слез и полного отсутствия логики, у нее не было.

Дома на совет рассчитывать не приходилось. Зина появилась на свет, когда ее уже не ждали: через восемь лет после рождения Александры, а старшая, Мария, была совсем уже взрослой, с двумя детьми, и жила с мужем на Дальнем Востоке. У Александры тоже была семья, она заходила редко, и Зиночке в ее присутствии было всегда немного не по себе: она считалась маленькой на все времена. Оставалась мама, вечно занятая своей больницей, в которой работала старшей операционной сестрой. Но мама — так уж получилось — была настолько старше, что уже не могла советовать, забыв те времена, когда влюбляются сразу в троих. С отцом, занятым по горло работой, совещаниями и собраниями, о таких вопросах говорить было бесполезно, и Зиночка оказалась предоставленной самой себе в ситуации сложной и непривычной.

На контрольной по алгебре ее осенило, и она написала три письма. Текст их отличался только обращением: «Юра, друг мой!», «Друг мой Сережа!» и «Уважаемый друг и товарищ Артем!». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время, но, возможно, все еще обернется к лучшему, и ей,

Зине, удастся совладать со своими страстями, и тогда она, одинокая и несчастная, попросит снова дружбы, которую сейчас — временно! — вынуждена отвергнуть. Сочинив послания, в которых дальнобойные обещания ловко затуманивались роковыми случайностями настоящего периода, Зиночка очень обрадовалась и подумала даже, что она ужасно хитрая и прозорливая. Правда, вопрос, кому их посылать, остался без ответа, но с этим Зина решила пока не спешить: хватит и того, что она самостоятельно нашла выход, до которого никто на свете — даже Искра! — никогда бы не додумался. Поэтому она положила письма в учебник и немного повеселела. Контрольную при этом она, естественно, сделать не успела, но выдала математику Семену Исааковичу такого ревака, что старенький и очень добрый учитель поставил ей «посредственно».

Три дня она решала вопрос, кому — двоим! — отправлять письма, а кому — одному! — не отправлять. Но тут выяснилось, что два письма она куда-то подевала и осталось всего одно: «Уважаемый друг и товарищ Артем!» И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены.

Артем весь урок читал и перечитывал письмо, отказался выйти к доске, получил «плохо» и попросил запиской свидания. Зиночка не рассчитывала на свидание, но очень обрадовалась.

— Я, это, не понял, — честно признался Артем, когда они уединились в школьном дворе после уроков. — У тебя, это… неприятности?

— Да, — кротко вздохнула Зина.

Артем тоже завздыхал, затоптался и засопел. Потом спросил:

— Может, помощь нужна?

— Помощь? — Она горько усмехнулась. — Женщине может помочь только слепой случай или смерть.

Артем в таких категориях не разбирался и не очень им доверял. Но она почему-то страдала; он никак не мог взять в толк, почему она страдает, но искренне страдал сам.

— Может, это… Морду кому-нибудь надо набить? Ты, это… Ты говори, не стесняйся. Я для тебя…

Тут он замолчал, не в силах признаться, что для нее он и вправду может сделать все, что только она пожелает. А Зиночка по легкомыслию и женской неопытности пропустила эти три слова. Три произнесенных Артемом слова из той клятвы,

которую он носил в себе. Три слова, которые для любой женщины значат куда больше, чем признание в любви, ибо говорят о том, что человек хочет отдать, а не о том, что он надеется получить. А она испугалась.

— Нет, нет, что ты! Не надо мне ничего, я сама справлюсь со своим пороком.

— С каким пороком?

— Я не свободна, — таинственно сказала она, лихорадочно припоминая, что говорят героини романов в подобных случаях. — Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его, но я дала ему слово.

Артем смотрел очень подозрительно, и Зиночка замолчала, сообразив, что переигрывает.

— Этот человек — Юрка из десятого «А»? — спросил он.

— Что ты, что ты! — всполошилась Зина. — Юрка — это было бы просто. Нет, Артем, это не он.

— А кто?

Зиночка догадывалась, что Артем просто так не отстанет. Надо было выкручиваться.

— Ты никому не скажешь? Никому-никому?

Артем молчал, очень серьезно глядя на нее.

— Это такая тайна, что, если ты меня выдашь, я утоплюсь.

— Зина, это… — строго сказал он. — Не веришь — лучше не говори. Я вообще не трепло, а для тебя…

Опять выскочили эти три слова, и опять он замолчал, и опять Зиночка ничего не услышала.

— Это взрослый человек, — призналась она. — Он женат и уже бросил из-за меня жену. И двоих детей. То есть одного, второй еще не родился…

— Ты же еще маленькая.

— А что делать? — отчаянным шепотом спросила Зиночка. — Ну, что делать, ну, что? Конечно, я не пойду за него замуж, ни за что не пойду, но пока — пока, понимаешь? — мы с тобой будем как будто мы просто товарищи.

— А мы и так просто товарищи.

— Да, к сожалению. — Она тряхнула головой. — Я поздно разобралась в ситуации, если хочешь знать. Но теперь пока будет так, хорошо? Пока, понимаешь?

— А ты маме очень понравилась, — сказал Артем, помолчав.

— Неужели? — Зиночка заулыбалась, забыв о своих несчастьях с женатым человеком. — У тебя замечательная мама, я в нее влюбилась. Я почему-то быстро влюбляюсь. Привет!

И убежала, стараясь казаться трагической даже

со спины, хотя ей очень хотелось петь и скакать. Артем понимал, что она наврала ему с три короба, но не сердился. Главное было не то, что она наврала, а то, что он ей был не нужен; Артем впервые в жизни открыл, где находится сердце, и уныло — скакать ему не хотелось — поплелся домой. И как раз в это время в директорский кабинет вошла Валентина Андроновна.

— Полюбуйтесь, — сказала она и положила на стол два исписанных листка, вырванных из тетради в линейку.

В тоне ее звучала печально-торжественная нота, но Николай Григорьевич внимания на эту ноту не обратил, поскольку был заинтригован началом: «Юра, друг мой!» и «Друг мой Сережа!» Далее шло нечто маловразумительное, но директор дочитал и весело рассмеялся:

— Вот дуреха! Ну до чего же милая дурешка писала!

— А мне не до смеха. Извините, Николай Григорьевич, но это все ваши зеркала.

— Да будет вам, — отмахнулся директор. — Девочки играют в любовь, ну и пусть себе играют. Все естественное разумно. С вашего разрешения.

Он скомкал письмо и полез в карман. Валентина Андроновна рванулась к столу:

— Что вы делаете?

— Возвращать неудобно, значит, надо прятать концы в воду, то бишь в огонь.

— Я категорически протестую. Вы слышите, категорически! Это документ…

Она пыталась через стол дотянуться до бумажек, но руки у директора были длиннее.

— Никакой это не документ, Валентина Андроновна.

— Я знаю, кто это писал. Знаю, понимаете? Это писала Коваленко: она забыла хрестоматию…

— Мне это неинтересно. И вам тоже неинтересно. Должно быть неинтересно, я имею в виду… Сесть!

По его команде когда-то шел в атаку эскадрон. И, услышав металл, Валентина Андроновна поспешно опустилась на стул. А директор достал наконец-то спички и сжег оба письма.

— И запомните: не было никаких писем. Самое страшное — это подозрение. Оно калечит людей, вырабатывая из них подлецов и шкурников.

— Я уважаю ваши боевые заслуги, Николай Григорьевич, но считаю ваши методы воспитания не только упрощенными, но и порочными. Да, порочными! Я заявляю откровенно, что буду жаловаться.

Директор вздохнул, горестно покачал головой и указал пальцем на дверь:

— Идите и пишите. Скорее, пока пыл не прошел.

Валентина Андроновна остервенело хлопнула дверью. Терпение ее лопнуло, отныне она шла в открытый бой за то, что было смыслом ее жизни: за советскую школу. И отважно сжигала за собой все мосты.

Если бы не было вечера накануне, Искра заметила бы повышенную шустрость Зиночки. Но вечер был, привычная гармония нарушилась; Искра больше занималась собой, а потому и упустила из-под контроля подружку.

Совсем немного поработав на заводе, Сашка Стамескин стал заметно меняться. У него появилась какая-то усталая уверенность в голосе, собственные суждения и — что настораживало Искру — этакое особое отношение к ней. Он еще по-прежнему привычно поддакивал и привычно подчинялся, привычно присвистывая выбитыми зубами, и привычно мрачнел при очередных выговорах. И вместе с тем минутами появлялось то, что давали отныне завод, зарплата, взрослая жизнь и взрослый круг знакомств, и Искра не знала, радоваться ей или бороться изо всех сил.

В тот вечер они не пошли в кино, потому что Искре вздумалось погулять. А погулять означало поговорить, ибо идти просто так или молоть вздор Искра не умела. Она либо воспитывала своего Стамескина, либо рассказывала, что вычитала в книгах или до чего додумалась сама. Когда-то Сашка отчаянно спорил с нею по всем поводам, потом примолк, а в последнее время стал улыбаться, и улыбка эта Искре решительно не нравилась.

— Почему ты улыбаешься, если ты не согласен? Ты спорь со мной и отстаивай свою точку зрения.

— А меня твоя точка устраивает.

— Эй, Стамескин, это не по-товарищески, — вздохнула Искра. — Ты хитришь, Стамескин. Ты стал ужасно хитрым человеком.

— Я не хитрый. — Сашка тоже вздохнул. — А улыбаюсь оттого, что мне хорошо.

— Почему это тебе хорошо?

— Не знаю. Хорошо, и все. Давай сядем.

Они сели на скамью в чахлом пустынном сквере. Скамейка была высокой, и Искра с удовольствием болтала ногами.

— Понимаешь, если рассуждать логически, то жизнь одного человека представляет интерес

только для него одного. А если рассуждать не по мертвой логике, а по общественной, то он, то есть человек…

— Знаешь? — вдруг чужим голосом сказал Сашка. — Ты не рассердишься, если я…

— Что? — почему-то очень тихо спросила Искра.

— Нет, ты наверняка рассердишься.

— Да нет же, Саша, нет! — Искра взяла его за руку и встряхнула, точно взбалтывая остатки смелости. — Ну же? Ну?

— Давай поцелуемся.

Наступила длинная пауза, во время которой Сашка чувствовал себя крайне неуютно. Сначала он сидел не шевелясь, пришибленный собственной отчаянной решимостью, потом задвигался, запыхтел, сказал угнетенно:

— Ну, вот. Я же ведь просто так…

— Давай, — одними губами сказала Искра.

Сашка набрал побольше воздуха, потянулся. Искра подалась к нему, подставляя тугую прохладную щеку. Он прижался губами, одной рукой привлек ее к себе за голову и замер. Они долго сидели неподвижно, и Искра с удивлением слушала, как забилось сердце.

— Пусти… Ну же. — Она выскользнула.

— Вот… — тяжело вздохнул Сашка.

— Страшно, да? — шепотом спросила Искра. — У тебя бьется сердце?

— Давай еще, а? Еще разочек…

— Нет, — решительно сказала она и отодвинулась. — Со мной что-то происходит и… И я должна подумать.

С ней действительно что-то происходило, что-то новое, немного пугающее, и поцелуй был не причиной этого, а множителем, могучим толчком уже пришедших в движение сил. Искра догадывалась, что это за силы, но сердилась на них за то, что они пробудились раньше, чем им полагалось по ее разумению. Сердилась и терялась одновременно.

Наступало время личной жизни, и девочки встречали эту новую для них жизнь с тревогой, понимая, что она — личная и тут уж им никто не поможет. Ни школа, ни комсомол, ни даже мамы. Жизнь эту нужно было встречать один на один: женщины, которые пробуждались в них так одинаково и так по-своему, жаждали самостоятельности, как все женщины во все времена.

И в этот тревожный и такой важный период своей жизни Искру потянуло не к Зиночке, которую она упорно считала девчонкой, а к Ви-

ке Люберецкой. Гордой Вике, которая — Искра чувствовала это — уже перешагнула рубеж, уже осознала себя женщиной, уже приноровилась к этому новому состоянию и гордилась им. В первую очередь им, а уж потом — своим знаменитым отцом. Так думала Искра, но являться без предупреждения не хотела, уловив во время первого визита неудовольствие хозяйки. И еще в классе сказала:

— Я хочу вернуть Есенина. Можно мне прийти сегодня?

— Приходи, — ответила Вика, не выразив никаких чувств.

Искре это не понравилось (она все же надеялась, что Вика обрадуется), но решимость ее не поколебалась. Сделав уроки в школе — она часто так поступала, потому что устные предметы зубрить нужды не было, а письменные можно было приготовить между делом, — забежала домой, оставила маме записку, взяла Есенина и пошла к Люберецкой, с досадой ощущая некоторое волнение.

Вика ждала ее, открыла сразу, молча повесила пальтишко и так же молча пригласила в свою комнату. Там стояло огромное кресло, на которое хозяйка и указала, но сесть в него Искра не ре-

шилась. Она никогда еще не сидела в креслах и считала, что там ей будет неуютно.

— Спасибо, Вика, — сказала она, отдав книгу и усевшись на стул.

— Пожалуйста. — Вика, улыбаясь, смотрела на нее. — Надеюсь, теперь ты не станешь утверждать, что это вредные стихи?

— Это замечательные стихи, — вздохнула Искра. — Я думаю, нет, я даже уверена, что скоро их оценят и Сергею Есенину поставят памятник.

— А какую надпись ты бы сделала на этом памятнике? Давай проведем конкурс: я буду сочинять свою надпись, а ты свою.

Они провели конкурс, и Вика тотчас признала, что Искра вышла победительницей, написав: «Спасибо тебе, сердце, которое билось для нас». Только слова «билось для» они дружно заменили на «болело за».

— Я никогда не задумывалась, что такое любовь, — как можно более незаинтересованно сказала Искра, когда они немного поболтали о школьных делах. — Наверное, это стихи заставили меня задуматься.

— Папа говорит, что в жизни есть две святые обязанности, о которых нужно думать: для женщины — научиться любить, а для мужчины

— служить своему делу.

Искра переходила к тому, ради чего явилась, размышляла, как повернуть разговор, и только поэтому не вцепилась в этот тезис, как бульдог. Она пропустила его, про себя все же отметив, что для женщины служить своему делу так же важно, как и для мужчины, поскольку Великая Октябрьская революция раскрепостила рабу очага и мужа.

— Как ты представляешь счастье? — спросила Вика, потому что гостья погрузилась в раздумье.

— Счастье? Счастье — быть полезной своему народу.

— Нет, — улыбнулась Вика. — Это — долг, а я спрашиваю о счастье.

Искра всегда представляла счастье, так сказать, верхом на коне. Счастье — это помощь угнетенным народам, это уничтожение капитализма во всем мире, это — «я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать»; у нее перехватывало дыхание, когда она читала эти строчки. Но сейчас вдруг подумала, что Вика права, что это не есть счастье, а есть долг. И спросила, чтоб выиграть время:

— А как ты представляешь?

— Любить и быть любимой, — мечтательно

сказала Вика. — Нет, я не хочу какой-то особой любви: пусть она будет обыкновенной, но настоящей. И пусть будут дети. Трое: вот я — одна, и это невесело. Нет, два мальчика и девочка. А для мужа я бы сделала все, чтобы он стал… — Она хотела сказать «знаменитым», но удержалась. — Чтобы ему всегда было со мной хорошо. И чтобы мы жили дружно и умерли в один день, как говорит Грин.

— Кто?

— Ты не читала Грина? Я тебе дам, и ты обязательно прочтешь.

— Спасибо. — Искра задумалась. — А тебе не кажется, что это мещанство?

— Я знала, что ты это скажешь. — Вика засмеялась. — Нет, это никакое не мещанство. Это нормальное женское счастье.

— А работа?

— А ее я не исключаю, но работа — это наш долг, только и всего. Папа считает, что это разные вещи: долг — понятие общественное, а счастье — сугубо личное.

— А что говорит твой папа о мещанстве?

— Он говорит, что мещанство — это такое состояние человека, когда он делается рабом незаметно для себя. Рабом вещей, удобств, денег,

карьеры, благополучия, привычек. Он перестает быть свободным, и у него вырабатывается типично рабское мировоззрение. Он теряет свое «я», свое мнение, начинает соглашаться, поддакивать тем, в ком видит господина. Вот как папа объяснял мне, что такое мещанство как общественное явление. Он называет мещанами тех, для кого удобства выше чести.

— Честь — дворянское понятие, — возразила Искра. — Мы ее не признаем.

Вика странно усмехнулась. Потом сказала, и в тоне ее звучала грустная нотка:

— Я хотела бы любить тебя, Искра, ты — самая лучшая девочка, какую я знаю. Но я не могу тебя любить и не уверена, что когда-нибудь полюблю так, как хочу, потому что ты максималистка.

Искре вдруг очень захотелось плакать, но она удержалась. Девочки долго сидели молча, словно привыкая к высказанному признанию. Потом Искра тихо спросила:

— Разве плохо быть максималисткой?

— Нет, не плохо, и они, я убеждена, необходимы обществу. Но с ними очень трудно дружить, а любить их просто невозможно. Ты, пожалуйста, учти это, ты ведь будущая женщина.

— Да, конечно. — Искра, подавив вздох, вста-

ла. — Мне пора. Спасибо тебе… За Есенина.

— Ты прости, что я это сказала, но я должна была сказать. Я тоже хочу говорить правду, и только правду, как ты.

— Хочешь стать максималисткой, с которой трудно дружить? — насильственно улыбнулась Искра.

— Хочу, чтобы ты не ушла огорченной… — Хлопнула входная дверь, и Вика очень обрадовалась. — А вот и папа! И ты никуда не уйдешь, потому что мы будем пить чай.

Опять были конфеты и пирожные, которые так странно есть не в праздники. Опять Леонид Сергеевич шутил и ухаживал за Искрой, но был задумчив: задумчиво шутил и задумчиво ухаживал. А иногда надолго умолкал, точно переключаясь на какую-то свою внутреннюю волну.

— Мы с Искрой немного поспорили о счастье, — сказала Вика. — Да так и не разобрались, кто прав.

— Счастье иметь друга, который не отречется от тебя в трудную минуту. — Леонид Сергеевич произнес это словно про себя, словно был еще на той внутренней волне. — А кто прав, кто виноват… — Он вдруг оживился. — Как вы думаете, девочки, каково высшее завоевание справедливости?

— Полное завоевание справедливости — наш Советский Союз, — тотчас ответила Искра.

Она часто употребляла общеизвестные фразы, но в ее устах они никогда не звучали банально. Искра пропускала их через себя, она истово верила, и поэтому любые заштампованные слова звучали искренне. И никто за столом не улыбнулся.

— Пожалуй, это скорее завоевание социального порядка, — сказал Леонид Сергеевич. — А я говорю о презумпции невиновности. То есть об аксиоме, что человеку не надо доказывать, что он не преступник. Наоборот, органы юстиции обязаны доказать обществу, что данный человек совершил преступление.

— Даже если он сознался в нем? — спросила Вика.

— Даже когда он в этом клянется. Человек — очень сложное существо и подчас готов со всей искренностью брать на себя чужую вину. По слабости характера или, наоборот, по его силе, по стечению обстоятельств, из желания личным признанием облегчить наказание, а то и отвести глаза суда от более тяжкого преступления. Впрочем, извините меня, девочки, я, кажется, увлекся. А мне пора.

— Поздно вернешься? — привычно спросила Вика.

— Ты уже будешь видеть сны. — Леонид Сергеевич встал, аккуратно задвинул стул, поклонился Искре, озорно подмигнул дочери и вышел.

Искра возвращалась, старательно обдумывая и разговор о мещанстве и — особенно — о презумпции невиновности. Ей очень нравилось само название «презумпция невиновности», и она была согласна с Леонидом Сергеевичем, что это и есть основа справедливого отношения к человеку. И еще жалела, что не напомнила Вике о таинственном писателе с иностранной фамилией Грин.

Ожидаемого и столь необходимого разговора по душам не произошло: признание Вики, что она не любит ее, не просто огорчило, а уязвило Искру. И дело здесь было не только в самолюбии (хотя и в нем тоже) — дело заключалось в том, что сама Искра очень тянулась к Вике, чувствуя в ней умную и тонкую девушку. Тянулась к хорошим книгам и разговорам, к уюту большой квартиры, к удобному, налаженному быту, хотя, если б ей сказали об этом, она бы яростно, до гневных слез отрицала эту слабость. Но больше всего она тянулась к отцу Вики, к Леониду Сергеевичу

Люберецкому, потому что у самой Искры отца не было, и в ее представлении Люберецкий был идеальнейшим из всех возможных отцов, которого, правда, надо было немножко перевоспитать. И Искра непременно бы его перевоспитала, если бы… Но никакого «если бы» не могло быть, а пустыми мечтаниями Искра не занималась. И ей было немножко грустно.

Дома Искру ждали стакан молока, кусок хлеба и записка. Мама писала, что проводит ответственное заседание, придет поздно и что дочери следует лечь спать вовремя и не читать в постели романов; последнее слово было подчеркнуто. Искра поделилась ужином с соседской кошкой, проверила, все ли уроки сделаны, и решила вдруг написать статью для очередного номера школьной стенгазеты.

Она писала о доверии к человеку, пусть даже маленькому, пусть даже к первоклашке. О вере в этого человека, о том, как окрыляет эта вера, какие чудеса может сделать человек, уверовавший, что в него верят. Она вспомнила — очень кстати, как ей показалось, — Макаренко, когда он доверил Карабанову деньги, и каким замечательным парнем стал потом Карабанов. Она разъяснила, что такое «презумпция невиновности». Перечи-

тав и кое-что поправив, начисто переписала и положила на мамин стол: она всегда согласовывала с мамой свои статьи. Потом постелила постель, погасила свет — последнее время она почему-то стала стесняться раздеваться при свете, — надела ночную рубашку, снова зажгла лампу и юркнула под одеяло. Достала припрятанного Дос Пассоса и стала читать, настороженно прислушиваясь, не хлопнет ли входная дверь.

То ли оттого, что приходилось прислушиваться, то ли оттого, что мысли о виновности и невиновности, о доверии и недоверии не вылезали из головы, то ли потому, что тело, освобожденное от пояска и лифчика, жило особой раскрепощенной жизнью, то ли от всех причин разом читать она долго не смогла. Заботливо спрятав книжку, легла на бок, подсунула под щеку ладошку и тотчас же уснула.

Ей показалось, что разбудили ее мгновенно, только-только начался сон. Открыла глаза: над нею стояла мама.

— Надень халат и выйди ко мне.

Искра вышла, позевывая, теплая и розовая от сна.

— Что это такое?

— Это? Это статья в стенгазету.

— Кто тебя надоумил писать ее?

— Никто.

— Искра, не ври, я устала, — тихо сказала мать, хотя прекрасно знала, что Искра никогда не врала даже во спасение от солдатского ремня.

— Я не вру, я написала сама. Я даже не знала, что напишу ее. Просто села и написала. По-моему, я хорошо написала, правда?

Мать не стала вдаваться в качество работы. Пронзительно глянула, прикурила, энергично ломая спички.

— Кто рассказал тебе об этом?

— Леонид Сергеевич Люберецкий.

— Рефлексирующий интеллигент! — Мать коротко рассмеялась. — Что он еще тебе наговорил?

— Ничего. То есть говорил, конечно. О справедливости, о том, что…

— Так вот. — Мать резко повернулась, глаза сверкнули знакомым холодным огнем. — Статьи ты не писала и писать не будешь. Никогда.

— Но ведь это несправедливо…

— Справедливо только то, что полезно обществу. Только это и справедливо, запомни!

— А как же человек? Человек вообще?

— А человека вообще нет. Нет! Есть гражданин,

обязанный верить. Верить!

Отвернулась, нервно зачиркала спичкой о коробок, не замечая, что вовсю дымит зажатой в зубах папиросой.

Глава 5

Зиночке снилось, что ее целует взрослый мужчина. Это было жутко, прекрасно, но не страшно, потому что где-то находилась мама; Зина знала, что она близко и можно позвать на помощь, и — не звала. Сон кончился, а с ним кончились и поцелуи, и Зина крепко зажмурилась, чтобы ее поцеловали еще хотя бы разочек.

Проснуться все же пришлось. Не открывая глаз, она ногами отбросила одеяло, дождалась, пока чуточку остынет, и села. И сразу увидела ужасную вещь: вместо летних трусиков, так ловко охватывающих тело, на стуле лежали противные трикотажные штанищи длиною аж до коленок. И весь сон, вся радость утра и вся прелесть нового дня пропали разом. Схватив штанишки, Зина в одной рубашке ринулась на кухню.

— Мама, что это такое? Ну, что это такое?

Родители завтракали, и она осталась за дверью, просунув на кухню голову и руку.

— Первое октября, — спокойно сказала мама. — Пора носить теплое белье.

— Но я уже не маленькая, кажется!

— Ты не маленькая, но это только так кажется.

— Ну, почему, почему мне такое мученье! — с отчаянием воскликнула дочь.

— Потому что ты садишься где попало и можешь застудиться.

— Не бунтуй, Зинаида, — улыбнулся отец. — Мы не в Африке, надевай, что климатом положено.

— Это мамой положено, а не климатом! — закричала Зиночка. — Все девочки как девочки, а я у вас как уродина!

— Сейчас ты и вправду уродина. Немытая, нечесаная и неодетая.

Горестно всхлипнув, Зина убежала. Мать с отцом посмотрели друг на друга и улыбнулись.

— Растет наша девочка, — сказала мать.

— Невеста! — добавил отец.

Они любили свою младшую больше остальных, старательно скрывали это и воспитывали дочь в строгости. Зина до сих пор ложилась спать в половине одиннадцатого, не появлялась в кино на последних сеансах, а в театрах бывала только на дневных спектаклях. Этот регламент (куда входили и злосчастные зимние штанишки) никогда очень-то не угнетал ее, но в последнее время она все чаще начинала скандалить. Скандалы, правда, зримых результатов не давали, но мать с отцом улыбались уже особо, с гордостью замечая,

как взрослеет дочь. Семья была дружной, а после выхода старших замуж сплотилась еще больше. Все обсуждалось и решалось сообща, но, как это часто бывает в русских семьях, мать незаметно, без видимых усилий и демонстративного подчеркивания, держала вожжи в своих руках.

— Никогда не обижай мужа, девочка. Мужчины очень самолюбивы и болезненно переживают, когда ими командуют. Всегда надо быть ровной, ласковой и приветливой, не отказывать в пустяках и стараться поступать так, будто ты выполняешь его желания. Наша власть в нежности. — Мама неторопливо и осторожно готовила Зину к будущей семейной жизни. Зина знала многое из того, что надо было бы знать всем девочкам, и спокойно восприняла переход от детства к девичеству, не испытав свойственного многим потрясения.

Отец в воспитание не вмешивался. Он работал мастером на заводе вместе с отцом и братьями Артема, состоял членом завкома, вел кружок по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» и вообще был по горло занят. В редкие свободные часы он толковал с дочерью о международных проблемах. Зиночка слушала очень вежливо, помня о маминых словах, что мужчины болез-

ненно самолюбивы, но все пропускала мимо розовых ушей.

Завтракала Зина в мрачном настроении, однако к концу завтрака жизнь перестала казаться трагической. Она весело чмокнула мать — отец уже ушел на работу, — рассеянно выслушала очередные задания (простирнуть, подмести, убрать) и выскочила за дверь. И как только дверь захлопнулась, швырнула портфель, задрала платье и подтянула штанишки вверх до предела. Ноги там, естественно, были толще, резинки больно врезались в тело, но Зиночка хотела быть красивой. Совершив эту процедуру, она показала дверям язык и, взяв портфель, вприпрыжку — она еще иногда бегала вприпрыжку, когда забывалась, — помчалась в школу.

Но уже за углом Зиночка круто сменила аллюр, перейдя на решительный шаг чрезвычайно занятого человека: навстречу шел Юра. Красавец Юра из 10-го «А», бессменный староста и бездельник.

— Привет, — сказал он и пошел рядом.

— Привет, — сказала она как можно безразличнее.

— Что вечером делаешь?

— Еще не знаю, но буду очень занята.

— Может, в кино пойдем? — Юра продемон-

стрировал два билета. — Мировой фильм. По блату на последний сеанс.

Зиночка мгновенно прикинула: мама во второй смене, придет не раньше двух, отец… Ну, отец — это еще можно вывернуться.

— Или тебя, как малышку, в девять часов спать загоняют?

— Вот еще! — презрительно фыркнула Зина. — Просто решаю, как отказать одному человеку. Ладно, после уроков решу.

— Ты скажи: пойдешь или нет?

— Пойду, но скажу после уроков. Тебе ясно? Ну и топай вперед, я не хочу никаких осложнений.

Никаких особых осложнений не ожидалось, но Зина считала, что надо набить себе цену. Озадаченный красавец увеличил шаг, Зиночка, торжествуя, укоротила свой, и они прибыли в школу на вполне приличном расстоянии друг от друга.

Тут уж было не до учебы. Уроки тянулись с таким занудством, будто в них не сорок пять минут, а сорок четыре часа. Зиночка страдала, вздыхала, вертелась, схлопотала три замечания, а когда прозвенел последний звонок, вдруг пришла в ужас и не могла двинуться с места.

— Пошли, — позвала Искра. — Я вычитала одну

интересную мысль. Да что с тобой?

— Ничего со мной. — Зина продолжала сидеть как истукан.

— А почему ты сидишь?

— Потому что мне надо к врачу. — Она сказала первое, что пришло в голову. — То есть сначала к маме, а уж потом… Куда поведут.

И Артем, как назло, не уходил. Спорил о чем-то со своим Жоркой, а на нее и не смотрел. «Эх, знал бы, с кем я в кино иду, небось посмотрел бы!» — злорадно подумала Зина.

Не добившись толку от подруги, Искра ушла. А вскоре удалились и Артем с Ландысом, и Зина осталась одна. Тихо подкралась к окну и выглянула: на опустевшем школьном дворе одиноко маячил Юра.

— Ждет! — шепотом сказала Зиночка и даже пискнула от восторга.

Схватив портфель, опрометью вылетела из класса, промчалась по гулким коридорам, но возле входной двери остановилась. Предстать перед Юрой следовало спокойной, усталой и чуть равнодушной. У Зиночки не было никакого опыта свиданий, и все, что она делала сейчас, основывалось на интуиции. Она не размышляла — она действовала именно так, потому что по-иному

действовать не могла.

— Привет.

— Чего это Артем на меня зверем смотрит? — спросил Юра.

— Не знаю, — несколько опешила Зина: она ожидала другого начала разговора.

— Ну, так как насчет кино? — Юра угасил смутные опасения, и глаза его вновь обрели влажную поволоку.

— Уладила, — небрежно бросила Зина. — Когда и где?

— Давай в полдесятого у «Коминтерна», а?

— Договорились, — отважно сказала Зина, хотя сердце ее екнуло.

— Я провожу тебя?

— Ни в коем случае! — гордо отказалась она и пошла, больше всего на свете интересуясь собственной спиной.

Так она и удалилась и, кто знает, может, всю дорогу до самого дома несла бы взгляд красивого мальчика на своей спине, если бы не встретила Лену Бокову. Лена готовилась в артистки, занималась у старенькой и очень заслуженной актрисы, а теперь бежала навстречу, смахивая слезы и некрасиво шмыгая носом.

— Ментика будочники забрали!

— А ты где была?

— А я и не заметила. Я разговаривала с одним человеком, потом он ушел, а мальчишки сказали, что Ментика будочники увезли.

Ментик принадлежал заслуженной артистке — довольно болезненной старушке, возле которой вечно суетились подрастающие таланты.

— А болтала ты, конечно, с Пашкой Остапчуком. — Зиночка не могла удержаться, несмотря на весь трагизм.

— Господи, да какая разница! Ну, с Пашкой, ну…

— А куда ты бежишь?

— Не знаю. Может, к Николаю Григорьевичу. Ты представляешь, что будет с ней? У нее же нет никого, кроме Ментика!

— К Искре! — воскликнула Зина, мгновенно забыв о приглашении в кино, влажных взглядах и собственной равнодушной спине.

Они побежали к Искре, и по дороге Лена вновь поведала историю исчезновения пса, а потом перед Искрой проиграла ее в лицах.

— Они с них сдирают шкуру, — свирепо уточнила Зина.

— Не болтай чепухи, они продают их в научные институты, — авторитетно заявила Искра. — А

раз так, значит, должен быть какой-то магазин или собачий склад: это ведь не частная лавочка.

— Нам надо спасти Ментика, — сказала Лена. — Понимаешь, надо! Он пропал по моей вине, и вообще…

— Надо идти в милицию, — решила Искра. — Милиция знает все.

— Ой, не надо бы путать сюда милиционеров, — вздохнула Зиночка. — А то они привыкнут к нашим лицам и станут здороваться на улицах. Представляешь, ты идешь… с папой, а тебе постовой говорит: «Здрасте!»

— Что меня угнетает, Зинаида, так это то меня угнетает, какой чушью набита твоя голова, — озабоченно сказала Искорка, надевая пальтишко. И тут же прикрикнула на Лену: — Не реви! Теперь надо действовать, а реветь будете в милиции, если понадобится.

В милиции им не повезло. Хмурый дежурный, не дослушав, отрубил:

— Собаками не занимаемся.

— А кто занимается? — настойчиво добивалась Искра. — Нет, вы нам, пожалуйста, объясните. Ведь кто-то должен же знать, куда свозят пойманных собак?

— Ну, не знаю я, не знаю, понятно?

— Тогда скажите, куда нам обращаться, — не унималась Искра, хотя Лена уже показывала глазами на дверь. — Вы не имеете права отказывать гражданам в справке.

— Тоже нашлись граждане!

— Да, мы — советские граждане со всеми их правами, кроме избирательного, — с достоинством сообщила Искра, ободряюще глянув на притихших подруг. — И мы очень просим вас помочь старой заслуженной актрисе.

— Вот какая настырная девчонка! — в сердцах воскликнул дежурный. — Ну, иди в горотдел, может, они чего знают, а меня уволь. Дети, собаки, старухи — с ума с вами сойдешь.

— Спасибо, — вежливо сказала Искорка. — Только с ума вы не сойдете, не надейтесь.

— Здорово ты его! — восторженно засмеялась Зина, когда они вышли из милиции.

— Стыдно, — вздохнула Искра. — Очень мне стыдно, что не сдержалась. А он старенький. Значит, я скверная сквалыга.

В горотделе милиции за дубовой стойкой сидел молодой милиционер, и это сразу решило все вопросы. Недаром Искра была убеждена, что следует смело опираться на молодежь.

— Кольцовская, семнадцать. Собак бродячих

туда забирают.

— У нас не бродячая, — сказала Лена.

— Не бродячая — значит, отдадут.

Они побежали на Кольцовскую, семнадцать, но там все уже было закрыто. Угрюмый косматый сторож в драном тулупчике в разговоры вступать не стал:

— Зачинено-заборонено!

— Но нам нельзя без собаки, понимаете, просто невозможно, — умоляла Лена. — Там старая актриса, заслуженная женщина…

— Зачинено-заборонено.

— Послушайте, — твердо сказала Искра. — Мы будем жаловаться.

— Зачинено-заборонено, — тупо бормотал сторож.

— А сколько стоит, чтобы разборонить? — вдруг звонко спросила Зиночка.

Сторож впервые глянул заинтересованно. Засмеялся, погрозил корявым пальцем:

— Ай, девка, далеко пойдешь.

— Не смей давать взяток, — шипела Искра. — Взятка унижает человеческую личность.

— Трояк! — воодушевленно заорал сторож. — Как просить, так все у Савки, а как дать, так нету их.

Девочки растерянно переглядывались: денег у них не было.

— Вот, вот, — ворчал сторож. — Чирей и тот бесплатно не вскочит.

— Артем близко живет, — вспомнила Искра. — Беги, Зинаида! В долг: завтра в классе соберем!

Последние слова она прокричала вслед, потому что Зиночка с места взяла в карьер — только коленки замелькали.

— Их кормят тут? — спросила Лена.

— Зачем? — удивился сторож. — Они друг дружку едят.

— Ужас какой, — тоскливо вздохнула будущая актриса. — Каннибализм.

Задыхаясь, Зина постучала, но дверь открыл не Артем, а его мама.

— А Тимки нет, он ушел к Жоре делать уроки.

— Ушел? — растерянно переспросила Зина.

— Проходи, девочка, — сказала мама Артема, внимательно посмотрев на нее. — И рассказывай, что случилось.

— Случилась ужасная вещь.

И Зиночка торопливо, но обстоятельно все рассказала. Мама молча достала деньги, отдала, а Зину задержала.

— Мирон, поди-ка сюда!

В кухню вошел большой и очень серьезный отец Артема, и Зина почему-то струхнула. Уж очень насупленными были его брови, уж очень уважительно он пожал ее руку.

— Расскажи еще раз про собаку.

И Зина еще раз, правда короче, рассказала про Ментика и сторожа.

— А тулупчик у него весь рваный. Его, наверное, собаки не любят.

— Ты будешь сорить деньгами, когда вырастешь. — Отец отобрал три рубля и вернул маме. — Это не такой уж страшный грех, но твоему мужу придется нелегко. Я схожу сам, а то как бы этот пропивоха не обидел девочек.

— Заходи к нам, Зина, — сказала мама, прощаясь. — Нам с отцом очень нравится, что ты дружишь с Тимкой.

— Артем — хороший парень, — говорил по дороге отец. — Знаешь, почему он хороший? Он потому хороший, что никогда не обидит ни одной женщины. Не знаю, будет ли у него счастливая жизнь, но знаю, что у него будет очень счастливая жена. Я не скажу этих слов ни про Якова, ни про Матвея, но про Артема повторю и перед богом.

Зине было очень стыдно, что она идет в кино не с Артемом. Но она утешала себя: мол, это

единственный разочек, и больше никогда не повторится.

— Я слышал, ты обижаешь девочек, Савка? — грозным басом еще издали закричал отец Артема. — Ты с них берешь контрибуцию, как сам Петлюра?

— А кто это? — вглядываясь, юлил сторож. — Зачинено-забо… Господи, да это ж Мирон Абрамыч! Здрасте, Мирон Абрамыч, наше вам.

— Отчиняй ворота и отдай девочкам собаку. Но-но, только не говори мне свои сказки. Я тебя знаю пятнадцать лет, и за эти пятнадцать лет ты не стал лучше ни на один день. Вытрите слезы, девочки, и получите собаку.

Сторож без разговоров открыл калитку. Ментик был найден среди лая, воя и рычания. Девочки долго благодарили, а потом разбежались: Лена потащила Ментика к заслуженной артистке, а Искра и Зина разошлись по домам. И никто из девочек не знал, что этот день был последним днем их детства, что отныне им предстоит плакать по другим поводам, что взрослая жизнь уже ломится в двери и что в этой взрослой жизни, о которой они мечтали, как о празднике, горя будет куда больше, чем радостей.

Но пока радостей было достаточно, и если су-

дить беспристрастно, то и самый мир был соткан из радостей — во всяком случае, для Зиночки.

Мало того что она сыграла главную роль при спасении песика и тем немножечко посрамила Искру — дома оказался один папа, из которого Зина без труда выпотрошила, что вернется он не раньше часа ночи, так как его внезапно вызвали на завод. Грешный путь был свободен, и Зиночка пошла на первое свидание. Ей хотелось кричать на весь мир, но она все же не решилась этого сделать и поведала распиравшую ее тайну только знакомой кошке, имевшей большой опыт по части свиданий. Кошка выгнула спину, мурлыкнула и указала хвостом на крышу. Зина решила, что она указывает прямехонько на небо, и сочла это за добрый знак.

Она пришла раньше времени, но Юра был уже на посту. Увидев его, Зиночка тут же юркнула за рекламный щит и проторчала там лишних пять минут, пока полностью не насладилась триумфом. Новоявленный поклонник не сходил с места, но отчаянно вертел головой.

— Вот и я! — сказала Зиночка как ни в чем не бывало.

Они прошли в фойе, где староста 10-го «А» угостил ее мороженым и ситро. Пить ей не хотелось,

но она честно выпила свою половину, потому что это была не просто сладкая вода, а ритуальное подношение, и тут надо было вкушать и наслаждаться не сладостями, а вниманием, как настоящая женщина. И Зиночка наслаждалась, не забывая, впрочем, посматривать по сторонам, так как очень боялась встретить знакомых. Но знакомых не было, а тут прозвенел звонок, и они пошли в зал.

Фильма Зина почти не запомнила, хотя он, наверное, был интересным. Она честно смотрела на экран, но все время чувствовала, что рядом сидит не мама, не Искра, даже не парень из класса, а молодой человек, заинтересованный в ней больше, чем в фильме. Эта заинтересованность очень волновала: уголком глаза она ловила взгляды соседа, слушала его шепот, но только улыбалась, не отвечая, поскольку не понимала, что он шепчет и что следует отвечать. Дважды он хватал ее за руку в самых патетических местах, и дважды она высвобождалась, правда не сразу и второй раз медленней первого. И все было таинственно и прекрасно, и сердце ее замирало, и Зиночка чувствовала себя наверху блаженства.

Возвращались по заросшей каштанами улице Карла Маркса, огрубевшие листья тяжело шуме-

ли над головами. И казалось, что весь город и весь мир давно уже спят и только девичьи каблучки молодо и звонко взрывают сонную тишину. Юра рассказывал что-то, Зина смеялась и тут же намертво забывала, над чем она смеялась. Это было не главное, а главное он сказал позже. То есть не самое главное, а как бы вступление к нему:

— Посидим немного? Или ты торопишься?

Честно говоря, Зина уже отсчитывала время, но, по ее расчетам, кое-что еще имелось в запасе.

— Ну, не здесь же.

— А где?

Зина знала где: перед домом Вики Люберецкой в кустах стояла скамейка. Если б что-нибудь — ну, что-нибудь не так! — она могла бы заорать, и вышла бы либо Вика, либо ее папа. Зиночка была ужасно хитрым человеком.

Они нашли эту скамейку, и Зина все ждала, когда же он начнет говорить то, что ей так хотелось услышать. О том, что она ему очень нравится, что она красивая, что он давно ею любуется и что она вообще лучше всех на свете. А вместо этого он схватил ее руки и начал тискать. Ладони у него стали влажными, Зине было неприятно, но она терпела. Заодно она терпела и жуткую боль от перетянутых резинками бедер; ей все время

хотелось сдвинуть врезавшиеся в тело резинки, но при мальчике это было невозможно, и она терпела, потому что ждала. Ждала, что вот…

К подъезду бесшумно подкатила большая черная машина. Молодые люди отпрянули друг от друга, но сообразили, что их не видно. Четверо мужчин вышли из машины; трое сразу же направились в дом, а четвертый остался. И Юра опять медленно придвинулся, опять стал осторожно тискать ее руки. Но Зине почему-то сделалось беспокойно, и руки она вырвала.

— Ну, что ты? Что? — обиженно забубнил десятиклассник.

— Подожди, — сердито шепнула Зина.

Показалось или она действительно слышала крик Вики? Она старательно прислушивалась, но резинки нестерпимо жгли бедра, а этот противный балбес пыхтел в уши. Зиночка отъехала от него, но он тут же поехал за ней, а дальше скамейка кончалась, и ехать Зине было некуда.

— Да отодвинься же! — зло зашипела она. — Пыхтишь, как бегемот, ничего из-за тебя не слышно.

— Ну, и черт с ними, — сказал Юра и опять взял ее за руку.

— Тихо сиди! — Зиночка вырвала руку.

И снова показалось, что крикнули за тяжелыми глухими шторами, не пропускавшими ни звука, ни света. Зина вся напряглась, навострив уши и сосредоточившись. Ах, если бы вместо Юрки сейчас была Искра!..

— Господи, — вдруг прошептала она. — Ну, почему же так долго?

Она и сама не знала, как сказала эти слова. Она ни о чем таком не думала тогда (исключая, конечно, ограбление и возможное насилие над Викой), но интуиция у нее работала с дьявольской безошибочностью, ибо она была настоящей женщиной, эта маленькая Зиночка Коваленко.

Распахнулась дверь подъезда, и на пороге показался Люберецкий. Он был без шляпы, в наброшенном на плечи пальто и шел не обычным быстрым и упругим шагом, а ссутулившись, волоча ноги. За ним следовал мужчина, а второй появился чуть погодя, и тут же в незастегнутом халатике выбежала Вика.

— Папа! Папочка!..

Она кричала на всю сонную, заросшую каштанами улицу, и в крике ее был такой взрослый ужас, что Зина обмерла.

— Понятых позови! — бросил на ходу первый, сопровождавший Люберецкого. — Не забудь!

— Папа! — Вика рванулась, но второй удержал ее. — Это неправда, неправда! Пустите меня!

— Телеграфируй тете, Вика! — Люберецкий не обернулся. — А лучше поезжай к ней! Брось все и уезжай!

— Папа! — Вика, рыдая, билась в чужих руках. — Папочка!

— Я ни в чем не виноват, доченька! — закричал Люберецкий. Его заталкивали в машину, а он кричал: — Я ни в чем не виноват, это какая-то ошибка! Я — честный человек, честный!..

Последние слова он прокричал глухо, уже из кузова. Резко хлопнули дверцы, машина сорвалась с места. Оставшийся мужчина оттеснил Вику в дом и закрыл дверь.

И все было кончено. И снова стало тихо и пусто, и только железно шелестели огрубевшие каштановые листья. А двое еще продолжали сидеть на укромной скамейке, растерянно глядя друг на друга. Потом Зина вскочила и бросилась бежать. Она летела по пустынным улицам, но сердце ее стучало не от бега. Оно застучало тогда, когда она увидела Люберецкого, и ей тоже, как и Вике, хотелось сейчас кричать: «Это неправда! Неправда! Неправда!..»

Она забарабанила в дверь, не думая, что может

разбудить соседей. Открыла мама Искры: видно, только пришла.

— Искра спит.

— Пустите! — Зина юркнула под рукой матери, ворвалась в комнату. — Искра!..

— Зина? — Искра села, прикрываясь одеялом и с испугом глядя на нее. — Что? Что случилось, Зина?

— Арестовали папу Вики Люберецкой. Только что, я сама видела.

Сзади раздался смех. Жуткий, без интонаций — смеялись горлом. Зина оглянулась почти с ужасом: у шкафа стояла мать Искры.

— Мама, ты что? — тихо спросила Искра.

Мать уже взяла себя в руки. Шагнула, качнувшись, тяжело опустилась на кровать, прижала к себе две девичьи головы — темно-русую и светло-русую. Крепко прижала, до боли.

— Я верю в справедливость, девочки.

— Да, да, — вздохнула дочь. — Я тоже верю. Там разберутся, и его отпустят. Правда, мама?

— Я очень хочу заплакать и не могу, — с жалкой улыбкой призналась Зина. — Очень хочу и очень не могу.

— Спать, — сказала мать и встала. — Ложись с Искрой, Зина, только не болтайте до утра. Я схожу

к твоим и все объясню, не беспокойся.

Мама ушла. Девочки лежали в постели молча. Зиночка смотрела в темный потолок сухими глазами, а Искра боялась всхлипывать и лишь осторожно вытирала слезы. А они все текли и текли, и она никак не могла понять, почему они текут сами собой. И уснула в слезах.

А родители их в это время сидели возле чашек с нетронутым, давно остывшим чаем. В кухне слоился дым, в пепельнице громоздились окурки, но мама Зины, всегда беспощадно боровшаяся с курением, сегодня молчала.

— Детей жалко, — вздохнула она.

— Дети у нас дисциплинированны и разумно воспитаны. — У матери Искры вдруг непроизвольно задергалась щека, и она начала торопливо дымить, чтобы скрыть эту предательскую дрожь.

— Я этого товарища не знаю, — неуверенно заговорил Коваленко, — но где тут смысл, скажите мне? Признанный товарищ, герой Гражданской войны, орденоносец. Ну, конечно, руководство, мог ошибиться, мог довериться. Дочку сильно любит, одна она у него, Зина рассказывала.

Он ни словом не обмолвился, что сомневается в правомерности ареста, но все его существо возмущалось и бунтовало, и скрыть этого он не мог.

Мать Искры остро глянула на него:

— Хорошо помню, как Люберецкий не хотел идти на эту должность — три дня уламывали. Уговаривали, просили, доказывали: партия, дорогой товарищ, требует укрепления нашей авиационной промышленности проверенными кадрами. Ты техническое училище окончил! Кому, как не тебе? Еле уломали.

— Уломали, — тихо повторил Коваленко. — А оно вон как. Ошибки не допускаете?

— Я сразу же позвонила одному товарищу, а он сказал, что поступил сигнал. Утром я уточню. Люберецкий — руководитель, следовательно, обязан отвечать за все. За все сигналы.

— Это безусловно, это конечно…

И опять нависла тишина, тяжелая, как чугунная баба.

— Что с девочкой-то будет? — вздохнула мать Зины. — Пока разберутся… А матери у нее нет, ой, несчастный ребенок, несчастный ребенок.

Андрей Иванович прошелся по кухне, поглядывая то на жену, то на мрачно курившую гостью. Присел на краешек стула.

— Нельзя ей одной, а, Оля? — Не ожидая ответа, повернулся к гостье: — Мы, конечно, не знаем, как там положено в таких случаях, так вы по-

правьте. Извините, как по имени-отчеству?

— Зовите товарищем Поляковой. Относительно девочки я к себе думала, да разве у меня семья? Я собственную дочь и то… — Она резко оборвала фразу, прикурила дымившую папиросу. — Берите. У вас нормально, хорошо у вас.

Встала, с шумом отодвинув стул, точно шум этот мог заглушить ее последние слова. Ее слабость, вдруг прорвавшуюся наружу. Пошла к дверям, привычно оправляя широкий ремень. Коваленко вскочил, но она остановилась. Посмотрела на мать Зины, усмехнулась невесело:

— Иногда думаю: когда же надорвусь? А иногда — что уже надорвалась. — И вышла.

Девочки спали, но видели тревожные сны: даже у Зиночки озабоченно хмурились брови. Мать Искры долго стояла над ними, нервно потирая худые щеки. Потом поправила одеяло, прошла к себе, села за стол и закурила.

Синий дым полз по комнате, в окна пробивался тусклый осенний рассвет, когда мать Искры, которую все в городе знали только как товарища Полякову, затушила последнюю папиросу, открыла форточку, достала бумагу и решительным размашистым почерком вывела в верхнем правом углу:

«В
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)».

Она писала быстро, потому что письмо было продумано до последнего слова. Фразы ложились одна к одной без помарок, легко и точно, и когда лист заполнился, осталось лишь поставить подпись. Но она отложила ручку, вновь внимательно прочитала написанное, вздохнула, подписалась и указала номер партбилета и дату вступления: 1917 год.

Глава 6

В то утро Коваленки впервые за много лет завтракали в полной тишине. И не только потому, что Зиночки не было на привычном месте.

— Я с работы отпрошусь часа на два, — сказал Андрей Иванович.

— Да, конечно, — тотчас же согласилась жена.

Ровно в двенадцать Коваленко вошел в кабинет директора школы Николая Григорьевича. И замер у двери, потому что рядом с директором школы сидела мать Искры Поляковой.

— Триумвират, — усмехнулась она. — Покурим, повздыхаем и разойдемся.

— Чушь какая-то! — шумно вздохнул директор. — Это же чушь, это же нелепица полная!

— Возможно. — Полякова кивнула коротко, как Искра. — Поправят, если нелепица.

— Пока поправят, девочка, что же, одна будет? — тихо спросил Коваленко у директора. — Может, написать родным, а ее к нам пока, а? Есть насчет этого указания?

— Что указания, когда она — человек взрослый, паспорт на руках. Предложите ей, хотя сомневаюсь, — покачал головой директор. — А родным

написать надо, только не в этом же дело, не в этом!

— Так ведь одна же девочка…

— Не в этом, говорю, дело, — жестко перебил Ромахин. — Вот мы трое — коммунисты, так? Вроде как ячейка. Так вот, вопрос ребром: верите Люберецкому? Лично верите?

— Вообще-то, конечно, я этого товарища не знаю, — мучительно начал Коваленко. — Но, думаю, ошибка это. Ошибка, потому что уж очень дочку любит. Очень.

— А я так уверен, что напутали там в каких-то отчетностях! Сам директор, знаю, как бумаги на ходу подписывать приходится. И Люберецкому я верю, просто запутался товарищ. И товарищ Полякова тоже так считает. Ну, а раз мы, трое большевиков, так считаем, то наш долг поставить в известность партию. Правильно я мыслю, товарищ Полякова?

Мать Искры помолчала. Постучала папиросой о коробку, сказала наконец:

— Прошу пока никуда не писать.

— Это почему же? — нахмурился Николай Григорьевич.

— Кроме долга, существует право. Так вот, право писать о Люберецком есть только у меня. Я знала

его по Гражданской войне, по совместной работе здесь, в городе. Это аргументы, а не эмоции. И сейчас это главное: требуются аргументы. Идет предварительное следствие, как мне объяснили, и на этом этапе пока достаточно моего поручительства. Поэтому никакой самодеятельности. И еще одно: никому о нашем разговоре не говорите. Это никого не касается.

Искра тоже считала, что это никого не касается. И утром распорядилась:

— Никому ни слова. Смотри у меня, Зинаида.

— Ну, что ты, я же не идиотка.

Вика в школу не пришла, а так все было как обычно. Мыкался у доски Артем, шептался со всем классом Жорка Ландыс, читал на переменках очередную растрепанную книгу тихий отличник Вовик Храмов. А в середине дня поползли слухи:

— У Вики Люберецкой отца арестовали.

Искра узнала об этом из записки Ландыса. На записке стоял огромный вопросительный знак и резолюция Артема: «Брехня!» Искра показала записку Лене (они сидели за одной партой). Лена охнула.

— Что за вздохи? — грозно спросила Валентина Андроновна. — Полякова, перестань шептаться с Боковой, я все вижу и слышу.

— Значит, не все! — неожиданно резко ответила Искра.

Это было новостью: она не позволяла себе грубить и в более сложных обстоятельствах. А здесь — пустяковое замечание, и вдруг понесло.

— Из Искры возгорелось пламя! — громко прошептал Остапчук.

Лена так посмотрела, что он сразу увял. Искра сидела опустив голову. Валентина Андроновна оценивала ситуацию.

— Продолжим урок, — спокойно сказала она. — Ландыс, ты много вертишься, а следовательно, многое знаешь. Вот и изволь…

Искра внезапно вскочила, со стуком откинув крышку парты:

— Валентина Андроновна, разрешите мне выйти.

— Что с тобой? Ты нездорова?

— Да. Мне плохо, плохо!

И, не ожидая разрешения, выбежала из класса. Все молчали. Артем встал.

— Садись, Шефер. Ты же не можешь сопровождать Полякову туда, куда она побежала.

Шутка повисла в воздухе — класс молчал. Артем, помявшись, сел, низко опустив голову. И тут поднялась Бокова.

— Я могу ее сопровождать.

— Что происходит? — повысила голос Валентина Андроновна. — Нет, вы объясните: что это, заговор?

— С моей подругой плохо, — громко заявила Лена. — Разрешите мне пройти к ней, или я уйду без разрешения.

Валентина Андроновна растерянно оглядела класс. Все сейчас смотрели на нее, но смотрели без всякого любопытства, не ожидая, что она сделает, а как бы предупреждая, что, если сделает не так, класс просто-напросто встанет и уйдет, оставив разве что Вовика Храмова.

— Ну иди, — плохо скрывая раздражение, сказала она. — Все стали ужасно нервными. Не рано ли?

Лена вышла. Ни она, ни Искра так и не появились до конца урока. А как только прозвенел звонок, в класс влетела Бокова.

— Сергунова Вера, встань у нашей уборной и не пускай никого. Коваленко, идем со мной.

Ничего не понимающая Зиночка под конвоем Лены проследовала в уборную, уже охраняемую самой рослой и бойкой девочкой 9-го «Б» класса. У окна стояла Искра.

— Читай. Вслух: Лена все знает.

— А чья это записка?

Подруги смотрели сурово, и Зина замолчала. Взяла записку, громко, как велено, начала:

— «Болтают, что сегодня ночью арестовали отца Вики…» — Она запнулась, подняла глаза. — Это не я.

— А кто?

— Ну не я же, господи! — с отчаянием выкрикнула Зина. — Честное комсомольское, девочки. Не я, не я, не я!

— А кто? — допытывалась Искра. — Если не ты, то кто?

Зиночка подавленно молчала.

— Я сейчас отколочу ее! — крикнула Лена. — Она предатель. Иуда она проклятая!

— Подожди. — Искра не отрывала от Зины глаз. — Я спрашиваю тебя, Коваленко, кто мог натрепаться, кроме тебя? Молчишь?

— Ух, как дам сейчас! — Лена потрясла крепко сжатым кулаком.

— Нет, мы не будем ее бить, — серьезно сказала Искра. — Мы всем, всей школе расскажем, какая она. Она не женщина, она — средний род, вот что мы скажем. Мы объявим ей такой бойкот, что она удавится с тоски.

В дверь уборной время от времени ломились,

но рослая Вера пока сдерживала натиск.

— Пусти их, — сказала Искра. — Это третьеклашки, они в штаны могут написать.

— Обождите! — с отчаянной решимостью выпалила Зина. — Я знаю, кто натрепал: Юрка из десятого «А». Я не одна была у дома Вики.

Девочки недоверчиво переглянулись и снова проницательно уставились на нее. Зина посмотрела на них и встала на колени.

— Пусть у меня никогда не будет детей, если я сейчас вру.

— Встань, — сказала Искра. — Я верю тебе. Лена, Артема сюда.

— Сюда нельзя.

— Ах да. Тогда узнай, сколько у Юрки уроков. Пойдем, Зина. Прости нас и не реви.

— Я не реву, — вздохнула Зина. — Я же сказала, что слезы кончились.

Артему было рассказано все: на этом настояла Искра. Зина сознавалась, не поднимая глаз. Вокруг стояли посвященные: Лена, Искра, Жорка и Пашка Остапчук.

— Так, — уронил Артем в конце. — Теперь ясно.

— Помощь потребуется? — спросил Пашка.

— Сам, — отрезал Артем. — Жорка свидетелем

будет.

— Не свидетелем, а секундантом, — привычно поправила Искра.

— Где стыкаться? — деловито осведомился секундант.

— В котельной. Надо Михеича увести.

Михеич был истопником и столяром школы и драк не жаловал. А особенно он не жаловал 9-й «Б», потому что раньше в нем учился Сашка Стамескин, и тогда угля не хватало, а Михеича ругали.

— Мы будем ждать вас, — сказала Искра. — На мостике.

Этот разговор происходил на последней перемене, а после шестого урока у дверей 10-го «А» Артем встретил Юрку.

— Надо поговорить.

— О чем, малявка?

Десятиклассники были школьной элитой и насмешливо относились даже к девятым классам. Насмешка была дружеской, но Артем не улыбнулся.

— Идем. Можешь взять Серегу.

— Сергей! — крикнул Юра в класс. — Нас на разговор девятиклашки зовут!

В коридоре ждал Ландыс, и к котельной они

подошли вчетвером. Жорка забежал вперед, заглянул:

— Пашка дело знает!

Они вошли в полутемную, пропахшую пылью котельную. Жорка закрыл дверь на задвижку. Десятиклассники настороженно переглядывались.

— Я тебя сейчас, это, бить буду, — сообщил Артем, снимая куртку.

— Малявка! — нервно засмеялся Юрий. — Да я из тебя котлету…

— А в чем дело? — спросил Сергей. — Просто так, что ли?

— Он знает, — сказал Артем. — Видишь, ни о чем не спрашивает. А тебе скажу: дружок у тебя, это, дрянь дружок. Трепло дешевое.

Юрка был плотнее и выше Артема, да, вероятно, и сильнее, но драться ему приходилось нечасто. А Артему — часто, потому что рос он среди драчунов братьев, умел постоять за себя и ничего не боялся. Ни боли, ни крови, ни встречного удара. Он был ловок, увертлив, а жилистый его кулак действовал быстрее и точнее. Кроме того, кулак этот бил сейчас соперника, о чем, правда, сам Артем еще не успел подумать.

— Да что это он, всерьез? — забеспокоился Сергей.

— Тихо, Серега, тихо. — Ландыс, улыбаясь, держал его за пиджак. — Наше дело, чтоб все по правилам, без кирпичей и палок. А полезешь, я тебе буду зубы считать.

— Да ведь до первой крови полагается!

— А это не оговаривали. Может, сегодня и до последней дойдет.

Пока в котельной шла дуэль, Лена и Пашка водили Михеича по младшим классам и убеждали, что в окна дует и дети могут простудиться. Михеич ощупывал рамы негнущимися пальцами, подставлял небритую щеку и божился, что никакого ветра нет и в помине. Лена говорила, что есть, а он — что нет. А Пашка поглядывал на часы — во всем классе только у него да у Вики были часы — и размышлял, чем бы еще занять Михеича, когда дело со сквозняками иссякнет. За этим занятием их застал Николай Григорьевич: видно, они орали, а он шел мимо.

— Что вы тут делаете?

— Да вот они говорят, что дует, мол, а я говорю…

— Правильно, — сказал директор и закрыл дверь.

— Надо все проверить, — заявил Пашка. — Все окна на всех этажах. Слышали, что Николай Гри-

горьевич сказал?

И они пошли по этажам, хотя Михеич призывал в свидетели господа бога, что ничего подобного директор не говорил. Медкомиссия — а они представились именно так — была придирчива и неумолима.

— Дует.

— Не дует.

— Нет, дует!

— Нет, не дует!

— Пора, — шепнул Пашка. — За это время можно полшколы переколотить. Я пойду на разведку, а ты отрывайся. Встретимся у мостика.

Лена так и сделала, внезапно оставив сильно озадаченного Михеича в пустом классе. Пашка ждал ее внизу, сказал, что в котельной пусто, и к мостику они побежали вместе. Там все уже были в сборе. Искра прикладывала мокрый платок к подбитому глазу Артема, а Жорка советовал:

— Лучше всего коньки оттягивают.

Зина стояла рядом, смотрела в сторону, но платку завидовала и скрыть этого не могла.

— Ну, как было дело? — поинтересовался Пашка.

— Классная стычка! — радостно сказал Ландыс. — Отделал он его под полный спектр, как

Джо Луис. Раз так саданул — я думал, ну, все. Ну, думаю, открывай счет, Жора.

— Хватит подробностей! — резко перебила Искра. — Все в сборе? Тогда пошли!

— Куда? — удивился Пашка.

— Как куда? К Вике.

Все замялись, переглядываясь. Лена осторожно спросила:

— Может, не стоит?

— Значит, для вас дружба — это пополам радость? А если пополам горе — наша хата с краю?

— Это Ленка сдуру, — нахмурился Артем.

Шли молча, точно на похороны. Только раз Пашка сказал Артему:

— Ну и рожа у тебя.

— Завтра хуже будет, — туманно ответил Артем.

Подошли к дому и остановились, старательно — слишком старательно — вытирая ноги, Искра позвонила — никто не отозвался.

— Может, дома нет? — шепотом предположила Лена.

Искра толкнула дверь: она была не заперта. Оглянулась на ребят, первой вошла в притихшую квартиру. Набились в передней в темноте; Искра нашарила выключатель, зажгла свет. В дверях

своей комнаты стояла Вика.

— Зачем вы пришли? — глухо спросила она. — Я не просила вас приходить.

— Ты, это, не просила, а мы пришли, — объяснил Артем. — Мы верно сделали. Ты сама, это… потом скажешь.

— Ну, проходите, — бесцветно сказала Вика, помолчав.

Она посторонилась, ребята вошли и остановились у порога: в комнате было неприбрано, шкаф раскрыт; белье валялось на полу, точно сброшенное в нетерпении и досаде.

— Ты уезжаешь? — удивилась Зина.

— Поля, — кратко пояснила Вика. — Садитесь, раз пришли.

Но они не садились. Стояли у двери, и каждый почему-то смутно ощущал вину.

— Во всех комнатах так? — тихо спросила Искра.

— Они что-то искали.

Помолчали.

— А где Поля? — опять спросила Искра.

— Уехала в деревню. Насовсем.

— Так. — Искра яростно тряхнула головой, только косы подпрыгнули. — За дело, ребята. Все убрать и расставить. Девочки — белье, мальчики

— книги. Дружно, быстро и аккуратно!

— Не надо, — вздохнула Вика. — Ничего не надо.

— Нет, надо! Все должно быть как было. И — как будет!

И все очень обрадовались, потому что это было реальное занятие и реальная помощь. Мальчики ушли убирать столовую, а девочки — комнату Вики и спальню отца. И вскоре все оживились и даже заулыбались, и стало слышно, как в столовой азартно спорят Жорка и Пашка и как Артем урезонивает их. И даже Вика присела рядом с Искрой и стала укладывать белье.

— Ты написала тете?

— Написала, но тетя не поможет. Будет только плакать и пить капли.

— Как же ты одна?

— Ничего. — Вика помолчала. — Андрей Иванович приходил, Зинин папа. Хотел, чтобы я к ним перешла жить. Пока.

— Это же замечательно, это же…

— Замечательно? — Вика грустно улыбнулась. — Уйти отсюда — значит поверить, что папа и в самом деле преступник. А он ни в чем не виновен, он вернется, обязательно вернется, и я должна его ждать.

— Извини, — сказала Искра. — Ты абсолютно права.

Вика промолчала. Потом спросила, не глядя:

— Почему вы пришли? Ну, почему?

— Мы пришли потому, что мы знаем Леонида Сергеевича и… и тоже уверены, что это ошибка. Это кошмарная ошибка, Вика, вот посмотришь.

Вика поймала руку Искры в груде белья, крепко сжала ее и долго не отпускала. Потом улыбнулась; губы ее дрожали, по щеке ползла слезинка.

— Конечно, ошибка, я знаю. Он сам сказал мне на прощанье. И знаешь что? Я поставлю чай, а? Есть еще немного папиных любимых пирожных.

— А ты обедала?

— Я чаю попью.

— Нет, это не годится. Зина, марш на кухню! Посмотри, что есть: Вика сегодня не ела ни крошечки.

— Я вкусненько приготовлю! — радостно закричала Зиночка.

Потом пили чай, а Вика ела особую яичницу из самой большой сковороды. За дубовыми дверцами по-прежнему искрился хрусталь, все было на своих местах, и ребята устало любовались работой. А когда Вика спросила, почему у Артема такое красное лицо, и он сказал, что упал с лест-

ницы, все принялись ужасно хохотать, и Вика рассмеялась тоже.

— Ну, и замечательно, ну, и замечательно! — кричала Зина. — Все будет хорошо, вот посмотрите. Я предчувствую, что все будет хорошо!

Но предчувствовала она, что все будет плохо, а сейчас изо всех сил врала. И Искра знала это, и Лена, и сама Вика, и только ребята со свойственной всем мужчинам боязнью мрачных предопределений верили, что их маленькие и мудрые подружки-женщины говорят сейчас правду.

— Ты завтра пойдешь в школу, — сказала Искра, когда прощались.

— Хорошо, — послушно кивнула Вика.

— Хочешь, я зайду за тобой? — предложила Лена. — Мне по пути.

— Спасибо.

— Дверь никому не открывай. — Искре захотелось поцеловать Вику, но она отмела эту слабость и крепко, по-мужски пожала руку.

Возле дома Искру ждал Сашка Стамескин. Он был в легкой куртке, продрог и сердился.

— Где ты была?

— У Вики Люберецкой.

— Ну, знаешь… — Сашка покачал головой. — Знал, что ты ненормальная, но чтоб до самой

маковки…

— Что ты бормочешь?

— А то, что Люберецкий этот — ворюга! Он миллион растратил. Миллион, представляешь?

— Сашка, ты врешь, да? Ну, скажи, ну…

— Я точно знаю, поняла? А он меня на работу устраивал, на секретный завод. Личным звонком. Личным! И жду я, чтоб специально предупредить.

— О чем? — строго спросила Искра, подняв посерьезневшие, почти скорбные глаза. — О чем ты хотел предупредить меня?

— Вот об этом. — Сашка растерялся — он никогда не видел у Искры таких взрослых глаз.

— Об этом? Спасибо. А Вика что растратила? Какой миллион?

— Вика? При чем тут Вика?

— Вот именно, ни при чем. А Вика моя подруга. Ты хочешь, чтобы я предала ее? Даже если то, что ты сказал, правда, даже если это — ужасная правда, Вика ни в чем не виновата. Понимаешь, ни в чем! А ты…

— А что я?

— Ничего. Может быть, мне показалось. Иди домой, Саша.

— Искра…

— Я сказала, иди домой. Я хочу побыть одна. До свидания.

Разумом Искра понимала, что все правильно, но только разумом. А на душе было смутно, тягостно и беспокойно, и, когда разум отключался, откуда-то с самого дна всплывал беспомощный вопрос: как же так? Она вспоминала уютный дом, чай, который разливал хозяин, его самого, его разговоры, непривычные суждения, седину на висках и ордена. Ордена, которых в ту пору было так мало, что награжденных знали в лицо. И, все понимая дисциплинированным умом, Искра ничего не понимала.

Утром Вика пришла в школу с Леной, и класс встретил ее как всегда. Может быть, с чуть большим вниманием, чуть большим оживлением, но это казалось естественным, и она была благодарна классу. А должна была быть благодарной Искре, потому что Искра прибежала первой, успела собрать класс до ее прихода и сказать:

— Как обычно. Всем все ясно? Вовик, ты уразумел? Сейчас придет Вика, чтоб было все как всегда. Как всегда!

Но «как всегда» получалось три дня. А на четвертый, к концу уроков, Вику вызвали к директору. Отсутствовала она полчаса, вошла спокойная, но

очень бледная.

— Семен Исакович, Николай Григорьевич срочно просит Искру Полякову и Артема Шефера.

— Пожалуйста, пожалуйста! — торопливо согласился математик.

Вика села на место, а Артем и Искра молча вышли из класса. В коридоре их встретил Серега из 10-го «А», чему они очень удивились, так как шли уроки и вообще этот этаж был их, а не десятиклассников.

— Вас жду, — пояснил он. — Валендра задала сочинение, а сама у директора. Теперь вас начнут тягать, так хочу объяснить.

— Мы знаем, — сказала Искра.

— Чего вы знаете? Ничего вы не знаете. В тот день после стычки нас Валендра встретила, когда я Юрку домой вел. А у него рожа — картина ужасов, твой приятель постарался. Ну, она вцепилась: кто да за что? Я и сказал: обычная драка. Подчеркиваю, я сказал. Юрке было не до разговоров, ты ему челюсть своротил.

— Ну, спасибо, — усмехнулся Артем. — У вас все трепачи в десятом или хоть через одного?

— А что я мог? Она как пиявка, сам знаешь. Гнала Юрку в поликлинику, чтобы он справку об избиении взял, но Юрка не пошел. Так что вали

на обычную драку. Мол, из принципа.

— Сами разберемся, — перебила Искра. — Катись к своему Юрику.

В кабинете сидела Валентина Андроновна. Сидела сбоку стола, но устроилась удобно и уходить не собиралась.

— Вызывали? — спросила Искра.

— Обожди в коридоре, Полякова, — сказала Валентина Андроновна.

Искра молча смотрела на директора. Николай Григорьевич кивнул, она тотчас же вышла, а Валентина Андроновна улыбнулась. Улыбка была злой, и Артем это отметил.

— За что ты избил Юрия Дегтярева из десятого «А»?

— За дело, — буркнул Артем.

— Какое дело?

— Наше дело.

Спрашивала только она: директор молчал, глядя в стол. Поэтому Артем злился и грубил.

— Ну так я тебе скажу, почему ты его избил. Ты избил его потому, что отец Юры служит в милиции.

Новость была неожиданной: в школе никто особо не интересовался, где работают чужие отцы. И Артем с искренним недоумением воззрился

на учительницу.

— Да, да, нечего на меня таращиться!

Николай Григорьевич неодобрительно покачал головой.

— Ну, это уж слишком, Валентина Андроновна.

— Я разобралась в этом вопросе досконально, Николай Григорьевич. Досконально!

— Убейте меня, — вдруг громко сказал Артем. — Ну, это… Убейте!

И без разрешения вышел из кабинета.

— Шефер! — Валентина Андроновна вскочила. — Шефер, вернись!

— Не надо, — тихо попросил директор. — Валентина Андроновна, вы неправильно вели себя. Нельзя швыряться такими обвинениями.

— Я знаю, что делаю! — отрезала учительница. — Вам, кажется, разъяснили, до чего может довести ваш гнилой либерализм, так не заставляйте меня еще раз сигнализировать! А этот Шефер — главный заводила, думаете, я забыла ту вечеринку с днем рождения? Я ничего не забываю. И если Шефер не желает учиться в нашей советской школе, то пойдет работать. И я это ему устрою!

Директор скривился, как от зубной боли, но промолчал.

— Полякова! — крикнула учительница.

Никто не входил и не отзывался. Валентина Андроновна еще раз позвала, потом вышла — Искры возле кабинета не было.

— Полякова! Ты где, Полякова?

Искра появилась с лестничной площадки. Молча пошла на нее, в упор глядя странными глазами.

— Что вы сказали Артему, Валентина Андроновна? Что вы сказали ему?

— Это тебя не касается. Марш в кабинет.

— Он же чернее земли, — с упреком проговорила Искра. — Я спросила, а он выругался. Он так страшно выругался…

— Он еще и ругается! — с торжеством объявила учительница, входя в кабинет. — Вот плоды вашей надклассовой демократии!

Она имела в виду директорские беседы, спевки в спортзале, зеркала в девичьих уборных и вообще весь этот слюнтяйский либерализм, который следовало выжигать каленым железом. Директор так и понял ее и опять промолчал, понурив голову.

— Где вы были вчера?

— У Вики Люберецкой.

— Ты подговорила ребят пойти туда? Или Ше-

фер?

— Предложила я, но ребята пошли сами.

— Зачем? Зачем ты это предложила?

— Чтобы не оставлять человека в беде.

— Она называет это бедой! — всплеснула руками Валентина Андроновна. — Вы слышите, Николай Григорьевич?

Потом Искра определила взгляд Николая Григорьевича, но потом, дома. Тогда она только почувствовала, но не нашла определения. А взгляд был устало-покорным, и сам директор походил на смятую бумагу.

— Значит, организовала субботник? Как благородно! А может быть, ты считаешь, что Люберецкий не преступник, а невинная жертва? Почему ты молчишь?

— Я все знаю, — тихо сказала Искра.

А сама думала, что совсем недавно Валентина Андроновна называла Люберецкого гордостью их города. Думала, уже не задавая себе вопроса: как же так? Думала, просто отмечая жизненные несообразности. Просто набирая факты.

— Мы не будем делать выводов, учитывая твое безупречное поведение в прошлом. Но учти, Полякова. Завтра же проведешь экстренное комсомольское собрание.

— А повестка? — уже холодея, спросила Искра.

Она все время ловила взгляд Николая Григорьевича. Но он прятал глаза.

— Необходимо решить комсомольскую судьбу Люберецкой. И вообще, я считаю, что дочери врага народа не место в Ленинском комсомоле.

— Но за что? — еле слышно выговорила Искра. Ей вдруг стало плохо, как никогда еще не было, но она удержалась на ногах. — За что же? Вика же не виновата, что ее отец…

— Да, конечно, — зашевелился директор. — Конечно.

— Я не буду проводить этого собрания, — мертвея от ужаса, произнесла Искра.

Тупая, тянущая боль возникла где-то в самом низу живота. От этой боли леденели руки, хотелось скорчиться, прижать коленки к груди и не шевелиться. Лоб покрылся холодным потом, Искра закусила губу, чтобы не выбежать или не упасть.

— Что ты сказала?

— Я не буду проводить собрания…

— Что-о-о?..

Кажется, Валентина Андроновна начала подниматься, расти. Кажется, потому что у Искры все поплыло перед глазами, она уже ничего не

видела — была только эта боль. Боль, рвущая тело изнутри.

— Да ей же плохо! — крикнул Николай Григорьевич, вскакивая.

Он успел подхватить Искру, а то бы она грохнулась. Она цеплялась за него, улыбаясь из последних сил.

— Ничего. Извините. Ничего.

— Сестру! — рявкнул директор. — Что вы сидите, как клуша?

Очнулась Искра в медпункте на жесткой кушетке. Повела глазами, испуганно глянула вниз: платье взбито, воротник расстегнут. Сразу села, суетливо приводя себя в порядок.

— Да одна я тут, одна, не бойся, — добродушно сказала толстая пожилая сестра. — Ну, очнулась, красавица? И хорошо. Выпей-ка.

— Что со мной было? — Искра послушно выпила капли.

— Ничего страшного, у девочек это бывает. Ну, чего краснеешь? Дело естественное, растешь, а тут еще, видать, понервничала. Ты берегись, большая уже, понимать должна.

— Да, да, спасибо. А как я… Я сама к вам пришла?

— Директор принес, Николай Григорьевич.

Прямо как доченьку, только что не целовал.

— Ужасно, — прошептала Искра.

— Ну, ты в порядочке? Тогда Николая Григорьевича кликну, он в коридорчике дожидается.

Она выглянула за дверь, и тотчас же вошел директор. Искра хотела встать, но он сам сел рядом на скользкую клеенчатую кушетку.

— Как дела, хороший человек?

— А откуда вы знаете, что хороший? — спросила Искра, улыбаясь.

— Ох, и трудно же догадаться было! До дома дойдешь или, может, машину где выпросить?

— Дойдет! — махнула рукой сестра.

— Дойду, — подтвердила Искра.

— Да и провожатых у тебя достаточно. А собрание будет через неделю, так что не волнуйся пока. Я сам в райком звонил.

— А Вика?

— А с Люберецкой пока ничего хорошего не обещаю. — Директор нахмурился и встал, привычно оправляя гимнастерку под ремнем. — Я поговорю, сделаю что смогу, но ничего не обещаю. Сама понимаешь.

— Понимаю, — вздохнула Искра. — Ничего я не понимаю.

В коридоре ждали Зиночка, Вика, Лена, Пашка,

Жорка и Валька Александров.

— А где Артем?

— Ушел, — сказал Жорка. — Вернулся, взял сумку и потопал прямо с урока.

— Хоть о Шефере-то не беспокойся, — поморщился директор. — Ну, в другой школе будет учиться, не пропадет. Если бы просто драка, а…

— А драка, Николай Григорьевич, была справедливой, — сказал Валька Александров. — Я в тот день болел и могу беспристрастно обрисовать.

— Артем дрался из-за меня, — вдруг призналась Зина. — Потому что я ходила с Юркой в кино.

— Из-за тебя? — почему-то очень радостно удивился директор. — Точно из-за тебя?

— А что, из-за меня и подраться нельзя?

— Можно, — сказал Николай Григорьевич. — Можно и нужно. Только чтоб Артему твоему полегче было, напиши-ка ты мне, Коваленко, докладную.

— Что? — испугалась Зиночка.

— Ну, записку. Изложи, как было дело, вскрой причины. Полякова тебе поможет. И завтра, не позже.

— А зачем?

— Ну надо же, надо! — почти пропел директор. — Гора с плеч свалится, если будет такая

записка, понятно?

Искру провожали до самого подъезда. Вначале она и слышать об этом не хотела, но на сей раз ее не послушались, и это было очень приятно. Возле дома постояли, погалдели, посмеялись и стали расходиться. Только Вика не торопилась.

— Идем, Вика! — крикнула Лена. — Нам по пути, и у нас есть Пашка.

— Я догоню. — И, когда все отошли, сказала: — Спасибо тебе, Искра. Папа не зря говорил, что ты самая лучшая.

Воспоминания о папе Вики были для Искры неприятны: ей уже казалось, что теперь-то она знает, кто он такой, этот папа. И чтобы скрыть то, что подумала, вздохнула:

— С комсомолом будет очень трудно, Вика.

— Я знаю. — Вика говорила спокойно, точно повзрослела за эти дни на добрых двадцать лет. — Мне все объяснила Валентина Андроновна. Мы долго говорили с ней наедине: Николая Григорьевича куда-то вызывали, и вернулся он какой-то… Какой-то не такой.

— С комсомолом будет трудно, — повторила Искра: для нее это было сейчас самым главным. — Но ты не отчаивайся, Николай Григорьевич обещал что-нибудь сделать.

— Да, да, — грустно улыбнулась Вика. — А потом, ведь собрание только через неделю.

Они опять крепко пожали друг другу руки, опять хотели поцеловаться и опять не поцеловались. Разошлись.

Глава 7

Искра заставила Зину написать записку, сурово отредактировала ее, убрав ненужные, с ее точки зрения, эмоции, и отнесла директору.

— Добре, — сказал Николай Григорьевич. — Может, и выгорит.

Вызвал через два дня:

— Оставили архаровца. Передай, чтоб завтра же явился.

Искра была в таком радостном настроении, что не выдержала и сбежала с последнего урока. Проехала трамваем, влетела в дом, постучала. Дверь открыла мама.

— А где Артем? — задыхаясь, выпалила Искра.

— Как так — где Артем? — В глазах матери мелькнул испуг. — Разве он не в школе?

— Нет, это я не в школе, — поспешно пояснила Искорка. — Я не была в школе и думала…

Тут она виновато замолчала и начала краснеть, потому что мама Артема неодобрительно качала головой.

— Ты не умеешь врать, девочка, — вздохнула она. — Конечно, это хорошо, но твоему мужу придется несладко. Ну-ка, иди на кухню и расска-

зывай, что такое ужасное натворил мой сын.

И Искра честно все рассказала. Все — про драку, а не про Вику. Про драку и скандал с классной руководительницей, а о том, что Артем выругался, умолчала. И хотя умолчание тоже есть форма лжи, с этой формой Искра как-то уже освоилась.

— Ай, нехорошо драться, — сказала мама, улыбаясь не без удовольствия. — Он смелый мальчик, ты согласна? У такого отца, как мой муж, должны быть смелые сыновья. Мой муж был пулеметчиком у самого Буденного, и я таскалась за ними с Матвеем на руках. Так вот, я уже все знаю. Этот негодник — я говорю о Тимке, — этот махновец прячется у Розы и Петра. А потом приходит домой и делает себе уроки. Очень трудно воспитывать мальчиков, хотя, если судить по Розочке, девочек воспитывать еще трудней. Сейчас я тебе объясню, где живут эти странные люди, у которых нет даже поварешки.

Мама растолковала, как найти общежитие, и Искра убежала, успев, правда, съесть два пирожка. Она быстро разыскала нужную комнату в длиннющем коридоре, хотела постучать, но за дверью пел женский голос. Пел для себя, очень приятно, и Искра сначала послушала, а уж потом постучала. Роза была одна. Она гладила белье,

пела и учила «Строительные материалы» одновременно.

— Сейчас придет, — сказала она, имея в виду Артема. — Я послала его в магазин. Ты — Искра? Ну, правильно, Артем так и сказал, что если кто его найдет, то только Искра.

— А вы Роза, да? Мне Артем рассказывал, что вы из дома ушли.

— И правильно сделала, — улыбнулась Роза. — Если любишь и головы не теряешь, значит, не любишь и любовь потеряешь. Вот что я открыла.

— Давайте я вам буду помогать.

— Лучше говори мне «ты». Спросишь, почему лучше? Потому что я глажу рубашки своему парню. — Она вдруг скомкала рубашку, прижала ее к лицу и вздохнула. — Знаешь, какая это радость?

— Вот вы… ты говоришь, что любить — значит терять голову, — серьезно начала Искра, решив разобраться в этом заблуждении и немножечко образумить Розу. — Но голова совсем не для того, чтобы ее терять, это как-то обидно. Женщина такой же человек, как и…

— Вот уж дудочки! — с веселым торжеством перебила Роза. — Если хочешь знать, самое большое счастье — чувствовать, что тебя любят. Не знать, а чувствовать, так при чем же здесь голова? Вот и

выбрось из нее глупости и сделай себе прическу.

— Говорить так — значит отрицать, что женщина — это большая сила в деле строительства…

— У, еще какая сила! — опять перебила Роза: она очень любила перебивать по живости характера. — Силища! Только не для того, для чего ты думаешь. Женщина не потому силища, что камни может ворочать похлеще мужика, а потому она силища, что любого мужика может заставить ворочать эти камни. Ну и пусть они себе ворочают, а мы будем заставлять.

— Как это — заставлять? — Искра начала сердиться, поскольку серьезный разговор не получался. — Принуждать, что ли? Навязывать свою волю? Стоять с кнутом, как плантатор? Как?

— Как? Ручками, ножками, губками. — Роза вдруг оставила утюг и гордо прошлась по комнате, выпятив красивую грудь. — Вот я какая, видишь? Скажешь, не сильная? Ого! Мой парень как посмотрит на меня, так не то что камни — железо перегрызет! Вот это и есть наша сила. Хотите, чтобы мы увеличили производительность труда? Пожалуйста, увеличим. Только дайте нам наряды, дайте нам быть красивыми — и наши парни горы свернут! Да они за нашу красивую улыбку, за нашу нежность…

Вошел Артем, и Роза замолчала, лихо подмигнув Искре.

— Привет, — сказал он, не удивившись. — А сахару опять нет. Говорят, завтра в семнадцатом будут давать по два кило.

— Придется побегать, — без всякого огорчения заявила Роза, снова принимаясь гладить. — Мой парень — ужас какой сластена.

— Ну, чего там? — спросил Артем, раздевшись и расставив покупки.

— Все в порядке, завтра приходи в школу.

— «Разобралась в этом вопросе»! — с отвращением передразнил Артем кого-то очень знакомого. — Ну, болтуны. Вика ходит в школу?

— Ходит. Собрание через неделю. Может быть, удастся…

— Ничего не удастся, потому что всех сожрет Валендра. Уроков много задали?

Искра показала домашние задания, объяснила новое и ушла. В Артеме она была уверена: он все сделает, что решил, а решил он ни в коем случае не бросать дорогой его сердцу 9-й «Б». Так думала Искра, а сам Артем во всем девятом видел одну Зиночку Коваленко.

Неделя была как неделя: списывали и подсказывали, отвечали и решали, сочиняли записки,

обижались, назначали свидания, плакали тайком. Только Валентина Андроновна ни разу не вызвала Вику, хотя Вика аккуратно готовила уроки и у других учителей отвечала на «отлично». Но это были все-таки мелочи, хотя класс все видел, все подмечал, делал свои выводы, и если бы об этих выводах узнала классная руководительница, то, вероятно, сочла бы за благо своевременно перейти в другую школу.

— Стерва, — определил Ландыс.

— Так о старших не говорят! — взвилась Искра.

— Я не о старших. Я о Валендре.

Артем получил взбучку от директора, посопел, повздыхал и уселся на привычное место рядом с Жоркой. А в субботу после уроков Вика предложила:

— Давайте с осенью попрощаемся.

Все удивились, но не предложению, а тому, что оно исходило от Вики. И обрадовались.

— В лес! — крикнула Зиночка.

— На речку! — требовал Ландыс.

— В Сосновку! — сказала Вика. — Там и лес и речка.

— В Сосновку! — подхватил Жорка, мгновенно перестроившись.

— А там есть магазин или столовая? — спро-

сила Искра.

— Я все купила. Хлеб возьмем утром, а поезд в девять сорок.

Сосновка была близко: они даже не успели допеть любимых песен. Спрыгнули на низкую платформу и притихли, пораженные прозрачной тишиной.

— Куда пойдем? — спросил Валька Александров: по жребию ему досталась корзина с харчами, и он был заинтересован в маршруте.

— За дачным поселком лес, а за ним речка, — объяснила Вика.

— Ты бывала здесь? — спросила Лена.

Вика молча двинулась вперед, за нею — Ландыс. Она оглянулась, кивнула, тогда он догнал ее и пошел рядом. Свернули в переулок, вышли на тихую заросшую улицу. Заколоченные дачи тянулись по сторонам.

— Быстро дачники свернулись, — сказал Жорка: его мучило молчание.

— Да, — односложно подтвердила Вика.

— Я бы здесь до зимы жил. Здесь хорошо.

— Хорошо.

— В речке купаются?

— Сейчас холодно.

— Нет, я вообще.

— Там купальни были. — Вика остановилась, подождала, пока подойдут остальные, и сказала, обращаясь преимущественно к Искре: — Вот наша дача.

Они стояли возле маленького аккуратненького домика, недавно выкрашенного в веселую голубую краску.

— Красивая, — протянула Зина.

— Папа сам красил. Он любил веселые цвета.

— А сейчас… — начала было Искра и замолчала.

— Сейчас все опечатано, — спокойно договорила Вика. — Я хотела кое-что взять из своих вещей, но мне не позволили.

— Пошли, — буркнул Артем. — Чего глядеть-то?

Шли по заросшему лесу, шуршали листвой и молчали то ли от осеннего безмолвия, то ли еще неся в себе дачу, в которой оставалось навсегда прошлое их подруги. И рядом с этим опечатанным прошлым не хотелось разговаривать.

Вика вывела к речке — пустой и грустной, с затонувшими кувшинками. Ребята развели костер, и, когда затрещал он, разбрасывая искры, все облегченно заговорили и заулыбались, точно огонь высветил этот задумчивый осенний день

из сумрака недавнего прошлого. Девочки принялись возиться с едой, а Вика, присев у корзины, надолго задумалась. Потом вдруг поднялась, оглянулась на Ландыса:

— Ты очень занят?

— Я? Нет, что ты! У нас Артем главный по кострам.

— Хочешь, я покажу тебе одно место?

Пошла вдоль берега, а Жорка шел сзади, не решаясь заговорить. Остановились над крутым песчаным обрывом; куст шиповника навис над ним, уронив унизанные красными ягодами плети.

— Я любила читать здесь.

Села, спустив ноги в обрыв. Жорка постоял, отошел к шиповнику, стал обрывать ягоды.

— Не надо. Пусть висят, красиво. Их потом птицы склюют.

— Склюют, — согласился Ландыс. Посмотрел на сорванные ягоды, хотел выбросить, но, подумав, спрятал в карман.

— Сядь. Рядом сядь, что ты за спиной бродишь?

Жорка поспешно сел, и они опять надолго замолчали. Он изредка поглядывал на нее, хотел пересесть поближе, но так и не решился.

— Ландыш, — вдруг тихо сказала Вика. — Ты

любишь меня, Ландыш?

Так и спросила: «Любишь?» Не «Я нравлюсь тебе?», как было принято спрашивать, а — «Ты любишь меня?». Как взрослая.

Жорка глубоко вздохнул, шевельнул губами и кивнул, глядя строго перед собой: теперь он боялся смотреть в ее сторону.

— Ты долго будешь любить меня?

Ландыс хотел сказать, что всю жизнь, но опять не смог и опять кивнул. А потом добавил:

— Очень.

Голос у него был хриплый, да и губы что-то плохо слушались.

— Спасибо тебе. Поцелуй меня, Ландыш.

Он торопливо перебрался поближе, склонился, прижался губами к ее щеке и замер.

— И обними. Пожалуйста, обними меня покрепче.

Но Жорка не умел ни целоваться, ни обниматься: юность — всегда борьба желания со страхом, и страх был пока непреодолим ни для него, ни для Вики. Он сграбастал ее двумя руками — неуклюже, за плечи, — прижал, осторожно целуя что подвертывалось: то щеку, то случайную прядку, то маленькое ухо. Вика приникла к нему, по-прежнему глядя вдаль, за речку, и так они сидели,

пока издали не закричал Валька:

— Вика, Жорка, где вы там? Кушать подано!

Ели докторский хлеб с колбасой, пекли картошку, что принес предусмотрительный Артем, пили ситро: на каждого досталось по бутылке. Потом пели песни, беспричинно смеялись, Пашка ходил на руках, а Артем и Валька прыгали через костер. И Вика пела и смеялась, а Жорка все время ловил ее взгляд. Она улыбалась ему, но больше к обрыву не позвала.

Вернулись в темноте и поэтому прощались торопливо, уже на вокзале.

— Завтра понедельник, — со значением сказала Искра.

— Я знаю, — кивнула Вика.

Они держали друг друга за руки и, как всегда, не решались поцеловаться.

— Может быть, я не приду на уроки, — помолчав, произнесла Вика. — Но ты не волнуйся, все будет как надо.

— Значит, на собрании ты будешь?

Искре очень не хотелось уточнять, хотелось избежать самого упоминания о завтрашнем собрании, но Вика, как ей показалось, чего-то недоговаривала. Пришлось проявить характер и спросить в лоб.

— Да, да, конечно.

— Вика, ждем! — крикнула Лена. Они с Пашкой стояли поодаль.

Вика еще раз крепко сжала руку Искры и ушла, не оглянувшись. А Искре вдруг очень захотелось, чтобы Вика оглянулась, и она долго смотрела ей вслед.

У дома ее опять ждал Сашка Стамескин.

— Значит, не взяли меня, — с обидой констатировал он. — Лишний я в вашей компании.

— Да, лишний, — сухо подтвердила Искра. — Нас приглашала Вика.

— Ну и что? Лес не Вике принадлежит.

Что-то разладилось у них после того разговора у подъезда. Искре было не по себе от этого разлада, она много думала о нем, но, думая, не могла забыть Сашкиных слов, что устраивал его на завод сам Люберецкий. И в этих словах ей чудилась какая-то трусливая интонация.

— Тебе хотелось поехать с Викой?

— Мне хотелось поехать с тобой! — резко отрубил Сашка.

От этой резкости Искра сразу потеплела: уж очень искренне звучали слова. Тронула за руку:

— Не сердись, пожалуйста, просто я не подумала вовремя.

Сашка сопел уже по инерции. Он добрел на глазах. Искра чувствовала это.

— Завтра увидимся?

— Завтра, Саша, никак. Завтра комсомольское собрание.

— Ну не до вечера же!

— А что с Викой после него будет, представляешь?

— Опять Вика?

— Саша, ну нельзя же так, — вздохнула Искра. — Ты же добрый, а сейчас говоришь плохо.

— Ну, ладно, — недовольно сказал Сашка, помолчав. — Ну я вроде не прав. Но послезавтра-то увидимся?

Чем меньше времени оставалось до понедельника, тем все чаще Искра думала, что будет на собрании. Она пыталась найти наиболее приемлемую форму выступления Вики, перебирала варианты, лежа в постели, и, почти засыпая, нашла: «Я осуждаю его…»

Да, именно так и надо будет подсказать Вике: «Осуждаю». Нет, она не откажется от отца, она, как честный человек, лишь осудит его нечестные дела, и все будет хорошо. Все тогда будет просто замечательно! Искра так обрадовалась, отыскав эту спасительную формулировку, что на радостях

тотчас же уснула.

Вика в школе не появилась. Валентина Андроновна нашла Искру, предложила срочно сходить к Люберецкой и выяснить…

— Не надо, Валентина Андроновна, — сказала Искра. — Вика придет на собрание, она дала слово. А то, что ее нет на уроках, это же понятно: ей надо подготовиться к выступлению.

— Опять капризы, — с неудовольствием покачала головой учительница. — Прямо беда с вами. Скажи Александрову, чтобы написал объявление о собрании.

— Зачем объявление? И так все знают.

— Из райкома придет представитель, поскольку это не простое персональное дело. Не простое, ты понимаешь?

— Я знаю, что оно не простое.

— Вот и скажи Александрову, чтобы написал. И повесил у входа.

Писать объявление Валька отказался наотрез. Впрочем, Искра не настаивала, потому что эта идея ей решительно не нравилась.

— Где объявление? — спросила учительница перед последним уроком.

— Объявления не будет.

— Как не будет? Это что за разговор, Полякова?

— Объявление никто писать не станет, — упрямо повторила Искра. — Мы считаем…

— Они считают! — язвительно перебила Валентина Андроновна. — Нет, слышите, они уже считают! Немедленно пришли Александрова. Слышишь?

— Валентина Андроновна, не надо никакого объявления, — как можно спокойнее сказала Искра. — Не надо, мы просим вас. Не надо.

Учительница молча смотрела на Искру. То ли на нее повлиял спокойный тон, то ли упрямство 9-го «Б», то ли она сама кое-что сообразила, но крика не последовало. Предупредила только:

— Пеняй на себя, Полякова.

Кончился последний урок, класс пошумел, попрятал учебники и остался, поскольку был целиком комсомольским. А чуть позже вошли Валентина Андроновна с молодым представителем райкома.

— Где Люберецкая?

— Еще не пришла, — сказала Зина: ее поднесло не вовремя, как всегда.

— Так я и знала! — чуть ли не с торжеством отметила учительница. — Коваленко, беги сейчас же за ней и тащи силой! Может, начнем пока?

Последний вопрос относился уже к предста-

вителю.

— Придется обождать. — Он сел за пустую парту. Парту Зины и Вики, но Зина уже убежала, а Вика еще не пришла.

— Нет, вы уж, пожалуйста, за стол.

— Мне и здесь удобно, — сказал представитель. — Народ кругом.

Он улыбнулся, но народ сегодня безмолвствовал. Валентина Андроновна и это отметила: она все отмечала. Прошла к столу, привычно окинула взглядом класс.

— У нас есть время поговорить и поразмыслить, и, может быть, то, что Люберецкая оказалась жалким трусом, даже хорошо. По крайней мере, это снимает с нее тот ореол мученичества, который ей усиленно пытаются прилепить плохие друзья и плохие подруги.

Она в упор посмотрела на Искру, и Искра опустила голову. Опустила виновато, потому что четко определила свою вину, доверчивость и неопытность, и ей было сейчас очень стыдно.

— Да, да, плохие друзья и плохие подруги! — с торжеством повторила учительница: пришел ее час. — Хороший друг, верный товарищ всегда говорит правду, как бы горька она ни была. Не жалеть надо — жалость обманчива и слезлива, —

а всегда оставаться принципиальным человеком. Всегда! — Она сделала паузу, привычно ловя шум класса, но шума не было. Класс не высказывал ни одобрения, ни возмущения — класс сегодня упорно безмолвствовал. — С этих принципиальных позиций мы и будем разбирать персональное дело Люберецкой. Но, разбирая ее, мы не можем забыть и кое-какие иные имена. Мы не должны забывать о зверском избиении комсомольца и общественника Юрия Дегтярева. Мы не должны забывать и об увлечении чуждой нам поэзией некоторых чересчур восторженных поклонниц литературы. Мы не должны забывать о разлагающем влиянии вредной, либеральной, то есть буржуазной, демократии. Далекие от педагогики элементы стремятся всеми силами проникнуть в нашу систему воспитания, сбить с толку отдельных легковерных учеников, а то и навязать свою гнилую точку зрения.

Класс загудел, когда Валентина Андроновна этого не ожидала. Он молчал, когда она говорила о Люберецкой, молчал, когда намекнула на Шефера и слегка проехалась по Искре Поляковой. Но при первом же намеке на директора класс возроптал. Он гудел возмущенно и несогласно, не желая слушать, и Валентина Андроновна прибег-

ла к последнему средству:

— Тихо! Тихо, я сказала!

Замолчали. Но замолчали, спрятав несогласие, а не отбросив его. Валентине Андроновне сегодня и этого было достаточно.

— Вопрос о бывшем директоре школы решается сейчас…

— О бывшем? — громко перебил Остапчук.

— Да, о бывшем! — резко повторила Валентина Андроновна. — Ромахин освобожден от этой должности и…

— Минуточку, — смущаясь, вмешался райкомовский представитель. — Зачем же так категорически? Николай Григорьевич пока не освобожден, вопрос пока не решен, и давайте пока воздержимся.

— Возможно, я не права с формальной стороны. Однако я, как честный педагог…

Ей стало неуютно. Она уже оправдывалась, а не вещала, и класс заулыбался. Заулыбался презрительно и непримиримо.

— Прекратите смех! — крикнула Валентина Андроновна, уже не в силах ни воздействовать на класс, ни владеть собой. — Да, я форсирую события, но я свято убеждена в том, что…

Распахнулась дверь, и в класс влетела Зина

Коваленко. Задыхалась — видно, бежала всю дорогу, — затворила за собой дверь, привалилась к ней спиной, широко раскрытыми глазами медленно обвела класс.

— А Люберецкая? — спросила Валентина Андроновна. — Ну, что ты молчишь? Я спрашиваю: где Люберецкая?

— В морге, — тихо сказала Зина, сползла спиной по двери и села на пол.

Глава 8

В дни, что оставались до похорон, никто из их компании в школе не появлялся. Иногда — чаще к большой перемене — забегал Валька, а Ландыс вообще куда-то пропал, не ночевал дома, не показывался у Шеферов. Артем с Пашкой долго искали его по всему городу, нашли, но ни родителям, ни ребятам ничего объяснять не стали. Они почти не разговаривали в эти дни, даже Зина примолкла.

Следствие уложилось в сутки — Вика оставила записку: *«В смерти моей прошу никого не винить. Я поступаю сознательно и добровольно».* Следователь показал эту записку Искре. Искра долго читала ее, смахнула слезы.

— Что она сделала с собой?

— Снотворное, — сказал следователь, вновь подшивая записку в «Дело». — Много было снотворного в доме, а она — одна.

— Ей было… больно?

— Она просто уснула, да поздно спохватились. Тетя ее аккурат в этот день приехала, видит, девочка спит, ну и не стала будить.

— Не стала будить…

Следователь не обратил внимания на вздох. По-

листал бумаги — тощая папочка была, писать-то нечего, — спросил, не глядя:

— Слушай, Искра, ты же с ней все дни вместе — вот тут твои показания. Как же ты не заметила?

— Что надо было заметить?

— Ну, может, обидел ее кто, может, жаловалась, может, что говорила. Припомни.

— Ничего она особенного не говорила, ни на кого не жаловалась и никого не обвиняла.

— Это мы знаем. Я насчет обид. Ну, понимаешь, так, по-девичьи.

— Ничего не было, все спокойно. В Сосновку накануне ездили… — Искра впервые подняла глаза, спросила с трудом: — А хоронить? Когда будут хоронить?

— Это ты у родственников спроси. — Следователь дописал страничку, подал ей. — Прочитай и распишись. Тут. «Дело» я закрываю за отсутствием состава преступления. Чистое самоубийство на нервной почве.

Искра пыталась сосредоточиться, но не понимала, что читает, и подписала, не дочитав. Встала, пробормотав «до свидания», пошла.

— А насчет похорон ты у родственников узнай, — повторил следователь.

— Нет у нее родственников, — машинально

сказала она, думая в тот момент, что во всем виноват Люберецкий и что было бы справедливо, если б он немедленно узнал, как погубил собственную дочь.

— Я же говорю, тетка приехала.

На улице ждали Лена и Зина: их тоже вызывали, но допросили раньше Искры. Они стали рядом, ни о чем не спрашивая.

— Пошли, — сказала Искра, подумав.

— Куда?

— Тетя ее приехала. — Искре было трудно выговорить имя «Вика», и она бессознательно заменяла его местоимениями. — Следователь сказал, что насчет похорон надо у родственников узнать.

Зина тяжело вздохнула. Шли молча, и чем ближе подходили к знакомому дому, тем короче становились шаги. А перед подъездом затоптались, нерешительно переглядываясь.

— Ох, трудно-то как! — еще раз вздохнула Зиночка.

— Надо, — сказала Искра.

— Надо, — эхом повторила Лена. — Это в детстве — «хочу — не хочу», а теперь — «надо или не надо». Кончилось наше детство, Зинаида.

— Кончилось, — грустно покивала Зина.

Они еще раз глянули друг на друга, и первой к дверям пошла Искра. Ей тоже было трудно, тоже не хотелось сюда входить, но она лучше всех была подготовлена к подчинению короткому, как удар, слову «надо».

И опять никто не отозвался на звонок, никто не шевельнулся там, в наглухо зашторенной, дважды опустевшей квартире. Только на этот раз Искра не стала оглядываться в поисках поддержки, а толкнула дверь и вошла. Могильная тишина стояла в квартире. Тускло светилось в полумраке старинное зеркало, и Зина впервые посмотрела в него равнодушно.

— Есть здесь кто-нибудь? — громко спросила Искра.

Никто не отозвался. Девочки переглянулись.

— Нет никого.

— Этого не может быть. Когда уходят, запирают дверь.

— Теперь все может быть…

Искра осторожно заглянула в столовую: там было пусто. Пусто было на кухне и в спальне отца; остались опечатанный кабинет и комната Вики, перед которой Искра замерла в нерешительности.

— Ну чего ты боишься? — вдруг злым шепотом

спросила Лена. — Ну давай я войду.

И отпрянула: на кровати лежала женщина. Лежала на спине, странно вытянув торчащие из-под платья прямые, как палки, ноги. Неподвижные руки ее крепко прижимали к груди фотографию Вики: они хорошо знали эту окантованную фотографию.

— Мертвая… — беззвучно ахнула Зина.

— Дышит, кажется, — неуверенно сказала Лена.

Искра подошла, заглянула в остановившиеся, бессмысленные глаза.

— Послушайте… — Она запоздало вспомнила, что не знает, как зовут тетю Вики. — Товарищ Люберецкая…

— Мертвая, да? — в ужасе шептала сзади Зина. — Мертвая?

— Товарищ Люберецкая, мы подруги Вики.

Чуть дрогнули замершие веки. Искра собрала все мужество, тронула женщину за руку.

— Послушайте, мы подруги Вики, мы учимся в одном…

Она замолчала: «Учимся?» Нет, «учились»: теперь надо говорить в прошлом времени. Все в прошлом, ибо это прошлое прочно вошло в их настоящее.

— Мы учились вместе с первого класса…

Нет, ее не слышали. Не слышали, хотя она говорила громко и четко, заставляя себя все время глядеть в остановившиеся зрачки.

— Ну что? — нетерпеливо спросила Лена.

— Звони в «Скорую».

Пока Лена дозвонилась, пока приехала «Скорая помощь», они пытались своими средствами привести женщину в чувство. Брызгали на нее водой, подносили нашатырный спирт, терли виски. Все было тщетно: женщина по-прежнему не шевелилась, ничего не слышала и лежала, вытянувшись, как доска. Впрочем, врачи «Скорой» тоже ничего не добились. Сделали укол, взвалили на носилки и унесли, так и не сумев вынуть из рук портрет Вики. Хлопнули дверцы машины, взревел и затих вдали мотор, и девочки остались одни в огромной вымершей квартире.

— Как в склепе, — уточнила Зина.

— Что же нам делать? — вздохнула Лена. — Может, в милицию?

— В милицию? — переспросила Искра. — Конечно, можно и в милицию: пусть Вику хоронят, как бродяжку. Пусть хоронят, а мы пойдем в школу. Будем учиться, шить себе новые платья и читать стихи о благородстве.

— Но я же не о том, Искра, не о том, ты меня не поняла!

— Можно и в милицию, — не слушая, жестко продолжала Искра. — Можно…

— Только что мы будем говорить своим детям? — вдруг очень серьезно спросила Зина. — Чему мы научим их тогда?

— Да, что мы будем говорить своим детям? — как эхо, повторила Искра. — Прежде чем воспитывать, надо воспитать себя.

— Я дура, девочки, — с искренним отчаянием призналась Лена. — Я дура и трусиха ужасная. Я сказала так потому, что не знаю, что нам теперь делать.

— Все мы дуры, — вздохнула Зина. — Только умнеть начинаем.

— Наверное, все знает мама Артема. — Искра приняла решение и яростно тряхнула волосами. — Она старенькая, и ей наверняка приходилось… Приходилось хоронить. Зина, найди ключи от квартиры… Мы запрем ее и пойдем к маме Артема и… И я знаю только одно: Вику должны хоронить мы. Мы!

Мама Артема молча выслушала, что произошло в доме Люберецких, горестно покачала седой головой:

— Вы правильно рассудили, девочки, это ваша ноша. Мы говорили с Мироном и знали, что так оно и будет.

Искра не очень поняла, что имела в виду мама Артема, но ей сейчас было не до того. Ее пугало то, что ожидалось впереди: Вика, которую надо было где-то получать, куда-то класть, как-то везти. Она никогда не была на похоронах, не знала, как это делается, и потому думала только об этом.

— Мирон, ты пойдешь с девочками, — объявила мама.

— Завтра в девять, девочки, — сказал отец Артема. — Утром я схожу на завод и отпрошусь.

Эти дни Искра жила, не замечая ни времени, ни окружающих. Не могла ни читать, ни заниматься и, если оказывалась без дела, бесцельно слонялась по комнате.

— Пора брать себя в руки, Искра, — сказала мать, понаблюдав за нею.

— Конечно, — тут же бесцветно согласилась Искра.

Она не оглянулась, и мать, украдкой вздохнув, с неудовольствием покачала головой.

— В жизни будет много трагедий. Я знаю, что первая — всегда самая страшная, но надо готовиться жить, а не тренироваться страдать.

— Может быть, следует тренироваться жить?

— Не язви, я говорю серьезно. И пытаюсь понять тебя.

— Я очень загадочная?

— Искра!

— У меня имя — как выстрел, — горько усмехнулась дочь. — Прости, мама, я больше не перебью.

Но мать уже была сбита неожиданными и так непохожими на Искру выпадами. Сдержалась, судорожным усилием заглушив волну раздражения, дважды прикурила горящую папиросу.

— Самоубийство — признак слабости, это известно тебе? Поэтому человечество исстари не уважает самоубийц.

— Даже Маяковского?

— Прекратить!

Мать по-мужски, с силой ударила кулаком по столу. Пепельница, пачка папирос, спички — все полетело на пол. Искра подняла, принесла веник, убрала пепел и окурки. Мать молчала.

— Прости, мама.

— Сядь. Ты, конечно, пойдешь на похороны, и… и это правильно. Друзьям надо отдавать последний долг. Но я категорически запрещаю устраивать панихиду. Ты слышишь? Категорически!

— Я не очень понимаю, что такое панихида в данном случае. Вика успела умереть комсомолкой, при чем же здесь панихида?

— Искра, мы не хороним самоубийц за оградой кладбища, как это делали в старину. Но мы не поощряем слабовольных и слабонервных. Вот почему я настоятельно прошу… нет, требую, чтобы никаких речей и тому подобного. Или ты даешь мне слово, или я запру тебя в комнате и не пущу на похороны.

— Неужели ты сможешь сделать это, мама? — тихо спросила Искра.

— Да. — Мать твердо посмотрела ей в глаза. — Да, потому что мне не безразлично твое будущее.

— Мое будущее! — горько усмехнулась дочь. — Ах, мама, мама! Не ты ли учила меня, что лучшее будущее — это чистая совесть?

— Совесть перед обществом, а не…

Мать вдруг запнулась. Искра молча смотрела на нее, молча ждала, как закончится фраза, но пауза затягивалась. Мать потушила папиросу, обняла дочь, крепко прижала к груди.

— Ты единственное, что есть у меня, доченька. Единственное. Я плохая мать, но даже плохие матери мечтают о том, чтобы их дети были счастливы. Оставим этот разговор: ты умница, ты все

поняла и… И иди спать. Иди, завтра у тебя очень тяжелый день.

Завтрашнего дня Искра боялась настолько, что долго не могла уснуть. Боялась не самих похорон: отец Артема и Андрей Иванович Коваленко сделали все, что требовалось, только не добились машины. Оформили документы, нашли место на кладбище, договорились обо всем, но машины так и не дали…

— Ладно, — сказал Артем. — Мы на руках ее понесем.

— Далеко, — вздохнула мама.

— Ничего. Нас много.

Нет, Искра боялась не самих похорон: она боялась первого свидания со смертью. Боялась мгновения, когда увидит мертвую Вику, боялась, что не выдержит этого, что упадет или — еще ужаснее — разрыдается. Разрыдается до крика, до воя, потому что этот крик, этот звериный вой глухо ворочался в ней все эти дни.

Утром за нею зашли Зиночка, Лена и Роза.

— Так надо, мама сказала, — строго пояснила Роза. — Вы девчонки еще сопливые, а там женщина нужна.

— Спасибо, Роза, — с облегчением вздохнула Искра. — Вот ты и командуй.

— К ним пошли. Ключи у тебя? Ну, к Люберецким, чего ты на меня смотришь? Надо же белье взять, платьице понаряднее.

— Да, да. — Искра отдала ключи. — Знаешь, а я об этом и не подумала.

— Я же говорю, здесь женщина нужна.

— У нее розовое есть, — сказала Зина. — Очень красивое платьице, я всегда завидовала.

Роза и девочки ушли к Люберецким. Искра побежала в школу: ее тревожило, что народу будет мало, а гроб придется нести от центра до окраины, и у ребят не хватит сил. Она собиралась поговорить с Николаем Григорьевичем, чтобы он разрешил пойти на похороны всему классу, а не только ближайшим друзьям: несмотря на многозначительные слова Валентины Андроновны на том памятном собрании, никто пока директора от должности не освобождал. Уроки к тому времени должны были бы начаться, но во дворе школы народу было — не пробиться. Младшие бегали, орали, визжали, толкали девчонок; старшие стояли непривычно тихо, стихийно собравшись по классам.

— Что тут происходит?

— Школа закрыта! — с восторгом сообщил какой-то пятиклассник.

Искра начала пробиваться вперед, когда дверь распахнулась и на крыльцо вышли директор, Валентина Андроновна и несколько преподавателей. Николай Григорьевич окинул глазами двор, поднял руку, и сразу стало тихо.

— Дети! — крикнул директор. — Сегодня не будет занятий. Младшие могут идти по домам, а старшие… Старшие проводят в последний путь своего товарища. Трагически погибшую ученицу девятого «Б» Викторию Люберецкую.

Не было ни криков, ни гомона: даже самые маленькие расходились чинно и неторопливо. А старшие не тронулись с места, и в тишине ясно слышался захлебывающийся шепот Валентины Андроновны:

— Вы ответите за это. Вы ответите за это.

Старшие классы и по улицам шли молча. Прохожие останавливались, долго глядели вслед странной процессии, впереди которой шли директор, математик Семен Исаакович и несколько учительниц. У рынка Николай Григорьевич остановился:

— Девочки, купите цветов.

Он выгреб из карманов все деньги и отдал их девочкам из 10-го «А». И математик достал деньги, и учительницы защелкали сумочками, и

старшеклассники полезли в карманы, и все это: и директорская зарплата, и рубли преподавателей, и мелочь на завтраки и кино — все ссыпалось в новенькую модную кепку Сергея, которую он почему-то нес в руке.

Во двор морга пустили немногих, и остальные ждали у ворот, запрудив улицу. А во дворе толпился весь 9-й «Б», но Искра сразу увидела Ландыса. У ног Жорки стоял обвязанный мешковиной куст шиповника с яркими ягодами, а сам Ландыс курил одну папиросу за другой, не замечая, что рядом остановился Николай Григорьевич. И все молчали. Молчал 9-й «Б» у входа в морг, молчали старшеклассники на улице, молчали учительницы младших классов. А потом из морга вышел Андрей Иванович Коваленко и негромко сказал:

— Готово. Кто понесет?

— Мешок не забудьте, — сказал Жорка.

За ним шли Артем, Пашка, Валька, кто-то еще из их ребят и даже тихий Вовик Храмов. А Николай Григорьевич принял от Ландыса куст шиповника и снял кепку. И все повернулись лицом к входу и замерли.

И так длилось долго-долго, невыносимо долго, а потом из морга вынесли крышку гроба, а следом на плечах ребят медленно выплыла Вика Любе-

рецкая и, чуть покачиваясь, проплыла по двору к воротам.

— Стойте! — крикнула Роза; она вышла вслед за гробом. — Невесту хороним. Невесту! Зина, возьми два букета. Дайте ей белые цветы.

Зина строго шла впереди, а за нею, за крышкой и гробом, что плыл выше всех, на всю длину улицы растянулась процессия. Странная процессия без оркестра и рыданий, без родных и родственников и почти без взрослых: они совсем потерялись среди своих учеников. Так прошли через город до окраинного кладбища. Ребята менялись на ходу, и лишь Жорка шел до конца, никому не уступив своего места у ног Вики, и возле могилы не мог снять с плеча гроб. К нему подскочил Пашка, помог.

Вика лежала спокойная, только очень белая — белее цветов. Начался мелкий осенний дождь, но все стояли не шевелясь, а Искра смотрела, как постепенно намокают и темнеют цветы, как стекает вода по мертвому лицу, и ей хотелось накрыть Вику, упрятать от дождя, от сырости, которая теперь навеки останется с нею.

— Товарищи! — вдруг очень громко сказал директор. — Парни и девчата, смотрите. Во все глаза смотрите на вашу подругу. Хорошо смотри-

те, чтобы запомнить. На всю жизнь запомнить, что убивает не только пуля, не только клинок или осколок — убивает дурное слово и скверное дело, убивает равнодушие и казенщина, убивает трусость и подлость. Запомните это, ребята, на всю жизнь запомните!..

Он странно всхлипнул и с размаху закрыл лицо ладонями, точно ударил себя по щекам. Учительницы подхватили его, повели в сторону, обняв за судорожно вздрагивающие плечи. И снова стало тихо. Лишь дождь шуршал.

— Зарывать, что ли? — ни к кому не обращаясь, сказал мужик с заступом.

Искра шагнула к гробу, вскинула голову:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди...

Она звонко, на все кладбище кричала последние есенинские строчки. Слезы вместе с дождем текли по лицу, но она ничего не чувствовала. Кроме боли. Ноющей, высасывающей боли в сердце.

Рядом, обнявшись, плакали Лена и Зиночка. Рыдающую в голос Розу с двух сторон поддерживали отец и Петька, забыв о ссоре и торжественных

проклятьях. Громко всхлипывал Вовик Храмов, тихий отличник, над которым беззлобно и постоянно потешался весь класс все восемь лет.

— Не уберег я тебя, девочка, — сдавленно сказал Коваленко. — Не уберег…

— Прощайтесь! — крикнула Роза, ладонями вытирая лицо. — Пора уж. Пора.

Подошла к гробу, встала на колени в жидкую скользкую грязь, погладила Вику по мокрым волосам, прижалась губами к высокому белому лбу.

— Спи.

А потом забили гвоздями крышку, гроб спустили в могилу, насыпали холм, и все стали расходиться. Только Ландыс с Артемом долго еще возились, сажая куст в изголовье. А девочки, Пашка и Валька терпеливо ждали у заваленной мокрыми цветами свежей могилы. И возвращались молча, но Зина уже не выдерживала этого молчания. Оно гнуло ее, пугало тем, что никак не кончается, становясь все нестерпимее и мучительнее.

— Грязные вы какие, — вздохнула она, оглядев Артема и Жорку. — Вас стирать и стирать.

Никто не ответил. Она поняла, что сказала не то, но молчать уже не было сил.

— Все ревели. Даже Вовик Храмов.

— Счастливый, — вдруг глухо произнес Артем. — Нам бы с Жоркой зареветь, куда как хорошо бы было.

И расстались молча, кивнув друг другу. Только Лена спросила:

— До завтра?

— Может быть, — сказала Искра.

Разошлись. И, уже подходя к дому, Искра вдруг вспомнила, что не видела сегодня Сашку Стамескина. Ни у морга, ни на кладбище. Ей стало как-то не по себе, и она начала лихорадочно припоминать всех, все лица, твердя, что Сашка был там, был, не мог не быть. Но лицо его не всплывало ни возле гроба, ни поодаль — не всплывало нигде, и Искра поняла, что его действительно не было там, куда никого не приглашают.

— Тебе тут открытка с почты, — сказала любопытная соседка.

Это оказалось извещением на заказную бандероль. Почерк был знакомым, но чей он, Искра никак не могла вспомнить. Ей почему-то очень хотелось узнать этот легкий аккуратный почерк, очень хотелось, и она, не раздеваясь, прошла к себе за шкаф, напряженно размышляя, кто же мог прислать ей бандероль. Сзади хлопнула дверь, Ис-

кра знала, что вернулась мама, и не оглянулась.

— Встать!

Искра привычно вскочила. Мать с перекошенным, дергающимся лицом лихорадочно рвала ремень, которым была перетянута ее мокрая чоновская кожанка.

— Ты устроила панихиду на кладбище? Ты?..

— Мама…

— Молчать! Я предупреждала! — Ремень расстегнулся, конец его гибко скользнул на пол, пряжку мать крепко сжимала в кулаке.

— Мама, подожди…

Ремень взмыл в воздух. Сейчас он должен был опуститься на ее голову, грудь, лицо — куда попадет. Но Искра не закрылась, не тронулась с места. Только побледнела.

— Я очень люблю тебя, мама, но если ты хоть раз, хоть один раз ударишь меня, я уйду навсегда.

Она сказала это тихо и спокойно, хотя ее всю трясло. Ремень хлестко ударил по полу рядом, Искра дрожащими руками зачем-то поправила старенькое мокрое пальтишко и села к столу. Спиной к матери.

Она смотрела на извещение, но уже ничего не понимала. Слышала, как упал на пол солдатский

ремень, как мать прошла к себе, как тяжело скрипнул стул и чиркнула спичка. Слышала, и ей было до боли жаль мать, но она уже не могла встать и броситься ей на шею. Она уже сделала шаг, сделала вдруг, не готовясь, но, сделав, поняла, что идти нужно до конца. До конца и не оглядываясь, как бы ни были болезненны первые шаги. И поэтому продолжала сидеть, незряче глядя на извещение о бандероли, написанное таким неуловимо знакомым почерком. За спиной опять скрипнул стул, раздались шаги, но Искра не шевельнулась. Мать подошла к шкафу, что-то искала, перекладывала.

— Переоденься. Все переодень — чулки, белье. Ты насквозь мокрая. Пожалуйста.

Искра вздрогнула от незнакомых нежных и усталых интонаций. Ей вдруг захотелось броситься к матери, обнять ее и заплакать. Зареветь, зарыдать отчаянно и беспомощно, как в детстве. Но она сдержала себя и опять не обернулась.

— Хорошо.

Мать постояла, аккуратно положила белье на кровать и тихо ушла на свою половину. И снова чиркнула спичка.

Глава 9

Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль, но смутное беспокойство не оставило ее и утром. Она долго разглядывала извещение, уже догадываясь, но со страхом отгоняла от себя догадку. А она росла помимо ее воли, и Искра решила сначала зайти на почту: она уже не могла ждать.

На аккуратной бандероли адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. По виду это были книги, и Искра, забыв о школе, бегом вернулась домой. Едва влетев в комнату, рванула упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией «Грин».

— Ах, Вика, Вика, — со взрослой горечью прошептала она. — Дорогая ты моя Вика…

Искра долго гладила книги дрожащими руками, боясь раскрыть и обнаружить надписи. Но надписей не было, только в Грине лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено: *«Искре Поляковой. Лично»*. Искра отложила письмо, убрала обертку бандероли, сняла пальтишко, прошла за свой

стол, села, положила перед собой книги и лишь тогда вскрыла конверт.

«Дорогая Искра!

Когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет больно, не будет горько и не будет стыдно. Я бы никому на свете не стала объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю, но тебе я должна объяснить все, потому что ты — мой самый большой и единственный друг. И еще потому, что я однажды солгала тебе, сказав, что не люблю, а на самом деле я тебя очень люблю и всегда любила, еще с третьего класса, и всегда завидовала самую чуточку. Папа сказал, что в тебе строгая честность, когда ты с Зиной пришла к нам в первый раз и мы пили чай и говорили о Маяковском. И я очень обрадовалась, что у меня есть теперь такая подружка, и стала гордиться нашей дружбой и мечтать. Ну да не надо об этом: мечты мои не сбылись.

А пишу я не для того, чтобы объясниться, а для того, чтобы объяснить. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем именно обвиняют папу. А я ему верю и не могу от него отказаться и не откажусь никогда, потому что мой папа честный человек, он сам мне сказал, а раз так, то как же я могу отказаться от него? И я все время об этом

думаю — о вере в отцов — и твердо убеждена, что только так и надо жить. Если мы перестанем верить своим отцам, верить, что они честные люди, то мы очутимся в пустыне. Тогда ничего не будет, понимаешь, *ничего.* Пустота одна. Одна пустота останется, а мы сами перестанем быть людьми. Наверное, я плохо излагаю свои мысли, и ты, наверное, изложила бы их лучше, но я знаю одно: нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем сами себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое, мы выроем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца.

Нет, я не струсила, Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой, а поступаю так потому, что не могу отказаться от своего отца. Не могу и не хочу.

Уже понедельник, скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами и с Жорой Ландысом, который давно был влюблен в меня, я это чувствовала. И поэтому поцеловалась в первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущую тоже не спала, и, наверное,

усну легко. А книжки эти — тебе на память. Надписывать не хочу.

А мы с тобой ни разу не поцеловались. Ни разу! И я сейчас целую тебя за все прошлое и будущее.

Прощай, моя единственная подружка!

Твоя *Вика Люберецкая».*

Последние строчки Искра читала как сквозь мутные стекла: слезы застилали глаза. Но она не плакала и не заплакала, дочитав. Медленно положила письмо на стол, бережно разгладила его и, уронив руки, долго сидела не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. И боль от этой лопнувшей струны была совсем взрослой — тоскливой и безнадежной. Она была старше самой Искры, эта новая ее боль.

А в школе шли обычные уроки, только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно. И еще в 9-м «Б» одна парта оказалась пустой: Искры в школе не было, Зиночка пересела на ее место, к Лене, и пустая парта Вики Люберецкой торчала как надгробие. Преподаватели сразу натыкались на нее взглядом, отводили глаза и Зину не тревожили. И вообще никого не тревожили: никто не вызывал к доске, никто не спрашивал уроков. А потом в коридоре раздались грузные шаги, и в класс вошел Николай Григо-

рьевич. Все встали.

— Простите, Татьяна Ивановна, — сказал он пожилой историчке. — Я попрощаться зашел.

Класс замер. Все сорок три пары глаз в упор смотрели на директора.

— Садитесь.

Сел один Вовик. Он был послушным и сначала исполнял, а потом соображал. Но соображал хорошо.

— Встань! — сквозь зубы процедил Артем.

Вовик послушно вскочил. Николай Григорьевич грустно усмехнулся.

— Вот прощаться зашел. Ухожу. Совсем ухожу. — Он помолчал и улыбнулся. — Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые, трудно! В каждый класс захожу, всем говорю: счастливо, мол, вам жить, хорошо, мол, вам учиться. А вам, девятый «Б», этого сказать мало.

Пожилая историчка вдруг громко всхлипнула. Замахала руками, полезла за платком:

— Извините, Николай Григорьевич. Извините, пожалуйста.

— Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна, были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю: они первый бой выдержали. Они обстрелянные теперь парни и девчата, знают

почем фунт лиха. — Он вскинул голову и громко, как перед эскадроном, крикнул: — Я верю в вас, слышите? Верю, что будете настоящими мужчинами и настоящими женщинами! Верю, потому что вы смена наша, второе поколение нашей великой революции! Помните об этом, ребята. Всегда помните!

Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко, по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. И в полной тишине было слышно, как горестно всхлипывает старая учительница.

Трудный был день, очень трудный. Тянулся, точно цепляясь минутой за минуту, что-то тревожное висело в воздухе, сгущалось, оседая и накапливаясь в каждой душе. И взорвалось на последнем уроке.

— Коваленко, кто тебе разрешил пересесть?

— Я… — Зиночка встала. — Мне никто не разрешал. Я думала…

— Немедленно сядь на свое место!

— Валентина Андроновна, раз Искра все равно не пришла, я…

— Без разговоров, Коваленко. Разговаривать будем, когда вас вызовут.

— Значит, все же будем разговаривать? — громко спросил Артем.

Он спросил для того, чтобы отвлечь Валентину Андроновну. Он вызывал гнев на себя, чтобы Зина успела опомниться.

— Что за реплики, Шефер? На минутку забыл об отметке по поведению?

Артем хотел ответить, но Валька дернул сзади за курточку, и он промолчал. Зина все еще стояла, опустив голову.

— Что такое, Коваленко? Ты стала плохо слышать?

— Валентина Андроновна, пожалуйста, позвольте мне сидеть сегодня с Боковой, — умоляюще сказала Зина. — То парта Вики и…

— Ах, вот в чем дело! Оказывается, вы намереваетесь устроить памятник? Как трогательно! Только вы забыли, что это школа, где нет места хлюпикам и истеричкам. И марш за свою парту. Живо!

Зина резко выпрямилась. Лицо ее стало красным, губы дрожали.

— Не смейте… Не смейте говорить мне «ты». Никогда. Не смейте, слышите?.. — И громко, отчаянно всхлипнув, выбежала из класса.

Артем собирался вскочить, но сзади опять

придержали, и встал не он, а спокойный и миролюбивый Александров.

— А ведь вы не правы, Валентина Андроновна, — рассудительно начал он. — Конечно, Коваленко тоже не защищаю, но и вы тоже.

— Садись, Александров! — Учительница раздраженно махнула рукой и склонилась над журналом.

Валька продолжал стоять.

— Я, кажется, сказала, чтобы ты сел.

— А я еще до этого сказал, что вы не правы, — вздохнул Валька. — У нас Шефер, Остапчук да Ландыс уже усы бреют, а вы — будто мы дети. А мы не дети. Уж, пожалуйста, учтите это, что ли.

— Так. — Учительница захлопнула журнал, заставила себя улыбнуться и с этой напряженной улыбкой обвела глазами класс. — Уяснила. Кто еще считает себя взрослым?

Артем и Жорка встали сразу. А следом — вразнобой, подумав, — поднялся весь класс. Кроме Вовика Храмова, который продолжал дисциплинированно сидеть, поскольку не получил ясной команды. Сорок два ученика серьезно смотрели на учительницу, и, пока она размышляла, как поступить, поднялся и Вовик, и кто-то в задних рядах не выдержал и рассмеялся.

— Понятно, — тихо сказала она. — Садитесь.

Класс дружно сел. Без обычного шушуканья и смешков, без острот и реплик, без как бы невзначай сброшенных на пол книг и добродушных взаимных тумаков. Валентина Андроновна торопливо раскрыла журнал, уставилась в него, не узнавая знакомых фамилий, но ясно слыша, как непривычно тихо сегодня в ее классе. То была дисциплина отрицания, тишина полного отстранения, и она с болью поняла это. Класс решительно обрывал все контакты со своей классной руководительницей, обрывал, не скандаля, не бунтуя, обрывал спокойно и холодно. Она стала чужой, чужой настолько, что ее даже перестали *не любить*. Надо было все продумать, найти верную линию поведения, но шевельнувшийся в ней нормальный человеческий страх перед одиночеством лишал ее такой возможности. Она тупо глядела в журнал, пытаясь собраться с мыслями, обрести былую уверенность и твердость, и не обретала их. Молчание затягивалось, но в классе стояла мертвая тишина. «Мертвая»! Сейчас она не просто поняла — она ощутила это слово во всей его безнадежности.

— Мы сегодня почитаем, — сказала учительница, все еще не решаясь поднять глаз. — Сон Веры

Павловны. Бокова, начинай…те. Можно сидя.

Зина в класс не вернулась, и портфель ей относили всей компанией. Набились в маленькую комнату, сидели на кровати, на стульях, а Пашка — на коврике, подобрав по-турецки ноги. И с торжеством рассказывали о победе над Валендрой — только Жорка с Артемом молчали. Артем потому, что смотрел на Зину, а Жорке не на кого было больше смотреть.

— «Бокова, начинай…те. Можно сидя»! — очень похоже передразнивала Лена.

Зина отревелась в одиночестве и теперь улыбалась. Но улыбалась грустно.

— А Искра так и не пришла? Надо же сходить к ней! Немедленно и всем вместе. И уведем ее гулять.

Но Искру увели гулять еще до их появления. Она весь день то сидела истуканом, то металась по комнате, то перечитывала письмо, снова замирала и снова металась. А потом пришел Сашка.

— Я за тобой, — сказал он как ни в чем не бывало. — Я билеты в кино купил.

— Ты почему не был на кладбище?

— Не отпустили. Вот в кино и проверишь, мы всей бригадой идем. Свидетелей много.

Пока он говорил, Искра смотрела в упор. Но

Сашка глаз не отвел, и, хотя ей очень не понравилось упоминание о свидетелях, ему хотелось поверить. И сразу стало как-то легче.

— Только в кино мы не пойдем.

— Понимаю. Может, погуляем? Дождя нет, погода на «ять».

— А вчера был дождь, — вздохнула Искра. — Цветы стали мокрыми и темнели на глазах.

— Черт дернул его с этой растратой… Да одевайся же ты наконец!

— Саша, а ты точно знаешь, что он украл миллион? — спросила Искра, послушно надевая пальтишко: иногда ей нравилось, когда ею командуют. Правда, редко.

— Точно, — со значением сказал он. — У нас на заводе все знают.

— Как страшно!.. Понимаешь, я у них пирожные ела. И шоколадные конфеты. И все, конечно же, на этот миллион.

— А ты как думала? Ну, кто, кроме воров, может позволить себе каждый день пирожные есть?

— Как страшно! — еще раз вздохнула Искра. — Куда пойдем? В парк?

В парке уже закрыли все аттракционы, забили ларьки, а скамейки были сдвинуты в кучку. Листву здесь не убирали, и она печально шурша-

ла под ногами. Искра подробно рассказывала о похоронах, о Ландысе и шиповнике, о директоре и его речи над гробом Вики. В этом месте Сашка неодобрительно покачал головой.

— Вот это он зря.

— Почему же зря?

— Хороший мужик. Жалко.

— Что жалко? Почему это — жалко?

— Снимут, — сказал Сашка категорически.

— Значит, по-твоему, надо молчать и беречь свое здоровье?

— Надо не лезть на рожон.

— «Не лезть на рожон»! — с горечью повторила Искра. — Сколько тебе лет, Стамескин? Сто?

— Дело не в том, сколько лет, а…

— Нет, в том! — резко крикнула Искра. — Как удобно, когда все вокруг старики! Все будут держаться за свои больные печенки, все будут стремиться лишь бы дожить, а о том, чтобы просто жить, никому в голову не придет. Не-ет, все тихонечко доживать будут, аккуратненько доживать, послушно: как бы чего не вышло. Так это все — не для нас! Мы — самая молодая страна в мире, и не смей становиться стариком никогда!

— Это тебе Люберецкий растолковал? — вдруг тихо спросил Сашка. — Ну, тогда помалкивай,

поняла?

— Ты еще и трус к тому же?

— К чему это — к тому же?

— Плюс ко всему.

Сашка натянуто рассмеялся:

— Это, знаешь, слова все. Вы языками возите, «а» плюс «б», а мы работаем. Руками вот этими самыми богатства стране создаем. Мы…

Искра вдруг повернулась и быстро пошла по аллее к выходу.

— Искра!..

Она не замедлила шага. Кажется, пошла еще быстрее — только косички подпрыгивали. Сашка нагнал, обнял сзади.

— Искорка, я пошутил. Я же дурака валяю, чтобы ты улыбнулась.

Он осторожно коснулся губами шапочки — Искра не шевельнулась, — поцеловал уже смелее, ища губами волосы, затылок, оголенную шею.

— Трус, говоришь, трус? Вот я и обиделся… Ты же все понимаешь, правда? Ты же у меня умная и… большая совсем. А мы все как дети. А мы большие уже, мы уже рабочий класс…

Он скользнул руками по ее пальтишку, коснулся груди, замер, осторожно сжал — Искра стояла как истукан. Он осмелел, уже не просто прижи-

мая руки к ее груди, а поглаживая, трогая.

— Вот и хорошо. Вот и правильно. Ты умная, ты…

В голове Искры гулко стучали кувалды, часто и глухо билось сердце. Но она собрала силы и сказала спокойно:

— Совсем как тогда, под лестницей. Только бежать мне теперь не к кому.

Неторопливо расцепила его руки, пошла не оглядываясь. И заплакала, лишь выйдя за ворота. Плакала от обиды и разочарования, плакала от боли, что столько дней носила в душе, плакала от одиночества, которое сознательно и бесповоротно избрала сама для себя, и не сумела справиться со слезами до самого подъезда. По привычке остановилась перед дверью, старательно вытерла лицо, попыталась обрести спокойствие или хотя бы изобразить улыбку, но ни спокойствие, ни улыбка не получились. Искра вздохнула и вошла в комнату.

Мама курила у стола, как всегда что-то ожесточенно подчеркивала в зачитанном томе Ленина, делала многочисленные закладки и выписывала целые абзацы. Искра тихо разделась, прошла в свой угол. Села за стол, раскрыла Есенина, но даже Есенин плыл сейчас перед ее глазами. А

вскоре она почувствовала, что сзади стоит мама. Повернулась вся, вместе со стулом.

Они долго смотрели друг другу в глаза. Глаза были одинаковыми. И взгляд их теперь тоже был одинаковым. Мама присела на кровать, сунула сложенные ладони между колен.

— Надо ходить в школу, Искра. Надо заниматься делом, иначе ты без толку вымотаешь себя.

— Надо. Завтра пойду.

Мать грустно покивала. Потом сказала:

— К горю трудно привыкнуть, я знаю. Нужно научиться расходоваться, чтобы хватило на всю жизнь.

— Значит, горя будет много?

— Если останешься такой, как сейчас, — а я убеждена, что останешься, — горя будет достаточно. Есть натуры, которые впитывают горе обильнее, чем радость, а ты из их числа. Надо думать о будущем.

— О будущем, — вздохнула дочь. — Какое оно, это будущее, мама?

На другой день Искра пошла в школу. Заканчивалась первая четверть — длинная и тягостная, будто четверть века. Проставляли оценки, часто вызывали к доске, проверяли контрольные и сочинения. И все вроде бы шло как обычно, только

не было в школе директора Николая Григорьевича Ромахина, а Валентина Андроновна стала официально-холодной, подчеркнуто говорила всем «вы» и уж очень скупилась на «отлично». Даже Искре не без удовольствия закатила «посредственно».

— Если хотите, можете ответить еще раз.

— Не хочу, — сказала Искра, хотя до сей поры ни разу не получала таких оценок.

Через несколько дней после этого разговора вернулся Николай Григорьевич. Занял привычный кабинет, но в кабинете том было теперь тихо. Спевки кончились, и директор унес личный баян.

С этим баяном его встретил на улице Валька. Молча отобрал баян, пошел рядом.

— Значит, вернули вас, Николай Григорьевич?

— Вернули, — угрюмо ответил директор. — Сперва освободили, а потом вызвали и вернули.

Он и сам не знал, почему его оставили. Не знал и не узнал никогда, что тихий Андрей Иванович Коваленко неделю ходил из учреждения в учреждение, из кабинета в кабинет, терпеливо ожидая приемов, высиживая в очередях и всюду доказывая одно:

— Ромахина увольнять нельзя. Нельзя, това-

рищи! Если и вы откажете, я дальше пойду. Я в Москву, в Наркомпрос, я до ЦК дойду.

В каком-то из кабинетов поняли, вызвали Ромахина, расспросили, предупредили и вернули на старую должность. Николай Григорьевич вновь принял школу, но спевок больше не устраивал. И Валька отнес домой его потрепанный баян.

А парту Вики Артем и Ландыс передвинули в дальний угол класса, к стене, и теперь за ней никто не сидел. Ходили на могилу, посадили цветы, обложили дерном холмик. Сашка Стамескин, никому ничего не сказав, привез ограду, сваренную на заводе, а Жорка выкрасил эту ограду в самую веселую голубую краску, какую только смог разыскать.

Потом пришли праздники. Седьмого ноября ходили на демонстрацию. Весь город был на улицах, гремели оркестры и песни, и они тоже пели до восторга и хрипоты:

Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца – пламенный мотор!..

— А Вики больше нет, — сказала Зина, когда они отгорланили эту песню. — Совсем нет. А мы есть. Ходим, смеемся, поем. «А вместо сердца — пламенный мотор!..» Может, у нас и вправду

вместо сердца — пламенный мотор?

Проходили мимо трибун, громко и радостно кричали «ура», размахивая плакатами, лозунгами, портретами вождей. А потом колонны перемешались, демонстранты стали расходиться, песни замолкать, и только их школьная колонна продолжала петь и идти дружно, хотя и не в ногу. Вскоре к ним пристали отбившиеся от своих Петр и Роза, а когда отошли от гремящей криками и маршами площади, Искра сказала:

— Ребята, а ведь Николая Григорьевича не было с нами.

— Зайдем? — предложил Валька. — Он недалеко живет, я ему баян относил.

Пошли все. Дверь открыла невеселая пожилая женщина. Молча смотрела строгими глазами.

— Мы к Николаю Григорьевичу, — сказала Искра. — Мы хотим поздравить его с праздником.

— Проходите, если пришли.

Не было в этом «проходите» приглашения, но они все же разделись. Ребята пригладили вихры, девочки оправили платья, Искра придирчиво оглядела каждого, и они вошли в небольшую комнату, скупо обставленную случайной мебелью. В углу на тумбочке стоял знакомый баян, а за столом сидел Николай Григорьевич в при-

вычной гимнастерке, стянутой кавалерийской портупеей.

— Вы зачем сюда?

Они замялись, усиленно изучая крашеный пол и искоса поглядывая на Искру. Женщина молча остановилась в дверях.

— Мы пришли поздравить вас, Николай Григорьевич, с великим праздником Октября.

— А-а. Спасибо. Садитесь, коли пришли. Маша, поставь самовар.

Женщина вышла. Они кое-как расселись на стульях и старом клеенчатом диване.

— Ну, как демонстрация?

— Хорошо.

— Весело?

— Весело.

Николай Григорьевич спрашивал, не отрывая глаз от скатерти, и отвечала ему одна Искра. А он упорно смотрел в стол.

— Это хорошо. Хорошо. И правильно.

— Песни пели, — со значением сказала Искра.

— Песни — это хорошо. Песня дух поднимает.

Замолчал. И все молчали, и всем было неуютно и отчего-то стыдно.

— А почему вы не были с нами? — спросила Зина, не выдержав молчания.

— Я? Так. Занемог немножко.

— А врач у вас был? — забеспокоилась Лена. — И почему вы не лежите в постели, если вы больны?

Директор упорно молчал, глядя в стол.

— Вы не больны, — тихо сказала Искра. — Вы… Почему вы больше не поете? Почему вы баян домой унесли?

— Из партии меня исключили, ребятки, — глухо, дрогнувшим голосом произнес Николай Григорьевич. — Из партии моей, родной партии…

Челюсть у него запрыгала, а правая рука судорожно тискала грудь, комкая гимнастерку. Ребята растерянно молчали.

— Неправда! — резко сказала от дверей пожилая женщина. — Тебя исключила первичная организация, а я была в горкоме у товарища Поляковой, и она обещала разобраться. Я же говорила тебе, говорила! И не смей распускаться, не смей, слышишь?

Но Николай Григорьевич ничего не слышал. Он глядел в одну точку напряженным взглядом, рукой по-прежнему комкая гимнастерку. Искра перегнулась через стол, отвела эту руку, сжала.

— Николай Григорьевич, посмотрите на меня.

Посмотрите.

Он поднял голову. Глаза были полны слез.

— «Мы — красные кавалеристы, и про нас, — вдруг тихо запела Искра, — былинники речистые…»

— «О том, как в ночи ясные, о том, как в дни ненастные…»

Песню подхватили все дружно, в полный голос. Роза вскочила, отмахивая такт рукой и пристукивая каблучком. И все почему-то встали, словно это был гимн. А Петр взял с тумбочки баян и поставил его на стол перед Николаем Григорьевичем.

— «Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!»

Искра пела громко и яростно, высоко подняв голову и не смахивая слез, что бежали по щекам. И все пели громко и яростно, и, подчиняясь этому яростному напору, встал Николай Григорьевич Ромахин, бывший командир эскадрона Первой Конной. И взял баян.

— «И вся-то наша жизнь есть борьба!..»

Много они тогда перепели песен под аккомпанемент старого баяна. Пили чай и засиделись допоздна, и матери дома их ругали извергами. А они были горды и довольны собой, как никогда, и долго потом вспоминали этот праздничный день.

Но праздники кончились, и опять потянулась нормальная школьная жизнь. Все входило в свою колею, и снова Артем мыкался у доски, снова что-то ненужное изобретал Валька, снова шептался со всем классом Жорка. Пашка до седьмого пота вертелся на турнике, а тихий Вовик читал на переменах затрепанные романы. Снова Лена гуляла с Ментиком и Пашкой, Зина, остепенившись, встречалась с Артемом и очень подружилась с Розой, и только Искре некуда было ходить по вечерам. Она читала дома, и напрасно Сашка писал отчаянные письма.

Все входило в свою колею. Николая Григорьевича из партии не исключили, но улыбаться он так и не начал и из кабинета выходил редко. А вот Валентина Андроновна, наоборот, стала изредка улыбаться классу, и кое-кто из класса — менее заметные, правда, — стали улыбаться ей, и та вежливость, которую с таким единодушием потребовал однажды 9-й «Б», постепенно становилась вежливостью формальной. Валентина Андроновна все чаще оговаривалась, сбивалась на привычное «ты», а если с некоторыми и не оговаривалась, то обозначала свое особое отношение особыми улыбками. Все входило в свою колею и должно было в конце концов войти. Все

было естественно и нормально.

Только в конце ноября в 9-й «Б» ворвался красавец Юра из 10-го «А». Ворвался, оставив распахнутой дверь и не обратив внимания на доброго Семена Исааковича, обвел расширенными глазами изумленный класс и отчаянно выкрикнул:

— Леонид Сергеевич Люберецкий вернулся домой!..

Все молчали. Искра медленно начала вставать, когда закричал Жорка Ландыс. Он кричал дико, громко, на одной ноте и изо всех сил бил кулаками по парте. Артем хватал его за руки, за плечи, а Жорка вырывался и кричал. Все повскакали с мест, о чем-то кричали, расспрашивали Юрку, плакали, и никто уже не обращал внимания на старого учителя. А математик сидел за столом, качал лысой головой, вытирал слезы большим носовым платком и горестно шептал:

— Боже мой! Боже мой! Боже мой!

Ландыса кое-как успокоили. Он сидел за партой, стуча зубами, и машинально растирал разбитые в кровь кулаки. Лена что-то говорила ему, а Пашка стоял рядом, держа обеими руками железную кружку с водой. С ручки свисала цепочка: Пашка оторвал кружку от бачка в коридоре.

— Тихо! — вдруг крикнул Артем, хотя шум уже стих, только плакали да шептались. — Пошли. Мы должны быть настоящими. Настоящими, слышите?

— Куда? — шепотом спросила Зина, прекрасно понимая, о чем сказал Артем: просто ей стало очень страшно.

— К нему. К Леониду Сергеевичу Люберецкому.

Сколько раз они приближались к этому дому с замершими навеки шторами! Сколько раз им приходилось собирать всю свою волю для последнего шага, сколько раз они беспомощно топтались перед дверью, бессознательно уступая первенство Искре! Но сегодня первым шел Артем, а перед дверью остановилась Искра.

— Стойте! Нам нельзя идти. Мы даже не знаем, где тетя Вики. Что мы скажем, если он спросит?

— Вот это и скажем, — обронил Артем и нажал кнопку звонка.

— Ну, Артем, ты железный, — вздохнул Пашка.

Никто не открыл дверь, никто не отозвался, и Артем не стал еще раз звонить. Вошел в дом, и все пошли следом. Шторы были опущены, и поэтому они не сразу заметили Люберецкого. Он сидел в столовой, ссутулившись, положив перед собой крепко сцепленные руки. Когда они вразнобой

поздоровались с ним, он поднял голову, обвел их напряженным, припоминающим взглядом, задержался на Искре, кивнул. И опять уставился мимо них, в пространство.

— Мы друзья Вики, — тихо сказала Искра, с трудом выговорив имя.

Он коротко кивнул, но, кажется, не расслышал или не понял. Искра с отчаянием посмотрела на ребят.

— Мы хотели рассказать. Мы до последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.

Нет, он их не слышал. Он слушал себя, родные голоса, звучащие в нем, свои воспоминания, какие-то отрывочные фразы, отдельные слова, которые теперь помнил только он один. И ребята совсем не мешали ему: наоборот, он испытывал теплое чувство оттого, что они не забыли его Вику, что пришли, что готовы что-то рассказать. Но сегодня ему не нужны были их рассказы: ему пока хватало той Вики, которую он знал.

А ребятам стало не по себе, словно они проявили какую-то чудовищную бестактность и теперь хозяин лишь из вежливости терпит их присутствие. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно, и они только растерянно перегля-

дывались.

— Вы были на кладбище? — спросил Артем.

Он спросил резко, и Искру покоробило от его несдержанности. Но именно этот тон вывел Леонида Сергеевича из прострации.

— Да. Ограда голубая. Цветы. Куст хороший. Птицы склюют.

— Склюют, — подтвердил Жорка и снова принялся тереть свои распухшие кулаки.

Голос у Люберецкого был сдавленным и бесцветным, говорил он отрывисто и, сказав, вновь тяжело замолчал.

— Уходить надо, — шепнул Валька. — Мешаем.

Артем зло глянул на него, глубоко вздохнул и решительно шагнул к Люберецкому. Положил руку ему на плечо, встряхнул:

— Послушайте, это… нельзя так! Нельзя! Вика вас другим любила. И это… мы тоже. Нельзя так.

— Что? — Люберецкий медленно огляделся. — Да, все не так. Все не так.

— Не так?

Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Шторы разъехались, свет рванулся в комнату, а Артем оглянулся на Люберецкого.

— Идите сюда, Леонид Сергеевич.

Люберецкий не шевельнулся.

— Идите, говорю! Пашка, помоги ему.

Но Люберецкий встал сам. Шаркая, прошел к окну.

— Смотрите. Все бы здесь и не уместились.

За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9-й «Б». Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев, и только Вовик Храмов топтался на месте: видно, ноги мерзли. У него всегда были дырявые ботинки, у этого тихого отличника. А чуть в стороне, подле занесенной снегом скамьи, стояли два представителя 10-го «А», и Серега почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.

— Милые вы мои, — дрогнувшим, совсем иным голосом сказал Люберецкий. — Милые мои ребятки… — Он глянул на Искру остро, как прежде. — Они же замерзли! Позовите их, Искра.

Искра радостно бросилась к дверям.

— Я чай поставлю! — крикнула Зина. — Можно?

— Поставьте, Зиночка.

Он, не отрываясь, смотрел, как тщательно отряхивают друг друга ребята, как один за другим входят в квартиру. В глазах его были слезы.

До чая Искра и Ландыс увели Леонида Сергеевича в комнату Вики, о чем-то долго говорили с ним.

А Лена собрала все ребячьи деньги в кепку-шестиклинку, и они с Пашкой сбегали в кондитерскую. И когда Зина позвала всех к чаю, на столе стояли знакомые пирожные: Лена старательно резала каждое на три части.

За чаем вспоминали о Вике. Вспоминали живую — с первого класса — и говорили, перебивая друг друга, дополняя и досказывая. Люберецкий молчал, но слушал жадно, ловя каждое слово. И вздохнул:

— Какой тяжелый год!

Все примолкли. А Зиночка сказала, как всегда, невпопад:

— Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым, вот увидите!

Следующим был *тысяча девятьсот сорок первый*.

Эпилог

Через сорок лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Внизу со свистом храпел Валька Александров, а будить его не имело смысла: Валька горел в танке и спалил не только уши, но и собственную глотку. Впрочем, профессия у него молчаливая: вот уж сколько лет часы ремонтирует. Эх, Эдисон, Эдисон! Это мы его в школе Эдисоном звали, и Искра считала, что он станет великим изобретателем…

Искра. Искра Полякова, атаман в юбке, староста 9-го «Б», героиня подполья, живая легенда, с которой я учился, спорил, ходил на каток, которую преданно ждал у подъезда, когда с горизонта исчез Сашка Стамескин, первая любовь Искры. И последняя: у Искры не могло быть ничего второго. Ни любви, ни школьных отметок, ни места в жизни. Только погибнуть ей выпало не первой из нашего класса: первым погиб Артем.

Тут я не выдержал Валькиных завываний и сполз на пол. В темноте натянул брюки и выскользнул в грохочущий коридор купейного вагона. Было что-то около четырех, но у окна маячила грузная фигура.

— Не спишь, литраб?

Пашка Остапчук. В школе за ним остроумия не водилось: он умел ловко вертеть на турнике «солнце» да преданно любить Леночку Бокову. Война отняла у Пашки ногу и спорт, и к Леночке он не вернулся, хотя она ждала его до Победы, а Пашку ранило на Днепре.

— Свидание с юностью через сорок лет: и хочется, и колется, и поезд наш ушел. Потому и не спится, верно, литраб? А тут еще Эдисон рычит, как самосвал.

Пашку лихорадило от предстоящей встречи с городом, школой и Леной. Поскрипывая протезом, он метался по коридору и говорил. Про Днепр и 9-й «Б», про Лену, к которой так и не нашел мужества вернуться инвалидом, и про санитарку из госпиталя, что пригрела, утешила, а потом и детей ему нарожала. Он словно уговаривал себя, что верная жена его нисколько не хуже той юной, мечтавшей о сцене девочки, которая назло Пашке вышла в сорок шестом замуж, а через пять лет овдовела. Как раз в тот год мы приехали на открытие мемориальной доски в школе: так уж получилось, что с войны мы не вернулись в родной город. Я жил в Москве, Остапчук с Александровым — по иным местам, и из всех парней

нашего класса в родном городе остался только Сашка Стамескин. Виноват, Александр Авдеевич Стамескин, директор крупнейшего авиазавода, лауреат, депутат и прочая и прочая. Павел болтал про фронт вперемежку со спортом, Александров хрипел, свистел и рычал, а я вспоминал город, знакомых, наш класс, и нашу школу, и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была Искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по личной просьбе директора приехали на открытие, он сам зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.

— Девятый «Б», — сказал он, и голос его сорвался, изменил ему, и дальше Николай Григорьевич кричал фамилии, все усиливая и усиливая крик. — Герой Советского Союза летчик-истребитель Георгий Ландыс. Жора Ландыс. Марки собирал. Артем… Артем Шефер. Из школы его выгнали за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал! Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего!.. Владимир Храмов. Вовик, отличник наш, тихий самый. Его даже в переменки и не видно было и не слышно. На Кубани лег возле сорокапятки

своей. Ни шагу назад не сделал. Ни шагу!.. Искра По… По…

Он так и не смог выговорить фамилии своей связной, губы запрыгали и побелели. Женщины бросились к нему, стали усаживать, поить водой. Он сесть отказался, а воду выпил, и мы слышали, как стучали о стекло его зубы. Потом он вытер слезы и тихо сказал:

— Жалко что? Жалко, команды у нас нет, чтоб на коленях слушали.

Мы без всякой команды стали на колени. Весь зал: бывшие ученики, сегодняшние школьники и учителя, инвалиды, вдовы, сироты, одинокие — все как один. И Николай Григорьевич начал почти шепотом:

— Искра, Искра Полякова, Искорка наша. А как маму ее звали, не знаю, а только гестаповцы ее на два часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком — Искра Полякова и товарищ Полякова, мать и дочь. — Он помолчал, горестно качая головой, и вдруг, шагнув, поднял кулак и крикнул на весь зал: — А подполье жило! Жило и било гадов! И мстило за Искорку и маму ее, жестоко мстило!

Его било и трясло, и не знаю, что случилось бы тогда с нашим Ромахиным, если бы не Зина. И

постарев она не повзрослела: шагнула вдруг к нему, взяв за руки своих взрослых сыновей:

— А это — мои ребята, Николай Григорьевич. Старший — Артем, а младший — Жорка. Правда, похожи на тех, на наших?

Бывший директор обнял ее парней, склоняя к себе их головы, и прошептал:

— Как две капли воды…

Через полгода, в начале пятьдесят второго, Николай Григорьевич умер. Я был в командировке, на похороны не попал и больше не ездил на школьные сборы. Павел тоже, а Валентин ездил. Нечасто, правда, раз в два-три года. Встречался с теми, кто уцелел на фронте или выжил в оккупации, ходил в гости, гонял чаи с доживающими свой невеселый век мамами и стареющими одноклассницами, смотрел бесконечные альбомы, слушал рассказы и всем чинил часы. И самое точное время в городе было у бывших учеников когда-то горестно знаменитого 9-го «Б».

Самое точное.

1984

Неопалимая купина

Детей у нее не было.

Были три ранения (два легких и одно тяжелое), были контузия и два инсульта. Были три ордена — Отечественной войны I степени и два Красной Звезды. Были медали — две «За отвагу» и одна «За боевые заслуги». Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире, хорошие, прямо как родные, соседи и бездомная студентка Тонечка.

А вот детей у Антонины Федоровны Иваньшиной никогда не было. Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры и только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили, только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу.

— Вырезайте.

— Лейтенант Иваньшина, подумайте…

— Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.

— Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.

— Рожать — это не долг, это физиология. Долг — умирать, когда не хочется.

Да оно бы, может, и это обошлось, если бы не то болото в апреле. Сутки пролежала в нем: не подстрелили, не оглушили даже, а через три дня — боли, температура, госпиталь. Воспаления, осложнения да вещмешок лекарств.

— Не все еще потеряно, Иваньшина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.

— Поживем — увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать.

А через полгода — контузия. Сухим закаменелым комом — точно в поясницу, в позвонок, и будто переломили ее тогда: до сей поры боль та помнится. Три часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.

— Вперед, мужики, вперед, родимые. Нам высотку приказано взять, и я ее возьму. Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули полезет?

Это всегда действовало, и все об этом знали. Комбат как-то отказался ее роту старшему лейтенанту из пополнения передать, и командир

полка поддержал его:

— Лучше Иваньшиной командира роты у меня в полку нет.

Но все кончается, даже война, а миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе сорок пятого командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иваньшина прибыла в распоряжение военкома родного города. Через город тоже прошла война, почти все в нем сгорело или было взорвано, родные и знакомые исчезли бесследно и навсегда, и старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат. Получила по вещевому довольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром прятала в шкафу с несекретной перепиской, вечером расстилала на военкомовском (самом большом) столе — и до утра на одном боку. Даже сны не снились: отсыпалась Иваньшина за всю бессонную войну.

— Антонина, чего учиться не идешь, чего вола крутишь?

Военком был грузен, сед и сипат, с простреленными еще на Гражданской легкими («Это у вас они — легкие, — шутил, бывало, — а у меня… как

свинцовый сурик»). На фронт его не пустили, и поэтому он хмуро опекал фронтовиков вообще и Антонину в частности.

— Демобилизуют не сегодня, так завтра, и куда ты тогда?

— Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится.

Вздыхал военком, спорить сил не было. Убили его силу: старшего сына — в сорок втором на Дону, младшего — в сорок пятом на Одере. А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда:

— Кто? Стреляю!

— Свои. Не пальни с перепугу.

Щелкнули выключателем: у порога стоял лейтенант-связист с тощим солдатским вещмешком. С плащ-палатки на каменный пол весело капала вода.

— Крючок на дверях послабее твоего храпа, старший лейтенант.

Антонина сидела на застланном одеялом столе. На ночь она снимала сапоги да китель, привычно носила офицерские нижние рубахи и сразу сооб-

разила, что лейтенант принял ее за парня.

— Лейтенант Валентин Вельяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоку упасть негде, на улице — дождь, так что разреши с тобой переночевать.

Сказав это, Валентин снял плащ-палатку, повесил ее у входа, положил на соседний стол вещмешок, поставил в ряд стулья.

— У тебя шинель найдется, старшой?

— В шкафу, — помедлив, недовольно сказала она и обиженно добавила вдруг: — Только я не храплю.

— Я иносказательно. — Лейтенант достал шинель, хотел постелить на стулья, но как-то странно взвесил на руке, ошалело глянул на Антонину и спросил неуверенно: — Ты… то есть вы…

— Свет погаси! — резко перебила Иваньшина и упала лицом в подушку, чтобы заглушить хохот.

Так они познакомились. Лейтенанту Вельяминову было абсолютно все равно, где служить, поскольку и у него никого из родни не осталось, но выбрал он именно этот город, потому что отсюда родом был его фронтовой друг, обидно погибший на закате войны.

— Проживал по Вокзальной улице, двадцать семь.

— Иваньшина покажет, — сказал военком. — А жить будешь в офицерском резерве, нечего нам крючки ломать.

По дороге на Вокзальную улицу возникло затрудненное молчание. Им еще непросто было вдвоем, и Валентин начал длинно рассказывать о матери — преподавателе литературы и об отце — директоре подмосковной школы, ушедшем в ополчение вместе со своими десятиклассниками.

— А ты не пошел, — уточнила Иваньшина.

— Не взяли. Я двадцать шестого года, и меня отправили в эвакуацию, а мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.

— В сорок первом не возвращались.

— Да, вы правильно говорите.

— Вы? — Антонина усмехнулась. — А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то…

— Какое?

— Девичье, вот какое. Валя, Валечка. У нас в полку была одна такая Валечка. Начштаба с собой таскал, пока я члену Военного совета не доложила.

Никакой Валечки в полку не существовало, начштаба никого с собой не таскал, и ничего командир роты Антонина Иваньшина члену

Военного совета не докладывала, поскольку и видела-то его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо-спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.

— Да, да, чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено, рапортом. И Валечку эту — фьюить! — коленом под зад!

— Как? Как же вы могли? — Вельяминов даже остановился. — А если они любили? Если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь…

— А пусть нас не пачкает! — Антонина очень боялась рассмеяться и поэтому орала чушь, но орала зло и неожиданно. — Мы не за тем на фронт шли, а из-за таких, как эта, твоя…

— Моя? — тихо удивился он. — Ну почему же моя? Где логика?

Они стояли посреди грязного пустыря, заваленного осколками кирпича, битым стеклом и ржавым железом. Антонина еще сверлила лейтенанта хитрыми глазами, но молчала, сообразив, что хватила через край.

— Терпеть не могу интеллигентов, — вдруг объявила она, решив кусать его с другой стороны.

— За что? — Он глядел на нее без всякого гнева, а Иваньшиной позарез необходимо было, чтобы

лейтенант рассердился, вышел из себя, может быть, даже выругался. — За то, что они вас учат, лечат, развлекают?

— А не надо, не надо меня ни учить, ни лечить. Не надо, я сама как-нибудь. Уж как-нибудь.

— Что сама? Что сама? Что сама, что как-нибудь? Дура ты, оказывается.

И пошел, спотыкаясь, прямо в развалины. Антонина, кусая от смеха губы, обождала, пока он выдохнется на скользких кирпичах, крикнула:

— Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошел. Ты ко мне сперва вернись.

Он постоял, всей спиной демонстрируя огромное разочарование. Потом вернулся, сказал с горечью:

— И откуда ты такая взялась, интересно? Реликт эпохи военного коммунизма.

— Тебе Вокзальную? Ну так мы на ней стоим. Красивый пейзаж? А ты говоришь — учить, лечить да развлекать.

Так они встретились, и так они подружились. Вместе работали, но оба считали, что видят друг друга только по вечерам, когда кончалась служба, когда оставались одни и можно было вести неторопливые беседы, которые неизменно заканчивались спорами и ссорами. Стояла глухая

припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согревать надо его; голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами естественно и с удовольствием, но была убеждена, что главное — это их разговоры.

— Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. И не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.

— Почему это? Сколько на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь.

— Концерт — знак культуры, а я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек и без которой он превращается в животное. Культура поведения, культура знаний, быта, общения, то есть культура каждого дня — вот чего лишает нас война.

— Да что мы, на войне некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся.

— Я же не о том, Тоня.

— Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая.

Ворчливо кормила лейтенанта Вельяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем, даже ворчать на него нравилось.

— Если все учеными станут, что будет-то?

— Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, вежливые, воспитанные. Вот почему нам учиться необходимо, Тоня. И самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.

Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз:

— Комната тебе нужна, Иваньшина.

— Зачем…

Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела. А майор вздохнул, потрепал ее по коротко стриженной голове и прекратил этот разговор. И ей было радостно, что многое он угадал, и стыдно, что не хватило у нее офицерской выдержки не покраснеть при этом.

Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все. К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать,

восстановить, и бывший командир роты старший лейтенант Иваньшина с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы вскоре получила комнату. И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вельяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать: обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось: ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил…

— Милый ты мой старший лейтенант Тонечка, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня. Ждет, Тонечка!..

И еще раз все в ней оборвалось. На этот раз с болью, от которой орать хотелось. Но удержалась, ордер спрятала, руку пожала, даже улыбку кое-как изобразила:

— Вот и хорошо. Поезжай. Обязательно. Я ведь тоже. Попрощаться зашла. Уезжаю. К мужу. Да. Муж у меня.

И вышла. Неделю из собственной, военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. Въезжали соседи, праздновали новоселье, к ней стучали, а она молча лежала на шинели, брошенной в углу. Семь дней лежала, ничего не

ела, только пила, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердой, как камень, смерзшейся глины. Вышла, когда зарубцевалось и это ранение, когда выработала, продумала, внушила себе железное правило: любви для нее нет и никогда не будет. Все, точка на этом вопросе. А вскоре и ей пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов Советской Армии.

— Что думаешь делать, Антонина Федоровна, чем заняться?

— Учиться хочу. На заочном или вечернем.

— Трудно.

— Не труднее, чем воевать. — Антонина говорила тускло, незаинтересованно, но упрямо. — Справимся.

— Не скажи, — вздохнул секретарь горкома, которому она пришла представляться после демобилизации. — В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать…

— В школу пойду, уже договорилась. Старшей пионервожатой, а заодно и военруком.

— Военруком, — усмехнулся секретарь. — Какой тебе военрук, Иваньшина? Кончилась война, так ее и разэтак.

— Нет, — сказала. — Знаете, когда она кон-

чится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот тогда она кончится, наша Великая Отечественная.

Учение давалось с большим трудом, и не поначалу, а вообще всю жизнь знания доставались ей с бою, ценой огромных усилий и огромной усидчивости, и Антонина всегда помнила о чрезвычайно высокой цене собственных знаний. И в этом заключалось великое ее счастье, потому что и в мирной жизни старший лейтенант Иваньшина продолжала, стиснув зубы, упорно карабкаться наверх, а не весело и легкомысленно скользить с уже захваченных высот. Это подкрепляло характер, а не ослабляло его, прибавляло уверенности если не в своих способностях, то в своих силах, которые куда важнее способностей, потому что никогда не подводят. Проверено, и точка.

— Тонь, пошли вечером на танцы?

— Нет, Юра, нельзя мне. Недопоняла я одного момента, подзубрить требуется.

— Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в пять минут разъясню!

— Мне, Юра, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.

Два раза в институте парни делали предло-

жения, и дважды она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить, а на самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вельяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье. И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник. Об этом она никогда теперь не забывала и добровольно ставила крест на собственной судьбе.

Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо была у нее своя комната в двухкомнатной квартире — небывалое счастье по тем временам! И еще она всегда помнила об избранной профессии и встречалась только с теми, кто никак не мог похвастаться в учительской. Этот принцип Тоня соблюдала жестко и неукоснительно, и поэтому и в институте и в школе ее считали недотрогой, сухарем и чуть ли не старой девой. Впрочем, сухарем ее считали даже те, кому она отдавала всю жажду усталого тела, потому что Антонина, соблюдая отданный себе же приказ «любви нет», более всего боялась еще раз влюбиться и нарочно командовала:

— Говорить шепотом, соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно?

Подобного руководства не выносят никакие мужики, ну а те, которые сами командовали, те, которые чудом дожили до Победы, померев до нее и за нее бессчетное число раз, те выдерживали от силы две-три ночки, благо женщин, готовых восторженно подчиняться, было сотни на одного уцелевшего. Нельзя сказать, чтобы Тоню радовали эти внезапные исчезновения, но, утаив горечь на дне души, она и в этих обстоятельствах выискивала рациональное зерно.

— Ушел, ну и черт с ним. Этак еще и вправду влюблюсь.

Но это все — между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять: институт. А учение давалось немыслимым напряжением, но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, недосыпая и недоедая. И непременно пересдавая все тройки: это запрещалось правилами, но, нахватав в первой сессии этих самых троек, Иваньшина решительно пошла к ректору.

— Отчисляйте к чертовой матери. Неспособна.

— С чего взяли? У вас все сдано.

— На тройки? Так они мне эти тройки из жало-

сти ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки *обратно* пересдавать.

— Это нарушение.

— А когда бабы ротами командовали — это как, не нарушение? Ну и нечего мне законами в нос тыкать.

Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой, но иногда приходилось: историю древнего мира, к примеру, три раза пересдавала, пока четверку не заработала. Она уж ее, историю эту, почти наизусть выучила, а вот с датами никак не справлялась: не могла сообразить, каким образом дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков да Александров Македонских в абсолютном цифровом выражении больше, чем дата смерти.

— Ну это же все — до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот.

— Какой же может быть оборот во времени?

— Условность такая, Антонина. От новой эры — плюс, до новой — минус. Ну, от рождения Христа.

— Ты мне башку не морочь, он же легендарный.

За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок — она не презирала, а жалела их, — а потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось «наоборот», как до нашей эры.

Девочки ее побаивались. В подругах никто не числился, но наиболее бессовестные беззастенчиво пользовались ее добротой и ставшим уже смешным, но упорным нежеланием считать — деньги ли, продукты или лимитные книжки, которые ей выдавал военкомат вплоть до денежной реформы, когда отменили карточки, пайки, лимитные книжки, а деньги меняли один к десяти. Она делилась последним, а то и просто отдавала это последнее по первой же просьбе или без просьбы, вдруг.

— Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.

— Что ты, что ты! А сама как же?

— А мне к чему? Все равно в сапогах.

«Контуженая!» — хихикали пройдошистые, не понимая, что старший лейтенант Иваньшина беззаветно щедра не вследствие контузии, а

потому, что фронт научил ее ценить только абсолютные ценности на всю оставшуюся жизнь.

— Пальтишко купи, простудишься. Держи сотню, больше нет.

— Ой, Тонь, я же отдать не смогу.

— А ты не отдавай. Ты пальтишко купи.

Очень уважали ее в институте. Любили, правда, куда меньше за резкость и колючесть, но уважали, а старый историк на празднике 7 Ноября сказал, расчувствовавшись:

— Неопалимая вы наша купина, товарищ Иваньшина. Настоящая советская неопалимая купина!

Тоня сначала хотела рассердиться на религиозное сравнение и посадить профессора на место, но ей успели вовремя растолковать, что неопалимая купина — это просто-напросто такой куст, который в огне не горит. И Тоня кивнула коротко и решительно: «Точно, мол, мы в огне не горим и в воде не тонем». И осаживать профессора воздержалась.

А прозвище Неопалимая Купина на некоторое время в пединституте за нею закрепилось. Не столько потому, что первым назвал ее так старый сентиментальный профессор, а потому, что в «Комсомольской правде» вскоре появилась боль-

шая статья под таким названием. О ней статья, об Антонине Иваньшиной, командире стрелковой роты заштатного стрелкового полка еще более заштатной стрелковой дивизии. Статью привязали к Международному женскому дню 8 Марта. Тоне это не понравилось, под горячую руку она собиралась написать резкое письмо в редакцию насчет граф, параграфов и рубрик, соотнесенных со всякого рода датами, но не успела, поскольку сама получила послание.

«Дорогой мой старший лейтенант Тонечка!

Мы с женой прочитали в газете статью о тебе: ты и вправду Неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Как живешь, где трудишься, вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вельяминове…»

Два дня Антонина на занятия не ходила: перечитывала каждую строчку, всплакнула даже. Ответ собиралась писать, да тут вдруг вызвали повесткой в горвоенкомат. Явилась, как приказано.

— Возможно, путаница? У меня инвалидность.

— Товарищи офицеры!

Замерли присутствовавшие в кабинете офицеры. А сам военком — боевой полковник (новый, Тоня его не знала) строевым подошел. Громко, как на параде:

— По поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик…

Словом, награда нашла героя: за последний бой — тот, в котором сухим комом в позвоночник, — старшего лейтенанта Иваньшину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели: в госпиталь комроты угодила. А там и война кончилась.

— Разрешите по-фронтовому орден отметить, товарищ полковник?

— А как же! Непременно по-фронтовому.

После работы собрались. Нашли котелок — натуральный, солдатский. Бросила в него Антонина новенькую «Звездочку», вылила поллитра. И полковнику протянула первому. Как положено было на фронте.

— За тебя, — сказал военком, двумя руками держа котелок. — Дай бог, как говорится, не последний тебе орденок в жизни.

Сделал добрый глоток, передал по кругу. И каждый из офицеров говорил ей хорошие слова и торжественно, будто причащаясь, приникал к котелку, на дне которого серебряно позвякивал боевой орден.

Полковник понравился Антонине. И говорил

толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым и видным, и даже на нее клюнул с ходу. Клюнул, что называется, с первого глотка; Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников.

Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в пять утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась вконец. Естественно, Иваньшина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за нею ухлестывал. Ничего был мужик, воевавший, комбат образца сорок четвертого. Тоня года два держала его на расстоянии, поскольку свято блюла принцип «только не со своими», а на балу расчувствовалась и — решилась. А тут девчонка.

— Чего сидишь, чего ревешь? Да не бойся, Иваньшина я, Тоня, меня все в институте знают.

— Хо-хозяйка вы-выгнала. Я ей за п-полгода вп-перед заплатила, а она взяла да в-выгнала.

— Вот сука! Где живет? Сейчас я ей пару лас-

ковых…

— А мне куда же? — продолжала свое девчонка. — Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама…

— Кончай рев. Ну, кому сказала? Как тебя? Зина? — Обернулась к аспиранту: — А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки: закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка-корзинка. Держись за меня, скользко.

Выпили они тогда чайник под кастрюлю картошечки, согрелись; аспирант ушел несолоно хлебавши, а Зиночка-корзиночка осталась.

Странно, Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом. Будто перепрыгнула на ходу из одного грузовика в другой, идущий совсем в иное «хозяйство».

А все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать, могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине; она ворчала, сердилась, командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и

радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленой квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой-первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иваньшиной уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.

— Почему поздно домой заявилась? Парня завела? Покажешь.

Господи, да какие же они смешные, какие доверчивые и глупенькие эти разнесчастные девчонки, которым так хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья! Ну как можно отправлять их без присмотра на учение в город, где столько соблазнов, столько парней и мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести. Нет, пропадет без нее Зиночка, это же ясно. Ни за понюх пропадет!

— Позже одиннадцати домой приходить запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?

Вот так за домашними хлопотами и подошли госэкзамены, а там и выпускной вечер, и бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Федоровна Иваньшина стала дипломированным преподавателем истории в средней школе № 22, что по улице Фрунзе. Историчкой,

выражаясь школьным языком. Тоня проходила в той школе практику и стажировку, а теперь добросовестно готовилась к своим урокам и сумела навести порядок в классе, но дети ее не любили. Нет, они никак не выражали своей нелюбви, были ровны и в меру послушны, но Тоня… виноват, теперь уж Антонина Федоровна постоянно ощущала нелюбовь… Но не расстраивалась: у нее было кого любить и о ком заботиться, а дети… Что же, главное — дисциплина. Дисциплина, послушание, успеваемость. Она обладала достаточным запасом воли, властности и командного опыта, чтобы требовать и добиваться, и она требовала и добивалась, а дети ее не любили.

— Антонина Федоровна, извините меня, бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети. Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах, вы уж простите меня, пожалуйста.

— А на черта мне их любовь, Мария Ивановна? Не женихаться пришла, а преподавать историю.

— И еще — воспитывать. А вы так… гм, странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви…

— Я мужиков воспитывала. Сто двадцать душ за три месяца формировки. В полном порядке

были и без всякой любви, не беспокойтесь.

— Так то мужики… — застенчиво вздыхала старая учительница.

Завуч Мария Ивановна была представительницей воспитательного направления, предусматривающего непременную взаимную любовь между учителем и учениками и основанное на этой любви беспредельное доверие. Но послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уж потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, взнервленными, неуравновешенными — обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, к каким последствиям может привести массовая безотцовщина эта, но Иваньшина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, а особенно дружная нелюбовь детей, немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

— Тонечка, я выхожу замуж!

— Как так — замуж? Тебе еще год учиться.

— Тоня, он чудный, чудный! Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает, и мы решили…

Села историчка Антонина Федоровна на стул

возле дверей, выронив переполненные авоськи.

— Как же так? Я не понимаю. Как же так, а? Тебе еще целый год учиться…

— Так ведь люблю я его. Люблю, Тонечка!

Обняла, расцеловала, прижалась — родная, глупенькая, доверчивая. И заплакали обе: одна — от счастья, другая…

— Может, обождешь? Может, доучишься сперва?

— Ах, Тонечка, да ведь в Саратов его распределили. А у него там тетка с квартирой, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.

— Ах ты, Зинка моя, Зиночка, Зиночка-корзиночка…

— Тонечка, это же чудесно, это же замечательно, и я такая вся счастливая-счастливая!..

Никогда ничего не теряла Антонина Иваньшина с таким тоскливым, безнадежным отчаянием — даже лейтенанта Вельяминова. А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной, ибо там, за горем, стоял его виновник, нелепость случайности, рок («ведь почему-то именно его, а не…») и, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду. Кроме того, боевые потери переживались сообща, горе роднило, а не разъединяло, плечо товарища ощущалось не

метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой, самой ужасной, самой нелепой трагедии.

Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваньшиной: она впервые испытала их затяжную боль.

— Ах ты, Зинка-корзинка!..

С тоски Антонина на три дня бюллетень взяла и долго еще курила по ночам. Конечно, она никогда, ни разу и ни в чем не упрекнула свою Зиночку: молодое счастье всегда эгоистично, и в этом эгоизме его радостная и всесокрушающая сила. Зинаида должна была поступить так, как поступила, — у Тони не было никаких сомнений на этот счет, — но это никоим образом не облегчало ее состояния. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.

А потом пришла в пединститут, который окончила три года назад. Поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделю выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все

время обучения самую тихую и незаметную, у которой — как, впрочем, и у многих в те времена — отец погиб в самом конце войны.

Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Она с материнским самопожертвованием кормила, поила, одевала и согревала своих квартиранток, как их называли соседи, а на самом-то деле никаких не квартиранток, а временных дочерей, что ли, или, по крайности, младших сестренок. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда — правда, нечасто — даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами: то ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.

Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку как самое тяжкое из своих ранений.

Но сначала о соседях, иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история

жизни и смерти Антонины Иваньшиной.

Стало быть, старший лейтенант Иваньшина с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели. Ей выделили комнату в двухкомнатной квартире почти в центре города, но в деревянном, чудом уцелевшем в пожарах войны двухэтажном доме. Одновременно в соседнюю комнату тогда вселилась большая и чисто женская семья: матери, дочери, бабки и внучки и — ни одного мужика. Ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына — кого убили, кто сам помер, а кто и сбежал от всей этой чересчур уж громкой, плаксивой, истеричной бабской оравы. Мужиков не оказалось, а тоска по ним осталась, чем и объяснялось особое, пронзительное любопытство соседей. За Тоней и за ее гостями-мужчинами следили, затаив дыхание, из всех щелей, и лейтенант Иваньшина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа. Так сложилось с первых дней, так и продолжалось потом, когда место нечастых мужчин заняли девочки-студентки. И здесь со-

седки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию, что Иваньшина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы. Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками и клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. В такие клятвы умудренный жизнью участковый давно не верил, но Иваньшина была фронтовичкой, и беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.

— А почему это она одна в четырнадцати метрах, а мы пятеро в семнадцати?

— А потому, что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается, — резонно объяснил милиционер и навсегда снял этот вопрос с повестки дня.

Вся эта сквалыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни, проходя сквозь мам, дочек, теток и бабушек как сквозь объекты бестелесные и как бы вообще не существующие. И так шло: она жила своей жизнью, они — своей. Умирали, уезжали, ссорились, болели, выздоравливали, а

потом вдруг съехали. И только когда переезжали, Антонина и обратила на них внимание: уж очень громко вещи перетаскивали.

Соседи исчезли, наступила тишина: комната долго стояла пустой. Потом появился управдом и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.

— Беляков Олег. Ордер вот получил. Соседом вашим буду.

Но до того, как стать соседом, требовалось сделать ремонт. Олег разыскал мастеров, каждый вечер приходил убирать за ними и убирал, надо сказать, очень старательно. Раза два или три он появлялся с женой — по виду так совершеннейшей девчонкой, которая придирчивой Антонине понравилась. Это уже было после института, уже лет двадцать, что ли, прошло, и у Иваньшиной сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом… Но Антонина не обижалась: понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось.

В то время у нее жила Лада, Ладочка, Ладушка — ласковое и обаятельное создание, состоящее

из сплошных кругов: круглое личико, круглые глазки, круглые ушки, круглый ротик и даже кудряшки над круглым лобиком были круглыми. Это умиляло само по себе, но на третий день их совместного житья Антонина умилилась беспредельно.

— Можно, я буду называть вас мамой?

Ладочка была из маленького районного городка, а мечтала работать здесь, в областном. Она часто говорила о своей будущей работе, о взаимоотношениях с учениками («Мы, конечно же, будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка?..»); о будущих сочинениях («Я не хочу казенщины: образ Татьяны… и так далее. Я хочу, например, такую тему: женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка?..»); и даже о будущих сослуживцах («Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?..»). Ах, как была счастлива «мамочка»! Ее никто никогда так не называл и — она знала — никогда так не назовет. Нет, нет, все предыдущие ее девочки были прекрасными, они давали столь необходимую ей возможность заботиться о себе, но ни к кому она не относилась так, как к упругой, кругленькой, вкусненькой, как пампушка, Ла-

душке. Лада умудрилась растревожить не только ее материнский инстинкт, но и материнское чувство: Антонина Федоровна Иваньшина впервые в жизни познала материнскую любовь.

— Ладушка, хочешь работать в моей школе? — К тому времени Иваньшина стала директрисой, и выражение «моя школа» звучало вполне уместно. — У нас хороший коллектив, опытные педагоги.

— Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.

— Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в гороно.

— Я ни о чем не прошу…

— Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.

— Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов я комсомолка, и это мой долг.

— И ты оставишь меня?

— Мамочка! — Ладочка повисла на шее, расцеловала. — Ты моя родная. Самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.

— Говори мне так всегда. Мне приятно.

— Мамочка моя!..

Таяло, млело, умилялось сердце командира стрелковой роты. А после этого разговора по душам Лада стала еще внимательнее и нежнее.

В прописке не отказали. Хотя дали разрешение не сразу и без особой радости.

— В порядке исключения, Антонина Федоровна. Учитывая вашу личную просьбу.

Через пять дней сияющая Лада примчалась из милиции, потрясая паспортом:

— Мамочка, родная моя! Теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!..

На радостях купили шампанского и огромный торт. Пили, плакали и мечтали.

— Мамочка, у нас начинается практика. Можно, я буду ходить в твою школу?

— Конечно, доченька. Привыкай, тебе в ней работать.

— Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города!

Все эти пиры и радости происходили еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт и каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор.

А однажды — только маляры закончили ра-

боту — в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет за тридцать. Названая дочь несла объемистый тюк, а незнакомец — два больших чемодана. Иваньшина сидела у окна — в последнее время она что-то хуже стала видеть — и на руках подшивала своей любимице платье.

— Это мой муж.

— Муж? — улыбнулась Антонина, ожидая неожиданной шутки или какого-нибудь веселого розыгрыша, на которые ее Ладочка была мастерица.

— Паспорт показать, Антонина Федоровна? — Мужчина широко, по-свойски улыбался и вести себя старался тоже по-свойски, но Иваньшина видела, что он изо всех сил пытается преодолеть самого себя. — Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы провернуть, потолок побелить.

— Какой муж, какой ремонт? — Она все еще улыбалась, но уже чуяла что-то очень недоброе. — Почему вдруг — потолок белить?

— А потому, что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. — Неизвестный уже справился с первым смущением, преодолел себя: и тон и вид его стали агрессивными, точно он стеснялся теперь за те первые

нерешительные нотки. — Скажете, что не согласны, так вот вам заявление, чтоб, значит, жировочки пополам: мы свои права знаем. А будете спорить — общественность оповестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади с вашего же согласия. Устраивает? Тогда давайте сосуществовать.

Где-то в середине этой деловитой и, видимо, заранее сочиненной речи Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место, только боль была иная. Пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить, и Иваньшина только тихо сипела, наливаясь краской и широко разевая рот.

— Думаю, договоримся, — продолжал незваный гость, оказавшийся вдруг новым хозяином. — Вы с орденами: походите в горком, поплачетесь на тесноту да на нас в придачу, и вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится: вы еще к нам в гости ходить будете, Ладкиного пискуна, который через полгодика на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинокая…

Он много еще говорил, но говорил один. Лада молчала и изо всех сил старалась не глядеть в ее сторону, а Иваньшина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдавить, пыталась и не могла. А новоявленный муж все говорил и говорил не переставая: ему тоже было неуютно.

— Вы же Ладку любите, а для нее эта комната — единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем…

В верхнем ящике старомодного комода, доставшегося ей еще по наряду военкомата при вселении, лежал «вальтер». Отличный офицерский «вальтер», с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком, который она сама сняла с убитого ею обер-лейтенанта во вражеской траншее. Очень уж ладный пистолет был, очень уж гордилась она им и когда-то хотела подарить его лейтенанту Вельяминову. Но лейтенант нашел невесту, исчез навсегда, а ей осталась эта комната, одиночество да памятный «вальтер». Вроде бы уж и не просто личное оружие, которое положено сдавать, а некий символ, связавший воедино ее первый бой в немецких траншеях с ее последней, отчаянной, безоглядной и несостоявшейся любовью. И поэтому когда пришел приказ

о демобилизации, она так и не смогла расстаться с трофейным пистолетом. Сунула его с глаз подальше, утопила в ворохе старых бумаг и забыла. А тут вспомнила. Отчетливо, до тяжести в руке.

Только бы встать, только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик. И тогда — всю обойму в наглую, самодовольную, уверенную в своем превосходстве физиономию. Только бы встать, только бы… Она уже не слушала, что говорят, она думала, как сэкономить силы, она приказывала себе встать. Встать. Встать!..

— А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молодые, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание? А такое, что нечего нам ждать милостей: взять их — наша задача. Так, мамаша?

Господи, только бы встать. Сначала встать, потом — три шага. До смерти — четыре? А здесь всего-то три, полегче. Правда, ящик комода трудно выдвигается. Туго, со скрипом…

— Напополам делить нечестно: нас двое, а вы одна. Значит, так разделим: нам — две трети, вам одну. Какую половину выбираешь, Ладка? Тебе как беременной женщине первое слово.

Лада молча ткнула рукой туда, где стояла кро-

вать, на которой последнее время они спали вместе — названая дочь и названая мать. Войдя и перехваченным голосом представив мужа, она больше не проронила ни слова, бестолково копаясь в вещах, сваленных посреди комнаты.

— Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину к другой стеночке…

Именно тут открылась дверь и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже — этого он и потом никогда не мог объяснить («Кольнуло будто: надо, мол, и все…»). В этот момент деятельный молодожен схватился за железную, с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены.

— Что тут происходит, Антонина Федоровна?

То ли потому, что кто-то вошел, то ли просто сил уже накопилось, а только Иваньшина с огромным трудом подняла руку, ткнула в тащившего кровать мужчину и, напрягшись, косноязычно и непонятно выдохнула:

— Фашист.

Дальнейшие действия Белякова тоже оказались труднообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав, он схватил один из

чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь. Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный, истоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы. А Олег тут же сграбастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом, но чемодан не долетел до коридора, устлав всю комнату постельным бельем.

— Постой, ты что? Ах, гад!..

Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки. Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым, кто-то ответил на удар, пронзительно завизжала Лада, а Иваньшину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк.

Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодоженов, ни их вещей уже нет. Рядом суетился молодой и очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваньшина увидела молоденькую жену нового соседа («Как ее… Алла, что ли?»): она сидела

на корточках напротив, смотрела испуганно и держала Иваньшину за руку.

— Ну как вы? — спросил доктор. — Говорить можете?

— А где… где эти?

Иваньшина говорила затрудненно, неясно, но все же говорила. И глядела осмысленно, и спрашивала осмысленно.

— Наладил, — шепеляво, с присвистом сказал Олег и улыбнулся разбитыми губами. — Он думал меня на испуг взять. А мы с Алкой — детдомовские, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избиении все-таки изобрази.

— Изображу, — отмахнулся врач; Иваньшина беспокоила его куда больше. — Двигаться можете?

— Руки теплые. — Она чуть сжала пальцы перепуганной Алле. — Ног не чувствую.

— Срочно в больницу. Срочно. — Доктор вздохнул и нахмурился. — Давайте санитаров, давайте носилки.

— А справку? — спросил Олег.

— Сейчас напишу, какой вы, право. Нашли время.

— Не для себя, доктор, — улыбнулся Беляков, осторожно тронув языком разбитые губы. — На-

халов учить надо. Вместе с Ладочками. — Тут он покосился на Антонину, добавил виновато: — Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я Ладу не трону.

Иваньшина ничего не ответила.

Почти три месяца провела она тогда в больнице. За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу — причем довольно долго — она не слушала, не слышала да и не видела их, погруженная в невеселые свои мысли, но и Олег и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами, где болит, что болит, как лечат да что говорят. Новые соседи обладали природным даром общения и огромным запасом добродушия, которое поглощало и молчание, и угрюмое неприятие, и даже безадресные нервные срывы больной настолько полно, что незаметно для себя Иваньшина стала оттаивать.

— Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна.

— Не понимаю, зачем утруждаетесь, — угрюмо сказала она. — Ходите, навещаете. Поручение от месткома?

— Приказ, — сказал Олег. — Мы же с вами родственники по Великой Отечественной войне, только вы яблонька, а я яблочко.

Иваньшина чуть улыбнулась: пара внушала доверие, даже нравилась ей.

— Заулыбались — значит, на поправку дело пошло, и пора нам познакомиться, — сказал он. — Ну, Алка сама про себя вам наболтает, а я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду — прочитаете, если захотите: Алка специально для вас ее на машинке отстукала в своей конторе.

Оставил несколько листков и ушел, и Антонина Федоровна сразу же начала читать.

«АНТОНИНЕ ФЕДОРОВНЕ, ДОРОГОЙ НАШЕЙ СОСЕДКЕ» — было напечатано большими буквами сверху. Далее шел обычный шрифт, но с первым экземпляром Иваньшина справлялась легко.

«Не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам, и, кроме как через это письмо, нет у меня способов все вам объяснить. А объяснить надо, по какому праву я к вам ворвался прямо, можно сказать, в личную жизнь. Вот почему и пишу, а Алка (это жена моя) отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче.

Так вот, я детдомовец и за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу свою, за Алку мою. Это все — огромные плюсы, но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на сорок пацанов: два десятка двухъярусных коек. Из столов на двенадцать жующих: по шесть с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений, из общих туалетов, если хотите, потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной и многолетней жизни на чужих глазах. «Ты что читаешь?» «Ты кому пишешь?», «Ты что жуешь?», «Ты что задумался?». Задумался чего — и то ведь непременно спросят! Не со зла, не от любопытства: от того, что слишком уж много общего и все невольно тоже становится общим. Даже мысли.

И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва — в слезах, потом — в мечтах, а там и как насущная жизненная необходимость: желание иметь свой угол. Свои четыре стены, чтобы отгородиться ими от всех хотя бы на время, на вечер, на ночь — да хоть на час один. И не желание даже — желания как-то мало для этого, — а жажда. Вот даже слова другого искать не буду: для любого детдомовца собственная

комната — утоление жажды. Компенсация вроде бы чего-то такого, чего не было. Не знаю, как эта жажда у кого сказывается, а меня она буквально с ума сводила. Я во сне свою собственную комнату видел, я знал, где у нее дверь, сколько у нее окон, я мебелью ее в мечтах обставлял, обои подбирал, полочки приколачивал, выключатели ставил, проводку проводил. Еще в детдоме о своей норе стал мечтать, а когда в техникум поступил и перешел в общежитие, так обязательно перед сном об этой комнате думал. Заснуть иначе не мог, если в мечтах не зайду в нее, стол не передвину, кресло не переставлю. Прямо как наваждение какое-то. С жилплощадью у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся — к нам как раз очень хорошо все относятся, может быть, даже слишком хорошо, — а потому, что у детдомовца только одна возможность в этом плане: в порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские — в общежитиях, и никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой как нескоро случается.

Какие же варианты? А два ровно: либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж

выйти, и третьего не дано. Но это не для меня все, потому что я в свою Алку еще с седьмого класса влюбился. В детдоме еще она тогда в четвертом училась, вся в бантах была, а на Новый год изображала Снежинку. И так она ее изображала, что я в нее влюбился навсегда, еле дождался, когда ей восемнадцать исполнится, и расписались мы без всякой жилплощади, и три года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимая. Я еще молодым специалистом числился, Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила, но ребенка мы завести все-таки не побоялись. А через два года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы комнату снимали, уронила с балкона нашего ребеночка, нашу девочку, когда мы на работе были.

Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив: я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить и, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были, соображал я неплохо, если технически, в смысле там электроники или электротехники. Тут вскоре мода на звуковые системы пошла, и я сразу прослыл

спецом экстра-класса. Дело для меня плевое, а заработок верный: и жить стали полегче, и откладывать даже начали. Тем более что заказы на меня прямо сыпались, и я уже выбирал, к кому идти.

И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толковая у него была «система», только разрегулирована без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту, каждый день после работы наведывался и вскоре познакомился с папой. А папа — начальник: какой да чего, дело ведь не в этом, а в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем, я ему, как вам, все обрисовываю: про Алку, про ребенка, про нашу бездомность и нашу мечту. А через месяц — бац! — ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны Антонине Федоровне Иваньшиной. К вам, значит, дорогая наша и первая в жизни соседка.

Спросите, зачем, мол, пишу все это? А затем, чтобы объяснить, какие мы есть, почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался и что вы для нас значите. Мы детдомовские ребята, о чем и рапортуем, а вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все Алка лучше объяснит,

я насчет чувств не очень, но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело, для чего и доложил вам все про все.

Ваш сосед Олег Беляков».

То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментальна стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. Она три раза перечитала «автобиографию» и три раза ощутила тепло в душе. И прямо — письмо требовало ответной прямоты — сказала об этом Олегу.

— Затем и писал, — признался он и неожиданно добавил: — Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем?

— Вот это уже ни к чему.

— Боитесь, что стащим что-нибудь? Правильно: детдомовские, они такие.

Так спросил, так прокомментировал и так улыбнулся при этом, что она не смогла сдержать ответной улыбки. Но проворчала:

— Не терплю одолжений.

— Сочтемся! — безмятежно пообещал Беляков. — Обои показать или Алке выбор доверите?

— Доверяю, — сказала Иваньшина, но уже без ворчанья и вполне серьезно.

А соседи во время ремонта все-таки кое-что «стащили»: адреса ее прежних «квартиранток»,

разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая…

— Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь-то? Не узнаешь, что ли?

— Зинка, — с трудом выговорила Иваньшина, и слезы хлынули бурно и внезапно: впервые с того вечера. — Зиночка-корзиночка.

— И не одна, — всхлипнув, шепнула самая первая ее подопечная. — Эй, сынок! Иди с теткой своей познакомься.

И вошел застенчивый, неуклюжий, нескладный какой-то парнишка. Ну да не в этом дело, а в том, что на другой день Олега Белякова лишили постоянного пропуска в их отделение.

— Ну, знаете. — Лечащий врач только руками развел. — Мы с таким трудом Иваньшину из паралича выволокли, а вы?

— А я? — благодушно переспросил Олег. — Спасибо за комплимент, и давайте назад постоянный пропуск. Ее кормить надо, на ваших харчах йог и тот ноги протянет.

— Какой комплимент? Тут, понимаете ли, такая нервная встряска вами организована, что…

— Да бросьте, доктор. От радости ведь и вправду не умирают.

Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. Стреляющие боли в пояснице, от которых, как она сама говорила, виделся ей порою салют Победы, прекратились, а там помаленьку да полегоньку начала она вставать и передвигаться. Сначала, как водится, с костылями, а потом с палочкой, самостоятельно. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:

— Значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит, да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает — замочек я там новенький врезал с секретом, — но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу.

Иваньшина молча прочитала заявление на имя председателя горисполкома, в котором живописно, но без преувеличений была изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце: считать постоянную прописку гражданки такой-то недействительной по изложенным вы-

ше бессовестным причинам. От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названой доченькой, стало и тошно и тоскливо, и Иваньшина подписала его, не исправив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное.

— А она — в суд, — вздохнула Алла.

— И я — в суд, — весело улыбнулся Олег. — У меня справочка об избиении имеется.

Ни о каком избиении, а уж тем паче о справочке Иваньшина не помнила, поскольку пребывала тогда по ту сторону суетных житейских подробностей. Но такая предусмотрительность со стороны нового соседа ей почему-то была неприятна. Однако она ничего не сказала: не хотелось ни о чем вспоминать, а уж менее всего — о том вечере.

Никакого суда не случилось: девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. Что при этом сказал ей улыбчивый Олег Беляков, Антонина Иваньшина не спрашивала, но то, что какой-то разговор состоялся, знала. Правда, не от Олега — тот помалкивал, сообразив, насколько неприятно ей любое напоминание об этом, — но по-женски разговорчивая и по-женски гордящаяся мужем Алла рассказала достаточно. Беседа была короткой,

насколько можно было судить по Алкиным намекам, но содержательной, коли не только Лада, но и ее громогласный супруг не нашли контраргументов. И только год спустя Олег признался:

— Русакова Петра Игнатовича помните?

— Какого Русакова?

— Военкома. Ну, он еще орден вам вручал. Так я его тогда на разговорчик-то пригласил, вот тут-то они и утерлись.

Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваньшина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и — с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.

— Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.

— Деньги будете предлагать?

— Да и деньгами неудобно.

— Точно. — Он кивнул. — Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. А когда подрос, рассказали, что принесла меня в сорок пятом фронтовичка. Сдала и — в часть: ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться,

знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, свободное дело, мамой мне могли быть.

— Мамой, говоришь?

Горько усмехнулась Иваньшина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега за волосы и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».

Через неделю после выписки вернулась в школу — с палочкой и заметной проседью в гладко зачесанных волосах. И потянулись обычные дни, наполненные детским шумом, мальчишеским озорством, девчоночьими слезами, жалобами учителей, просьбами родителей, совещаниями, заседаниями, собраниями, вызовами в районо и в райком, собственными уроками и собственной усталостью. Все было прежним, знакомым и привычным, и только собственная усталость оказалась для нее новой. Глухой, опустошительно беспощадной, отнимающей разом все силы — и физические, и умственные, и нервные. «Надо привыкать, — сказала она себе, ощутив эту усталость и сразу поняв, что ей от нее уже никогда не избавиться. — Надо приспосабливаться, терпеть и привыкать».

А так было все, как бывало всегда, только Антонина Иваньшина не ходила более в родной институт, не приглядывалась к полушкольницам-первокурсницам, не заводила с ними бесед. С этим отныне было покончено раз и навсегда: Иваньшина умела говорить «нет» со всей жестокостью и непреклонностью офицера-фронтовика. И как ни горько ей становилось порою не столько от решения, сколько при воспоминании о причинах, заставивших ее принять такое решение, была тверда, ровна и почти спокойна.

Правда, жизнь ее изменилась не только в худшую сторону, и как знать, что сталось бы со всеми ее принципами, если бы не эти изменения. Если бы не веселые, дружные, жизнерадостные соседи, встречавшие ее как родную, обращавшиеся с ней как с родной и — Иваньшина постепенно убедилась в этом при всей своей настороженности — искренне считавшие ее таковой.

— Ребята, вы хотя бы деньги у меня берите, что ли. Ведь каждый день с ужином ждете, миллионеры.

— Ну что вы, Антонина Федоровна, — смущалась Алла. — Тогда нам радости убавится, понимаете?

А Олег улыбался:

— Все нормально, как в детдоме: торт, он что? Он — один на всех, и все — на одного. Верно, Алка?

Была еще одна маленькая, чисто женская радость: в кои веки объявился-таки хозяин, и квартира, где вечно шатались розетки, провисала проводка, искрили штепсельные вилки и дымила печь, преобразилась. Ничего не ломалось и не обрывалось, вещи побаивались строгого хозяйского глаза и вели себя послушно: даже печка, обогревавшая всю квартиру, стала отдавать тепло куда щедрее, чем прежде. У Олега были воистину золотые руки и неиссякаемая любовь к ремонтам и усовершенствованиям: он не жаловал старого.

— Слушайте, Антонина Федоровна, чего это мы с печкой маемся? Морока и грязь, как в пещерные времена.

Так сложилось, что печь никогда не досаждала Иваньшиной, не отнимала у нее ни времени, ни сил, и вообще не ее это была забота. Даже те капризные, завидушные соседи никогда не утруждали ее топкой общей печи и никогда не жаловались, что она этой обязанностью пренебрегает. После войны раздобыть топливо — торф, дрова или уголь — было чрезвычайно сложно, и соседи сразу же разделили обязанности:

Иваньшина добывает топливо, они топят печь. И так оно и было всегда, это разделение, и Олег заворчал совсем не потому, что намеревался его пересмотреть, а потому, что сама печь раздражала его своим анахронизмом. Он обожал новшества не только в науке и технике, но и в быту и очень сердился, когда приходилось тратить время на печь.

— Каменный век!

Иваньшина отшучивалась, но Беляков был настойчив, и если уж задумывал что-либо, то непременно добивался. К тому времени в городе уже шло широкое строительство, центр, где они жили, реконструировался и благоустраивался. Олег походил, поинтересовался, потолковал с людьми (он был на редкость общительным человеком) и однажды встретил Иваньшину в состоянии радостного нетерпения.

— Пишите бумагу в горисполком: рядом с нами теплоцентраль строят. Просите подключить, да не забудьте о ранениях указать.

— Это еще зачем?

— А затем, что вам, одинокой фронтовичке, раненной и контуженной при защите Отечества, трудно стало таскать дрова и уголь на второй этаж.

— А я и не таскаю.

— А они-то об этом откуда знают? Вы пишите, пишите, остальное беру на себя. Посуетимся, побегаем — глядишь, и выгорит.

Он был оживлен, шутил и улыбался; Иваньшина написала под его диктовку нужное письмо, но ей это было неприятно. Конечно, она понимала, что послевоенные трудности уже позади, что люди живут иначе, что печное отопление в центре огромного индустриального города и впрямь анахронизм, и все же что-то царапало в ее душе. Что-то не нравилось ей в цепкой энергичной напористости никогда не унывающего соседа, но она не знала, что именно, а доискиваться причин не хотелось. И вскоре забылось, а через месяц пришли рабочие, провели центральное отопление и разломали печь.

— Ну как атмосфера, Антонина Федоровна? — шумно радовался Олег. — Потеплела?

— А грязи-то, грязи! — сокрушалась Алла. — И зачем, спрашивается, мы ремонт делали? Снова белить да переклеивать…

— А вот это уже за мой счет, — строго сказала Иваньшина. — Не спорьте, ребята, я человек одинокий, зарплата немаленькая.

— Мы и не спорим, — улыбнулся Олег. — Все,

как в дружной семье, чтоб топор и тот не обижался.

По случаю нового отопления закатили торжественный ужин. Иваньшина купила торт и бутылку вина, хотя пить врачи ей навсегда запретили. Но дело тут заключалось не в питье — кстати, Олег выпивал очень редко, — а в том семейном застолье и уюте, по которым так тосковала она всю жизнь, сама себе в том не признаваясь.

— Скажи, Олег, трудно было добиться резолюции?

— Это с вашей-то биографией? Чудачка вы, Антонина Федоровна, ей-богу, чудачка! Мне бы такую биографию, я бы давно в отдельной трехкомнатной со всеми удобствами жил. Да еще и с телефоном.

— А я, видишь, живу в двухкомнатной. И довольна вполне, заметь. И вообще должна тебе сказать, что ты слишком уж часто разводишь абсолютно ненужную суету. Это все неприятно, несолидно, это... оскорбительно даже. Отличительной чертой русской интеллигенции была всегда потребность отдавать, а не брать. Отдавать! И этот принцип я вполне разделяю.

Антонина Федоровна даже в семейных разго-

ворах употребляла стандартные формулировки, особенно когда заговаривала об интеллигенции. Она словно побаивалась самого этого слова и непременно старалась подпереть его знакомыми формами: Олег давно в этом разобрался.

— Так вы же не детдомовская, как мы с Алкой, — обезоруживающе улыбнулся он. — И русская интеллигенция, честь ей и хвала, тоже не оттуда, между прочим. А насчет телефончика, может, подумаем, а?

— В городе номеров не хватает, — хмуро сказала Иваньшина: ей было неприятно упоминание о детских домах, хотя она понимала, что Олег в чем-то прав. — Тут действительно нуждающимся поставить не могут.

— А вы не действительно нуждающаяся?

Она хотела ответить, но смолчала. Мелькнуло вдруг в голове, как предупреждающий сигнал, что еще один приступ неведомой ей раньше болезни, еще одна больница — и она станет действительно нуждающейся. И Алла поняла ее невеселое молчание, сразу же громко заговорив о чем-то постороннем.

Потом пришло письмо.

Корреспонденция Иваньшиной всегда была обширной: писали фронтовые друзья, ветераны,

подруги по институту, давно окончившие и разъехавшиеся «квартирантки». Но это письмо было особым; Антонина Федоровна вышла на кухню очень озабоченной и протянула письмо Алле:

— Читай вслух.

— «Дорогая моя Антонина Федоровна, пишет вам прежняя ваша надомница и нахлебница Валя, а ныне преподаватель русского языка и литературы Валентина Ивановна Прохорова (это по мужу, а по-старому я Лыкова). Вы у нас в семье — живая легенда, и дочка моя Тоня мечтает стать на вас похожей. В этом году она оканчивает десять классов и хочет поступать в наш педагогический…» — Алла перестала читать и молча уставилась на Иваньшину.

— Понятно, — сказал Олег. — Ария певца за сценой.

— Антониной назвала, — вздохнула Иваньшина. — Валя Лыкова, значит. Хорошая была девочка, старательная и скромная.

— Все они хорошие. — Алла недовольно покачала головой.

— Погоди, Алка. — Олег походил по кухне, размышляя; остановился против Иваньшиной. — Берите. Ну? Мы поможем, а вам и веселее и привычнее. Берите, Антонина Федоровна, эту

свою Тонечку.

И в тот же вечер бесконечно благодарная Олегу Иваньшина написала письмо Вале Лыковой (теперь — Прохоровой), в котором просила откомандировать под ее ответственность юную Тонечку Прохорову. Однако будущая абитуриентка, будущая — это если пройдет, тьфу, тьфу! — студентка намеревалась приехать в августе, то есть через девять с лишним месяцев. За это время многое могло произойти.

И произошло.

Начало года оказалось настолько радостным, что Иваньшина несколько раз суеверно подумала, что все это не к добру. И хмельной аромат новогодней елки, и радостные звонкие игрушки, и сама встреча с этой елкой оказались действительно праздником. Пока директриса проводила школьный новогодний вечер, дверь ее комнаты открыли, кое-что сдвинули с места, а когда Иваньшина вернулась и зажгла свет, то вспыхнула разноцветными огнями нарядно убранная елочка. Это было так неожиданно и так прекрасно, что Антонина Федоровна невольно вскрикнула, и тотчас же с криком и хохотом вбежали Беляковы.

— С Новым годом!

Никогда не было у нее такого Нового года. И такого 23 февраля, когда вечером ее ожидал пирог с надписью: «ГЕРОЮ ВОЙНЫ». И такого 8 Марта…

А 10 марта к мылу приклеилась мыльница, и, когда Иваньшина взяла его в руки, мыльница упала на пол и раскололась. Ерундовая мыльница, копеечная, но — соседская, а по горло занятая школьными делами (четверть кончалась!) директриса все время забывала ее купить. И вспомнила спустя неделю, увидев в хозяйственном отделе универмага. «Господи, наконец-то набрела, растрепа беспамятная», — проворчала она про себя и положила пластмассовую мыльницу в сумку.

Хозяйственный отдел был обширным, и она медленно бродила по нему, разглядывая всякие нужные и ненужные вещи. Но, разглядывая товары, Иваньшина думала совсем не о них, а о девушке в фирменном халатике со значком, которая стояла у входа на контроле. Лицо ее показалось Антонине Федоровне знакомым: кажется, именно эту девочку два года назад по ее настоянию исключили из школы, поймав в раздевалке с сумкой, набитой чужими шарфами и шапочками. После больницы Иваньшина никак не могла припомнить ее фамилии, да и лицо стерлось в памяти, но сейчас показалось: она. Настолько вдруг

и настолько ясно показалось, что директриса сказала, проходя мимо: «Здравствуй, Трошина», — но ответа не получила. И теперь, бродя вдоль стоек, в ячейках которых были навалены товары «для дома, для семьи», все время думала, Трошина это или не Трошина и правильно ли она поступила тогда, настояв на ее исключении.

Эти мысли настолько занимали ее, что ни о чем ином уже не думалось. Она машинально бродила по отделу, машинально брала в руки различные предметы, машинально разглядывала их и ставила на место. Правильно она тогда поступила или сгоряча, не учитывая ни возраста, ни личности провинившейся, — вот о чем думала она, и вывел ее из этой задумчивости девичий голос:

— А в сумке что у вас спрятано?

Иваньшина очнулась от размышлений и по тону, по голосу узнала: Трошина. Только имени никак вспомнить не могла.

— Здравствуй, Трошина. Не узнаешь меня?

— Я спрашиваю, что у вас спрятано в сумке, гражданка.

— Ничего. — Иваньшина была выбита из привычного состояния агрессивностью интонаций и отвечала растерянно. — Зачем же ты так, в таком тоне?

— Откройте сумку.

— Что с тобой, Трошина? — тихо спросила она. — Не терпится продемонстрировать власть?

— Требую открыть сумку! — Продавщица повысила голос. — Вера Тимофеевна, Люба, Лара, подите сюда! И милиционера пригласите.

— Как тебе не стыдно, Трошина. — У Иваньшиной потемнело в глазах. — Я директор школы…

— Откажетесь открыть сумку — отберем силой. Понятно?

Антонина Федоровна задрожавшими руками открыла сумку и, перевернув, вытряхнула ее содержимое на пустой прилавок. Посыпались монетки, кошелечек, шариковые ручки, платочек и копеечная пластмассовая мыльница.

— Вот, видите? Все видите? — с торжеством закричала продавщица. — А где чек на оплату?

— Чек?.. — Иваньшина окончательно растерялась, в голове туго застучали молоточки. — Я не знаю. Наверно, я машинально…

К этому времени на подмогу Трошиной уже подтянулись другие продавщицы. Милиционера, правда, не было, но зато группа с директором школы в центре стала быстро обрастать любопытными.

— Тихо! — громко сказала старшая продавщи-

ца. — Вы оплатили товар, гражданка?

— Вероятно, нет, но…

— Воровка! — звонко крикнула Трошина. — Подруги, я четвертый день за нею это замечаю.

— Какой четвертый, что ты, я же не хожу сюда…

— А где тогда чек? Чек где, спрашиваю?

— Помолчи, Трошина. Я спрашиваю вас, гражданка, вы оплатили покупку?

— Кажется, нет. Кажется, я забыла. Я стала забывать, я лежала в больнице.

— Значит, товар вы не оплатили. Так?

— Я же говорю, воровка она!

— Замолчи, Трошина! — оборвала старшая. — Придется пройти к директору. Мы составим акт…

Острая боль раскаленной спицей вновь вонзилась в спину. Перед глазами полыхнуло пламя, и бывший старший лейтенант Иваньшина грузно сползла на пол.

Та же больница и тот же врач, те же резкие и быстрые сестрички, по вечерам, когда уходило начальство, бесконечно долго болтавшие по телефону («А он что?.. А она что?..»). И даже палата оказалась той же, только сама Антонина Федоровна стала иной. Заговорила, правда, уже

на второй день, а вот ноги и ощущались чужими, и стали чужими, словно она утратила не только силу, но и власть над ними.

— Быстро вы к нам вернулись, — вздохнул заведующий отделением.

Он был не просто заведующим и даже не просто хорошим специалистом: он был фронтовиком, и Иваньшина испытывала к нему безграничное доверие. Вероятно, это и сыграло решающую роль в том, первом случае, но теперь одной ее веры было уже недостаточно. Доктор наблюдал, хмурился, советовался, устроил консилиум, а после него вызвал Олега Белякова.

— Лекарство сможете достать?

— Если оно в природе водится.

— Водится, только не в нашей, к сожалению, и официальный рецепт на него я выписывать не имею права. А неофициальный — вот он.

— К этому неофициальному хорошо бы официальное письмо, — сказал Олег. — Так, на всякий пожарный.

— На чье имя?

— В Комитет ветеранов. Уж если они не помогут…

— Тогда и руки по швам? — сердито спросил врач, принимаясь писать официальное письмо.

— Тогда в другой комитет напишем, — улыбнулся Беляков.

С официальным письмом и неофициальным рецептом Олег отправился сам. Упросил в лаборатории, где работал, дать ему три дня в счет донорских и уже на следующий день вылетел в Москву. А через два дня явился с лекарством на полный курс лечения.

— Как это вам удалось? — ахнул невропатолог.

— Нет проблем, доктор, есть лишь разные пути к их разрешению.

— И все же? — допытывался доктор. — В два дня вы совершили невозможное.

— И в два часа, — уточнил Олег. — Знаете Вельяминова Валентина Георгиевича? Ну членкора, лауреата, депутата…

— Биолога? Знаю, труды его читал.

— Так вот, я с самолета — прямо к нему. Главное было дома его застать, а остальное — семечки, как говорится.

— Вы же с того света ее вытащили, — патетически воскликнул врач. — С того света!

— Сочтемся.

Сочлись для всех незаметно и неожиданно. Узнав от доктора, кому обязана спасением, Антонина Федоровна не смогла сдержать слез.

«А имя у тебя все равно девчоночье, академик...»

— Ладно, тетя Тоня, кончай реветь, — сердито сказал Олег.

— Не буду, Олег, не буду, — прошептала она, поспешно вытирая слезы. — Как он выглядит-то? Толстый? Очень постарел?

Он впервые назвал ее тетей, впервые обратился на «ты», впервые позволил себе командные нотки, а Иваньшина вроде бы и не заметила ничего. То ли ослабела, то ли думала о военкоматовском подвале, то ли отношения их, вызрев, естественно, сами собой должны были перейти в иное качество.

Швейцарское лекарство, которое с помощью бывшего лейтенанта Вельяминова раздобыл и привез Олег, почти поставило Антонину Федоровну на ноги. Почти потому, что она вновь обрела власть над ними, хоть, правда, и весьма ограниченную, а вот силу обрести ей так и не удалось. Колени дрожали и подгибались, и Иваньшина ходила теперь только с костылями. И, несмотря на то что врач всячески обнадеживал ее, она точно знала, что от костылей ей уже не избавиться. Это было страшно, и все же в панику бывший командир стрелковой роты не ударилась: если ее

спаситель Олег Беляков исповедовал убеждение, что проблем нет, а есть лишь различные пути их разрешения, то она до сей поры свято веровала во фронтовую заповедь: никогда не сдаваться. В конце концов есть соседи, есть тылы, есть резервы, есть командир, у которого на крайний случай можно попросить поддержки огнем, если уж совсем станет невмоготу. Под поддержкой огнем с некоторого времени она стала понимать аккуратно вычищенный «вальтер» с полной заряженной и запасной обоймами, с тремя десятками патронов россыпью, которые хранились в верхнем ящике комода под старыми газетами, письмами и фотографиями. К его последней помощи она всегда могла прибегнуть, если дойдет до точки, если откажут ноги и перестанет слушаться язык, потому что и у нее, как и у Олега, тоже никого из родственников на этом свете не числилось. И поэтому Антонина Федоровна, приняв свое полупарализованное тело как данность и волей подавив отчаяние, сосредоточила все свои силы на трех вопросах.

Первый касался злосчастной истории с пластмассовой мыльницей, о которой никто ничего так и не узнал, потому что она никому ничего не сказала. Вначале, когда язык еще с огромным

трудом шевелился во рту, Антонина Федоровна много и всегда с острой и горькой обидой думала о чудовищном позоре, который обрушила на нее бывшая ученица. В тот период Иваньшина непременно добилась бы строгого наказания продавщицы Трошиной, но язык тогда не подчинялся ей, и гнев постепенно утихал. Память, к счастью, у нее не пострадала, и, старательно ворошa сейчас ту давнюю историю с исключением девочки, Антонина Федоровна начала допускать и вероятность собственной ошибки. Она отчетливо помнила, как рыдала в кабинете Трошина, как уверяла всех, что хотела только подшутить над подругами, попугать их; как ей все не верили, хотя, в сущности, это объяснение было правдоподобным. Да, девочка вполне могла позволить себе идиотскую шутку, розыгрыш своих одноклассниц, но эту версию никто тогда не пожелал рассматривать, и директриса в первую очередь. И прибегла к самому простому для нее и самому жесткому для девочки решению: исключить из школы за аморальное поведение. Вывод был скоропалительным, суд, скорее всего, неправым, а неправый суд рождает жажду возмездия. И после долгих колебаний и размышлений Антонина Федоровна признала за Трошиной право на

мщение, и этот вывод, как ни странно, не просто успокоил, а и умиротворил ее; с гневом, обидами да и вообще с неприятными воспоминаниями о той нелепой сцене в универмаге было покончено раз и навсегда, и никто никогда об этом так и не узнал.

Удивительное дело: признание собственной неправоты и тем самым, так сказать, отпущение греха той, которая спровоцировала второй приступ тяжелейшей ее болезни, породило в душе ее стойкое, тихое, равносильное почти праздничному настроение. Она представила, что могло случиться, добейся она сурового наказания продавщицы, и честно призналась самой себе, что то злорадное и быстротечное торжество, которое, вероятно, она испытала бы при этом, было бы в результате ущербным, как яблоко с жирным белым червяком в сердцевине. Теперь она думала о том, что гнев не дает и не может давать радости, ибо он обладает не созидательной, а лишь разрушительной энергией, — вот к каким мыслям пришла Иваньшина в конце концов, и мысли эти согрели и утешили ее, и к обдумыванию второго насущного вопроса она подошла с хорошим запасом спокойствия и готовности творить справедливость.

Этим вторым вопросом было ее собственное будущее. Да, она вполне могла бы продолжать руководить школой, где ее знали столько лет, где ее уважали, в меру побаивались и слушались, — разве что пришлось бы перенести директорский кабинет на первый этаж. Да, ее непременно оставили бы на этой должности, учитывая авторитет и опыт, фронтовые заслуги и тяжкие их последствия. Оставили бы по первой же ее просьбе, а то и без всякой просьбы, но непременно после паузы, ожидая, что у нее самой хватит пороху отказаться от всех своих должностей и преимуществ. И она может понять эту паузу и почувствовать ее, а может и не понять, и тогда все останется как было, и… Но ведь будет же, непременно будет эта пауза, это ожидание, эта невысказанная вера в ее добросовестность, мужество и сознательность. Директор школы, прикованный к собственному руководящему креслу? Красиво для заметки к 8 Марта и неудобно, чудовищно неудобно по существу. Неудобно педагогам, которые невольно начнут жалеть, а жалея, недоговаривать, скрывать неприятности, утаивать чрезвычайные происшествия и, оберегая ее, решать главное за ее спиной. Неудобно инспектирующим и контролирующим, вынужденным — даже невольно! —

считаться с ее инвалидностью, которая всегда будет своеобразной индульгенцией во всех ее деловых отношениях. И, наконец, самое главное: неудобно будет здоровым, веселым, буйным, шумным, озорным детям, которым непременнейшим образом станут делать массу замечаний, ссылаясь на ее тяжкое положение. Вот сколько неудобств создаст она, решив изображать из себя героиню, этакого Маресьева на трудовом фронте: нечестно, недостойно и глубоко эгоистично в сути своей. Нет незаменимых работников, это легенда, и при всех прочих равных условиях всегда более ценен работник здоровый. Вовремя сойти с лыжни, чтоб не тормозить тех, у кого больше сил, умения, мастерства, возможностей, — это и есть элементарное соблюдение неписаных законов общежития. Это нормально, честно и достойно: уступить место завтрашнему дню. Да и пенсия для нее ведь не безделье: областное издательство и обком комсомола дважды просили написать воспоминания. Вот это действительно сделать надо, ее почти исключительный, уникальный опыт должен быть сохранен для сегодняшних и завтрашних девочек. Невест. Невест?.. А она никогда не была невестой, но об этом — после, потом. Об этом потом: главное — заявление об

освобождении от занимаемой должности, а затем невеселое оформление пенсиона по инвалидности.

Ну, и последнее: письмо Вале насчет дочери. Чтобы не присылала, так как рассчитывать на помощь Антонины Федоровны Иваньшиной более не приходится.

— Долго думала, тетя Тоня? — Олег окончательно перешел на «ты», что Иваньшиной, честно говоря, нравилось. — Значит, отказываешь девчонке в возможности учиться в областном вузе?

— Почему отказываю? Пусть учится, только живет в общежитии.

— А ты будешь на костылях ее от института до общежития по вечерам провожать. Так или не так?

— Ну, а если она у меня жить будет, так и вечера отменят?

— Спокойно, тетя Тоня, спокойно. Во-первых, ни к чему девчонке излишняя опека, а во-вторых, если она где и застрянет, так ее Алка приведет. Или я.

— Понимаешь, Олег, я ведь инвалид. Глубокий инвалид.

— Ты — пример. Всем пример, живой пример перед глазами! И ей это — позарез, и она тебе

— позарез. Вот и пиши письмо, чтоб ехала, не задумываясь. Лично встречу у вагона.

Разговор этот случился весной, когда девчонка Тонечка, ни о чем не ведая, еще училась в 10-м классе, еще только готовилась к выпускным экзаменам и об институте, кажется, мечтала больше мама Валя. Но Олег умел добиваться чего хотел, и Антонина Федоровна тогда же написала ей письмо, в котором хоть и сообщала о болезни и намерении уйти на пенсию, но от девочки не отказывалась. Лыкова (ныне Прохорова) тут же ответила, а вскоре и сама примчалась проведать, и участь Тони-младшей была при этом окончательно решена.

Перед отъездом Валя с глазу на глаз потолковала с Аллой. Естественно, о дочери.

— Поможем, вы не беспокойтесь, — сказала всегда спокойная, основательная Алла. — Все будет нормально, а тете Тоне, учтите, о девочке заботу проявить — главное лекарство.

Олег дежурил в добровольной народной дружине, в квартире никого не было, и женщины уютно пили на кухне чай, обсуждая будущую Тонечкину жизнь. Сама Тонечка при этом и знать не знала, что распорядок ее занятий, круг знакомств и точное указание, где, когда и с кем

можно встречаться, уже оговорены на все пять лет учения. Вообще Тонечка старалась никого никогда не огорчать, но в пединститут куда больше стремилась мама, чем дочь, а если о чем Тонечка и мечтала, так это о том, чтобы как можно скорее улизнуть от папы с мамой.

Основательно продумав все, Антонина Федоровна начала решать свои проблемы и первым делом заручилась согласием на приезд Валечкиной Тонечки. Вторым вопросом, откуда ни считай, шли всякого рода бумажные дела, и очень скоро директриса Иваньшина написала в гороно заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Заявление отвозил Олег: он передал его, минуя бюрократическую иерархию. Антонина Федоровна ожидала ответ недели через две, если не через три, но уже через пять дней в палату заглянул лечащий врач:

— К вам, Антонина Федоровна. Посетители.

В голосе было что-то странное, но Иваньшина не успела об этом подумать. Доктор исчез, дверь открылась, и вошли двое немолодых и весьма солидных мужчин с пакетами. Одного Антонина Федоровна знала по совместной работе, но второй…

— Товарищ военком?..

— Был, — сказал отставной полковник, не зная, куда девать пакет с апельсинами. — Был военкомыч, стал горкомыч. Ты что это, старший лейтенант, дезертируешь с фронта?

— Да, ставишь ты нас, понимаешь, в положение, — вздохнул завгороно, по-мужски неуютно и бестолково прижимая к груди собственный пакет, похожий на пакет полковника как две капли воды. — Не посоветовалась, понимаешь, не поговорила. Может, сперва путевочку тебе организовать, чтоб подлечилась, окрепла, дурные мысли чтоб из головы выбросила?

Не продумай Иваньшина свое решение досконально, не покантуй с грани на грань, не взвесь все «за» и «против», не поспорь сама с собою несколько бессонных ночей — уговорили бы они ее. Она ведь не командовать мужиками всю жизнь мечтала, а подчиняться им, и всегда была готова склонить голову перед волей и тут бы не выдержала. А сейчас только улыбалась, вытирала тайком слезинки (ослабела настолько, что уж с благодарности, от умиления нюни разводит!) и твердо знала, что права она, а не они. И спокойно, толково начала объяснять… Но тут Олег вошел, пришлось прерваться.

— Чего тебе?

— Здравствуйте, товарищи. Прости, тетя Тоня.

Убрался. Да еще подмигнул ей при выходе: мол, не унывай, соседка! И Антонина Федоровна с еще большим подъемом закончила свои объяснения.

— Резон, — нахмурившись, сказал бывший военком. — Совестливая ты баба, Иваньшина Тоня. Всем бы такими быть.

А заведующий гороно только сокрушенно вздохнул. Молча пожал руку, кивнул ободряюще. И отставной полковник добавил:

— Наша ты, поняла? Пенсионерка там или нет — все равно наша. С ответственностью говорю.

В коридоре посетителей ждал Олег. Вежливо проводил до машины, тихо переговорил и чуть не бегом вернулся в палату.

— Пиши заявление на телефон, тетя Тоня. Есть полная договоренность.

— А я тебя просила? Неужели ты не понимаешь, что мне ничего не нужно? Ничего. Не за то я на фронт пошла, чтобы квартиры да телефоны вне очереди…

И примолкла, вдруг расслышав собою же сказанное: «квартиры». Расслышав и вспомнив, что в победном горьком, веселом и нищем сорок пятом, когда тысячи вдов и сирот ютились по подвалам и времянкам в немыслимой тесноте, сырости

и мраке, не отказалась ведь от предложенной старым военкомом помощи, вырвала у городских властей отдельную комнату. Не постеснялась ведь, орденами брякая, мимо бесконечных, тихих, покорных очередей на прием прийти за ордером. Думала она тогда об одиноких матерях, о вдовах, о детишках в трущобах? Нет, не думала. О себе думала она тогда да о лейтенанте Валентине Вельяминове. А сейчас поумнела, о других начала думать, а того и до сей поры не сообразила, что и Олег и Алла еще не умеют ни о ком, кроме себя, страдать да заботиться. Кроме себя и ее. А может, и о ней заботятся тоже только ради себя? Ну и что же тут крамольного? Они гнездо строят, им жить и дольше и дальше, и, значит, все правильно.

— А если ночью доктор потребуется, что делать прикажешь? Бегать по улицам да исправный телефон-автомат искать?

— Твоя правда, Олег.

Вот так и разрешились все проблемы Иваньшиной: прощением продавщицы Трошиной, девочкой Тонечкой и уходом на пенсию, так сказать, с обменом на домашний телефон. Его и впрямь поставили очень быстро — Олег сам добывал все резолюции, сам просил, сам грозил и сам телефонистам помогал, — и к возвращению

Антонины Федоровны ее ждало два аппарата: один — в собственной комнате, другой — в коридоре на тумбочке.

— А почему в свою комнату не провели?

— Нам, тетя Тоня, не положено.

— Глупости какие!

Иваньшина сердилась для виду, потому что была очень довольна, увидев второй телефонный аппарат на общей территории. В этом для нее заключалось нечто большее, чем подчеркнутое отсутствие претензий: надежность. Надежность этих людей прочла она в столь простом и столь очевидном поступке.

— Значит, из дома без нас ни шагу. Продукты Алка будет доставлять, а гулять нам с вами, тетя Тоня, придется по вечерам. И чтоб телефон всегда под рукой, когда мы на работе.

Режим был задан веселым соседом, умевшим добиваться своего. А распорядок дня складывался в зависимости от занятости Олега и Аллы, поскольку существовала не только их работа, но и дополнительные затраты времени на различного рода дежурства, собрания, заседания, магазины, знакомых, редкие развлечения вроде общих культпоходов у Аллы или еще более редких посещений пивбара у Олега. Но что бы ни было у

каждого в отдельности или у двоих вместе, Алла никогда не забывала о молоке, твороге и кефире для тети Тони, и Олег, когда бы ни возвращался, непременно выкраивал часок, чтобы погулять с нею по тихому вечернему переулку, куда выходил торец их деревянного дома. При этом соседи всегда были веселы и добродушны и с нею и друг с другом, и Антонина Федоровна благодарила судьбу за свое удивительное везение.

— Если по среднему арифметическому, то нам двоим денег хватает. — Олег любил поговорить, сопровождая Иваньшину на ежевечерних прогулках. — Запросы у нас скромные, к хрусталям мы не приучены.

— А зачем кровь часто сдаешь?

— Для отпуска, тетя Тоня. Они мне три дня к отпуску за каждую банку плюсуют, а я туризм люблю. Костерок, палатка, лес шумит — свобода!

Что-то он говорил еще, а Антонина Федоровна вдруг припомнила, что ее соседи никогда не брали отпусков вместе. Ни разу. И даже остановилась.

— А Алка палаток с кострами не любит?

— Почему не любит? Еще как любит… — Олег спохватился, помолчал, засмеялся. — Главное в отдыхе — свобода, тетя Тоня, понимаешь? И

поэтому мы берем отпуска в разное время…

— А вот врать не надо. — Она вздохнула. — Я, дура, только сейчас сообразила, что вы меня ни разу одну не оставляли. Ни разу за все время нашей общей жизни.

И зашагала вперед, резко вынося тело и со стуком переставляя костыли. Олег прибавил шагу, помолчал, вздохнул:

— Хуже будет, когда ребенка заведем.

— Хуже?

— Труднее, — поправился он. — И в смысле туризма, и в смысле денег. Но я, тетя Тоня, знаешь во что верю? В собственные руки. Хорошие у меня руки, не хвалясь, скажу. В смысле там техники, электроники, всяких тонкостей. Я ведь в техникум электронной промышленности исключительно по доброй воле пошел. Исключительно сам выбрал, хоть и конкурс там был, как в киноактеры. Но я угадал с призванием, и конкурс мне был — тьфу, одно удовольствие. Технарь я, тетя Тоня. Вполне современный технарь с электронным уклоном. И знаешь, чем думаю заняться? Реставрацией телевизоров, поняла? Не ремонтом — ремонт и служба быта сделает, а реставрацией, или, чтоб ясно было, так восстановлением абсолютных гробов.

— Что-то ты плоховато мысль излагаешь, Олег. Может, специально темнишь, а?

— А чего темнить, когда дело чистое. В комиссионке старый телевизор стоит два, от силы — пять червонцев. Я его законно покупаю, довожу до ума и четкой видимости и — снова в продажу. Только теперь уж не за три червонца, а за две сотенных. Законно?

— А где же ты возьмешь детали?

— А руки на что? — Он улыбнулся. — Все предусмотрено, тетя Тоня, сальдо-бульдо в нашу пользу — и никакого тебе мошенства!

Антонине Федоровне было трудно спорить с Олегом. Точнее, даже не спорить, а разговаривать на равных. И причиной тому являлась его всегда чуть ироничная, но добрая и какая-то замедленная, что ли, улыбка. Он не просто улыбался, он словно расцветал неторопливо, сам удивляясь, что улыбается и расцветает. И спорить с такой улыбкой не было никаких возможностей; Иваньшина знала, что это бесполезно, а потому, как правило, и не пыталась. Но никогда и никому — даже себе самой! — не признавалась в истинной причине своего соглашательского поведения. А порою вдруг что-то срабатывало в ней, что-то принципиально обратное тому тайному, и тогда

она начинала спорить решительно и нелогично, и, хотя при этом предпочитала смотреть в пол, переубедить ее не удалось бы никому на свете. Олег слишком хорошо изучил ее: наткнувшись на подобную преграду, тут же менял разговор и к теме, вызывавшей резкое неприятие, более не возвращался.

— Тебе бы машину, тетя Тоня. Села за руль — и на природе.

— А я и так вон гуляю.

— Это в городской-то пылище?

И опять Иваньшина растерянно примолкла, потому что сочетание абсолютно серьезного тона с медленно «расцветающей», как определяла про себя Антонина Федоровна, улыбкой сбивало с толку. Порой ей казалось, что Олег как бы проверяет ее на нравственную стойкость, искушая соблазнами и чуточку подсмеиваясь при этом. Как бы там ни было, а их споры никогда, ни разу еще не доходили до выяснения принципиальных позиций: уловив металл в ее тоне, Беляков немедленно отступал, стараясь отделаться шуточкой, но Иваньшина ощущала некоторую досаду, поскольку никак не могла понять своего молодого соседа.

С Аллой было куда легче. Неторопливо и об-

стоятельно обсуждали хозяйские дела, смотрели — если получалось со временем — любимую кинопанораму с Эльдаром Рязановым, вязали, шили, чинили. Алла была мягкой, уютной и покладистой; с нею становилось покойно, мир суживался до размеров кухоньки, а все его тревоги, страсти и трагедии оставались где-то за бревенчатыми стенами их двухэтажного двухподъездного двенадцатиквартирного дома в тихом, словно забытом городом и строителями переулке почти в самом центре. С нею Иваньшина приятно ощущала себя хозяйкой, отдыхала душой, но с Олегом все равно было интереснее, и тянуло ее к нему, наверное, только поэтому.

— Завтра к тебе, тетя Тоня, из издательства рыжая придет. Крашеная, что ли, не разобрался.

— Какое еще издательство, Олег?

— Областное. Ты же как-то сказала, что хочешь книжку о себе написать. Вот и пиши теперь.

Он вернулся с работы, Алла еще не пришла, и Антонина Федоровна кормила его на кухне. Подавала и убирала, а когда нечего было ни подавать, ни убирать, садилась напротив и с удовольствием смотрела, как неторопливо и с аппетитом он ест. И становилось на редкость тихо и радостно. И вдруг — издательство, какая-то рыжая, какая-то

книжка.

— Никакой книжки я писать не буду.

— Понимаю. А еще понимаю, что для этого дела договор нужен. Взаимные обязательства, сроки и аванс.

— Аванс?

— Точно. Я у главного редактора был, все оговорено, команда спущена. Завтра жди рыжую редакторшу. Ольгой ее зовут.

Он не давал ей ни опомниться, ни озаботиться, ни запечалиться, ни уйти в себя. Он отлично понимал, что бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Иваньшина может жить в борьбе, в деле, в сражении, а не станет всего этого — вспомнит, что глубокий она инвалид, что жизнь прожита, что счастья нет и не будет и — все. Кончится боевая, деятельная, живая тетя Тоня, и возникнет кислая, старая, занудная развалина-соседка. Старуха, уныло считающая рублевки персональной пенсии и дни до смерти. И Антонина Федоровна слушалась его не только из-за медленной его улыбки, но главным образом в благодарность за то, с какой неукротимой выдумкой и энергией он дрался за нее.

— Ох, не смогу я.

— Сможешь.

И Иваньшина сразу перестала тревожиться: действительно, а почему это она не сможет? Мужиков на пулеметы поднимать могла, а написать об этом — кишка тонка? Неправда, напишем все, как оно было: другие ведь пишут.

Вообще-то о том, чтобы написать небольшую книжку, она думала часто, потому что, кроме желания поделиться своими размышлениями, опытом воспитания и собственной жизнью, имела и некоторый навык, так сказать, пробу пера. В ее активе числилось пять работ: две статьи в «Учительской газете» по вопросам профессиональным и три очерка — в областной. После этих трех очерков, а по сути, отрывков из будущих воспоминаний, к ней и обратилось с предложением издательство, поддержанное обкомом комсомола. Но Антонина Федоровна все медлила, все раскачивалась, все никак не могла решиться. Ей нужен был толчок извне; Олег и в этом случае все понял и все организовал.

Через день действительно явилась молодая, слегка подкрашенная блондинка. Оговорив с Антониной Федоровной круг вопросов, которые желательно было отразить в будущих воспоминаниях, рыжая помогла составить нечто вроде творческой заявки, а вскоре привезла договор,

подписанный директором издательства. Согласно этому документу гражданка Иваньшина, именуемая в дальнейшем «АВТОР», обязана была через год представить издательству рукопись объемом в восемь авторских листов, то есть, как пояснила рыжая, в двести страниц машинописного текста.

— Ой, Олег, втравил ты меня!

— Ерунда, тетя Тоня. Подумаешь, авторские листы! Это же все равно что двести писем написать. Двести писем в год: неужели не напишешь?

Антонина Федоровна успокоилась после такого разъяснения, но через полтора месяца ей переслали аванс. Сумма показалась значительной, Иваньшина занервничала, собралась было отослать деньги назад, но тут случилась Алла, с которой захотелось посоветоваться, и спокойная, рассудительная, этакая «девочка с поволокой» как-то очень просто убедила ее, что все будет отлично, а деньги отсылать — значит тех обидеть, кто авансом доверяет. Такой аргумент не приходил Иваньшиной в голову; она с облегчением рассмеялась, и неудобство развеялось само собой. Но возникло в иной форме, когда Антонина Федоровна принесла всю полученную сумму на кухню и положила на стол.

— Это вам.

— Еще чего! — закричала Алла. — Это что же такое? Это же как тебе не совестно, тетя Тоня?

— Хорошо, — неожиданно сказал Олег.

Сгреб деньги со стола, сунул в карман, и Иваньшиной сразу стало не по себе. Нет, она, конечно, не жалела денег — она вообще никогда ничего не жалела, — но ей хотелось, чтобы соседи отказывались, отнекивались, сердились бы даже, а она бы их уговаривала. Тогда все выглядело бы вполне достойно, прошло бы по каким-то «правилам», что ли, а он вместо этого сунул деньги в карман, даже не сосчитав.

— Вот и отлично, — с деланым оживлением сказала она. — Вам они куда нужнее.

— Отдай сейчас же, — сквозь зубы процедила Алла.

— И не подумаю.

— Я сказала, верни деньги.

— И не подумаю! — весело повторил Олег. — Коли тетя Тоня дает, значит, о чем-то думает. Так или не так?

— Конечно, думаю, — согласилась она, но ей почему-то стало вдруг совестно.

— Стыдно, стыдно! — громко крикнула Алла, стукнула по столу бутылкой кефира, заплакала и

убежала к себе.

— Не расстраивайся, тетя Тоня, — тихо сказал Олег. — Ребеночка она ждет, вот какое дело.

— Ребеночка? — радостно ахнула Антонина Федоровна, а у самой отчего-то так сжало сердце, что пришлось сесть.

Но Олег не заметил и не ответил, а ушел вслед за женой. Утешать, наверно. А на другой день, воротясь с работы, протянул Иваньшиной новенькую сберкнижку.

— Держи свои капиталы, тетя Тоня. И нечего переживаниями заниматься. Работать пора, а то аванс назад потребуют.

На другой день он принес три пачки бумаги и целый набор шариковых ручек, но Иваньшина все никак не могла тронуться с места. Каждое утро, проводив соседей на работу, садилась к столу, клала перед собою лист и застывала над ним, не в силах вывести первую фразу. Именно первую: дальше она ясно представляла, о чем будет писать.

Звонок в дверь застал ее в разгар бессмысленного отчаяния над чистым листом. Пока она поднималась, пока брала костыли, пока тащилась к входным дверям, звонок брякнул еще раз. Коротко и очень неуверенно.

— Иду, иду, — сердито проворчала она.

Распахнула дверь и обмерла: перед нею, держа в руках цветы и меховую шапку, стоял седой, с заметной лысинкой, солидный, но вполне еще стройный мужчина.

— Здравствуйте, старший лейтенант Тонечка.

А у нее запрыгали губы — слова выговорить не могла. И слабость такая вдруг изнутри прорвалась — если бы не костыли, рухнула бы старший лейтенант Тонечка. Но посетитель догадался, шагнул через порог, подхватил.

— Спасибо, Валентин. Я сама дойду, спасибо.

— Я здесь в командировке, — зачем-то начал объяснять он. — За один день управился и вот решил…

Кажется, Вельяминов волновался больше, чем она. Говорил что-то еще, столь же необязательное: Антонина Федоровна не слушала. Приплелась в комнату, рухнула на стул. Вельяминов сел напротив, тут же перестав бормотать. И так они сидели долго, улыбались друг другу и молчали.

— Извините, — наконец тихо, с трудом сказала она. — Это так неожиданно. Сколько же лет прошло?

— Должно быть, немало, если старший лейтенант Иваньшина обращается к лейтенанту

Вельяминову только на «вы».

Они говорили весь день. О чем? Обо всем и ни о чем, как всегда говорят давно не встречавшиеся друзья. О своей молодости, о подвале военкомата, о бесконечных спорах и ссорах, о холоде и голоде победного сорок пятого, о неповторимости судеб поколений.

Вельяминов ушел поздно, а утром вылетал в Москву. Олег пошел его провожать, Антонина Федоровна вернулась в комнату из прихожей, села за стол и, продолжая улыбаться и смахивать слезы, взяла ручку и вывела первую фразу: *«Сегодня утром вдруг раздался звонок, и ко мне прямо из юности шагнул лейтенант Валентин Вельяминов...»*

Потом она изменила первые фразы, но начала именно так и именно тогда. Начала с улыбкой и слезами, потому что к ней в комнату и вправду шагнула в тот день ее молодость, счастье и отчаяние: ее последняя любовь.

Антонина Федоровна писала натужно и медленно, трудно цепляя слово за слово и часто теряя мысль. Порою ее охватывало бессильное отчаяние, она бросала работу, но вечером появлялся Олег и безошибочно определял:

— Что, тетя Тоня, опять «караул» кричишь?

— Ты все смеешься, все зубоскалишь, а у меня ничего не выйдет. Ничего. Я неспособная.

— Понимаю: муки творчества. Понимаю и уважаю. Но скажи честно: может человек в день написать страницу? Даже самый неспособный?

— Допустим…..

— А от тебя требуется… сколько у нас осталось? Сто восемьдесят три? А до срока триста двенадцать дней. Есть вопросы?

После такого урока арифметики вопросов не возникало. Поворчав, Иваньшина успокаивалась и опять с утра усаживалась за стол. Писала, вычеркивала, исправляла, добавляла, рвала страницу, но дело медленно продвигалось. А как-то открылась дверь, и вошла светленькая, довольно рослая девушка с волосами до плеч, стареньким рюкзаком и новеньким чемоданом.

— Здравствуйте, это я.

— Тонечка? — заулыбалась Иваньшина. — Ну я тебя где угодно бы узнала: вылитая мама!

Стали жить вчетвером, уже реально, тревожно и нетерпеливо ожидая пятого. Как все нерожавшие женщины, Иваньшина любила давать советы беременным, точно знала, как им полагается себя вести, и строго блюла их режим. Возможно, это было бы тягостно, но Алла искренне любила

свою тетю Тоню, тетя Тоня любила свою Аллу и ворчала на нее с таким открытым беспокойством, тревогой и озабоченностью, что Алла все ей прощала, хотя порою — когда не было Олега — и выдавала капризы.

— Боюсь! Первого рожать не боялась, а второго боюсь.

— Не бойся, это все естественно, — важно говорила Иваньшина. — Ты для этого на свет родилась.

А так все шло своим чередом. Алла хрустела солеными огурчиками, Антонина Федоровна писала и рвала, рвала и писала, Олег где-то раздобывал старые телевизоры, перебирал, перепаивал и регулировал их, допоздна засиживаясь на кухне, а Тонечка, которую все сразу же окрестили Маленькой, усердно готовилась к экзаменам. Она выглядела тихой и послушной, но Иваньшина, сразу же оценив ее крепкую фигурку, озабоченно хмурилась, по себе зная, какие могучие силы бушуют сейчас во вчерашней десятикласснице. И даже поделилась своим беспокойством с Аллой.

— Я так скажу, что если у нее был парень, то нечего нам волноваться. А вот если не было никого, тогда хуже. Тогда, тетя Тоня, голова у нее не на месте.

Но пока Тонечка Маленькая корпела над учебниками, вовремя являлась домой и ни о чем, кажется, не думала, кроме института. Но Антонина Федоровна беспокоилась не за сегодняшнее ее состояние, а за завтрашнее поведение, считала дни, какие остались до экзаменов, и писала еще медленнее. Больше рвала, чем писала, хотя стопочка отпечатанных листочков росла и росла. И Иваньшина любила взвешивать эту стопочку на ладони.

Но все кончается, кончилось и нетерпеливое ожидание. Тонечка Маленькая весело и отчаянно ревела от счастья, Олег купил торт, Алла подарила новой студентке колечко, а Антонина — фирменные джинсы, которые лишь финансировала, а доставал Олег. На джинсах настояли соседи, а сама Иваньшина поначалу была решительно против. Но ее уговорили, и правильно сделали, поскольку вопль Тонечки Маленькой был столь восторженным, что все засмеялись.

— Штатские! Товарищи! Настоящие! Штатские!

— А ты думала, военные тебе подарим? — улыбнулась старший лейтенант Иваньшина.

— Ой, тетя Тонечка, ничего-то вы не понимаете!

Свежеиспеченная студентка чмокнула Аллу, поцеловала Иваньшину, церемонно пожала руку Олегу и умчалась примерять подарок. Все еще улыбались, когда вошла чрезвычайно довольная и гордая студентка.

— Как влитая!

— Аж к телу прилипли, — шепнула Алла Антонине Федоровне. — Хороша девочка. И знает ведь, чертовка, что хороша!

— Ох!.. — вздохнула бывший командир роты. — До чего же с мужиками и проще и легче.

Но опасения ее (по крайней мере, поначалу) оказались преждевременными, Тонечка осталась маленькой и в институте: вовремя возвращалась домой, дружила с тихими и аккуратными девочками, всегда говорила, куда идет и когда вернется. Даже Алла, в то время уже с напряженной осторожностью носившая живот, сказала:

— Уж такая наша Тонька скромница, аж жуть.

— Почему жуть?

— В тихом омуте, тетя Тоня…

— Брось! — резко оборвала Иваньшина. — Знаю, тяжко тебе сейчас, но потерпи. А злой становиться — последнее дело.

— Я не злая, — вздохнула Алла. — Я вас люблю, тетя Тоня.

Что скрывалось за этой фразой, она не стала уточнять, а Иваньшина не стала допытываться, но почему-то заплакала. Она очень боялась за Аллу, хотя врачи утверждали, что все развивается нормально, и плакала сейчас от этого страха и еще — от жалости: ее разбитое, непослушное, будто чужое тело невольно заставляло все время думать, что роды — смертельно опасный акт.

А они прошли легко и быстро: Алла вскрикнула в одиннадцать — только телевизор на кухне выключили, а родила через полтора часа.

— Шустрый мальчонка! — улыбался Олег. — Без задержки, понимаешь, на свободу рванул!

Вопреки обыкновению он в ту ночь пил цинандали в одиночестве. Обе Тони — Большая и Маленькая — хлопотали вокруг, кормили, угощали, подкладывали. А он мотал счастливой головой и улыбался:

— За сына — выпил, за маму — выпил, а за тебя, тетя Тоня? А за тебя, Маленькая? А за всех нас? За наш мир, за наш дом, за нашу семью и за нашу кухню, где так вкусно кормят кадровых детдомовцев!

Вскоре счастливый папа привез Аллу с младенцем, и начались обычные неприятности. То у Аллы пропало молоко, то у малыша заболел жи-

вотик, то с трудом резались зубки, то еще что-то. И все ходили невыспавшиеся и очень довольные.

Маленький Валерий Олегович уже начал бродить по кроватке, цепко держась за перильца, когда названая бабка его навсегда утратила способность стоять на собственных ногах: они больше не слушались ее, не держали, подламывались, будто стали чужими. До этого она хоть как-то передвигалась, опираясь на две палки попеременно и раскачиваясь всем телом; на жестком стуле ей сидеть стало трудно (очень уж начинала ныть поясница, прямо как застуженный зуб), и Олег купил в комиссионке кресло: старое, пухлое и очень уютное. Она любила сидеть в нем: работала над книгой не столько о себе, сколько о погибших друзьях, читала, вязала и ждала Тонечку Маленькую. А Тонечка ранней весной не вернулась из института.

— Тетя Тонечка, я позже приду сегодня! Я у подружки заниматься буду!

Прокричала две фразы в телефон и повесила трубку, чтобы никто ни о чем не спросил. И исчезла до утра.

— Тетя Тонечка, доброе утро, я в институт побежала! Ты не сердись, я у Наташки ночевала, а у нее телефона нет!

Опять ровно две фразы, и опять — отбой, чтобы ничего не объяснять. И действительно побежала на лекции, а Антонина Федоровна, всю ночь просидевшая в кресле рядом с молчавшим телефоном, хотела встать — и не смогла.

— К несчастью, это необратимо, — тихо сказал Алле врач. — Предупреждали ведь, чтобы никаких волнений…

Взбешенная Алла надавала Тонечке Маленькой по щекам. Тонечка ревела и умоляла простить ее, Олег с нею больше не разговаривал, но Антонине Федоровне легче от этого не стало. Студентка искренне убивалась, стремглав мчалась после лекций домой, ухаживала, как могла и умела, и все время проклинала себя за эксперимент, сознаться в котором, правда, так и не решилась.

А эксперимент заключался в том, что Тонечка вместе с двумя подружками поехали на дачу к одному из старшекурсников. Там была музыка, свечи, вино, камин, трое интересных молодых людей, умные разговоры и в конце концов — постель. Правда, Тонечка легла одетой (только платье сняла, чтобы не мялось) и выдержала характер, измучив и себя и соседа. Она впервые проводила ночь с мужчиной, которому ничего не позволила, и ей было так прекрасно и так страш-

но, что она напрочь забыла обо всем на свете. И ведь ничего с «тем» не было, ничего решительно, а расплата оказалась немыслимо жестокой. И Тонечка страдала вдвойне именно потому, что ей не в чем было покаяться.

— Ничего, — старательно улыбалась Антонина Федоровна. — Зато усидчивости прибавится, глядишь, и впрямь книжку закончу.

Она хорохорилась из последних сил: потеря ног тяжко ударила по ней прежде всего потому, что сделала ее совершенно беспомощной. Впервые в жизни она зависела от других людей, причем посторонних, какими бы любящими и прекрасными они ни были. Длинными ночами (господи, она ведь и не догадывалась, насколько же бессонная ночь длиннее дня!), слушая тихое посапывание Тонечки Маленькой, Антонина Федоровна часами глухо рыдала в подушку, несколько раз до отчаяния, до приступа физической боли жалея, что теперь уж навеки лишена возможности подползти к дряхлому комоду, выдвинуть верхний ящик и достать из-под кучи старых писем, газет и документов безотказный, хорошо вычищенный «вальтер». И даже не расслышать выстрела: она слишком долго воевала, чтобы промахнуться в решающий момент. И еще

с болью, с горечью, с яростным презрением к себе думала, почему же она не сделала этого раньше, пока еще могла хоть кое-как передвигаться. «Надеялась? На что ты надеялась? Что вылечат? Что ноги заново отрастут? Что кто-то замуж возьмет каракатицу безногую?.. Нет, просто дрейфила ты, Тонька. Сознайся же, что просто боялась, что до последнего предела ждала да выжидала, что чудо высиживала, дерьмо трусливое. Ну вот он, твой предел. Дождалась чуда. А дальше? Что дальше-то? Тимуровцы с батоном под мышкой?..»

Пока Иваньшина не спала ночей, пока терзалась и беззвучно рыдала, привыкая к новому своему положению, Олег тоже ждал. Правда, не по собственной инициативе, а по совету фронтовика-невропатолога, к которому сразу же бросился за помощью.

— Кресло на колесах — не проблема. Проблема, чтобы она на этом кресле в ваше отсутствие к окну не подрулила. Какой у вас этаж? Второй? Ей достаточно.

— А что делать?

— Ждать. Просто не торопить событий: ко всему человек привыкает.

Пока решались эти психологические проблемы, Антонина Федоровна решала проблемы

свои. Как-то незаметно, исподволь, продолжая еще горько размышлять о собственной беде, Иваньшина начала все чаще думать о Тонечке Маленькой. Она не таила против нее ни малейшей обиды, но, как и в случае с Трошиной, очень хотела уяснить причины, выстроить для самой себя логику девичьего поведения в ту злосчастную ночь. Оказывается, для того чтобы хоть как-то существовать, ей позарез необходимо было оправдать того, кто послужил вольной или невольной причиной ее несчастья. Понять молодых, во что бы то ни стало постичь причинно-следственную цепочку их поступков, шкалу ценностей, этику поведения — вот какую задачу ставила она, без всяких, впрочем, формулировок, потому что и в этом состоянии продолжала ощущать себя командиром и директором, то есть вечно ответственной за чужие грехи.

Естественно, она не поверила ни в какую Наташку не только потому, что имела большой навык школьной работы, а прежде всего потому, что оставалась женщиной и ясно представляла, сколь нуждается в жизненном опыте юная Тонечка Маленькая. В том опыте, который не может передать ни мама, ни семья в целом, ибо его приобретают не с чужих слов, а из собственных

действий, из личных побед и поражений, удач и неудач. Обычно это происходит в среде сверстников, но для Тони этот путь оказался практически исключенным, потому что Тонина мама Валя Лыкова (ныне Прохорова) была не просто учительницей, но и классным руководителем в той самой школе и в том самом классе, в котором Тоня росла и развивалась, превращаясь из девочки в девушку, согласно всем законам естества.

Согласно этим законам, Тонечке еще в школе надлежало влюбиться, ревновать, страдать, реветь от счастья и задыхаться от ненависти. Именно там испытываются силы и бессилие, твердость и гибкость, вырабатывается чувство дистанции, мера дозволенности и границы собственной смелости. В школе юность проходит свою первую «школу»; это естественно и закономерно, но как раз-то этой естественности Тонечка и была лишена, поскольку постоянно пребывала на маминых глазах. Закономерность познания оказалась нарушенной, и Тонечке, вполне созревшей и сложившейся к пятнадцати годам, пришлось загонять свою природу внутрь и научиться скрывать, что эта самая природа пенится и бродит в ее душе. Дисгармония росла, Тонечка мечтала не о том, о чем рассказывала маме, и

рассказывала не о том, о чем мечтала, не потому, что стала лживой, а потому, что была вынуждена жить не по естеству, а по законам предлагаемых обстоятельств. «В разведку сбежала, — усмехалась про себя Антонина Федоровна. — Ну что же, девятнадцатый год девочке, и все естественное прекрасно…»

Начав с размышлений о Тонечке, Иваньшина незаметно перешла на думы о молоденьких девушках вообще. Она не разделяла мнения некоторой части своих коллег о якобы присущей нынешней молодежи определенной расхлябанности; она словно смотрела на юных с другой стороны и подмечала прежде всего уровень их развития, чувство собственного достоинства, широкую информированность. «Нынешняя молодежь стала интеллигентнее» — так определила она для себя разницу между военной молодостью и молодостью сегодняшнего дня. И тут же вспомнила, как почему-то нападала на интеллигенцию и как обижался лейтенант Валентин Вельяминов. И сырой подвал, и картошку в мундире, и кусочек сала, сбереженного для него. А он съел и не заметил… Неправда, заметил. Все он замечал, потому что был замечательным. Может быть, замечательным называется человек, который замечает

окружающих? Часто ли обычные люди замечают своих попутчиков, соседей, даже сослуживцев? Увы, нечасто, ох как нечасто! Вот потому-то порою и слышишь о современной молодежи: они такие, они сякие, длинные волосы, брюки вместо юбок и прочий вздор. А они, сегодняшние, просто-напросто свободнее нас, вчерашних. Свободнее, раскованнее, естественнее — и это мы им дали свободу. Там, на залитых кровью полях Великой Отечественной. Что сказала на том злосчастном педсовете Трошина, когда ее исключали из школы? «Мы не другие, мы новые, понимаете? Вы старые, а мы новые. Новые!..» Кажется, так? Да, да, именно так: «Мы новые». И это абсолютно верно: они действительно новые. Качественный скачок, оплаченный нашими жертвами. Кровью, болезнями, голодом и холодом всего народа. Вот что следует непременно проследить в книге: рост новых людей, новой поросли нашей страны. А ты о собственном героизме талдычила. К черту, все переделать заново!

Вечером она потребовала бумаги и карандашей: писала, лежа на спине, и шариковые ручки при этом не работали. И писала, писала, писала, забывая о сне и еде.

— Пишет! — с восторгом сообщил Олег док-

тору.

— А я что говорил? Теперь смело можете предлагать ей кресло на колесах.

Через некоторое время обезножевшая Антонина Федоровна получила каталку, дававшую ей хоть какую-то возможность не только перемещаться, не только хоть как-то обслуживать себя, но и в меру сил помогать их стихийно сложившейся коммуне, когда уже не могла писать от усталости. И возможность эта появилась в то время, когда все мысли о «вальтере» в комоде уже были передуманы, пережиты и отброшены навсегда. Антонина Федоровна Иваньшина, покопавшись, вновь отыскала в себе силы и смысл жить дальше.

— Вот тебе персональная машина, тетя Тоня.

Несмотря на слезы (плаксива стала Иваньшина, что уж тут поделаешь!), на безмерную благодарность, Антонина Федоровна подсознательно запомнила эту фразу. Три дня осваивала кресло, привыкала, приспосабливалась, вновь обретя свободу, а фраза сидела где-то в глубинах и вынырнула вдруг. И зазвучала в голове, и уж не отпускала, что бы Иваньшина ни делала и куда бы ни ехала: к Валерику или на кухню, в общую ванную или в свою комнату. Антонина

Федоровна мусолила ее и так и этак, вспоминала интонацию, взгляд, с которым произнес ее Олег, и наконец, как ей показалось, поняла. И когда никого не случилось дома, позвонила бывшему военкому, а ныне крупному работнику горкома партии.

— «Москвич» тебя устроит? — без вопросов спросил он. — Инвалидный, с ручным управлением. Ну все, готовь документы, курьера пришлю.

— Только пусть твой курьер сперва мне позвонит. Не хочу, чтоб соседи до времени знали.

В следующем квартале Антонина Федоровна получила через райсобес инвалидный «Москвич» с ручным управлением. Узнала она об этом днем, упросила прислать нотариуса, и вечером, обмирая от счастья, положила перед Олегом документы на машину и доверенность.

— Катай нас.

А он долго ничего не мог сказать. Разглядывал документы, сопел, ниже обычного склонив голову, а когда поднял ее и впервые улыбнулся, Антонина Федоровна увидела слезы на глазах.

— А может, ты и вправду мама моя, тетя Тоня?

Да, если бы не инвалидная коляска — совсем бы современная идиллия. Нежно и уважительно относясь друг к другу, пять человек жили воисти-

ну душа в душу, хотя на все пять душ имели две комнаты со столь крохотной общей площадью, что жить можно было только плечо к плечу, только постоянно ощущая друг друга локтем, помогая друг другу и уважая друг друга. Почти повсеместно изжившее себя братство коммунальных квартир существовало в самом центре областного города на втором этаже деревянного дома, кое-как отремонтированного саперами в победном сорок пятом. Но сколь бы ни прекрасно рисовалось это коммунальное братство, люди жили в постоянно напряженном поле, ибо келий было всего две на пятерых, а человек нуждается в одиночестве куда больше, чем в компании, даже если компания эта — почти родная семья. Вот почему Олег все чаще и чаще начинал разговоры о переселении, которых Антонина Федоровна не просто избегала, а очень боялась и, отшучиваясь, сколько могла, уходила… то есть уезжала к себе, когда иссякал запас юмора. И там, за закрытой дверью, часто плакала, давясь слезами и не решаясь громко вздохнуть. И Алла всегда недовольно выговаривала Олегу:

— Не смей ее обижать, слышишь?

— А жить-то как? — шепотом спрашивал он. — Ну как, ну объясни.

— Да уж как-нибудь, — осторожно вздыхала жена. — Только не за чужой счет: ведь пропадет она без нас, Олежка.

— Вот я и бьюсь над тем, чтобы вместе с нею. У юристов был, в горисполкоме интересовался. Обещают, но либо ждать неизвестно сколько, либо микрорайон, куда один трамвай два часа ходит. Тебя устроит трамвай? А садик для Валерика? А работа — твоя и моя? Или ее тоже на микро сменим? А телефон? Ну и наконец, мелочи жизни: врачи, поликлиника, медпомощь без всякой волокиты, аптеки и тепе и теде. Стало тете Тоне хуже — гарантия, что через десять минут «неотложка» примчится, потому что ее тут все знают. А в том микрорайоне кто к ней примчится? Участковый врач на попутном самосвале?

— И все-таки надо подумать, Олежка.

— Вот я и думаю. — Он помолчал. — На углу Гвардейской кирпичный домище строят, видела? Первой категории, по спецпроекту, я узнавал. Но шансов попасть туда у нас нет, потому что радиозавод для себя его строит, для своих работников. Вот если бы землетрясение случилось и рухнули мы, тогда бы другое дело. Тогда по линии несчастного случая. Четырехкомнатную, понятно, не дадут, но там и трехкомнатные — как

две наших. С холлом, со встроенными шкафами, кухня — двенадцать метров, две лоджии — хоть на велосипеде гоняй.

В последнее время Беляков заводил осторожные разговоры о новых квартирах если и не чаще, то настойчивее, что остро ощущала Антонина Федоровна. Он словно готовил ее к чему-то; она считала, что готовит он ее к неминуемому расставанию, и рыдала ночами. Гибелью считала она это неминуемое расставание, смерти оно для нее было подобно, и беспомощная Иваньшина страдала беспомощно и невыносимо. Настолько невыносимо, что однажды ночью подъехала на своем заботливо смазанном и абсолютно беззвучном кресле к комоду, вытянула верхний ящик, нащупала под газетами «вальтер» и осторожно достала его.

Вот он, спаситель, боевой товарищ, столь же заботливо ухоженный ею, как ее инвалидная коляска Олегом. Антонина Федоровна беззвучно оттянула затвор, вогнав патрон. Оставалось поднести и спокойно, плавно, неторопливо нажать спусковой крючок…

А Тонечка Маленькая вдруг всхлипнула за ее спиной, завздыхала, даже захныкала, будто ребенок. Может, приснилось ей страшное, может, о

маме вспомнила, может, просто пожалела, что не позволила тогда ему ничего, — кто их, девочек, поймет? И Антонина Федоровна тихо положила пистолет на место. Чуть скрипнула тугим ящиком комода и поехала к своей кровати, на которую приловчилась переваливаться с кресла без посторонней помощи.

Дом на Гвардейской строился медленно, но рос, и этот его неумолимый рост очень заботил Олега. Путь на работу пролегал мимо стройки, два раза в день Олег видел ее, точно знал, сколько кирпичей положили за смену, и заметно терял столь свойственное ему ровное расположение духа. Журавль в небе вот-вот должен был улететь в чьи-то неведомые руки…

А потом просветлел, заулыбался, как прежде, и вечером с глазу на глаз сказал Алле:

— Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный.

— Это ты насчет дома?

— Это я насчет того, чтобы нам с тетей Тоней не расставаться. А вариант такой: наш дом признают аварийным, срочно ставят на капитальный ремонт, а нас временно переселяют в тот, что на Гвардейской.

— А если совсем не туда?

— Надо организовать. Понимаешь, фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками: Иваньшина — героиня войны, инвалид, ее в горкоме знают. Словом, задача требует решения, и я уже кое-что начал.

— Что ты начал?

— Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии. А копию — пожарникам: теперь они друг друга контролировать начнут изо всех сил. Так что, если комиссия придет, а меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется и вот-вот закоротит.

Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваньшина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но вставать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась (ее каждое утро пересаживала в кресло Алла). Олег сделал полозки, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась, и если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно

понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго и дверь запирать не будет. И почти сразу же появилась комиссия.

Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка: управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома — пожилую, вечно озабоченную вдову — Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным.

— Печальный домик, — сказал он, оглядевшись. — Проводка времен царя Гороха: сигнал правильный. Без капитального ремонта тут никак не обойтись.

— Двенадцать квартир — это же двадцать семей, не меньше, — вздохнула управдом. — Ну составим мы акт об аварийном состоянии, а где их всех разместить? Тут не то что рай — тут горисполком за голову схватится. А выселять необходимо.

Они о чем-то спорили — Иваньшина не слушала. Тоскливый безнадежный ужас вдруг охватил ее: предстояло куда-то переезжать, предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом, предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку Маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение — куда придется, как придется, во вре-

мянки и, главное, в разные стороны — это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время — а может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание? — и Антонина Федоровна сказала:

— Нас — в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение.

— Доложу, — согласился пожарный представитель. — Войду с предложением начать выселение с той половины дома, там, кстати, и провода хуже. Договорились, товарищ Иваньшина, живите пока спокойно.

Может быть, так бы оно и случилось, может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май с длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки Маленькой началась сессия, а в том, что было ей девятнадцать, все в ней вызрело и налилось и все-все, все вместе настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой: результат должен был стать иным, иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни, но могло навеки рассыпаться

и лопнуть. И струны и ноты: так ей казалось, и так оно и было на самом деле.

Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время. Антонина Федоровна рассказала Олегу и Алле о комиссии и о своей просьбе; Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования — именно эта просьба и сводила на нет все его далеко идущие планы, — но решил действовать куда более энергично и уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваньшину и Валерика по улицам и за город, каждый раз вынося Антонину Федоровну на руках до машины и внося на второй этаж по возвращении домой. И каждый раз Антонина Федоровна очень смущалась, сердилась и ворчала:

— Ну к чему это, к чему? На руках таскаешь, будто…

— Будто мамочку, — улыбался Олег.

А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходилась от небывалого счастья и небывалой нежности всякий раз, когда он брал ее на руки, испытывая порой такое волнение, что приходилось сваливать все на духоту:

— Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары. Душно сегодня.

— А может, ты и вправду моя мама, тетя Тоня? Ну, признайся, нам же обоим легче будет?

Странное дело: именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности. Не о ее героических деяниях, не о ее страданиях и жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами. Как детство немыслимо без игры и удивлений, так юность немыслима без любви и надежд. Даже там — не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов, — даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь и неистово надеялись, что выигрыш этот непременно падет на тебя. На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране — командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянный ручей.

Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой и люди проваливались до земли.

— Приказано нам на тот бережок, Тонька.

Речонка, конечно, название одно, однако — препятствие. Твое направление атаки — отдельный куст, видишь? Перед рассветом по свистку…

— Можно пятьдесят метров левее взять, товарищ старший лейтенант? Там мостик в три бревна сохранился, снегом его запорошило. За полчаса до атаки троих с ручником вышлю, чтоб прикрыли во время переправы, а солдат — по бревнам.

— Мудришь, Антонина. Смысла не вижу.

— Снега больно рыхлые, ротный. По пояс проваливаешься.

— Бойцов простудить боишься?

— Застрять боюсь. Завязнут ребята в каше этой: снег и ноги не держит, и ступить не дает. Забуксуем в низинке, а ну как немец минами забросает?

При ручном пулемете пошел пожилой боец: как звали-то его? Господи, забыла, а только помнится почему-то, что погиб он возле тех трех бревен. При нем вторым номером — парнишка-ярославец и один автоматчик. Лихой парень: недавно из госпиталя во взвод прибыл и сам в прикрытие напросился.

— Разрешите, товарищ лейтенант, за второй медалью слазить?

Дерзко спросил, с огоньком. Глянула: глаза

синие-синие. Ну, будто нарочно покрасил кто.

— Как фамилия, ефрейтор?

— Ефрейтор Середа! — улыбнулся вдруг и уточнил, как на танцах: — Василий.

Знала ли тогда, что то первая любовь ей улыбалась? Нет, она другое знала: по свистку перед рассветом. Но, наверно, почувствовала, потому что никогда так отчаянно не бежала в атаку, никогда так твердо не была уверена, что сегодня ее не тронет. Сегодня не тронет, не смеет тронуть: уж больно глазищи у парня синие. Будто нарочно покрасил, чтоб девчонок с ума сводить.

И зачем она тогда военврача упросила? Рос бы сейчас синеглазый Васильевич или Васильевна. И была бы ты, Тонька, и в самом деле и мамой и бабушкой, и не было бы счастливее тебя на всем белом свете, но разве молодость думает о собственной старости?

А рос бы сын или дочь. Васильевичи.

Книжка была почти закончена, когда совсем иные воспоминания вдруг обрушились на Иваньшину, лишили сна и покоя, причем те, далекие времена, времена ее юности, теперь все чаще сталкивались в ней с относительно недавним прошлым. Порою Антонина Федоровна отчетливо видела торжества в собственной школе — юби-

лейные и неюбилейные: пионерские сборы, треск барабанов, бойкое перечисление подвигов и героев — и пустые глаза детей, куда более занятых формой торжеств, чем их сущностью. Как-то она задержалась по своим директорским обязанностям, опоздала на встречу с ветераном и села не на сцене, как всегда, а в зале, сзади, за мальчишескими спинами. И почти сразу же расслышала:

— Во дает дед, — насмешливо прошептал красивый, чистенький, ухоженный мальчик. — Одной гранатой всех немцев перебил.

— Как в кино, — угодливо подхихикнул упитанный сосед.

Тогда она привычно одернула ребят, и они сразу же замолчали, но сейчас ей было не по себе от их послушного молчания. И дело заключалось не в том, что в тот раз и вправду ветеран оказался чрезмерно хвастливым; дело было в скрытом недоверии к подвигам вообще. «Почему? — спрашивала она себя и тут же отвечала: — А потому, что перекормили. Количество героической информации вдруг перешло в качество — только не в то, на которое мы рассчитывали. Исчезла искренность подвига, его порыв, боль, цена — и осталось голое перечисление. Остался реестр, длинный и нудный списочный перечень: кто,

что, где и когда. Мы девальвируем собственную героическую историю: Герасим утопил собачку, и полтораста лет рыдают над нею потрясенные дети, а мы без конца толкуем о двадцати миллионах погибших — и встречаем отсутствующие глаза. А они должны гореть и страдать, иначе и за перо браться не стоит…»

Очередная перекройка почти готовой книжки была наиболее быстрой и беспощадной: Антонина Федоровна решительно выбрасывала примеры хрестоматийного, набившего оскомину героизма. Вместо отвлеченного читателя она старалась все время представить себе такие знакомые, такие привычные юные лица, она стремилась заинтересовать их, заставить поверить не в подвиг как таковой, а в его значимость, в ту затрату сил, которых требовал каждый час обыденной каждодневной окопной жизни…

«…На другое утро после той перестрелки, в которой тяжело ранили командира роты, случилось затишье, и комбат повел меня представляться командиру полка подполковнику Зотову Илье Харитоновичу.

— Лейтенант Иваньшина зарекомендовала себя толковым взводным, товарищ подполковник. Думаю, что командиром роты будет геройским.

Илья Харитонович был, по тогдашним моим представлениям, весьма даже стар, и я очень его боялась. И так тянулась, что стала вся красная. А он взял да и по щеке меня погладил. И сказал то, что я на всю жизнь запомнила:

— Знаешь, в чем командирский героизм, лейтенант? Первое: чтоб твой боец хотя бы разочек в сутки горячего похлебал — пусть из расчета котелок на двоих. Второе: чтоб твой боец хотя бы четыре часика в сутки лежа поспал — пусть в шинели и с винтовкой в обнимку. И третье, чтоб он, боец твой, всегда верил, что за спиной его — полный порядок: мать здорова, дети сыты и жена с другим не спит. А для этого надо о каждом бойце все знать. Кто он, откуда, чего ждет и о чем думает. Если все соблюдешь — при всех героем назову…»

Этот отрывок она вписала вместо пространного рассказа о том, как лично провожала полковых разведчиков через ей одной известную лощинку, как сутки пролежала в сугробе в пяти шагах от немецких окопов, пока разведка не вернулась. На рассвете лощинку надежно скрывали тени, утренники стояли солнечные и морозные, и про то, на сколько минут немцы теряют ту лощинку из виду, во всем полку знала только она, коман-

дир взвода, по часам изучавшая движение всех теней в секторе своего наблюдения. За безопасный маршрут, за ожидание своих у немцев под носом и короткий бой при отходе, когда все же потревожили противника, ее наградили солдатской медалью «За отвагу», и по этой причине Иваньшина заменила отрывок разговором с командиром полка. Из двух принципиально различных точек зрения — «Героизм есть исключительность» и «Героизм есть повседневность» — Антонина Федоровна ныне решительно выбирала вторую.

Этот вариант отвозил в издательство Олег. Рыженькая редакторша там уже не работала, и к Антонине Федоровне вскоре явилась ощутимо траченная временем ученая дама. Смачно бросила на стол рукопись и бережно — редакторскую папочку с аккуратно приклеенной бумажкой: «ИВАНЬШИНА А. Ф. «ФРОНТОВЫЕ ДНИ И НОЧИ». Творческая заявка».

— Что же это вы с нами делаете, Антонина Федоровна?

Вопрос звучал риторически, но тон его был полон непонятной обиды. Иваньшина молча ждала разъяснений. Посетительница — то ли редактор, то ли литконсультант — развязала папку,

извлекла листочек.

— Мы заключали договор на ваши воспоминания о войне под условным названием «Фронтовые дни и ночи». Заявка содержит обещание поделиться с нашей молодежью уникальностью вашего опыта, а что мы получили в рукописи? Ваша фронтовая жизнь и деятельность показаны в следующем ракурсе. — Дама нацепила очки, бойко зашелестела раздраженно исчерканными карандашом страницами. — Вот, пожалуйста, аборт. Убит любимый Вася. От страха при атаке ваша героиня — то есть вы, извините, мочитесь прямо в юбке. И ни одного военного эпизода, характеризующего командира… э-э… взвода, кажется?.. как действительно героическую личность. Так в чем же заключается уникальность опыта, что мы поведаем молодежи?

— Правду.

— Какую правду, какую? О том, как писают от страха? Кому это надо? Нет уж, пожалуйста, приведите нам хотя бы один положительный пример, который бы… который… который…

Нет, Антонина Федоровна не оглохла: шум в ушах вдруг все заглушил. И перехватило дыхание: не в спину ударило, как обычно, а впервые стиснуло грудь, тупой тяжелой болью отдалось в

сердце, и воздух застрял в горле, не желая лезть внутрь, в легкие. «Это у вас они — легкие, — говорил старый военком, — а у меня — как свинцовый сурик». Вот и она узнала, что значит, когда легкие — «как свинцовый сурик»: широко разевала рот, закидывая голову, пыталась зевнуть, чтобы хоть зевком, силой чтоб протолкнуть глоток воздуха в судорожно зажатые легкие. «Героизм вам положительный? — отрывочно продолжала думать она. — А когда на тысячи солдат одна девчонка, это как, не героизм? А спать в землянке три на четыре среди двух десятков грязных, потных, усталых, вонючих, завшивевших с окопной тоски мужиков — тоже не героизм? А по нужде куда бежать, когда кругом — поле чистое, а до ближайшего сортира — полста верст?.. Эх вы, указчики, чистенькие да надушенные: вас бы туда часа бы на четыре — в то реальное, окопное, грязное, вонючее, пехотное, где вши и крысы, где трупы в трех шагах разлагаются, а рядом — ровики, полные дерьма, а воды — снегу котелок, а смену только через полмесяца обещали, да и то если маршевая рота подойдет, а бани нет и не будет, и неделями снегом умываешься — тоже не героизм?.. Эх вы, гладкие, не клевал вас петух...» Но она не смогла выдавить из себя ни единого

слова и, разинув рот и серея на глазах у знатока героического, начала медленно рвать листы собственной рукописи…

— Что вы делаете? Что вы… Помогите же, помогите!

На счастье, дома оказалась Алка. Сунула Антонине Федоровне нитроглицерин, что купил предусмотрительный Олег, решительно выпроводила специалиста по героике и отобрала рукопись. Иваньшина вскоре отдышалась и отлежалась. Олег склеил разорванные страницы, отвез работу директору издательства, все объяснил, попросил прочитать лично. Замечания оказались мелкими и конкретными. Антонина Федоровна быстро с ними справилась, и рукопись ушла в набор. До мая оставались считаные месяцы, все стремились отрапортовать к празднику Победы, и уже в марте книжка Иваньшиной вышла из печати.

— Ну вот, тетя Тоня, а ты боялась.

— Так ведь чем старше, тем боязливее, — отшутилась счастливая Антонина Федоровна.

Вторая половина дома — та, жильцам которой Иваньшина отдала право первой очереди, — опустела как-то незаметно. Жильцы переезжали дружно, но тогда, когда Олег бывал на работе;

однажды, возвращаясь домой уже в сумерках, он был неприятно поражен темными окнами соседей. И снова с горечью и почему-то даже с обидой («Тут носишься, устраиваешь, и все вдруг гибнет от бабских капризов...») вспомнил, как провалила Антонина Федоровна его план, всю тщательно подготовленную, оговоренную в горсовете операцию по вселению в практически уже готовый кирпичный дом на Гвардейской улице. Выселяемых из аварийного дома жильцов расселили по новым микрорайонам, но за отсутствием свободных квартир их половину дома пока оставили, и весь Олегов замысел на этом этапе рухнул окончательно. Оставалось одно: разрабатывать новый план, заручаться новой поддержкой. Все требовало времени, заветные площади вот-вот должны были занимать законные владельцы, и Олег с отчаянием чувствовал, как уходит из рук последний шанс.

На следующий день он возвращался с работы нормально, еще засветло, и ноги сами занесли его на опустевшую половину. Печальное зрелище поспешного отъезда встретило его там: комнаты завалены мусором, рухлядью, поломанными вещами, накопленным и ставшим вдруг ненужным барахлом; лампочки вывернуты, а

кое-где и срезаны вместе с патронами, розетки частью вывернуты, частью разбиты, лишенные роликов провода, кое-где совершенно оголенные, свешивались со стен. Олег бродил из квартиры в квартиру, шурша обрывками газет, обоев, книг и журналов, думая о поразительной беспечности и безответственности съехавших: после нас — хоть пожар. В самом деле, опасность короткого замыкания, о которой предупреждал Олег домоуправление и пожарную охрану, лишь возросла с разъездом жильцов: любая случайность могла сблизить оголенные концы проводки, могла вызвать искру, и тогда весь этот сухой как порох хлам и сор затлели бы, задымили, разгорелись бы и… «Вот уж тогда нам всем сразу квартиру выделят, — с усмешкой подумал он. — Погорельцам в первую очередь, это — верняк, люди жалостливы…»

Конечно, следовало немедленно поставить в известность об этих оголенных проводах домоуправление, но Олег ничего делать не стал. Не то чтобы он непременно хотел пожара — он просто не хотел отказываться от такой возможности. Не его то была беспечность, не его ответственность, а судьба его и его близких могла решиться вдруг, как в сказке, огненным чудом могла решить-

ся. «Надо побыстрее дачу снять, — подумалось ему. — Увезу всех, и пусть оно будет, как тому суждено. А если и вправду суждено, то с квартирой нам — верняк: героиню Великой Отечественной Антонину Иваньшину никто на улице не оставит, уж я по всем кабинетам побегаю. Тем более после того, как книжечка вам понравилась…» И, заметно повеселев после этого пожароопасного открытия, пошел домой. А во сне увидел пожар: Алка говорила, что очень радостно смеялся.

Сон оказался в руку: Иваньшиной в тот же день позвонили с Киностудии имени Горького с просьбой уступить право экранизации. А вскоре известный режиссер прислал пространное письмо, в котором излагал свои соображения относительно сущности героического и очень хотел сам писать сценарий, но непременно после консультации с автором. Антонина Федоровна почему-то испугалась, но и загордилась как бы тайком от себя самой, и в результате взаимодействия этих двух чувств вечером объявила, что ничего делать не собирается. Алла и Тонечка Маленькая начали ее уговаривать, а Олег хмуро помалкивал. Иваньшина объявила свое решение для него по преимуществу, а потому и ждала, вяло отшучиваясь.

— Дачу я снял, — неожиданно сказал Олег. — Тебе, тетя Тоня, природа нужна. Когда этот режиссер приехать намеревается?

— Не знаю. — Она несколько растерялась, поскольку известие о даче было для нее неожиданным. — Он ждет моего ответа.

— Напиши, чтоб не позже мая. Кино — дело нужное, но одну тебя я в городе не оставлю.

— Считаешь, надо соглашаться?

— Непременно, — увесисто подтвердил он. — Твои героические дела требуют всесоюзного…

— Прекрати, — строго перебила Антонина Федоровна. — Не было у нас этого разговора, все, кончено.

И уехала в свою комнату, чтобы поскорее вытереть вскипевшие слезы. Показалось ей или и в самом деле прозвучало в его тоне доселе никогда не звучавшее равнодушие? Может, показалось, может, и не равнодушие то вовсе, а озабоченность: ведь мужчина же он, ведь есть же у него свои дела, свои заботы. А что, если и впрямь надоела она ему смертельно вместе со своими болячками, докторами, колясками и прочими недугами?.. Она никак не могла понять, что же послышалось ей в словах Олега, промучилась всю ночь, а утром написала режиссеру, что ждет

его не позднее конца мая.

Как и для каждого фронтовика, месяц май был для Антонины Федоровны Иваньшиной совершенно особенным месяцем. В нем было самое яркое солнце, самые звонкие птицы и самые красивые цветы. Антонина Федоровна всегда ждала этого месяца и великого своего праздника со жгучим нетерпением, хотя давно уже не ходила ни на какие встречи. Правда, ее не забывали не только тимуровцы: старые товарищи по прежней работе (однополчан в городе не нашлось) во главе с бывшим военкомом непременно заявлялись к ней хоть на часок, но даже если бы и не заявлялись, если бы и не приносили с собой шума и звона тех давно ушедших лет, Антонина Федоровна все равно считала бы этот месяц самым прекрасным месяцем года. И не только для себя, но и для всей квартиры («для всей семьи», — как всегда говорила про себя Иваньшина): пекли пироги, готовили закуски, доставали заранее припасенные деликатесы, чтобы 9 Мая радостно и торжественно поздравить свою тетю Тоню и себя с великим народным праздником.

Но в этом году счастливый май оказался иным. Весь апрель Олег был хмур и озабочен (особенно когда из соседней половины дома выехали жиль-

цы), отвечал невпопад, грубил Алле, куда-то все время уходил, кому-то звонил, с кем-то секретничал, что-то улаживал. Нет, 9 Мая он, естественно, взял себя в руки, и все было как всегда, но Антонина Федоровна уже так хорошо знала его, так чувствовала, так понимала и так любила, боясь признаться в этом даже в мыслях, что безошибочно отделяла искренность от обязательности. И даже спросила, не выдержав:

— У тебя что-нибудь случилось?

— У меня? — Он наигранно удивился. — Что ты, тетя Тоня! У меня полный хоккей, как говорится. Ну, дружно: «Этот День Победы порохом пропах…»

А не успели праздничные пироги доесть — заторопился на дачу. Алле велел отпуск раньше времени выпросить, Валерика из детсада забрать, а озадаченной Иваньшиной сказал:

— Обстоятельства диктуют, тетя Тоня, все потом объясню. Жди своего режиссера, за тобой пока Тонечка приглядит, я с нею побеседовал. У нее как раз сессия, будет дома зубрить.

— А может, ну его, это кино…

— Вот как раз кино нам — прямо позарез сейчас. — Он улыбнулся почти как прежде и пояснил: — Новоселье не за горами, оно денежек

требует, а семья у нас одна. Одна, тетя Тоня, это уж навсегда.

И так он сказал, что Антонина Федоровна взлетела вдруг на седьмое небо. От небывалого счастья, от благодарности, от любви перехватило горло; она поспешно отерла слезы и молча погладила его по руке. И окончательно успокоилась, уже не замечая того, что их коммунальное братство затрещало по всем швам из-за появившихся вдруг тайн, недомолвок, умолчаний и растущей неискренности. Изощренной наблюдательностью обреченного на неподвижность человека, приумноженной на интуицию любящей женщины, Иваньшина замечала все, но то «все», что касалось Олега. Его озабоченность, его упрямство, его замкнутость, неискренность, растерянность и даже одиночество. Но ни о чем не расспрашивала, поскольку в душе ее, ни на миг не замолкая, звучали его слова, уже бессознательно приравненные ею к клятве: «Одна у нас семья, и это — навсегда». И, наблюдая только за ним, видя только его, совсем перестала замечать тихую и послушную Тонечку Маленькую, прилежно зубрившую конспекты накануне сессии. А следить-то как раз и надо было за нею, за девятнадцатилетней девчонкой, для которой месяц май

ощущался не победным громом, а тревожным шепотом, как для всех девятнадцатилеток на всем свете и во все времена.

С той памятной ночи на даче до ужаса напуганная Тонечка Маленькая притихла, как мышонок. Вовремя уходила, вовремя приходила, посещала только библиотеку, театр да музей и только в компании девочек, весело рассказывала об институтских днях и горестно плакала по ночам. Соблазнов вокруг было великое множество, но она упорно гнала их от себя и побеждала, пока на ее пути не встретился *он*. Тот самый, который непременнейшим образом встречается рано или поздно каждой девушке, а когда встречается, все выученные правила, вложенные мамой аксиомы и нашептанные девичьи страхи разлетаются вдребезги.

Он — сейчас уже нет нужды называть его имя — был иногородним, учился в институте связи, жил в общежитии, подрабатывая мелким ремонтом, и не имел даже отдаленных знакомых, владеющих изолированным от мира пространством. Встречались в парке, в кино, в подъездах; теряли головы от первых прикосновений и уже ни о чем не могли говорить, потому что яростная сила рвала каждого в одиночку, требуя немедленно, сей же

миг сложиться в еще более мощную общую силу. В судьбу Тонечки Маленькой впервые ворвалась любовь, все расцветив в душе, посеяв счастье и надежды, сладкие слезы и тревожные ожидания, тайны, недомолвки и даже обманы.

— Ты стала поздно возвращаться домой, девочка.

— Я? Мы занимались. С Таней и Оксаной. В библиотеке. И завтра тоже будем заниматься, потому что скоро сессия.

Ах, если бы Иваньшина не была так занята Олегом! Если бы хоть на пять минут забыла о нем и вслушалась, что бормочет на глазах краснеющая Тонечка Маленькая, как старательно она отворачивается, как замирает вдруг, позабыв перевернуть страницу столь тщательно изучаемого конспекта. Если бы знать, из скольких «Ах!» складывается одно «Ох»…

— Вот ключ, видишь? Нет, скажи, ты видишь ключ?

— Какой ключ? Зачем?

— Тонечка, родная, умоляю. Хозяева в отпуск укатили, а мне у них пол циклевать. Представляешь, какое счастье? Отдельная двухкомнатная!

— Но это невозможно. Невозможно! Ну что, что я дома скажу?

— Тонечка, это же впервые в нашей жизни. Первый раз мы будем вместе, никто нам не помешает. Целую ночь вместе, представляешь?

— Я не знаю, что делать, не знаю. Но я придумаю, слышишь? Я непременно что-нибудь придумаю.

Тонечка Маленькая ничего не смогла придумать, кроме одной фразы («Я сегодня у Оксанки всю ночь заниматься буду…») и вынужденного поступка, вызванного неосторожным замечанием Иваньшиной:

— Только звони. Слышишь, девочка? А лучше я сама Оксанке позвоню.

Тонечка обмерла: зачем, ну, зачем она сказала, что будет у Оксанки? Лучше бы — у Наташки, там телефона нет… Так она подумала и, уходя, незаметно вытащила вилку из телефонной розетки в коридоре.

А режиссер задерживался, перенося приезд с недели на неделю. В конце концов Иваньшиной надоела эта болтливая необязательность, она дозвонилась до режиссера и с былой решительностью поставила вопрос: либо — либо.

— Шестого, ну максимум восьмого буду непременно, — клятвенно заверил он. — Никаких «но» не может более быть, Антонина Федоровна.

Разговор этот происходил еще второго июня, но она держала его в секрете, собираясь обрадовать Олега приятной неожиданностью. Он не расспрашивал ее, где-то озабоченно крутился, что-то делал, а четвертого вдруг объявил, чтобы она немедленно собиралась на дачу. Мол, нечего ей здесь одной, ничего с Тонечкой Маленькой не случится, а там Алле трудно с Валериком, и вообще погода стоит как на заказ.

— Скажи, чтоб Тонечка твои вещи собрала. Завтра возьму на руки…

— Седьмого. — Антонина Федоровна, не смогла сдержать улыбки. — Раньше седьмого я никак не смогу, Олежка. Никак.

Он вдруг зачастил, закричал даже, не сдержавшись, но ей это было — как музыка. Улыбалась уже без удержу.

— Я не могу, не могу оставить тебя одну, тетя Тоня, пойми же, наконец. Ну не капризничай!

Чем больше он просил, орал, распалялся и сердился, тем упрямее становилась Антонина Федоровна. Ей хотелось довести его до ярости, до гнева, до резкой ссоры с нею; пусть он уйдет, отругав ее за упрямство, по-мужски хлопнет дверью, а потом… Потом, через каких-нибудь два-три дня, когда он, хмурый, все еще сердитый,

приедет за нею и возьмет ее на руки, она шепнет: «Все в порядке, Олежка, мы можем переезжать, я заработала кучу денег…» И вот во имя этой мгновенной радости, когда он весь расцветет, заулыбается, Антонина Федоровна и упрямилась в тот вечер.

— Ну зачем, зачем эти штучки? За Тоньку боишься? Да она здоровенная телка…

— Вот за телку и боюсь. Ты, я, он, она — вместе дружная семья.

Олег действительно хлопнул дверью, исчерпав терпение и аргументы, и Иваньшина засмеялась от счастья. Да, у нее была настоящая семья, в которой просят и ссорятся, улыбаются и хлопают дверью, умеют заботиться и злиться друг на друга тоже умеют. И это правильно, это и означает, что люди связаны не прохладной вежливостью, а горячей любовью.

Увы, все дело заключалось в крысах. В полчище крыс, то ли откуда-то переселившихся в пустую половину их дома, то ли расплодившихся там. Они шуршали в хламе, носились по комнатам и грызли все подряд. Олег зашел проверить, как там с проводкой, и обомлел: вот они, реальные поджигатели. Любая серая тварь может запросто перекусить оставшийся под напряжением

провод, замкнуть цепь и… И он опять никому ничего не сказал: крысы так крысы, пусть все идет, как пошло, как определено судьбой. Но при этом он все время видел грызунов и провисшие провода, мусор и сушь, старый деревянный дом и безлюдную его половину. Видел, подавлял в себе страх и нервно, истерично просил Иваньшину как можно скорее перебраться на снятую им впопыхах дачу.

Он даже шестого забежал прямо с работы. Говорил, что Алла пропадает там одна с ребенком, просил немедленно уехать за город, и Антонина Федоровна опять таяла от блаженства. Олег понял, что заупрямилась она надолго, сказал: «Ну что ж, до завтра тогда», поцеловал в лоб и ушел. А пока она переживала свое небывалое счастье, Олег на кухне шепотом инструктировал перепуганную Тонечку Маленькую:

— Чтоб из дома — ни ногой! Никуда! Ни под каким видом! Ни на минуту! Поняла? Я завтра утром вернусь и увезу ее. Силой увезу!

— Ага, конечно. Ага, обязательно. Ага, непременно, — бормотала Тонечка, с ужасом думая, уж не пронюхал ли заботливый сосед о *нем*, пустой двухкомнатной квартире и заветной ночи вдвоем.

И как только Беляков ушел, проскочила в комнату, забормотала, что уходит на всю ночь к Оксане, заботливо постелила постель Антонине Федоровне и поставила телефон подле ее кровати. А уходя, ловко выдернула штепсель из розетки, чтобы тетя Тоня не позвонила Оксане. Было восемь часов вечера. Олег уехал на дачу, Тонечка сбежала на всю ночь, и Антонина Федоровна осталась одна.

Тонечка не звонила весь вечер, но Антонина Федоровна не очень беспокоилась, понимая, что по девичьим понятиям позвонить никогда не поздно. А по ее понятиям и режиму подошло время ложиться спать: телефон рядом, она услышит звонок, даже если задремлет. И Антонина Федоровна, подъехав к постели, ловко выжалась на все еще сильных руках, качнула немощное тело и выбросила его из коляски на пружинно вздохнувшую кровать с колесиками, никелированными шишками и панцирной сеткой, ордер на которую ей вручили давным-давно. В сорок восьмом, что ли…

Она читала «Полководца» Карпова — она вообще любила книги о войне, а документальную военную прозу в особенности, — но часто отрывалась, потому что мысли ее шли сегодня путем

самостоятельным. И ей думалось о том, как странно разделен мир на два начала, на мужчин и женщин, и что только в соединении, в союзе этих двух начал и заключена возможность счастья. И дело даже не в рождении ребенка — это результат, сумма, итог, но не самоцель. Нет, нет, цель в ином: цель во взаимном влиянии, способном чудесным образом удесятерять силы как мужчин, так и женщин, если, конечно, они любят друг друга. Впрочем, может быть, и это не главное: ведь ей легче было управляться со своей сотней солдат, чем иному мужчине, именно потому, что она была женщиной, и мужики рядом с нею становились лучше не потому, что хотели понравиться (хотя и этот элемент присутствовал: ефрейтор Вася Середа, к примеру, ставший лучшим бойцом ее роты и погибший сержантом на нейтралке от родимой пули), а потому главным-то образом, что она своим поведением, голосом, фигурой, походкой — самим присутствием своим в их короткой, как миг, фронтовой жизни вскрывала и умножала то лучшее, что каждый носил в себе на манер неприкосновенного запаса. И она тоже ощущала их влияние, тоже мобилизовала свои силы, делалась лучше…

Стоп, Антонина. Мобилизовала силы — пра-

вильно, а вот что значит: делалась лучше? Ты делалась грубее, жестче, резче, тверже, непреклоннее — разве это женские достоинства? Сомнительно. Женские качества — мягкость, нежность, ласковость: все то, что тебе приходилось подавлять в себе ежедневно и ежечасно. Война — мужское занятие: она вскрывала в тебе мужские черты, тщательно пряча женские. Нет, не у всех, конечно; медперсонала это не касалось, там как раз иное ценилось, подчеркнуто женское, милосердное, сострадательное. Но когда тебе самой убивать приходится, тут уж не до сострадания. Тут мужской закон действует, древний, как само человечество: убей, или убьют тебя. И все, все вокруг было направлено к исполнению этого закона; все решительно: грубость, жестокость, воля, твердость, грохот, рев, пальба, дым…

Дым?.. Может, показалось? Может, это воспоминания привели к галлюцинациям и никакого дыма нет и в помине?

Но дым существовал: першил в горле, щекотал в носу, чуть пощипывал глаза. Антонина Федоровна села, настороженно вглядываясь; верхний свет был погашен, горела только лампочка у изголовья, и разглядеть, что творится в темных углах, никак не удавалось. Но она смотрела и смотрела,

чувствуя вползающий в комнату дым, и, не видя, уже поняла, что ползет он с той, нежилой половины. «Пожар, — сказала она сама себе. — Без паники, сейчас примчатся пожарные. А пока они будут мчаться, позвоню Оксане, и Тонечка…»

А телефон молчал. Антонина Федоровна постучала по нему, плотнее прижала трубку к уху, даже встряхнула ее, но в аппарате было тихо, ничего не гудело и не трещало. На миг ее охватило отчаяние, но усилием воли она подавила его: «Только без паники, только без паники…» С трудом изогнувшись, она руками попыталась сбросить мертвые ноги с кровати, чтобы потом, уцепившись за кресло-коляску, как-нибудь вскарабкаться на него, подъехать к окну, разбить стекло, крикнуть. Стиснув зубы, она раскачивалась на панцирной своей сетке, а ноги никак не удавалось сдвинуть с места, к самому краю, чтобы потом…

Нет, так ничего не получится: спина ее могла сгибаться только в одном направлении, словно и не ее была та спина. Вот если дотянуться до кресла, опереться о него, выжаться на руках и перетащить проклятые ноги… Она потянулась, пальцами почти коснулась кресла, рванулась из собственной омертвелой поясницы, сдвинулась

даже, но от рывка потеряла равновесие. Рука ткнулась в кресло, и бесшумная, отлично отрегулированная и заботливо смазанная каталка мягко отъехала от кровати на пустячные, но уже недосягаемые полметра.

— Помогите! Горим!..

Она крикнула во всю силу, но ровно два этих слова, и тут же привычно взяла себя в руки. Окно комнаты выходило во двор и было закрыто — от комаров, что ли, она попросила спешившую к подруге Тонечку закрыть его или боялась сквозняка? Какие комары, какие сквозняки, какая все это ерунда, когда дым лезет в горло, ест глаза и огонь вот-вот ворвется в комнату?.. Спокойно, Антонина, бери себя в руки и соображай, пока еще есть время.

Значит, так. Судя по всему, горит соседняя пустая квартира, от которой ее отделяет стена. Не очень капитальная, раз сквозь нее просачивается столько дыма. А если горит сама стена? Тогда огонь очень скоро засветится с ее стороны, займутся шторы, полки с книгами, старый комод… Первая ее мебель по разнарядке из военкомата: откуда он, этот комод, кому принадлежал, чье белье, чьи семейные альбомы и любовные письма хранил в своем древнем чреве?.. Стоп, не

распыляться, не думать о постороннем, не терять зря ни мгновения. Ну выручай, Карпов, выручай свою фронтовую сестренку…

Она схватила «Новый мир», где была напечатана 2-я книга «Полководца», и, полулежа, вытянутой рукой, как гранату, швырнула журнал в окно. Она сама учила метать гранаты из положения «лежа» зеленых перепуганных парнишек на формировках. И «Новый мир» полетел, как и положено, только ударился не в стекло, а в переплет окна и упал на пол.

Она даже вскрикнула (не от страха — от злости) и выругалась так, как приходилось когда-то в другом дыму и другом огне. Что, скверно, когда баба ругается? Очень даже, а вы там, в том аду, в исступлении том без мата могли бы? Нет, были, конечно, которые не выражались, — говорили, Рокоссовский, мол, никогда такого не позволял, — ну, а она, двадцатилетний лейтенант Тонька Иваньшина, прибывшая после училища ускоренного выпуска на должность командира взвода, заматерилась в первой же атаке. Со страху, с отчаяния. И рейтузы мокрые были, и в сапогах хлюпало, если уж до конца признаваться. Это в кино бабы красиво под пули бегут, а там, где пули настоящие да впереди своего взвода

из девятнадцати, помнится, пареньков, там и заплачешь, и матом орать начнешь, и с жизнью прощаться, и мамочку звать — все, только бы не упасть до назначенного тебе рубежа. И только бы бойцы не подвели, только бы не залегли. «Вперед, за Родину, за Сталина! Вперед, мать вашу!..»

Не упала.

Антонина Федоровна мучительно кашляла, задыхаясь от валившего дыма, и слезы ручьями текли из глаз. Какие слезы, Тонька, откуда? От дыма или от прошлого?.. Да, да, первый бой. Добежала, куда командир роты велел, и своих довела. Девять их оставалось: за бросок в триста метров десятеро души отдали. А она нарочно в лужу упала, чтоб не узнал никто, как во время первой ее атаки по ногам в сапоги текло…

А, черт, задыхаться прикажете? Нет уж, не будет этого! Спокойно, Тонька, опять в раму не угоди…

Антонина Федоровна вырвала из розетки шнур, обмотала им настольную лампу и метнула ее от бедра прямой рукой. Со звоном посыпались стекла, дым потянулся в разбитое окно, почти невидимый в серой июньской ночи. А вскоре и дышать стало легче, и кашель не так рвал грудь, и… и Иваньшина увидела отъехавшую от кровати коляску, комод, полки. И огонь тоже увидела.

Он во многих местах прорвался сквозь стену, лизал полки, комод, книжки; что-то потрескивало, что-то вспыхивало, что-то еще только тлело, но от огня ее отделяли уже не бревна стены, а — шаги. Четыре шага, которых ей уже никогда не сделать и которые за нее сделает огонь.

Жанна д'Арк на костре сгорела. За Францию и короля. А она за что сгорит? А она не Жанна д'Арк, она — русская баба, что в двадцать лет, еще мужчин толком не познав, поднимала в атаку взвод. «Видишь, взводный, кустарничек под высоткой? Покуда до него не добежишь, не ложись и бойцам ложиться не давай, поняла? Там — мертвая зона, там отдышишься, там даже перекреститься можешь, что живой осталась».

Так ротный велел, и она добежала. Мокрая, правда, ну да ладно. Там отдышались, туда комбат людишек подбросил, а потом: «Вперед!» — и на одном дыхании, на реве, на хрипе — вверх. На высотку. Вот там-то, на высотке, она своего первого и убила. Вылетел вдруг из щели прямо на нее, и она, не колеблясь, пять пуль в упор: до сей поры видится, как брызнула кровь с серого, как земля, немолодого и уже неживого лица, как упал тот фриц несчастный и бился на земле, хрипел, дугой выгибаясь. А она все смотрела,

смотрела, глаз не могла отвести, а тут — комроты: «Живая, Тонька?» Сграбастал, целовал так, как никакую невесту не целуют, и сам — в слезах. А от нее — потом, грязью, порохом и страхом пахнет… А он все понял, все — умница был ротный, смелый и с характером, — все понял, прижал к себе: «Утром бриджи подарю, чтобы солдат не дразнила…» А через два месяца ранило его, ее первого ротного, тяжело ранило, что называется, навсегда, и приказано ей было командиром полка подполковником Зотовым роту принять. И она приняла, как положено, а потом всю ночь ревела. Пила спирт с комбатом да старшиной, что по наследству вместе с ротой ей достался, и ревела. А комбат — старый уж, из запасных, лет за тридцать — все по голове ее гладил да приговаривал: «Ранило бы тебя легонечко да поскорее…»

Ах, как книжки весело горят! Сами собой открываются, будто огонь просматривает их, прежде чем сожрать. Коробятся, топорщатся, изгибаются, словно живые: вот и она так же будет гореть. Только еще орать, наверно, начнет, не выдержит. А книги умирают молча.

Черт, может, зря она окно разбила? Задохнулась бы — все легче. А теперь дым вытянуло, не задохнешься. И никто не кричит, никто не ломит-

ся в дверь. Тонечка не идет, и пожарные не едут, и соседи не шумят: в их подъезде ведь еще две семьи остались, правда, за лестничным пролетом, в торцовой части. Значит, гореть придется?.. Ах, ну почему, почему она с Олегом на дачу не поехала?! Он же просил, умолял, сердился. Взял бы ее на руки, она бы обняла его за шею… Всю юность огонь там был, снаружи: дома горели, танки, самолеты, автомашины — и люди, конечно, тоже горели. Живьем все горело, а в тебе, как отражение, страсть бушевала. Поэтому ты с такой неженской легкостью и пошла на подпольный тот аборт, загубила дитя свое. Выжгло твою душу, до угольков выжгло, вот ведь что война сделала. А теперь и тело сожжет. Нет, не уйти нам от нее, никуда не уйти и не спрятаться.

Ох, какое полымя! Уж лицо не терпит, уж, кажется, и волосы вот-вот займутся, трещат уже. Ну, почему, почему, дура ты старая, почему с Олегом не уехала?! И где эту Тонечку черти носят, где?! Ведь горю, люди, горю-у!..

Молчать, Иваньшина, молчать, ротный. Жить достойно — это еще полдела, потому что это естественно. Вот помереть достойно — это посложнее, это — полтора дела, сто пятьдесят процентов. И не на миру, где она красна, эта самая смерть, а

наедине с нею, с глазу на глаз. С глазу на глаз две старухи: ты и твоя смерть. Горячая она у тебя, Антонина, такая горячая, что и терпится уж с трудом. Ну здравствуй, старая, что скажешь? Погоди обнимать, руки твои больно горячи. Прохладная у тебя жизнь была, Тонька, зато горячая смерть: баш на баш, в среднем как раз то, что каждой бабе положено. Без любви ты тогда жила, с одной ненавистью… Без любви?..

Стоп, вранье: а лейтенант Валентин Вельяминов? Ты из любви к нему институт одолела, стала тем, кто ты есть, и горишь сейчас тоже из-за той, послевоенной своей любви. Но ведь была и еще одна, самая первая. Никому и никогда ты о ней не говорила, но перед смертью врать не годится: Вася. Васька Середа, синеглазый полтавский парубок, твой телохранитель, связной, адъютант, денщик, разведчик — все он, сержант Середа. Ах, какой был парень! Чуть с ума не сошла, когда немцы его на ничейной земле подбили: он из ночного поиска возвращался, ста метров не дополз. Ах, как кричала в беспамятстве: чудом роту в атаку не подняла, чтобы его вытащить. Комбат вовремя примчался: «Не жилец он, не жилец, опомнись, ротный! Ты же из-за одного умирающего десяток живых уложишь!» — «Стонет! Не

могу, комбат, не могу, стонет ведь, стонет!..» — «Да помирает твой сержант, Иваньшина, потому и стонет. Без сознания он уже, успокойся!» — «Не могу-у!.. Комбат, родненький, разреши самой слазить, самой вытащить. Разреши, комбат, жизнью своей заклинаю...» — «Слазить? Полнолуние, дура. Неделю светло будет, как на танцплощадке. Старшина, уведи ее. Силой волоки в землянку, слышишь?..»

Уволок ее старшина. Она кричала, билась, кусалась даже, кажется, а старшина молча впихнул ее в землянку, свалил на нары — и полушубок на голову. Потом комбат вошел в землянку, приказал отпустить. Она полушубок сбросила, старшине кулаком в лицо и — к выходу. «Не ходи, — сказал комбат. — Давай водки, старшина, царствие ему небесное, сержанту этому. Отмучился...»

За что это все, а? Ведь грудью машину ту сволочную остановили, голой грудью против танков. Кто «ура!» кричал, кто маму звал, кто плакал, кто матерился, но — ложились. Ложились перед фашистскими танками ряд за рядом, пока немцы в нашей крови не захлебнулись.

А тебе, Антонина, бескровная смерть на роду написана. Много ты крови повидала, много пролила, а помирать доведется целехонькой: кровь

раньше сворачивается. Помнишь сгоревших танкистов? Насмотрелась ты на них вдоволь — все сухие, как головешки, без глаз и без губ. Вот и ты… Да плевать, какая буду: важно одно — не закричать важно. Не заорать беспомощно, жалко, бессмысленно…

Ох, какая жара! Одеялом лицо закрывать приходится, чтоб глаза раньше времени не полопались. Боль — терпеть удержу нет, а ноги ничего не чувствуют. Вот это хорошо, это — подарок: до половины сгореть можно, и все — без боли, все будто чужое, будто отмершее давно. Господи, чего же ты, дура, комиссию упросила, чтоб во вторую очередь переселяли? Жила бы сейчас в прохладе… Ах, кабы знать, что тянется за нашим «да», за нашим «нет». Диалектика — она и при смерти диалектика, и паникует в тебе, Антонина, способ существования белковых тел, в борьбе утверждая право свое.

Грудь печет, жарко. И жалко: грудь до слез жалко, ей-богу. Каждой женщине природа что-то особенное для жизни дарит: кому — волосы, кому — ножки, кому — голос, а тебе, Тонька, грудь выдала. Такую соразмерную, точеную, такую спелую да тугую, что мужики от нее глаз оторвать не могли. На формировках или там когда большое

пополнение, полотенцем, бывало, затягивалась, чтоб скрыть подарок этот, чтоб один бугор бесформенный под гимнастеркой, пока мужики не привыкнут, не остынут, не успокоятся. А тогда — пожалуйста; полотенце долой, локотки назад и — пяльтесь, мальчики. И пялились. Еще как пялились-то!.. А она в каждом бою, в каждой перестрелке, при обстреле или при налете больше всего боялась, чтоб пуля или осколок в грудь не ударил. Руками, бывало, от пуль загораживала, как полотенцем — от мужских глаз. И миновали ее грудь пули, и осколки тоже миновали, и нетронутой она осталась. Потому что берегла всегда…

Выстрел!

Что это, неужто с ума сходишь: откуда выстрел-то, откуда? Не тот это огонь, не боя, а мира, и выстрелов быть не может…

Выстрел. И еще — выстрел. И пуля знакомо свистнула. Сквозь треск огня, сквозь гул пламени, сквозь вой — значит, рядом совсем пронеслась, если услышала. Что же это, откуда же? Может, оттуда, из одна тысяча девятьсот сорок третьего?

И снова часто-часто выстрел за выстрелом прорвались к ней сквозь сплошную стену огня, и только тогда поняла она, откуда и кто стреляет в нее сейчас. Поняла, и выпрямилась, и разверну-

лась, сколько могла, подставляя грудь звеневшим вокруг пулям.

А из горящего комода, что достался ей по разнарядке военкомата, раз за разом били по ней пули из патронов к «вальтеру», принадлежавшему когда-то убитому ею германскому обер-лейтенанту…

Она уже не ощущала боли, а потому и не почувствовала страшного удара в грудь. Просто ее вдруг бросило на стену, и в ослепительно полыхавшем пламени она ясно-ясно увидела улыбающегося Васю Середу с неизменным автоматом на плече и своего первого командира роты, который целовал ее, мокрую, после первой ее атаки. Того, навсегда раненного, только был он сейчас не ранен и — улыбался. «Идем, — сказал. — Нам бы еще одну высоточку взять…» И протянул руку. «Ой, у меня же ноги мертвые», — подумалось ей, но она потянулась к нему, и встала легко, и пошла сквозь огонь, не чувствуя и не помня ни болей своих, ни болезней.

1986

Встречный бой

1

Рассвет в горах наступал медленно. Длинные тени ползли по долинам, нехотя отрываясь от земли, туман плотно окутывал кусты, а поверх стлался синий пороховой дым, почти не тающий в холодном воздухе.

Генерал смотрел в стереотрубу до рези в глазах. В искусственном, многократно отраженном и преломленном мире оптики все казалось плоскостным, неестественным, а радужная пленка, занимавшая восточную часть зоны обзора, раздражала ярмарочными красками.

— Не вижу! — сердито сказал он. — Выбрали НП, нечего сказать! Где танки Колымасова?

— Левее моста, товарищ генерал, — негромко пояснил маленький капитан-разведчик, оборудовавший для комкора этот наблюдательный пункт.

Генерал оторвался от окуляров, поправил сбитую на затылок фуражку.

— Выдвинуть вперед, — сказал он. — Так, чтобы я моторы слышал. Струсили под занавес, разведчики? — Он насмешливо посмотрел на капитана покрасневшими от бессонницы глазами и легко

прыгнул на бруствер. — Связь, не отставать!..

Генерал шагал туда, где глухо гремел бой, прикрытый тугими клубами сизо-серой смеси дыма и тумана. Он шел в рост, не пригибаясь от случайных снарядов, сунув руки в карманы ватника и поеживаясь. За ним неслышно скользили адъютант и два автоматчика.

Было прохладно, и стволы автоматов покрылись мельчайшими капельками росы. Солнце никак не могло перевалить через горы, в низине было еще по-ночному сумрачно, и только высоко, в редких прогалинах тумана, угадывалось светлеющее небо.

— Три семнадцать, — сказал генерал, глянув на часы. — Поздно здесь светает.

Генерала обогнали сначала разведчики во главе с капитаном, а потом и связисты, тащившие катушки и дублирующую рацию.

— Чтоб связь работала! — крикнул вдогонку генерал.

— Так точно, товарищ генерал! — автоматически отозвался лейтенант-связист и побежал, по временам пригибаясь и удобнее укладывая провод.

Разведчиков было шестеро — в ватниках, подпоясанных ремнями, с автоматами за плечом,

ножами и гранатами на поясе. Шестеро молчаливых, привыкших общаться скорее знаками, чем словами, прошедших войну солдат. Они одинаково бесшумно, чуть пригнувшись, шли след в след за капитаном, и по профессионально легкой, неторопливой и расчетливой походке их можно было принять за пехотинцев, если бы не традиционные черные шлемы, которые в танковых войсках носили все, даже тыловики, ремонтники и связисты.

— Не вышло, — усмехнулся рыжеватый молодой разведчик, когда они обогнали генерала. — Разве его обманешь?

— А бой-то, по всему видать, последний, — вздохнул рослый сержант, тащивший стереотрубу. — Ковырнет какая-нибудь дура случайная — обидно…

Они говорили не о себе. Они говорили о генерале — командире их танкового корпуса. Он разгадал наивную хитрость, с помощью которой они надеялись обезопасить его в эти последние часы войны. Сказать, что они любили его, как любят солдаты смелых и удачливых командиров, значило бы сказать мало и обычно, потому что они не просто любили — они гордились им, как гордятся братья самым талантливым и счастли-

вым в семье. Гордились перед солдатами других корпусов, перед знакомыми и незнакомыми офицерами и генералами, гордились перед семьями, и военная цензура подчас вставала в тупик, натыкаясь в солдатских письмах на восторженные фразы о «*нашем*». Его называли так в разговорах: «наш сказал», «наш приказал», «наш велел». Называли все — и солдаты, и офицеры, — и никто не знал, когда зародилось это теплое, почти семейное отношение к командиру корпуса. А «наш» был нисколько не мягче, не добрее, не сердечнее любого командира. Скорее наоборот: проявлял порой граничащую с жесткостью непреклонность. Он никогда не сбивался на солдатские шуточки, бытовавшие в разговорах многих генералов, был замкнут, и мало кто в корпусе мог похвастаться, что видел улыбку на его лице.

Он был храбр, но удачлив, резок, но демократичен, суров, но справедлив. Все эти качества встречались у многих военачальников, но «наш» генерал имел еще одну и, вероятно, решающую особенность: в августе этого года ему исполнилось тридцать лет…

— Мелешко, ты с него глаз не спускай, — сказал маленький капитан, устанавливая стереотрубу на чердаке разбитой водонапорной башни

— единственного уцелевшего строения некогда обширного фольварка.

Сержант, тащивший стереотрубу, молча кивнул. Приказ этот означал, что отныне ему в обязанность вменяется прикрыть генерала телом, если в этом возникнет необходимость, но разведчик только заботливо обтер рукавом ватника автоматный ствол и ушел встречать подопечного.

Генерал шагал быстро, но неторопливо: часто останавливался, наблюдал за боем, в который втягивались подходившие части, рассылал связных по участкам. Он знал, что наблюдательный пункт надо не только найти, но и оборудовать, и заранее давал своим людям на это время, чтобы они не нервничали, видя торчащего над душой командира.

Связисты быстро готовили связь. Временами лейтенант включался в провод, проверяя, не перебило ли его осколком, говорил несколько шифрованных слов и снова смыкал цепь, следуя за своими телефонистами.

— Товарищ генерал!.. — вдруг непривычно громко крикнул он, стоя на одном колене и протягивая трубку. — Товарищ генерал, вас!

Генерал с удивлением посмотрел на его сия-

ющее, счастливое и одновременно растерянное лицо и взял трубку:

— Ну?.. Так…

Лицо его на мгновение дрогнуло, но он тотчас же придал ему прежнее замкнутое выражение и только щелчком сбил на затылок фуражку. Молоденький лейтенант с мокрым то ли от росы, то ли от слез лицом, восторженно улыбаясь, смотрел на него, словно ожидая увидеть что-то очень необыкновенное, и генерал, поймав этот взгляд, чуть сдвинул брови и положил руку на плечо лейтенанту.

— Понятно, — сухо и деловито говорил он в трубку. — Бой развивается нормально. Прошу пока не сообщать. Да. Нас это не касается.

Он отдал лейтенанту трубку, серьезно и чуть печально посмотрел в его счастливые глаза и тихо сказал:

— Молчать, лейтенант. Молчать до самого конца. И связистам своим закажи. Понял меня?

— Понял, — кивнул лейтенант. Губы его вдруг дрогнули, и он шепотом добавил: — Поздравляю вас.

— И тебя тоже, — сказал генерал и пошел.

К тому времени, когда солнце, с трудом разогнав туман, прорвалось наконец в низины, бой

затих. Немцы прекратили попытки с ходу прорваться к перевалам и то ли перегруппировались, то ли чего-то ждали, изредка вслепую осыпая минами перепаханные танками склоны. Наши молчали.

К наблюдательному пункту подтянулся штаб, появились люди. Все были в странно возбужденном состоянии, словно в воздухе носилось что-то невысказанное, но уже известное каждому, о чем почему-то до времени принято было молчать. И все с удовольствием и почти весело играли в эту молчанку, но слаженный механизм гигантской военной машины вдруг где-то нарушился, и хотя люди привычно делали привычное дело, все сегодня выглядело не так: не так ходили, не так отдавали команды, не так ждали, курили, разговаривали.

В низине, под наблюдательным пунктом, расположился узел связи: три огромные автомашины, опутанные проводами и антеннами. Девушки-радистки сновали вокруг этих машин, и солдаты, рывшие укрытия по гребню, часто прерывали работу и долго, опершись о лопаты, смотрели вниз, на девушек, и во взглядах их было что-то новое, уже мирное.

Возле водонапорной башни мыкался младший

лейтенант. Он с курсантской торопливостью тянулся перед каждым офицером и все пытался доложить, что прибыл «для прохождения дальнейшей службы», но командирам было не до него, и он, вздохнув, отходил в сторону. Он очень хотел повоевать и тоже понимал, что бой — последний, и радовался, и ужасался, что не успеет отличиться, и боялся погибнуть за полчаса до конца войны. Это двойственное чувство жило в нем постоянно: решившись, он обретал вдруг настойчивость и подскакивал к кому-нибудь из начальства, собираясь потребовать немедленного назначения, но тут же скисал, мямлил что-то невразумительное и сразу же отходил, втайне радуясь, что его никуда не послали.

В пять на «Виллисе» приехал полковник Сергей Иванович Ларцев — замполит командира корпуса. Он был грузен, добродушен и, с солдатской точки зрения, весьма стар, и поэтому командир корпуса во всех случаях обращался к нему только по имени и отчеству, позволяя себе откровенно нарушать устав. Увидев замполита, он тут же спустился к подножию башни.

— Немцы отклонили ультиматум, — негромко сказал полковник. — В одном месте обстреляли парламентеров.

— Ну и черт с ними, — резко отозвался генерал. — Упрашивать остаться в живых не собираюсь. Передайте Колымасову: в пять сорок атака. И пока не возьмет мост, пусть на глаза не показывается.

— Людей жалко, — вздохнул Сергей Иванович.

— Может, пропустим фрицев к американцам?

Полковник промолчал. Генерал покосился на него, сказал мягко:

— Мне, Сергей Иванович, тоже людей жалко. И не только этих, — он кивнул на разведчиков, сидевших на корточках у стены, — но и тех, кого та сволочь лет через двадцать в бой пошлет. Вот так. Готовьте атаку. И, — он твердо посмотрел в добрые, в стариковских морщинках глаза, — помните: для нас она еще не кончилась…

— Товарищ генерал!.. Товарищ генерал!

Ликующий женский крик заглушил грохот выстрелов, вой мин, далекий рев танков, он заглушил саму войну.

— Товарищ генерал!

Снизу, от узла связи, изо всех сил бежала девушка в гимнастерке, перетянутой ремнем, в узкой защитной юбке, в тяжелых кирзовых сапогах, смешно и трогательно хлюпающих на стройных ногах. Берета на ней не было, и черные волосы

метались вокруг головы. Она, задыхаясь, лезла по крутому откосу, счастливая, восторженная, светлая. Торопясь обрадовать людей, она забыла обо всем на свете и, всегда обычно осторожная и скромная, сейчас совсем по-детски поддернула узкую юбку, бесстыдно сверкая голубой каймой стандартных армейских штанишек.

— Товарищ генерал!..

Он понял, что означает этот звонкий, ликующий крик. Понял и бросился к ней, оглушительно заорав:

— Молчать!..

От грозного окрика девушка споткнулась, упала, не отрывая глаз от подбегавшего генерала.

— Товарищ…

— Молчать!.. — второй раз рявкнул он и, запыхавшись от бега, остановился над нею.

Сзади него тут же выросла фигура разведчика. Девушка снизу вверх посмотрела на них, все еще продолжая улыбаться.

— Мир!..

— Нет, — твердо сказал он и опустился рядом с нею на колено. — Нет мира, ефрейтор. Бой идет. После боя мир будет. Поняла?

— Поняла, — она послушно покивала, улыбаясь. Слезы текли по щекам, и она совсем не по-ефрей-

торски шмыгала носом. — Мир, товарищ генерал. Война кончилась.

Генерал глядел на ее счастливое, зареванное лицо, и острая боль на мгновение сжала сердце. Он опустил голову, наткнулся глазами на круглое, перепачканное землей колено и сразу же поднялся.

— Встать, — негромко скомандовал он, и девушка, поспешно одернув юбку, тотчас же вскочила и опустила руки по швам. — Вытрите слезы.

Она машинально пошарила по поясу, по обшлагам гимнастерки и, виновато улыбнувшись, стала вытирать лицо ладонями. Генерал достал платок, стесняясь, сунул ей в руку.

— Идите к себе и не выходите. И всем скажите, чтобы носа не смели показывать. И никому ни слова. Идите.

— Есть, — шепотом сказала она и пошла вниз, зажав в руке скомканный генеральский платок.

Многие видели эту встречу, слышали крик, но никто не знал, о чем говорил генерал с радисткой. Знал только рослый разведчик Мелешко, которому капитан приказал охранять генерала, но он молчал, понимая, что в бою не следует делиться такой новостью.

— Хороши ножки, — заметил рыжеватый раз-

ведчик и вздохнул: — На такие бы ножки да классные туфельки.

— Нашему Феде Гонтарю абы ножки, — усмехнулся другой разведчик. — А вот чего она бежала…

— Нет, точно: классная девка, — опять начал Федор. — Главное — дичок. Полгода воюет, а никто в корпусе и похвастать не может, что в руках подержал.

— Один, кажется, пробовал, — скупо улыбнулся капитан. — Пробовал, а потом неделю рожу у санинструктора чинил.

Разведчики засмеялись.

— Я еще не пробовал, — сказал Федор. — Это так, разведка боем.

Грохот заглушил его слова: немцы начали энергичный и бессистемный обстрел. Солдаты попрятались в наспех отрытые щели. Прятались они с шутками, уже не испытывая ни страха, ни даже привычного нервного напряжения.

— Пугает фриц напоследок.

— Боекомплект расходует, чтоб драпать легче было!

— Ну, паразит, я тебе эту мину попомню!..

— Сейчас полезут, — сказал генерал и, не обращая внимания на мины, пошел к водонапорной

башне.

Мелешко шагал след в след, почти наступая на пятки. Генерал рассердился:

— Что ходишь как тень? Влепит в спину на прощание…

— У вас свой приказ, а у меня — свой, — ворчливо отозвался разведчик.

По шаткой лестнице они поднялись наверх. Башня гудела от разрывов. Генерал приник к стереотрубе, произнес, не оглядываясь:

— Петя, на прямой — в третью бригаду. Скажи, чтоб перестроились уступом справа. И чтоб Голубничий не зарывался!

— Есть, — сказал молодой и очень молчаливый адъютант.

Он загрохотал сапогами по лестнице. Навстречу, пыхтя, поднимался полковник Ларцев:

— Куда, орел?

— В третью.

— Передай, что персональное дело Вовченко слушать сегодня не будем в связи с… — Он спохватился, посмотрев на адъютанта. — В общем, переносится.

— Понятно! — сбегая вниз, крикнул Петя. — В связи с тем самым!..

Полковник взобрался наверх. Налет кончил-

ся, и сразу стал слышен далекий гул танковых моторов.

— Пошли, — сказал генерал. — К перевалу рвутся, черти. Передай Филину, чтоб обороняться и не думал. Пусть наступает левым крылом по лощине.

— Есть, — ответил лейтенант-связист, лично обслуживающий генеральскую рацию. — Герань, я — Ландыш, я — Ландыш…

— Надоел мне этот цветочный флирт, — вздохнул полковник. — В жизни стольких цветов не видел, скольких за войну наслышался. И откуда у связистов такая склонность?

— Ботаники все, — проворчал генерал, не отрываясь от окуляров трубы. — Нахально лезут немцы, очень нахально. Скажите Колымасову, чтоб начинал атаку на мост.

— А не рано? — осторожно спросил полковник.

— Чего тянуть? И так последними остались.

Лейтенант вновь припал к своей рации, вызывая далекого Колымасова:

— Лютик, Лютик, я — Ландыш…

Слева — совсем рядом — ударили выстрелы. Капитан бросился к пролому, выглянул: стреляли в лесу, метрах в трехстах от башни.

— Что там еще? — недовольно спросил гене-

рал.

— В лесу-то? — не оглядываясь, переспросил капитан. — В лесу минометчики наши стоят.

— Может, немцы просочились? — предположил Ларцев.

— Пошлите кого-нибудь узнать, — нетерпеливо сказал генерал: Колымасов уже начал атаку, и все внимание генерала занимал теперь мост.

Капитан молча спустился вниз. У входа в башню стоял младший лейтенант: его опять обуял страх, что он не успеет выстрелить в этой войне.

— Товарищ капитан, разрешите…

— Возьмите отделение и проверьте, что за стрельба в лесу.

— Есть! — радостно крикнул лейтенантик и, путаясь в шинели, побежал к щелям, на бегу вытаскивая из кобуры тяжелый «ТТ». — Отделение, за мной!..

Он бежал через поле, спотыкаясь и шарахаясь от случайных снарядов. Солдаты вразброд бежали следом, и в беге их было что-то усталое и равнодушное: так спешат на скучную, осточертевшую, но, увы, необходимую работу.

А стрельба в лесу продолжалась. Тренированное ухо уловило бы в этой стрельбе целую гамму звуков: гулкие винтовочные выстрелы, злую

автоматную очередь, сухой и короткий треск пистолетов. Но для мальчика-командира все выстрелы звучали одинаково и говорили только об опасности, и снова — в который раз! — страх погибнуть в последние мгновения войны зашевелился в нем, и, чтобы заглушить его, мальчик вдруг тоненько и одиноко закричал:

— Ура!

Солдаты бежали молча, грузно топая сапогами по сырой земле, а младший лейтенант, размахивая пистолетом, одиноко кричал, пока его не нагнал усатый пожилой сержант.

— Зря вы кричите, товарищ лейтенант, — добродушно сказал он. — Во-первых, фрицы все равно ничего не слышат, а во-вторых, дыхание сорвете.

Вспотев от стыда, младший лейтенант сразу замолчал и опустил затекшую руку с пистолетом. Сердце его билось часто и неровно, но он задохнулся не от крика, а от волнения, потому что был значительно моложе и тренированнее своих солдат — в большинстве пожилых, как это всегда бывало в комендантских взводах.

Они успели пробежать две трети расстояния до леса, когда оттуда густо высыпали люди.

— Ложись! — приказал младший лейтенант,

падая на землю.

— Да свои это! Свои! — закричал пожилой сержант. И опять младшему лейтенанту стало очень стыдно и досадно: его солдаты полукругом стояли над ним, и он встал, пряча глаза и с излишней старательностью отряхивая измазанную шинель.

Солдаты действительно были своими. Они бежали по полю, размахивая оружием, и что-то неразборчиво и недружно кричали. Кто-то стрелял в воздух, кто-то вдруг пустил в небо красную ракету, а вслед за ней — белую, и когда ракеты эти с шипением поднялись вверх и вспыхнули там, пожилой сержант зачем-то снял пилотку и тихо сказал:

— Вот оно, товарищи. Вот оно… Кончилась, значит, война…

2

— Застрял Колымасов! — гневно сказал генерал. — Сергей, машину!..

Один из автоматчиков, постоянно сопровождавших генерала, кубарем скатился с лестницы.

— Вон в чем дело! — громко сказал Ларцев, наблюдавший за встречей возле леса. — Узнали, обормоты. Ракеты пускают. Разнесут теперь по всему корпусу…

— Предупредить! — крикнул генерал. — Командира — под суд! Под вашу ответственность, Сергей Иванович. — Он оторвался от стереотрубы, поправил фуражку. — Я — к Колымасову.

У башни уже стоял «Виллис». Автоматчик сидел сзади. Рядом с ним молча расположился угрюмый Мелешко.

— К Колымасову, — сказал генерал, садясь впереди. — Быстро, Сергей!

Два «Виллиса» почти одновременно отъехали от башни; один направлялся через поле к радостной солдатской группе, до сих пор самозабвенно пускавшей в небо ракету за ракетой; второй спускался вниз, туда, где гулко рвались снаряды.

Пойма реки была густо расчерчена танковыми

следами. Жирная весенняя земля, кое-где уже покрытая свежей травой, глухо вздрагивала от частых разрывов. «Виллис» швыряло из стороны в сторону, но водитель не снижал скорости: генерал любил бешеную езду. Пригнувшись к рулю, шофер остервенело крутил его, шестым чувством угадывая безопасное направление. Комья земли стучали в кузов, уже дважды пробитый осколками, но маленькая юркая машина каким-то чудом еще была цела, еще вертелась среди разрывов, рыская из стороны в сторону.

Впереди уже виднелись танки. Они рассыпались за обратным скатом небольшого пригорка, и вражеские снаряды либо летели через них, либо рвались на гребне. Это была мертвая зона, недосягаемая для немецкой артиллерии, и танки умело использовали ее.

Чуть в стороне стояла одинокая «тридцатьчетверка». Она не дошла до спасительной черты и теперь — черная, еще дымящаяся — уже не представляла собой ничего, кроме обгоревшей, искореженной груды металла. Сорванная взрывом башня лежала метрах в двадцати от машины, лежала на боку, обнажив ослепительно сверкающий круг отшлифованного погона. Возле нее сидели двое: командир в разорванном комбине-

зоне, с черным от копоти, сильно обожженным лицом и второй — без сознания, с забинтованной, как кукла, головой. Генерал на ходу спрыгнул с «Виллиса», вгляделся:

— Ты, Брянский?

— Фаустники… — Командир с трудом разлепил обожженные губы, и по подбородку сразу потекла кровь. — Фаустники у моста. Троих сожгли…

По остановившимся глазам и слишком мерному, громкому голосу генерал понял, что командир не слышит ни его, ни грохочущих рядом разрывов.

— Отвезешь их, Сергей, — сказал генерал. — Ларцеву передашь, чтобы прислал разведбатальон. Дай молоток.

Он взял молоток и пошел вперед, не пригибаясь, а лишь чуть ссутулив спину и сбив на затылок тяжелую генеральскую фуражку. Разведчик шел за ним, стараясь прикрыть от разрывов, а шофер и автоматчик укладывали в машину раненых танкистов.

Вокруг стояли вой и грохот. Комья земли стучали по генеральским сапогам. Волной сорвало фуражку, он наклонился за ней, и в это время разведчик вдруг резким толчком бросил его на землю и упал рядом, закрывая телом. Над голова-

ми с визгом пронеслись осколки.

— Цел? — спросил генерал, поднимаясь.

— Цел, — сказал Мелешко. — Флягу пробило. Жалко.

Он отцепил от пояса флягу. Из рваной дыры с бульканьем вытекала вода.

— Ты на генералов не очень-то бросайся, — ворчливо сказал генерал. — Что за манера — генералов в задницу толкать.

— Вышло так, — без улыбки ответил разведчик.

Они еще раз упали от близко разорвавшегося снаряда, перебежали открытое место, упали снова и вскоре вступили за ту черту, ближе которой снаряды уже не рвались и где приходилось опасаться только осколков или случайных мин.

— Проскочили, — улыбнулся генерал. — Закурим, разведчик?

Он достал помятую пачку «Казбека», с трудом отыскал две целые папиросы. Остальные были поломаны, и он бросил пачку, но хозяйственный разведчик подобрал ее.

— Заклеить можно.

Генерал безошибочно определил танк командира, подошел. Люки были задраены, но сквозь толстую шершавую броню чуть доносилась

музыка. Генерал удивленно послушал, а потом наотмашь застучал молотком. Тотчас же откинулся люк, из танка вырвалась мелодия веселого праздничного марша, а потом высунулся молодой офицер. Он был без шлема, с перемазанным пороховой копотью лицом.

— Товарищ генерал? — скорее радостно, чем удивленно, крикнул он и махнул рукой: музыка смолкла.

— Почему стоишь? Почему не атакуешь?

— Мир! Ребята Москву поймали! Мир, товарищ генерал! Приказ Верховного главнокомандующего…

— Отставить! — генерал яростно стукнул по броне молотком, и танк загудел гулко и тревожно. — Есть мой приказ! Мой, понятно?..

— Понятно, — тихо сказал офицер. — Виноват…

— Вперед! Подавить огневые точки. Атаковать и взять мост.

— Фаустники.

— Вас прикроет разведбат. — Генерал в упор заглянул в погрустневшие глаза офицера, добавил негромко: — Последний бой, Колымасов. Часок еще, а?..

И, словно застеснявшись, повернулся и зашагал

к соседнему танку, размахивая молотком…

Больше он не командовал, не кричал, не сердился. Он ходил по изрытому полю, стройный, в ловко сидевшем куцем солдатском ватнике, в щегольских хромовых сапогах, перемазанных жирной землей, стучал молотком по броне и каждому черному, замурзанному танкисту негромко говорил одни и те же слова:

— Последний бой, ребята. Прошу. Очень прошу.

Он просил. Он — горластый и энергичный, резкий, дерзко настойчивый — просил своих офицеров продолжать этот последний, трижды проклятый бой и сам удивлялся мягкости собственного тона. Нет, он понимал, что просить совсем необязательно, что танкисты беспрекословно пойдут в атаку и по приказу, и по жесту, и даже если он просто выматерит их тремя хлесткими словами. Понимал, но почему-то не мог заставить себя закричать, заругаться, просто рассердиться, как еще совсем недавно сердился на наблюдательном пункте. Здесь, в непосредственной близости от врага, для которого тоже кончилась война, но который почему-то не желал этого признавать, он вдруг почувствовал, что в нем нет сил приказать своим ребятам идти на

смерть в день, который вся земля, все страны и народы уже объявили днем величайшего счастья.

Командиры машин — кто молча, кто озорно, а кто и грустно — кивали, захлопывали люки. Ревели моторы, и танки, срывая дерн, ползли по откосу к гребню. Высунув из-за него башни, они открывали огонь, и пороховой дым, смешиваясь с голубыми облаками газойля, медленно сползал в низину.

Вскоре подошел разведбат во главе с молчаливым маленьким капитаном. Выслушав задачу, в которой тоже звучали непривычные просительные нотки, капитан тихо сказал «есть», распределил людей по машинам и сам вскочил на танк Колымасова. Танки вздрогнули и, заваливаясь на корму, один за другим стали исчезать за крутым гребнем холма. Генерал снял фуражку и вытер рукавом лоб.

— Закурите, — разведчик протянул заклеенную папиросу.

Генерал прикурил, сделал несколько затяжек и бросил окурок.

— Пошли, разведчик.

Они поднялись на холм и легли на скате, глядя на поле боя.

Танки шли, рассыпавшись веером и стреляя

на ходу. Местность была сильно пересеченной, и механики, боясь заглушить моторы, жали на максимальных оборотах. Густые клубы выхлопов шлейфами тянулись за машинами, и фигуры разведчиков прятались в дыму.

— Молодец Колымасов, — сказал генерал. — Все учел: даже что воздух в низине сырой.

За изрезанной складками и оврагами низиной виднелся каменный мост. Перед ним в глубоких окопах и развалинах казарм охраны засели немцы. Судя по частоте огневых вспышек, система обороны моста была мощной, заранее продуманной, и генерал остро пожалел, что поторопился и завязал бой, не подтянув артиллерию.

— Огоньку бы сюда, — вздохнул он.

— Поздно, — сказал Мелешко.

Маленькие фигурки уже прыгали с танков и, пригнувшись, перебегали впереди машин, прочесывая кусты и лощинки густым автоматным огнем: там, очевидно, прятались немецкие фаустники. Два танка на левом фланге уже горели: черный дым сплошной полосой тянулся по ветру; два других, забравшись в воронки, вели яростный огонь, но с места не двигались.

— Да, поздно, — вздохнул генерал. — Черт!..

Он вскочил и побежал вперед, и разведчик,

неодобрительно покачав головой, пошел следом.

Позднее генерал часто спрашивал себя: зачем он это сделал? Почему, вдруг забыв, что он — командир корпуса, что в его руках мощнейшие средства уничтожения, которые только ждут сигнала, чтобы обрушиться на врага (его сигнала!), — он полез в бой на узком участке, словно был еще тем молодым выпускником бронетанковой академии, которым закончил еще финскую, — неопытным и горячим комбатом? Да, его беспокоили и затяжка боя, и нерешительность танкистов, и удивительная в конце войны стойкость немецкой обороны. И все-таки не это было главным.

Уже двенадцать часов, половину суток, был мир. Мир! Двенадцать часов вся Европа пела и плакала, танцевала, целовалась, ликовала и пьянствовала, потому что большей радости, большего торжества и облегчения не знало человечество за всю свою неласковую историю. А здесь, на этом узком, безлюдном горном перевале, повинуясь его приказу, еще умирали люди, и в этот страшный и до ужаса несправедливый час он хотел быть рядом со своими ребятами, он хотел разделить с ними опасность, он просто не имел права уйти на НП и считать оттуда, сколько

еще факелов зажгут немецкие истребители из его «тридцатьчетверок».

Они прошли совсем немного, когда немцы накрыли их густым минометным огнем. Это были не случайные мины, а систематический, беспощадный огонь по площади: видно, немцы, опасаясь подхода свежих пехотных частей, отсекали их от слепых и беззащитных перед фаустниками танков.

Генерал и разведчик упали рядом, потом перебежали в мелкую канаву, и разведчик толкнул в нее генерала, а сам навалился сверху и лежал не шевелясь, и только когда наконец налет кончился, генерал понял, что разведчик мертв.

Он встал, долго смотрел на окровавленный, иссеченный осколками ватник солдата, на его совсем недавно подстриженный затылок, все время машинально смахивая со своего лица кровь, стекающую с рассеченного лба. Потом глянул вперед: там еще слышались выстрелы, рев танков, но опытное ухо уже ловило какой-то перелом. Он всмотрелся и понял: Колымасов ворвался на мост.

3

Через час, когда все было кончено и он — уже без ватника, с чистой повязкой на голове — сидел на пункте связи, адъютант доложил, что немецкий генерал хочет сказать несколько слов. Он молча поднялся, но ответить не успел, потому что Ларцев, посмотрев на него, буркнул:

— Пусть войдет. — А когда адъютант вышел, добавил тихо: — Война кончилась, между прочим. Четырнадцать часов назад.

Вошел немецкий генерал — еще нестарый, сутулый, длиннорукий человек со смертельно усталым, безжизненным лицом. Рука его была на перевязи, и поздоровался он молчаливым кивком. Не ожидая вопросов, начал говорить: сухо, почти без интонаций. Невозмутимый переводчик еле успевал переводить:

— Он — не нацист, он — кадровый офицер. Вермахт. Он никогда не был поклонником Гитлера. Он понимает, что это обстоятельство никоим образом не может облегчить его участь, и готов ехать в Сибирь. У него одна проблема, которую он рискует изложить, зная о благородстве русского командования. В этот радостный для всех день

окончания великой войны он просит сообщить его семье, которая проживает в Кёльне…

— Вот почему он так на запад рвался! — негромко сказал полковник.

— Он надеется, что советское командование не откажет ему.

— Есть в немецком языке слово «подлец»? — вдруг звонко перебил генерал. — Есть?

— Так точно, товарищ генерал, — несколько смешался переводчик.

— Ну так скажите ему от моего имени, что он — подлец. Подлец и убийца.

Переводчик громко и ясно, стараясь передать интонацию генерала, перевел фразу. Немец медленно поднял голову, его землистое лицо порозовело.

— Увести! — коротко бросил генерал и отвернулся. Немец сказал что-то еще, но переводчик не стал переводить, и пленный, ссутулившись больше прежнего, медленно вышел, шаркая усталыми ногами…

4

Вечером, когда подтянулись тылы, а расторопные старшины натащили вина и водки, корпус праздновал Победу. Разноголосые песни неслись по всему расположению, и, хотя генерал категорически запретил стрельбу, кое-где вдруг раздавались очереди, и тихое небо распарывали стремительные всполохи трассирующих пуль. На выстрелы немедленно устремлялся трезвый, а потому особенно беспощадный патруль, виновника тут же обезоруживали и направляли в глухой подвал под развалинами усадьбы. Впрочем, это никого не огорчало.

Младший лейтенант сам напросился в патруль. Все равно знакомых у него в корпусе не было, а перспектива бесцельно шататься среди празднующих людей была куда горше суровых обязанностей начальника патрульной команды. И младший лейтенант исполнял эти обязанности ревностно и строго. А дел было много, потому что праздновали все, кроме дежурного батальона, медсанбата да похоронной команды, в последний раз исполняющей свою невеселую работу. Командир ее — прихрамывающий пожилой стар-

шина — укоризненно посматривал на ликующих танкистов и вздыхал:

— Тризна…

Разведчики праздновали вместе с бригадой Колымасова не только потому, что дружили с нею и с ее всегда вежливым командиром, но и потому, что последний бой им пришлось вести вместе и общей была не только радость, но и печаль. Здесь не было того шума и веселья: празднество было сдержанным, тосты — скупыми, а песни печальными. И танкисты, и разведчики никак не могли забыть своих Юрок, Володек, Васек и Игорьков, сгоревших, убитых или искалеченных уже после войны, что представлялось особенно нелепым и несправедливым.

Группа офицеров расположилась прямо на земле, раскинув пару огромных танковых брезентов. Бутылки с водкой и спиртом, бочонок местного вина и американские консервы вперемешку с трофейными галетами стояли в центре, а офицеры — в большинстве своем еще молодые, потому что и сам род войск был еще молодым, — либо лежали, либо сидели по краям, скинув сапоги. Не было шуток, не было обычного балагурства, хотя выпито было достаточно, да и праздновали не что-нибудь, а День Победы!

— Гришку по-глупому сожгли, — негромко говорил низенький крепыш капитан, сидевший рядом с задумчивым Колымасовым. — Я крикнул ему, что слева в кустах шевеление какое-то: может, фаустник, а он то ли не понял, то ли…

— А бывает так, что по-умному жгут? — спросил белоголовый молодой лейтенант и сам же ответил: — Жгут всегда по-глупому, всегда нескладно как-то, вот что я вам скажу.

— Гришка знал, что мир подписан, — не слушая, продолжал капитан. — Знал — вот ведь что обидно!.. Дерни он тогда чуть правее…

— Правее, левее — один черт, — сказал Колымасов и налил себе водки. — Ну, не Гришку бы сожгли, а тебя или меня, но ведь непременно бы сожгли: ППП.

— Что — ППП? — спросил лейтенант. — Пушка, что ли, какая?

— ППП — процент предполагаемых потерь. Ты еще с механиком в шахматы играешь, а ППП уже подсчитан.

— Процент… — вздохнул капитан. — Давай, Колымасов, за них и выпьем, будь этот процент трижды неладен.

Они выпили, а лейтенант сказал весело:

— А я знал, что меня сегодня не тронет. Верите,

товарищ майор? Точно знал.

— Верю, — сказал Колымасов. — Лет до тридцати человек всегда в это верит, потому-то в разведку только молодых и отбирают. А с тридцати человек не только верить — думать начинает. Стихийно диалектику познавать… Скажи, Юра, чтоб ребята фары включили: не видно ни черта.

Лейтенант поспешно поставил кружку и босиком, как сидел, побежал к танкам. Вспыхнули два луча, перекрестие упало на брезент.

— Храбро живете, — негромко сказал кто-то по ту сторону лучей. — А ну как налет?

В освещенный круг вступил маленький капитан-разведчик. Правая рука его была на перевязи.

— Садитесь, капитан, — вежливо сказал Колымасов. — Место разведке, ребята.

Танкисты подвинулись. Капитан и сопровождавший его рыжеватый Федор Гонтарь сели на брезент. Колымасов налил им водки.

— Отпустили, значит, вас ради такого дня?

— Сбежал, — улыбнулся капитан. — Спасибо, Федор помог. Ну, танкисты, за Победу. И за то, что живыми остались.

Все молча, торжественно выпили. Капитан поставил кружку, полез за пазуху неизменного

ватника и вытащил помятый журнал.

— Разведчики мои в немецкой машине нашли. — Он протянул журнал Колымасову. — Кажется, по вашей части.

— «Вопросы археологии»? — удивился Колымасов.

Странно улыбаясь, он смотрел на журнал, разглаживал помятую обложку, любовно, по буквам вчитывался в каждое слово. Руки его чуть вздрагивали, а глаза стали добрыми и печальными.

— А где же мои разведчики? — негромко, чтобы не мешать Колымасову, спросил маленький капитан.

— Там, за танками, — пояснил лейтенант. — Мы их к себе приглашали, да они, видно, застеснялись…

— Девочек у вас нет, потому и застеснялись, — развязно сказал Гонтарь, выковыривая финским ножом консервированную колбасу. — Что это вы, танкисты, насчет слабого пола не сообразили? В монахи записались, что ли?

— Слабый пол во вторую бригаду подался, — сказал капитан-танкист. — Там старший лейтенант Огурцов под гитару хорошо поет, аккордеонист имеется. А у нас теперь тихо. От нашей музыки один баян остался, а баянист вместе с экипажем

на тот свет перекочевал.

— Женька-то, оказывается, уже кандидатом стал! — удивленно воскликнул Колымасов, просматривая журнал. — Кандидат исторических наук Евгений Фадеев. На одном курсе учились, и — на тебе! — уже кандидат.

— Ничего, Колымасов, ваше от вас не уйдет, — сказал маленький капитан. — Как вернетесь в гражданку да звякнете орденами, так вам не то что кандидата — академика сразу дадут!

— Звякнешь… — вздохнул Колымасов. — Наши ордена для археологии лет этак через пятьсот в цене будут, не раньше. — Он полистал журнал. — А пометочки на полях — немецкие! Видно, тоже археолог в руках держал…

Гонтарь доел консервы, спрятал нож и неслышно поднялся с брезента.

— Куда, Федор? — спросил капитан, не оглядываясь.

— Да так. — Федор делано зевнул. — Ребят навещу. Вы тут будете?

— Пока тут.

— Я скоро вернусь, — сказал Федор и исчез в темноте.

Он обогнул танки и обошел стороной разведчиков и танкистов, точно так же сидевших на

брезенте вокруг пайковой закуски и праздничной выпивки. Он сразу пошел на шумные выкрики и звуки аккордеона: там слышались женские голоса.

Женщин в корпусе было немного: санитарки, связистки, переводчицы. Всех звали по именам, и только непосредственные начальники по долгу службы именовали их торжественно и бесцветно: «товарищ лейтенант» или по крайности «товарищ такая-то». Для всех прочих они были просто Людами, Анями, Шурочками, и относились к ним со сложной смесью дружеской непринужденности, мужского достоинства и — чуточку — легкомысленного волокитства. Всем давно были известны имена счастливчиков, имевших право на нечто большее, чем дружеский поцелуй, но, уповая на переменчивое воинское счастье, за женщинами всегда ухаживали. И только про одну — про ефрейтора Раечку с корпусной радиостанции — не знали ничего даже самые квалифицированные корпусные кумушки: или она действительно не крутила быстротечных фронтовых романов, или была невероятно хитра.

Вот ее-то и искал наглый, ловкий, смелый до безрассудства сержант Гонтарь. Искал у костров и в бледных лучах фар, заглядывал в машины,

чудом уцелевшие постройки, окопы, не поленился даже подняться на водонапорную башню, но Раечки нигде не было.

— Кого ищешь, разведка? — окликнули танкисты. — Шагай к нам, спиртиком угостим!..

Федор не отозвался. Чем дольше он искал, тем все больше разгоралось в нем поначалу смутное желание увидеть черненькую девчонку-радистку — «недотрогу», «дичка», «монашку», как звали ее в корпусе. Он знал ее ближе других: как-то, пользуясь безнаказанностью бывалого и удачливого разведчика, он полез к ней, но отпор был таким яростным, таким злым, молчаливым и убедительным, что Федор отступился от дикой девчонки, унося на лице следы активной обороны. Именно об этом случае напомнил сегодня капитан, и уже тогда Федор решил, что должен смыть это позорное пятно с репутации первого в корпусе сердцееда.

«Балуется с кем-нибудь, — зло думал он. — Не может быть, чтобы не обломали: война. Не может этого быть…»

Теперь он искал ее в других местах: в гуще кустов, в темноте. Бесшумно, как в поиске, скользил по опушке, и ни одна ветка не хрустнула под его ногой.

— Не надо, — ясно сказал во тьме женский голос. — Ну, прошу тебя. Прошу, Костя…

— Лови мгновение… — хрипло сказал мужчина. — Ну, дурой не будь…

Федор шагнул на голос, остановился: где-то совсем рядом были люди. Он слышал мужское дыхание, тихий, короткий и счастливый смешок женщины. Вглядевшись, различил силуэты, достал фонарь и — вдруг осветил их ярким узким лучом.

Девушка в форме сидела на офицерской накидке, прислонившись спиной к дереву. Короткая юбка соскочила с подтянутых к груди колен, в луче ослепительно белели полные ноги. Девушка испуганно заморгала и прикрыла лицо рукой, и лейтенант с фатовскими усиками закричал:

— Гаси свет! Чего фары вылупил?..

Это был командир минометчиков, получивший прощение в связи с Днем Победы. Узнав его и девчонку, Гонтарь сразу погасил фонарь.

5

В штабе шестой раз пили за Победу и седьмой — за Верховного главнокомандующего. Корпусное начальство отмечало великое событие тоже на свежем воздухе. Саперы соорудили несколько длинных столов и скамеек, которые прикрыли брезентом, а техники развесили над столами гирлянды танковых переносок.

Генерал пил мало, ссылаясь на головную боль. Но по тому, как он сидел, говорил, ел и улыбался, замполит, а тем более адъютант поняли, что генерал невесел по какой-то более весомой причине.

— Гляжу я на вас, молодежь, а думы у меня странные, — негромко говорил Ларцев. — Вам бы учиться, цветы бы девушкам дарить, о поцелуях мечтать, а вы в крови да в порохе который уж год. В крови да в порохе…

— Не мы одни! — весело отозвался комбриг Голубничий.

— Правильно, не вы одни. Две юности Родина наша этой войне отдала: ту, что начинала ее в сорок первом, и — вас, что закончила. Будь я скульптор, я бы памятник такой поставил. Двум юностям: сорок первого и сорок пятого. Самый

большой памятник в самом центре Москвы…

Генерал не слушал, о чем говорил Ларцев. Перед ним сидели его ребята, его опора, его сила и гордость. Он знал каждого куда глубже и основательнее, чем отец знает своих сыновей. Толстенький, всегда сонный Филин не любит риска, медленно и неохотно принимает решения, но упрям, цепок и исполнителен. Он незаменим в обороне, хорошо держит фланги, но его нельзя первым бросать в атаку: затянет, будет оглядываться на тылы, на соседей, потеряет темп. Он хорош для развития успеха, когда противник еще не сломлен, но уже оглушен: вот тогда Филин развернется и методически добьет очаги сопротивления. И вот здесь-то его опять надо сдержать и вовремя заменить Голубничим: тот горяч без оглядки, любит стремительную атаку, преследование, бой в глубине. Но и первым его не бросишь: чересчур увлекается ближайшей задачей, забывает о соседях, зарывается, и тогда умный противник фланговой атакой легко может сбить его, а то и вообще отрезать от своих, что однажды и случилось…

— Разрешите, товарищ генерал? Прошу извинить за опоздание.

Колымасов. В грязных сапогах, мятой гимна-

стерке: поздравить зашел. Вот и пиши в характеристике, что он недостаточно дисциплинирован, что у него неуставные отношения с подчиненными, что, в сущности, он, археолог, глубоко штатский человек. А у Колымасова никогда вчерашний бой не похож на сегодняшний, он плохо знает уставы, но легко схватывает и точно оценивает обстановку. Он никогда не растеряется во встречном бою, он незаменим для первого удара, когда еще неизвестно, какие карты выкинет на стол противник. А на формировках у него всегда ЧП, потому что строевик он никудышный…

Он поймал себя на мысли, что как-то странно, однобоко судит о своих друзьях. Судит так, словно на рассвете предстоит бой. А бои кончились. Кончились надолго, очень надолго. Он был военным и прекрасно понимал, что после такой войны перерыв неизбежен: слишком много жизней, сил и средств унесла она с собой.

Ну бог с ней, с войной, она кончилась. Кончилась на тех высотах, где лежат его танкисты и разведчики маленького капитана Рыжикова. Не думал он, никогда не думал, что последний бой будет уже после войны.

А все-таки хорошо, что именно Колымасов шел в головной походной заставе. Если бы Филин

— немцы наверняка прорвались бы через перевал: он топтался бы, постреливал, послал бы на фланги разведку и, конечно, упустил бы время. А Голубничий ринулся бы во фронтальную атаку, с упоением громил бы заслон, затеял бы преследование, забыв обо всем на свете, и тот худой вермахтовский генерал только бы посмеивался в машине, удирая на запад. А археолог сразу нащупал главное. Нащупал, оседлал и запер немцев в лощине.

Нет, уж если еще предстоит бой, он найдет Колымасова в любом университете, стащит с любой кафедры: бои выигрывают характеры, а не анкетные данные.

Странно: высоко ценя Колымасова как командира, он совершенно не знал его как человека. Они никогда не говорили на внеслужебные темы, никогда не сталкивались, кажется, даже не выпили ни разу за все время совместных боев. Генерал попытался вспомнить, как зовут Колымасова, и не вспомнил. Вспомнил о другом.

— Адрес, откуда разведчик, записал? — вдруг отрывисто спросил он у адъютанта.

— Мелешко? Записал, товарищ генерал. Он с Донбасса, шахтер.

Полковник положил ему руку на плечо:

— Не казнись, Алексей Николаевич. Ну, случилось.

— Самоходки. — Генерал круто повернулся к нему. — Почему я не подтянул самоходки, а? Почему? Все поскорее захотелось, как-нибудь, только поскорее.

Он вдруг встал, вылез из-за стола. Адъютант рванулся было следом, но генерал остановил его:

— Сиди. Я в медсанбат.

6

Прочесав местность вокруг расположения и спугнув при этом еще одну парочку, Федор опять вышел к мрачной, полуразрушенной башне. Здесь он пережил минный налет, отсюда пошел в последний бой, по этому откосу, подобрав юбку, бежала черноволосая радистка… Он посмотрел в низину, где должны были стоять машины радиостанции, и увидел их… В маленьком окошке чуть светилась полоска: видно, плохо прилегала светомаскировочная штора.

Он беззвучно подкрался к машине, тронул дверь, понял, что она заперта, и постучал. Постучал громко, как стучит человек, пришедший по делу.

— Кто там? — спросили из-за двери, и он узнал ее голос.

— Генерал зовет, — как можно проще сказал он. — Все собрались, а тебя нет.

— Генерал? — удивленно спросила девушка. — Какой генерал?

— Ну, наш, конечно. Других не держим.

— Я сейчас! Сейчас…

В другое время он обратил бы внимание на ее

радостно зазвеневший голос, но тогда ему было не до этого.

— Живее, — сказал он. — И так хороша.

Она открыла дверь, и в тот миг, пока еще горел свет, он успел увидеть ее сияющее лицо. Потом она захлопнула дверь, и свет погас.

— Куда идти?

— Там, за башней, — сказал Федор. — Иди вперед.

Она быстро, не оглядываясь, стала подниматься к башне.

— И что это он обо мне вспомнил?

По голосу Федор понял, что радистка улыбается, и рассердился:

— Значит, приглянулась. Данные показала вовремя.

Она промолчала. Федор шел сзади. Он ни о чем не думал и только чутко вслушивался в звонкую ночь, пытаясь определить, нет ли поблизости людей. Один раз, правда, мелькнула мысль, что это — преступление, но он тут же отогнал ее: «Постесняется жаловаться. А если и пожалуется — простят. Победа — добрые все...»

Наверху, у башни, она остановилась. Оглянулась удивленно:

— Дальше?

Он молча бросился на нее. Бросился сзади, со спины, уверенным приемом швырнув навзничь. Навалился, левой рукой зажав рот, правой рвал вверх узкую юбку.

Она лежала не шевелясь, потеряв от неожиданности способность сопротивляться. Он, собственно, и рассчитывал на это, но девушка пришла в себя скорее, чем он предполагал, и рванулась с такой силой, что отбросила его в сторону. Федор кинулся снова, но она ловко оттолкнула его ногами, а когда он вскочил, сказала громко и ясно:

— Стрелять буду!

Он не поверил, шагнул, и сейчас же перед глазами ослепительно вспыхнуло пламя, пуля взвизгнула совсем рядом. Федор инстинктивно отпрянул, и девушка выстрелила еще — уже в воздух. Он остановился, тяжело дыша:

— Ненормальная…

— Уходи, — громко сказала она. — Застрелю!

Луч света упал на землю, осветив радистку. Она сидела, подобрав ноги и вытянув вперед руку с пистолетом; перепачканная землей юбка была взбита выше колен.

— Встать! — звонко крикнул командир патрульной команды, младший лейтенант. — Сдать оружие!..

7

Медсанбат уже свертывал работу: тяжелых отправили в госпиталь, легких обработали и разместили, и поэтому генерал не стал задерживаться там. Мягко, но решительно отклонив приглашение врачей отметить «последний рабочий день», как сказал начальник медслужбы, он пошел по расположению, стараясь не смущать людей внезапным появлением.

И все-таки он мешал им. Наиболее разбитные или подвыпившие многословно и истово клялись ему в преданности; скромные и трезвые замолкали при его появлении и невольно тянулись, несмотря на его протесты. Поэтому генерал вскоре стал избегать освещенных и многолюдных мест и медленно бродил в одиночестве.

— А меня-то за что? — вдруг возмущенно сказал в темноте мужской голос. — Она стреляла, ее и берите. А меня-то за что?

— Не разговаривать! — Второй голос был начальственно звонок и юн. — Там разберутся.

— Ну, ради праздничка, младший лейтенант…

Люди шли прямо на него, и генерал посторонился.

— Кто здесь?

Вспыхнул фонарь, и тот же младший лейтенант испуганно и радостно заорал:

— Смирно! Товарищ генерал…

— Вольно, вольно, — поспешно сказал генерал, с удивлением глядя на девушку, стоявшую между двух автоматчиков. — В чем дело?

— Задержаны за стрельбу в расположении части.

— Отпустите. Если никого не ранили, то отпустите.

— Есть! — громко сказал младший лейтенант (он так и не погасил фонарь, висевший на груди). — Получите документы.

Разведчик схватил книжку и тут же нырнул в темноту. А девушка сердито смотрела на младшего лейтенанта.

— Верните оружие.

— Младшему командному составу иметь трофейные «браунинги» не положено.

— Это подарок, — резко сказала девушка. — Товарищ генерал, подтвердите, что это подарок.

Генерал удивленно взял у младшего лейтенанта пистолет, повертел его.

— Восьмого марта этого года вы лично подарили мне, товарищ генерал, этот пистолет.

Помните, когда немецкие автоматчики вышли на узел связи и мы два часа отстреливались?

— Да, да, — сказал генерал, так и не вспомнив этого случая. — Только не стреляйте зря.

— Я не зря, — тихо сказала она, пряча пистолет в карманчик юбки.

— Разрешите следовать дальше? — опять гаркнул горластый младший лейтенант.

— Пожалуйста.

— За мной, шагом марш!..

Фонарь погас, солдатские шаги глохли в темноте. Генерал стоял на прежнем месте, чувствуя, что девушка тоже стоит тут же. Надо было что-то сказать ей, может быть, поздравить с Победой или выругать за стрельбу, но он ничего не стал говорить. Просто постоял и пошел, стараясь по-прежнему держаться от людей подальше.

Он никак не мог понять, почему ищет одиночества. Он не привык к нему, да и не любил, будучи человеком деятельным и общительным. С первого дня войны он утратил одиночество, потому что потерял семью и остался один на свете, даже без дальних родственников. Дважды ему предлагали отпуск, но он отказывался и снова шел к людям, искал их, искал связанную с ними деятельность, которая настолько заполняла жизнь, что в сутках

с трудом выкраивались считаные часы на сон. И вот сегодня ему вдруг захотелось уйти ото всех, забыться, остаться наедине с собой. Не думать, нет, просто сидеть где-нибудь в тиши, расслабить нервы, курить и глядеть в небо…

Он остановился, прислушался: ночь была полна звуков, но звуки были далеко, где еще горели костры, светили фары, где еще никак не могли угомониться люди, отвоевавшие войну. А здесь было тихо, и поэтому он сел на землю и закурил, по привычке пряча папиросу в кулак.

Тихий, однообразный, с детства знакомый скрип послышался совсем рядом. Фыркнула лошадь, ленивый, прокуренный голос сказал:

— Но, милая! Шагай…

Мимо генерала медленно проплыли расплывчатый силуэт подводы, мерно мотающая головой лошадь, фигура возчика. От всего этого веяло миром, крестьянской привычной неторопливостью.

— Ты, Маркелов? — спросили из темноты.

— Я, Степан Иваныч, — буднично ответил возчик. — Последних везу: одни фрицы остались.

— Немцев завтра уберем, отдыхай. Спиртику я раздобыл, у Егорыча спросишь.

— Спасибо тебе, Иваныч. Но, сонная!..

Фырканье лошади и скрип замирали вдали. Мимо генерала шел кто-то приземистый, почти квадратный, припадая на правую ногу. Всмотрелся в генерала, шагнул:

— Нет ли огонька, солдат?

Генерал вынул зажигалку:

— А махорочки дашь?

По голосу он узнал в неизвестном Степана Ивановича.

— А чего ж не дать? — добродушно сказал Степан Иваныч и сел рядом. — Закуривай. Махорочка добрая, моршанская. Я в нее доннику для запаху сыплю: чуешь, как пахнет-то? Из дому шлют донник.

Генерал оторвал газетную полоску, насыпал махорки, свернул толстую, рыхлую папироску. Щелкнул зажигалкой, и оба закурили, с удовольствием затянувшись сладковатым сизым дымком.

— Все празднуют, а вы работаете? — спросил генерал.

— Работаем, — подтвердил Степан Иваныч. — Такая уж наша работа. Завершающая.

Они помолчали. Степан Иваныч, вздохнув, добавил:

— Дай бог, чтоб последней она была. Хватит уж

зарывать. Рожать надо.

Только сейчас генерал понял, что рядом сидит начальник похоронной команды. Понял и нерешительно, с трудом спросил:

— Много сегодня… работы?

— Много. Если, конечно, с чем сравнивать, но для последнего дня, прямо скажу, многовато.

Генерал молчал. Курил, опустив голову, внимательно разглядывая огонек цигарки.

— Целые большей частью, — вдруг добавил Степан Иванович. — Целые — значит, на пулеметы шли, под пули. Пулеметы, понимать надо, у немцев еще действовали, не подавили их, значит. Обидно.

— Да, — с трудом сказал генерал. — Надо бы самоходки.

Они долго сидели молча. Потом Степан Иванович поднялся, втоптал в землю окурок:

— К мужикам пойду. Попразднуем. Может, с нами?

— Нет, — сказал генерал. — Спасибо.

— Ну, счастливо тогда. — Степан Иванович шагнул в темноту, остановился. — Ты, товарищ генерал, не обижайся. Я тебе правду сказал: горячий ты больно мужик.

Шаги старшины заглохли в темноте, а генерал

все еще сидел, опустив голову. Цигарка тлела в руке, но он бросил окурок и резко поднялся. Показалось, что какая-то фигура мелькнула рядом, и он окликнул:

— Кто там?

Но никто не отозвался. Генерал поправил фуражку и быстро зашагал туда, откуда ехала подвода, — в низину, по которой днем с таким мастерством провез его на «Виллисе» Сергей.

Тогда сзади сидел Мелешко с автоматом на шее. Их сильно швыряло в мелком кузове, и однажды Мелешко больно ударил его диском автомата по затылку. Тогда генерал не обратил на это внимания, а теперь только и думал о разведчике, вспоминая каждую мелочь…

«Ну как же, как же я самоходки не вызвал?! — почти с отчаянием подумал он. — Всего-то на три часа дела…»

По этой дороге сегодня провезли Мелешко назад — на высоты, что позади расположения. Генерал сам приказал вырыть там могилы, сам отрядил батальон для торжественных похорон. Сам…

Черная глыба развороченного взрывом танка четко выделялась на сером фоне неба. Генерал остановился: в темноте тускло виднелась обкатанная дорожка башенного погона. Здесь сидел

обгоревший лейтенант Брянский, обняв потерявшего сознание заряжающего. Заряжающий так и не пришел в себя и завтра ляжет на высотах, а Брянский уже отправлен в тыл. Жить будет, слышать — никогда, как сказал начальник медслужбы; в корпусе все знали Брянского: он писал стихи для «Боевого листка».

Отсюда они с Мелешко уже шли вдвоем. Здесь их накрыло минами, и разведчик толкнул его и сам упал сверху, прикрывая от осколков. Здесь они закурили. Здесь стоял танк Колымасова…

И снова какая-то тень мелькнула сзади. Генерал остановился, прислушался, на всякий случай дослал в ствол патрон и окликнул:

— Кто?

И опять никто не отозвался. Может, ему показалось, может, бродил по полю чудом уцелевший немец, может, адъютант крался сзади, проявляя бдительность. Но кругом было тихо, и генерал опять сунул пистолет в кобуру и пошел вперед.

Он поднялся на гребень холма, за которым прятались танки и откуда он наблюдал за боем. Вот здесь они лежали: кажется, на мягкой земле еще сохранились лунки от локтей. Здесь они лежали, а там, в низине, Колымасов и разведбат штурмовали неподавленные огневые точки…

«Многовато для последнего дня, — сказал Степан Иванович, и генерал опять услышал эти слова. — И целые все. Целые».

Как же, как он не подтянул самоходки?!

Именно здесь он понял, что поступил опрометчиво, но было уже поздно: Колымасов рвался на мост, приглушив в приемниках ликующий голос Москвы. Понял, и это страшное открытие заставило его побежать туда, где гремел бой, где гибли его солдаты. Где-то здесь их накрыло вторым минометным шквалом, где-то здесь они упали, а потом перебежали вперед, и там молчаливый разведчик принял в широкую спину все причитающиеся генералу осколки. Где-то здесь…

Он ходил по полю и никак не мог найти этого места. Хотел найти, очень хотел, но не нашел: все было изрыто воронками.

Не найдя места, где погиб Мелешко, генерал пошел вперед, к мосту. Утром он не был там потому, что идти было уже бессмысленно, и еще потому, что смерть разведчика глубоко поразила его. А тут как раз подскочил адъютант и увез его в медсанбат на перевязку. А пока его перевязывали, бой кончился.

Теперь он шел по предполью, которое проверила и изучила когда-то немецкая охрана моста

и которое так умело использовали немцы во встречном бою. Здесь был пристрелян каждый кустик, каждая выемка, каждый квадратный метр. Здесь его танки не просто шли на сближение: они метались, то круто сворачивая в стороны, то замедляя скорость, то скатываясь в ложбинки. Танки вели себя как солдаты, попавшие под обстрел, и поле перед мостом было вдоль и поперек исчерчено их тяжелыми следами. Следы стекали в складки, пересекались, забегали на склоны, но всегда далеко оставляли в стороне кусты, потому что именно оттуда могло вдруг полыхнуть желтое пламя фаустпатрона.

Но и кусты не оставались целыми. Голые, с поломанными сучьями, они насквозь были прошиты автоматными очередями танковых десантов. В одном месте среди них ничком лежал убитый немец. Руки его еще обнимали черную трубу, в которой торчал фаустпатрон; он так и не выстрелил, этот немец, и какой-то экипаж поил, наверно, разведчиков сегодня вечером. И поодаль валялся немец и еще трое возле развороченной взрывом пушки, и генерал вдруг радостно подумал, что наших совсем не видно, но тут же вспомнил, что их уже увезли, а немцев просто оставили до утра.

Да, их вывезли. Всех: черный, обгорелый танк памятником высился над раздавленной пушкой. Генерал посмотрел на белевший в темноте номер, ощутил еще стойкий, еще не выветрившийся запах горелого металла, пороха, мяса и снял фуражку.

Дальше он нес ее в руке. Медленно бродил по полю, подходя к каждому танку — молчаливому, черному, печальному. Негромко прочитывал номер, вспоминал за этим номером чаще всего безымянные молодые лица и шел дальше, перешагивая через трупы, спотыкаясь о разбросанное оружие.

Так он вышел на передний край и остановился. Кругом в полуразрушенных блиндажах и окопах лежали трупы, валялось оружие, рассыпанные боеприпасы, и казалось, что сама земля еще вздрагивает от гула, грохота и рева танковых моторов. Звуки эти вдруг с такой силой обрушились на него, что он поспешно сел, вздрагивающими пальцами доставая папиросу.

Да, это был крепкий орешек, это предмостное укрепление. Охрана построила его загодя, продумав систему огня, создав узлы противотанковой обороны, отсеченные позиции, кинжальные пулеметы. Неподавленные пулеметы, на которые

грудью шли его разведчики. Он легко представил себе, как капитан, показывая пример, первый спрыгнул с брони, как бежал вперед, уже не ложась, навстречу шквальному огню. Как, приседая после выстрела, часто и резко били танки, как горели они, нарываясь на фаустников, как из люков выбрасывались живые факелы и катались вот по этой сухой, черной, пережженной, как порох, земле…

Ну почему, почему он не вызвал самоходки?!

Кажется, он застонал. Застонал в голос, потому что из мрака вдруг выросла маленькая фигурка и девичий голос робко спросил:

— Что с вами?

— Кто? — Он инстинктивно схватился за пистолет.

— Это я, я, ефрейтор Брускова, — поспешно сказала черненькая радистка.

Она стояла перед ним как положено — руки по швам. Стояла внизу, у подножия чудом уцелевшего бруствера, на котором он сидел, и головы их поэтому были почти на одном уровне.

— Садись, ефрейтор, — сказал генерал и отвернулся, поспешно смахивая ненужную слезу.

Она присела, снизу вверх глядя на него. Он не удивился, он даже не подумал, почему вдруг но-

чью на поле боя оказалась эта новенькая робкая девчонка. Молча достал папиросу, молча закурил, скрывая глубокий и горький вздох.

— Не надо, — тихо сказала она, и он почувствовал ее руку возле своей, рядом. — Пожалуйста, не надо. И неправда все это, совсем неправда! Он напрасно, старик этот, он со злости наговорил вам. Может, он вообще злой…

— Злой?.. — Он слышал и не слышал, что она говорит, потому что сейчас все слова словно просеивались сквозь его мысли, не застревая. — Самоходки. Понимаешь, самоходки надо было подтянуть. Главное, Филин держался. Не только держался — в атаку двумя батальонами перешел и сковал бы немцев, не дал бы им развернуться, понимаешь? А я бы тем временем… Э, да что говорить! Я же одного Колымасова с разведчиками сюда бросил. Одного!

Он говорил и говорил — горячо, четко, последовательно. Он рассказывал ей о бое, которого не было, но который мог бы быть, если бы он не погорячился. Рассказывал точно, с цифрами, с полным расчетом времени, с направлением главных и отвлекающих ударов, с возможными действиями противника и с теми контрмерами, которые он применил бы, отвечая на эти

действия. Она слушала, широко раскрыв глаза, ничего не понимая, но живо и заинтересованно кивая на каждое его «понимаешь?»:

— Да. Да. Да.

Он вел весь бой до конца. Весь, расписанный по минутам. Он подавил огневые точки и блокировал фаустников мощным минометным огнем. Он оттянул немецкие резервы на Филина, послал Голубничего в глубокий обход и только тогда бросил Колымасова на мост. Он овладел мостом легко, одним решительным ударом. Он рассчитал время: лишних три часа боя. Он прикинул потери: они, по его расчетам, были в десять раз меньше, чем на самом деле.

Ну почему, почему он не подтянул самоходки?

Ему было все равно, кому он рассказывает. Ему надо было выговориться, освободиться от сосущего, тревожащего чувства тоски и неуспокоенности, найти привычное душевное равновесие. Ему казалось, что стоит только рассказать кому-нибудь, как он мог провести этот бой, и он сразу обретет желанный покой. Но он выговорился, а тоскливая тревога так и не проходила, и, поняв, что она не пройдет никогда, он замолчал, замкнулся, насупился, закуривая новую папиросу.

— Не надо, — опять тихо сказала девушка, и он

почувствовал, как ее рука осторожно коснулась его руки. — Не надо, пожалуйста, прошу вас.

— Что не надо? — с горечью спросил он. — Немецкого командующего убийцей назвал, а что с волка взять? Что с волка взять, когда сам…

— Молчи! — Она крепко сжала и даже чуть дернула его руку. — Не смей так говорить, даже думать так не смей, слышишь? Ты разгромил их, последних, самых последних, слышишь? И войны больше нет, совсем нет, нигде нет! Тихо кругом, совсем тихо, вот послушай, как тихо кругом…

Она тоже говорила горячо и непоследовательно и не понимала, что говорит. Она знала только, что наконец-то сидит рядом с тем, с чьим именем засыпала и просыпалась вот уже почти год, о ком не смела думать, а только мечтала, кто заговаривал с нею всего два считаных раза и кого она давно уже любила своей первой и единственной любовью. Она не очень понимала, но чувствовала, что ему трудно, и сердце ее нестерпимо и радостно болело за него. Она поняла, что ему плохо, еще тогда, когда на него наткнулся патруль. Поняла сразу, увидев его лицо в луче фонаря, и тогда же пошла за ним, хотя очень боялась мертвецов, темноты и одиночества. Пошла, потому что не могла не пойти, пошла, не рассуждая, а повинуясь чему-то

более могущественному, что давно уже копилось в ней, пошла так же легко и просто, как пошла бы за него на позор, на муки, на смерть.

— Не смей ничего говорить, не смей! — словно в бреду повторяла ефрейтор Брускова, уже не слыша и не контролируя собственных слов. — Сядь вот здесь, рядом со мной, сядь и молчи. Все прошло, кончилось все, совершенно кончилось, навсегда. Новая жизнь начинается, совсем-совсем новая, мирная, другая! Вот проснемся утром, и все-все будет другим, незнакомым, добрым. И прекрасным. И мы другими должны стать, совсем другими, слышишь?

Он слушал не слова ее, а голос. Слова были маленькими и незначительными, но голос — негромкий, внутренне звенящий, напряженный, — голос этот проникал в него помимо сознания, гасил тоску, обволакивал печальной нежностью, заглушал грохот потревоженной памяти. Они уже сидели рядом, и девушка двумя руками держала его узкую сильную кисть и говорила, говорила, пока он мягко не освободил эту руку. Тогда она сразу замолчала, замолчала на полуслове, точно опомнившись или вдруг проснувшись. Он закурил, посмотрев на нее:

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Девчонка.

Он сказал ласково, но она уже пришла в себя и поэтому восприняла это как окончательный приговор. Сжалась в комочек, опустив голову. Он курил, задумавшись, и она долго смотрела на него, а потом встала и медленно пошла в темноту.

— Куда ты?

— Домой, — неуверенно ответила она и остановилась.

— Вместе пойдем. Докурю только.

Девушка нерешительно вернулась. Постояла, присела в стороне — грустная, словно увядшая. Ковыряла пальцем холодную землю, а генерал молча курил, старательно не глядя на нее.

Луна перевалила через горы, блекло осветив низину. Дрожащие, неуверенные тени нехотя поползли по земле, а провалы окопов стали еще чернее, сливаясь в единую ломаную линию, и только в одном — совсем рядом с ними — торчала скрюченная рука убитого.

Девушка вдруг рывком подняла голову, в упор посмотрела на генерала.

— Я люблю вас, — отчетливо сказала она. — Люблю. Вот. Всё.

Он промолчал. Она закрыла лицо ладонями, заплакала злыми, горькими слезами, вздрагивая и шмыгая носом. Он молча достал третью папиросу. Девушка резко встала, пошарила за обшлагом, вынула платок:

— Ваш.

Платок был выстиран, выглажен, сложен треугольником: каждая складка пропиталась теплом ее тела. Генерал собирался взять его, но неожиданно для себя поймал ее руку, потянул:

— Сядь.

Девушка медленно опустилась на землю. Медленно повернула голову и вдруг, точно сломавшись, рухнула ему на грудь. Он растерянно гладил ее волосы, а она плакала в голос и никак не хотела оторвать лицо от жесткого форменного кителя.

— Ну, что это ты? Что ты?..

Громко всхлипывая, она продолжала изо всех сил цепляться за него. Она не стремилась быть красивой, не пыталась соблазнять, не кокетничала, не прикидывалась потерявшей от страсти голову. Она думала только о том, что он сейчас встанет и уйдет, и все будет кончено, кончено бесповоротно и навсегда…

Красные Жемчуга

«Грешно живешь, мать, грешно!.. — сердито кричал муж. — Ты на нас глянь, на нас!..»

Он сидел за столом, но не с торца, не в красном углу, а спиной к окну, и сыновья строго молчали по обе его стороны. Все трое были в гимнастерках, с провальными, невидящими глазами, и рот у отца тоже был черным, провальным, без губ и без языка и открывался будто совсем не для тех слов, которые она слышала.

«Грешно живешь!..»

«Да не то ведь, не то сказать-то хочешь, — шептала она, давясь слезами от тоски и жалости. — Ты землю, землю изо рта-то выплюнь, отец, выплюнь, тогда и скажется заветное. А вы, сыночки, вы чего молчите? Вы отцу помогите, помогите ему. Гриша, Шурка, что же вы-то молчите, что?.. Ай, да вам ведь тоже рты землею забило. Сырою землею могильною… Сыночки вы мои, помогла бы, да где искать-то вас? В каких странах, каких государствах?..»

— И-и-и!..

Вскинулась старуха, ломая тонкий предутрен-

ний сон. Пропали муж, сыновья, провальные пустые глазницы, провальные пустые рты. А визг остался.

— И-и-и!..

Каждое утро будили ее этим истошным воплем три раскормленных заматерелых борова. Будили еще до того, как она начинала видеть сны, а сегодня то ли родные привиделись раньше, то ли свиньи запоздали и теперь наверстывали, голосили на все выселки, на все их Красные Жемчуга. И старуха, кое-как накинув юбку и лица не сполоснув, босиком пошлепала в сени, где стоял бак с приготовленным пойлом. А опомнилась, только когда свиньи с довольным урчаньем и чавканьем начали жрать, отпихивая друг друга крутыми, налитыми салом и силой боками.

Третий раз снились ей муж и сыновья, сгинувшие на бессчетных фронтах войны: отец — в сорок втором под Семилуками, а Гриша и Шурка, братья-погодки, один за другим — в сорок пятом в чужих краях за тридевять земель. Всю жизнь снились урывками и порознь, а тут — вместе, и когда это случилось впервой, старуха очень обрадовалась, а второй — запечалилась и всплакнула во сне. Но сегодня дорогой этот сон, это чудом даренное ей свидание с родными не принесло ни

радости, ни светлой печали, а принесло тревогу, которая уж и не оставляла ее. И, невидяще глядя на жрущих свиней, не чувствуя ни утренней свежести, ни холода, старуха долго стояла у закута, ощущая смущенной душой непонятное беспокойство. «Господи, да почему грешно-то живу, почему? — почти с отчаянием думалось ей о так ясно услышанных во сне словах мужа. — Да в чем грех-то мой, отец, в чем?..»

Бесконечно задавая то себе, то покойному мужу этот тревоживший ее вопрос, старуха вернулась в избу, умылась, оделась, положила из чугуна в миску холодной картошки, достала хлеб, лук и соль и села к столу. Она уже давно — с той поры, как младшая дочь Светлана вышла замуж и уехала в город, — ничего себе не готовила. Чистила варенную в мундире картошку, макала в соль, закусывала луком да хлебом, долго, старательно жевала уцелевшими зубами, а в голове неотвязно стучало: «За что же он упрекнул-то меня, в чем грех-то увидел? Ведь жили-то как, господи! Никакой бабе такое счастье и не снилось, как мы жили…»

В двадцать шестом, что ли… Да, в двадцать шестом — Шурка маленький был, грудной — еще колхозов никаких нигде не существовало, еще и

слова-то такого никто не знал, а ее муж, бывший красноармеец и член партии большевиков, сам предложил организовать коммуну, чтобы все было общим. Собрал бедноту, демобилизованных бойцов, сочувствующих и понимающих, провел митинг, но село было большим и богатым и не приняло этого, а город еще ничем и никак не мог помочь, и решили тогда они, первые коммунары, выселиться, уйти и от старого мира, и из старого мира. И отселились с красным флагом и гармошкой, отстроились на взгорье у речной излучины, и дома у всех были одинаково новыми и одинаково радостными, потому что строили их сообща, дружно строили, всей коммуной, со щами из общего котла. А как отстроили последний дом, объявили праздник, которого давно, ох, как давно ждали и желали, и назвали этот свой первый праздник, что случился у них через два года после отселения, Днем Красных Крестин нового поселка. И начали с красного флага, гармошки и митинга: как назвать? Каждый свое предлагал: кто — революционное, кто — привычное, кто — ласковое, кто — с шуточкой, а потом поднялся ее муж, первый председатель их коммуны, и сказал:

— В Гражданскую войну, в двадцатом годе, наш

геройский крестьянский полк поймал вредного попа, который бежать навострился с награбленным народным добром. Три сундука при нем было, и как открыли мы один, так будто ослепли: одежи там лежали церковные, и все сплошь в каменьях такой красоты, какая простому люду и во сне не приснится. И играли те камешки, ровно как наше светлое будущее, почему и предлагаю категорически назвать наши выселки — Жемчуга. А чтоб ясно всем было, что не поповские то жемчуга, а нарядное будущее наше, то добавить обязательное слово «красные». Красные Жемчуга — вот как назовем мы свои новые выселки, чтоб дети и внуки наши жили в денечках радостных и праздничных, как те камешки-жемчуга!

Так и назвали: Красные Жемчуга. И везде-везде — во всех бумагах и картах и на почте так называлось, и приезжающие всегда радостно удивлялись, что такой у них поселок, где каждый дом, как у соседа: жемчуг к жемчугу.

Старуха… да какая она тогда была старуха: не старуха, а молодуха!.. с двумя малыми здесь жизнь начинала, с Гришей и Шуркой, а потом еще двух девок родила — Полю и Свету. Тесно стало в доме: шутка ли — четверо детей, да и сами не стары еще, не запечные тараканы! — но в соро-

ковом году муж первым в районе большой орден получил за бессменную свою председательскую работу, за бойкие дни да бессонные ночи, и местные власти заодно с колхозом решили за этот труд отстроить ему новый дом. И отстроили, и в субботу новоселье закатили на всю округу — сам секретарь райкома приезжал и речь говорил! — а в воскресенье война началась. Мужья ушли первыми, за ними сыновья потянулись, а там и доченьки, если возраст подходил. Уходили люди, а приходили похоронки; вой стоял над Красными Жемчугами денно и нощно, и самой горькой была тогда должность почтальона: Полюшка ее чужим горем опилась, да и своего хватало. Потускнели их Жемчуга.

— Договорились мы с властями, что будет у нас в наших Красных Жемчугах своя советская лавка, — говорил в День Красных Крестин муж на общем митинге. — Будут привозить нам всякие нужные товары, но давайте, дорогие товарищи, дорогие мои братья и сестры, твердо решим, что водки никогда у нас не будет. Царская это отрава, продукт разложения, товарищи коммунары, и пускай ее буржуи пьют! А у нас что ни день, то праздник, зачем же нам водка? Водка тому нужна, у кого праздников нет!

Как же он тогда правильно сказал, муж-то ее: у кого праздник, тому водка не нужна. А в войну не стало праздников, и потекли слезы да водочка, водка да слезоньки.

А Полюшка в сорок шестом померла, и восемнадцати не исполнилось. На чужом да своем горе, на общем да своем труде все жилочки надорвала и зачахла, как цветок. И от всей семьи в четверо детей при отце с матерью оставила война ее да Светку. Мать и дочь.

Господи, откуда же тоска эта да тревога?..

Светка умной росла, старательной: лучше всех школу закончила, и колхоз — это при тогдашней-то нищете! — на свой кошт послал ее в райцентр доучиваться до среднего образования. За питание и жилье деньги переводил и даже два раза в год школьной формой вроде как премировал. И за личные успехи, и за сиротство, и за труды и заслуги ее отца, основателя Красных Жемчугов и бессменного — до самой войны — председателя их колхоза. И хоть многое уже изменилось, и хоть не осталось ни одной семьи, какую бы война не перепахала, а помнили его, уважали и чтили, и на дочь это уважение падало. И Света все понимала, очень старалась, закончила свое образование и вышла замуж в райцентре. А через четыре года

мужа в область перевели, и она туда перебралась, навсегда отрезав и родной колхоз, и отцовскую память, и материнскую старость.

А может, из-за Светки муж и говорил ей: грешно, мол, живешь?.. Ах, кабы понять его, безъязыко кричащего ртом, землей забитым, ах, кабы понять… Терзала себя старуха, тыркалась по огромной, пустой, гулкой избе своей, места в ней не находя. И маета в душе давила, и тоска ее грызла, и мысль, одна мысль изводила: в чем грешна-то, в чем, господи?.. А ведь грешна, коли покойники покою не знают и из братских могил ночами встают, сквозь другие тела продираясь.

Думая о словах мужа, так ясно услышанных ею, и о непонятном грехе своем, в котором он ее обвинял, старуха пыталась что-то делать, чем-то заняться, но все сегодня валилось у нее из рук. Только привычное, не требовавшее как бы и самого присутствия ее, а лишь проросших в памяти движений, было ей доступно: она варила картошку для свиней и для себя, рубила сечкой лебеду с крапивой, запаривала пойло в печи — и все, как машина, будто и не она это, и все с тревожной думой: какого же откровения, какого покаяния требовал от нее муж, убитый полвека назад под Семилуками? Мысли эти терзали ее, не

отпуская ни на секунду, не давая отдыха, звеня в ней натянутой струной, изматывая и изматывая. «Господи! — в отчаянии простонала она. — Хоть ты подскажи, в чем грех-то мой, господи!..» И вдруг затихло все в душе ее, замерло в ясном, напряженном ожидании, и она поняла, отчетливо поняла, пронзительно и просто, что ей необходима молитва. Все равно кому — богу ли, святому ли какому, чудотворцу или божьей матери, а только надо, надо не для чуда, а для себя, для своего спокойствия и света совести своей.

Господи, да как же просто все оказалось! Она впервые несмело улыбнулась, впервые присела, впервые оглянулась и увидела, что на улице ясно и солнечно и что гроздья у рябины, которую посадили под окном Гриша и Шурка, давно уже налиты краснотой, а лист пожух и свернулся. Все она увидела и все постигла — прозрачную ясность и тишину осени, вечный покой мира и собственную суетность, шорох пожухлой листвы и свое уходящее время. И еще то, что давно не молилась, с юности, с цвета своего, и что позабыла уже все молитвы. «Это ничего, ничего, — спокойно думалось ей. — Это пустяк, я ведь от чистого сердца, от совести своей, а значит, поймут, если даже и не по правилам. Вот встану на колени и...»

И оглянулась в растерянности. Огромной была изба, гулкой, нежилой, а потому студеной и в самый жаркий июльский полдень, как бывает студеным лесной одичалый ключ. Стол, две лавки, четыре стула, шкафчик, да полки, да огромная деревянная кровать, на которой давно уже никто не спал. Два выцветших плаката на стенах, фотографии под стеклом да четыре Почетные грамоты — три мужа и одна ее. С десяток запыленных книг на полке, старый календарь, несколько пожелтевших картинок из «Огонька», что еще Светка прикрепила, и… И все. Икон не было ни в углу, ни на стенах, ни в сундуках, ни в подполе. Не было вообще: их не взяли из старой жизни в новые Красные Жемчуга. Не было икон, и не перед чем было молиться, встать на колени, открыть душу свою и получить облегчение. В молитве можно было обойтись без книжных слов, можно было заменить их своими — лишь бы от сердца шли! — но лишить молитву обращения было невозможно. Она вдруг отчетливо вспомнила строгие темные лики, пронзительно глядящие прямо в душу, и поняла, что не успокоится, не найдет себе места, доколе не увидит этих ликов еще раз, не падет перед ними на колени, не поведает им смущения своего. А решив так, не

стала тратить времени: надела темную жакетку, строгий вдовий платок и пошла по Красным Жемчугам.

Многое здесь изменилось с послевоенного времени. Исчезли целые семьи с повыбитыми кормильцами, переехали к родственникам одинокие вдовы и матери; кто перебрался в город, кто продал свой дом и ушел неведомо куда; и даже колхоза тут больше не было, а была ферма при совхозе, центральная усадьба которого располагалась в том самом селе, откуда они когда-то уходили с гармошкой и красным флагом. Старуха жила по-деревенски замкнуто, новых соседей не знала и шла сейчас в те три-четыре избы, где еще держался коммунарский дух Красных Жемчугов. И первой на этом пути была старая Тихоновна, когда-то громкая и смешливая старухина подружка.

— Икону?..

В отличие от сухонькой старухи Тихоновна была громоздка, тяжела и басовита. Муж ее погиб все в том же сорок втором, но единственный сын уцелел, отдав войне руку по самое плечо, и бригадирствовал, пока не спился окончательно и не помер в одночасье. Однако до этого успел жениться (выбор был в деревнях в ту пору — хоть

из тридцати!) и нарожал столько, что и по сей день не все еще успели разбежаться по чужим краям и городам, почему Тихоновна и считалась самой счастливой в Красных Жемчугах и была таковой на самом деле.

— Наши с тобой ведь мужики в День Красных Крестин со всех дворов силой иконы собрали, сложили в кучу да и сожгли. Вспомнила теперь тот костер? Все в нем горело — и материнские благословения, и отцовские наставления, и семейные укрепы. Да, подружка. Силой, помнится, наши покойнички — царствие им небесное! — иконки-то из рук рвали, будто у лютых врагов. А оно вона как обернулось: и лба перед смертью перекрестить не на что.

— Не на что, — робким эхом откликнулась старуха.

Тихоновна долго глядела на нее выцветшими, влажными, как у коровы, глазами. Пожевала толстыми размякшими губами, сказала строго:

— А бога-то ведь нет. Нету его, подружка моя, потому как если бы он был, он бы не допустил. Совершенно бы не допустил.

— Чего не допустил?

— А всего этого. Чтоб, скажем, пили. Чтоб воровали. Чтоб все абы как, а себе — хоть рупь, и

тот на водку. Помнишь, как мы за твоим-то шли, подружка? Он впереди с красным флагом, а мы за ним с детями на руках да все семнадцать верст. Идем и поем, поем и идем, и радость такая… Такая… Ты помнишь, подружка, радость ту нашу? Где она сейчас, наша радость, а?

— Где?.. — зазвенело вроде или показалось так старухе, а только опять она увидела стол, сынов и мужа посередке с черными, забитыми землей ртами. — Фашист нашу радость стоптал.

— Ну коли один фашист, так тебе и молиться не надо. Коли нашла виноватого, то на тебе и греха нет, зачем же тебе икона?

— Грех? — обмерла старуха. — Стало быть, полагаешь так, что есть он, грех-то?

— Есть, — важно сказала Тихоновна. — Бога нет, а грех есть. И у каждого — свой. Вот ты свой-то грех и отыщи, и тебе полегчает. А бога все одно нет, не верю я, не верю, что мог до такого нас допустить. Сами мы во всем виноваты, нечего на бога кивать: грех есть, а бога нет. Вот как я считаю.

Обе подруги долго молчали, одинаково жуя то ли закаменелые слова, то ли кусочки размягших мыслей и одинаково горестно кивая усталыми головами.

— Помолиться надо бы, хочется мне помо-

литься, — по-детски беспомощно вздохнула старуха. — Будто горит во мне, жажда будто, и ничего, кроме чистой воды, душа не примет.

— Да, подружка. Брели мы через жаркую пустыню, а куда брели, то и поводырям нашим неведомо. С песнями брели, только где теперь теи песни и теи поводыри? — Тихоновна скорбно помолчала и неожиданно деловито закончила: — К Лукерье зайди. Она всю жизнь хитрюще жила, всю жизнь ужой скользила, так, может, припрятала где-нито иконку, а? Ужой жила, ужой из всех рук выскальзывала — и тогда могла выскользнуть. Уж если кто и мог тогда выскользнуть, так только она.

Лукерья была худой, скрюченной и злющей. Маленькие глазки глядели на все с подозрением: на людей, на скотину, на стены, на само солнце. Она больше не верила никому и ничему, не ждала от других ни доброго слова, ни доброго дела и жила так, словно все кругом только того и желали, как бы половчее обмануть да покруче повернуть.

— Молитву тебе? — злорадно протянула она. — Икону тебе? Бога тебе? И все — тебе? А где же — нам? Раньше-то, забыла, что ли? Раньше-то, прежде-то, при молодых мужиках наших, что

орали? А то орали, что все ам да ам, нам да нам. А теперь, значит, другого лазаря запели: мне? А «мне» давно в дерьме, слыхала? Наше все. На-ше. Земля наша, вода наша, сеялки-веялки, закон и правда — все наше. Уря! Ну, жри это «наше», жри, давись, покуда не разорвет тебя. А, невкусно? На чужом горе в рай въехать хотели, а того не скумекали, что в рай ворота узки, вот друг дружку и подушили. А хочешь знать, почему так все, а? А потому, что нельзя дорогу в рай пожарами освещать. У бога времени много, у него век что миг, а, однако, и он не стерпел да и вдарил. Под самый корешок вдарил: сколько от твоего-то племени уцелело? Один внучок, да и тот дурачок? А у меня и того нету. И таких, как я, почитай, вся Россия. Так икону тебе после этого? Доску гробовую размалюй да и молись на нее, чтоб было кому глаза закрыть да в гроб положить. Или так надеешься, что тебя дочка с зятем из города хоронить приедут?

— Не приедут, — вздохнула старуха. — Тоска меня гложет, Лукерья, такая тоска…

Лукерья зло пялилась маленькими колючими глазками…

— Пойду я, а? — несмело спросила старуха, помолчав.

— Чего? — тяжело очнулась Лукерья. — А, старая? Спастись хочешь? Не спасешься. Нет, не спасешься. И никто не спасется, все ответят. Все!..

Спастись? Нет, она совсем не думала о спасении, да и о собственной ответственности тоже не думала. Ее грызла тоска, горькая и безнадежная тоска старого и никому не нужного на свете человека, разбуженная привидевшимся сном, нахлынувшими воспоминаниями и нетерпеливым желанием выложить перед кем-то, кто поймет и простит, все, что наболело. Вывернуть душу, очистить ее, проветрить, омыть, а там уж и доживать с новым запасом терпения, сострадания, понимания и добра. Не в спасении после смерти тут было дело, а в утолении духовной жажды при жизни, сейчас, как можно скорее. А для этого нужна икона, как свидетель, пред лицом которого не солжешь и не выкрутишься. Нужна икона, истовость и правда без утайки и лукавства, но главное все-таки — икона. Как зеркало, в котором видишь все без прикрас: морщины и седину, дряблость кожи, тусклый взгляд и мешки под глазами, и люди, вероятно, для того и писали их, эти иконы, чтоб они вечно служили зеркалами душ человеческих, переходя из рук в руки от

матери к дочери и от отца к сыну.

А их сожгли. Ходили веселые, шумные из дома в дом и с шутками да прибаутками рвали из рук те считаные семейные реликвии, которые пронесли бабы из старого села в Красные Жемчуга в тряпье да за семнадцать верст. Играла гармошка, пели песни, хором кричали лозунги и водили хоровод с частушками вокруг костра, в котором корчились божьи матери, спасы нерукотворные и крестьянские заступники Николы: «Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

А первой продавщицей была учительница начальной школы, открытой в Красных Жемчугах одновременно с новой лавкой, Мария Сергеевна. Она очень этого не хотела, краснела и отказывалась, но ее уговорили как шибко грамотную. Временно и на общественных началах. Эта Мария Сергеевна и учила всех ее детей: Гришу и Шурку, Полюшку и Светку. А своих у нее не было, муж пропал без вести в сорок третьем, и старая учительница доживала свой век в маленькой квартирке при школе, с трудом передвигаясь на распухших ногах. А школы уже не было, в ее здании располагалось общежитие механизаторов, а десяток ребятишек, что оставались еще в

Красных Жемчугах, возили теперь машиной в старое село.

Вспомнив об учительнице, старуха вдруг засуетилась, потому что давно не навещала, а учительница была сильно плоха. Да заодно и поговорить хотелось, и старуха, не перекусив толком, натянула жакетку и пошла, посеменила, с горечью размышляя, что и такая вот забывчивость друг друга и есть грех, и совсем не перед богом, а перед людьми и, главное, перед собой. Перед совестью своей, что точила ее с утра, как червь.

— Да, да, совесть, — задумчиво подтвердила учительница. — Толстой Лев Николаевич считал, что бог есть совесть и что полной душевной гармонии следует добиваться не с помощью церкви, а посредством праведной жизни. И из всего Евангелия взял пять постулатов: не гневись, не блуди, не клянись, не противься злому, не воюй. Как будто в этом ожесточенном мире можно обойтись проповедью и личным примером. Нет, правильно сказал наш поэт: добро должно быть с кулаками.

Мария Сергеевна говорила много, трудно, с тяжкой одышкой и никак не могла остановиться. Она жила совершенно одна уж много лет, за сте-

ною в бывшей школе вместо бушующей детской жизни со всеми ее страстями, слезами, смехом, озорством и шумом рождались совсем иные шумы в свинцовых водочных парах, а старая учительница могла лишь выползти на крыльцо в теплые вечера.

Запас невысказанных слов все рос и теперь прорвался естественно и облегченно.

Старуха слушала с покорным терпением, хотя ничего не понимала. Она не знала, кто такой Лев Толстой, а уж о его учении и слыхом не слыхивала, да и не разобралась бы в нем, если бы и попытались объяснить. На время она вообще перестала слышать голос учительницы, а потом спросила, прерывая счастливое и самозабвенное бормотание:

— Чего это я не пойму, Мария Сергеевна, зачем же добру кулаки? Чего это я не пойму никак…

— Для борьбы, — тотчас, хотя и с некоторым раздражением, откликнулась старая хозяйка. — Необходимо защищать свои принципы, свою правду всегда и везде, а не пасовать перед…

— Что же это за правда, коли она сама себя защитить не может? А уж коли кулаки в ход, то при чем тут правда? Ведь кулаками и неправду вколотить очень даже просто, очень даже, Мария

Сергеевна.

— Это в тебе христианское начало говорит, христианское, — уже сердясь и тыча пальцем, зачастила учительница. — Мы создали абсолютно новое творческое учение, которое вызывает лютую злобу наших закоренелых врагов, и в этих исторических условиях непримиримая борьба…

И старуха неожиданно вздохнула:

— Помолиться бы тебе, Мария Сергеевна. Глядишь, и полегчало бы на душе, отмякло бы все в ней.

Сказала, а сама испугалась: подумала, что обидела учительницу, что рассердится та и начнет отчитывать. Но Мария Сергеевна не закричала, не выругала, а, помолчав, улыбнулась:

— Странно, странно. Глубоко, значит, сидит в тебе старое, очень глубоко, хотя муж твой, между прочим, был первым коммунистом и основателем Красных Жемчугов. Правильно, значит, твоих родителей: из села — да на перековку. А внук твой… ну, Светланы сын.

— Внучек-то? Ларик.

— Ларик этот твой тоже заражен. Гены. В прошлом году, когда тебя навещал, ко мне заглянул и все допытывался, у кого тут иконы могут быть. В тебя пошел, не в деда: иконы его, видите ли,

интересуют…

Об иконах внучек спрашивал, иконами интересовался?.. Старуха не знала об этом, новость была ошеломляющей, и, задавая последний корм орущей, хватающей, жрущей, чавкающей ораве, она неотступно думала о Ларике. Об единственном внуке своем, последнем зеленом листочке… Конечно, Светлана могла бы еще рожать да рожать: молода, здорова, квартира есть, муж аккуратный и с положением, достаток, какой старухе и не снился-то никогда за все времена. Трижды она к дочери приступала («Чего не рожаешь, доченька? Рожай, покуда силы в тебе…»), а потом зареклась, потому что ответ был всегда одинаков:

— Это ты в нас счастье видела, а я — в другом. Культура возросла, мама, и уважают нас теперь не за детей, а за общественно полезное дело. Я это поняла, родила одного для здоровья и буду честно трудиться на общее благо. И так все, мама, не я одна. Жить надо в полное удовольствие.

Полное удовольствие — квартира, машина, цветной телевизор и обязательный сентябрь у теплого моря. Старуха никогда у моря не была, плохо представляла, что это такое и зачем к нему надо ездить каждый год осенью, но и дочь, и зять, и внук только улыбались на ее недоумения. И

зять — самостоятельный, представительный, которого она всю жизнь звала только по имени и отчеству — Эдуардом Леонтьевичем, — говорил покровительственно:

— Отдых, мамаша, он с культурой человека связан. Кому — водки бутылку да сутки сна, кому — пятипудовый рюкзак да тайга с комарьем, а кому — и все блага цивилизации.

А Ларик добавлял:

— Сочи-бич, бабулька, как в лучших домах!

Сочи-бич было еще непонятнее моря, но самой загадочной оказалась новость, открытая Марией Сергеевной: Ларик, оказывается, искал иконы. И старуха полночи ворочалась без сна, размышляя о том, что внучек ее тоже, видно, мается душою, жаждет откровения и покоя, если уж всюду ищет икон, как она сама. Ей было жалко его и жалко себя, и она два раза поплакала, но слезы не принесли облегчения. А под утро вдруг поняла, что должна сделать, испугалась собственной смелости, но все же твердо решила исполнить задуманное.

Накормив свою вечно голодную ораву, старуха снова кинулась к Тихоновне: без ее помощи невозможно было осуществить замысел, пришедший в голову среди ночи.

— Ладно, покормлю твое стадо, — согласилась Тихоновна. — Только за это мое одолжение ты мне чаю привези. Я уж полгода как чаю-то настоящего не пила.

— Привезу, подруга моя, непременное дело привезу.

— Ох и заругают тебя! — вздохнула на прощанье Тихоновна.

Но старуха и не расслышала этого прощального вздоха. Идея, которая внезапно осенила ее, была проста: поехать в город и попросить внука помочь достать иконку.

Она бывала в городе ежегодно, а причина заключалась в том, что в середине декабря к ней в Красные Жемчуга непременно приезжал зять — иногда с Лариком, чаще один, но всегда с остро отточенным немецким кинжальным штыком в чемодане. Этим штыком он самолично колол откормленных свиней, умело разделывал туши, а потом пристойно пил три дня под свежую убоину. Он ценил весь процесс — от неистового предсмертного вопля до жареного ливера, — но колоть все же любил больше всего. Спозаранку, когда еще только кипятилась вода, заготовлялись тазы и ведра, он пребывал в приподнятом настроении, напевал, подправлял на оселке штык и шел

в закут, шагом торжественным и неспешным. И колол артистически, с одного удара пронзая свинячье сердце; ловко подвешивал тушу на балку, перерезал горло, спуская кровь, и начинал азартно, с почти чувственным наслаждением разделывать, ловко швыряя по тазам и ведрам ливер, сало, куски мяса. В этот момент бесцветные глаза его словно загорались изнутри, окровавленные руки работали с вдохновением и точностью хирурга, и ликующий смешок, похожий то ли на страстный всхлип, то ли на довольный клекот, сам собой рвался из груди. Работал он без перерыва и помощников до изнеможения, но не покидал закута, пока не заканчивал разделки. Потом шел в истопленную тещей баньку, долго парился, возвращался тихим и умиротворенным и выпивал в три приема бутылку под свежий ливер. А на следующий день все повторялось, и так как старуха ежегодно выкармливала троих, то все и укладывалось в три дня неимоверной работы, неимоверного торжества и неимоверного наслаждения. А потом мясо грузили в «Ниву», зять сажал тещу в машину и вез в город, где она и продавала свежую свининку на рынке аккурат перед самыми новогодними праздниками. И жила у дочери, пока не распродавала всего, после

чего ее отправляли назад на машине, в которой заодно подбрасывали и корм на будущую партию: жмых или комбикорм, гнилую муку или отруби, заранее насушенные сухари и все, что только удавалось достать. Неделю, а то и дней десять старуха отдыхала, а потом зять привозил новую троицу розовых, визжащих поросят, которым через десять-одиннадцать месяцев надлежало стать предметом рыночной торговли, и цикл начинался заново. И все к этому привыкли, все в это втянулись; старуха выкармливала, зять колол, дочка где-то работала, Ларик где-то учился, а теперь, как вдруг выяснилось, затосковал по ликам святым.

Собралась старуха быстро, да и что было ей особо собираться: не невеста, не молодка, да и нарядов-то — ровно один, в котором на рынке торговала. Ей очень хотелось привезти хоть каких-нибудь гостинцев последней своей родне, но в огромном пустом ее доме давно уже ничего не водилось, кроме того, без чего невозможно было обойтись в хозяйстве. Она прекрасно знала об этом и все же зачем-то рылась в сундуке, перебирая старое, никому не нужное тряпье. На самом дне под тряпками лежала деревянная шкатулка, которую когда-то — давным-давно! — сделал ей,

невесте, ее будущий муж: там хранились редкие письма с фронта — пять от мужа да по два от сынков, похоронки, какие-то старые справки, бумажки, документы, осоавиахимовский билет Шурика и орден Отечественной войны мужа, который вручили ей в сельсовете на вечное хранение уже после войны. И сейчас, наткнувшись, развернула и долго глядела, потому что вспомнила вдруг сон, безгласые, забитые землею рты и черные провалы вместо глаз. Орден был ее единственной ценностью, и старуха ясно представляла себе и то, что это ценность, и то, что она у нее единственная. И что если ее украдут, пока она будет в городе, то украдут не орден, не вещь, а саму память о муже, реликвию, нечто столь же святое, как икона. Старуха завернула орден в тряпочку и спрятала на груди под кофтой, будто нательный крест, который ее заставил снять собственный муж еще в те времена, когда жег последние иконы.

С утра зарядил дождь, и старуха добиралась от Красных Жемчугов до родного села долго и тягостно. Сперва ее подвез тракторист, ехавший на молочную ферму. Далее поплелась пешком, а дождь не утихал, и она порядком промокла, когда ее нагнал грузовик.

— Садись, мать!

Шофер оказался пожилым, добродушным и разговорчивым. Был он из местных, из села, но старуха его не знала, а он быстро выяснил, кто она и откуда. И почему-то очень обрадовался:

— Значит, это твой бедноту на выселки увел? Ну, история, нам об этом еще в школе рассказывали! И все мужики в войну полегли? Вот оно, значит, как дело-то в Жемчугах обернулось. Что же, мать, до автобуса еще часа три, никак не меньше, так я тебя пока к своей мамане отвезу. Обсушишься, обогреешься, чайку попьешь.

Шоферская маманя оказалась помладше старухи, и старуха ее не помнила. А маманя старуху помнила, и мужа ее помнила, и митинг тот, на котором беднота решила отселиться ради новой жизни, и сам исход их из села — с красным флагом, гармошкой да песнями: тогда она, сегодняшняя шоферская маманя и бабка двоим внукам, была девчонкой-подростком, все замечала, все видела и все уложила в памяти своей.

— Помнишь, твой-то сказал, что революция, мол, всех поменяла и теперь тот хозяин, кто вчера рабом был, а тот, кто был хозяин, тот сегодня раб? А я помню, все помню! И еще так: это рабы, говорил, ждут от жизни милостей, а мы хозяева,

мы сами возьмем милости эти. Вот постановим, что через пять лет будет у нас счастливая жизнь, и выполним такое свое постановление.

Уласканная, согретая и обсушенная, старуха наслаждалась чаем и воспоминаниями о собственной молодости. Ее память, надорванная четырехкратными потерями в войну, многое уже утратила, многое в ней истерлось и померкло, а у хозяйки голова была ясной, вспоминала она с удивленным восторгом, и старуха испытывала теплую благодарность и радость на душе.

— И тебя помню, ой помню! Все бабоньки в красных платочках, а ты — в белом. Под красным флагом шла рядом с мужем, ребеночек на руках, и пела звончей всех, а платочек на тебе — белый.

— Белый, белый, точно ты говоришь, милая, — беззубо улыбалась старуха. — А знаешь, почему белый-то? А потому, что забежала я к отцу своему, к батюшке родному, благословения на уход получить, а он меня за волосья да по всей избе, да по всему двору! Уж не знамо как вырвалась простоволосая из родительского дома, а косынка красная да полкосы там и остались, в руках у батюшки. И больно мне, и совестно, и реву я, и задами к тетке своей, к Степаниде Мироновне: помнишь ее? В проулке за лабазом купца Дер-

гунова жила, мужа у ей в Гражданскую убили? Вот она мне свой платочек-то и дала. Дранную батюшкой родным голову покрыть.

— Ай, помню Мироновну, помню! — обрадовалась хозяйка и даже руками всплеснула. — Она все песни знала, и голос у нее был звонок, и ее на все свадьбы приглашали. И на моей она тоже песни играла и глядела, чтоб все по закону было, как положено и по обычаю.

— Вот, вот, она самая, тетка моя, — бормотала старуха, улыбаясь и утирая обильные слезы. — Вот, вот, значит, белый платочек…

Обсушили, обогрели, чайком напоили, и старуха три часа тряслась в автобусе с улыбкой. Дождь моросил, грязь под колесами хлюпала, из ухабов фонтанами била до самых окон, небо серое и низкое, и ветер, и дорожка районная — только зубы поспевай считать, у кого они есть! — а старуха улыбалась до самой станции.

Правду сказать, так не дальний путь и не пересадки ее беспокоили. Для нее все было простым и естественным, и никакие сложности жизни, никакие трудности бытия и быта не могли ни испугать, ни насторожить, ни даже удивить ее. И боялась она не встречи с ними, с трудностями, а встречи с «самим». С мужем единственной

дочери, с отцом единственного внука, с зятем Эдуардом Леонтьевичем, который с таким виртуозным мастерством, с таким восторженным наслаждением колол и разделывал свиней. И очень страшилась предстоящей встречи и особо — объяснений, как смела покинуть свиней, которых откармливала по лично составленному «самим» рациону и режиму.

— Наши хрюши на месяц раньше государственных созревают! — восторгался он, заедая водку жареной кровью. — Так держать, мамаша!..

Когда села в поезд, тревога достигла вершины. Старухе уже не сиделось и не дремалось: она ерзала на жесткой скамье, вздыхала, вставала, ходила, снова садилась, беспокоя попутчиков. Она терзалась и ехала, ехала и терзалась, до ужаса пугаясь предстоящей встречи с «самим». И чем ближе подъезжала она к городу, тем все нетерпимее становилась тревога и все большим — ужас. И, приехав, старуха два часа сидела на вокзале, чтобы уж наверняка «сам» оказался на работе.

— Ты что это, мам? Погорела или хрюшки заболели?

Светлана была стройной полноватой женщиной, ведущей тяжкую войну с весом, талией, бедрами и модой. Любила ходить в гости, принимать

у себя, вкусно готовить и долго, уютно пить чай, а потом бегала в группе здоровья, маялась в сауне, страдала в руках массажистки, но непременно упаковывалась в тот размер, который считался оптимальным для ее возраста. Этой борьбой, по сути, и была заполнена вся ее жизнь, потому что должность методиста при Доме медработника являлась скорее престижной, учитывая свободный рабочий день, неясный круг обязанностей и маленькую зарплату. Кроме того, это был если не ход, то лаз к медицинским светилам, способ добывать дефицитные лекарства и путевки на вожделенное Черное море; правда, у мужа в этом смысле имелись более весомые возможности, но одно не только не исключало другое, но и создавало различные варианты: «Иван Петрович, дорогой, не желаешь ли с нами на солнечный юг косточки погреть?» А Иван Петрович — гастроном, ателье мод или станция техобслуживания. Все свершалось по законам круга, который они считали своим и который их считал своими: визиты, звонки, поздравления, шутки, подарки, одолжения, совместные поездки на курорт, на рыбалку, на дни рождений, на пикники с шашлыками и так далее и тому подобное…

— Свиньи заболели? Подохли? Пали? Ну, чего

молчишь?

— Нет, Светочка, нет, слава богу, слава богу все.

Прочастила старуха, пролепетала и примолкла, потому что до сей поры, до свидания с дочерью, так и не подумала, что же сказать-то ей с порога, как объяснить необъяснимое: почему бросила свиней и вдруг, без разрешения, без предупреждения даже прикатила в город. «Здрасте!» Выкладывать сразу про икону, что казалось таким простым и естественным дома, здесь было явно не к месту.

— Измучилась я с головой, доченька, прямо спасу нет. Все кружится, все плывет, особо по утрам. Может, думаю, порошков мне каких?

— Из-за этого хозяйство бросать да ехать с пересадками? — недовольно проворчала дочь. — Могла бы и в письме описать свои кружения, а я бы выслала что требуется: мне же только по телефону позвонить, и всю аптеку на дом принесут. Ну да ладно, раз уж приехала. Поди в ванну залезь, погрейся, а потом чайку попьем, у меня тортик остался. Погоди, халат дам, полотенце. Спасибо скажи, отгул у меня сегодня, а то поторчала бы ты на лестнице!

Светлана была недовольна ее самовольством, но не до крика, и старуху это ободрило. На нее

всегда все ворчали, и она уже свыклась с этим ворчаньем. Смиренное молчание ее действовало не то чтобы умиротворяюще, а, скорее, как прекращение подачи горючего: огонь угасал, и наступала тишина. И старуха тихо радовалась, что открыла такой простой и безотказный способ восстановления мира в собственном доме, способ, в основе которого лежало все то же терпение. И, приняв ванну с дороги, покойно сидела за кухонным столом, чинно и неспешно пила чай, пробовала торт и конфеты и слушала свою ненаглядную и последнюю, которая к тому времени уже отошла и от удивления, и от неудовольствия.

— Трудно стало жить, мама, ой как трудно, вы там, в деревне, и не представляете себе. У моего какие-то неприятности, начальника сменили, что ли: разве ж он скажет? Он все про себя переживает, ходит да молчит и даже телевизор не смотрит, а по ночам вздыхает и ворочается и меня отталкивает, представляешь? А уж это признак верный, что служебные у него неприятности. Да и у меня на работе строгостей навели — ну, будто у станка я, ей-богу! Представляешь, на минуту отлучиться нельзя: изволь расписываться в книге, во сколько явилась да на сколько отлучилась.

А нервы мои, которые я на них потратила, так это никто не считает. Это так, в порядке вещей: Светочка, сделайте это, Светочка, сделайте то, Светочка, организуйте выставку, Светочка, проверните юбилей. И Светочка вертится, Светочка проворачивает, Светочка ночей не спит, а им, видите ли, жалко, что я на часок в магазин сбегаю. Вот жизнь проклятая, не то что у вас, в деревне…

Старуха не могла оценить всей горечи этих жалоб, слушала вполуха, но одно уловила, потому что царапнуло ее: «у вас, в деревне». «У нас, в деревне, — ей все время хотелось поправить, — у нас, Светочка, ты же деревенская, то же родина твоя, зачем же ты так-то, будто чужая ты нам?»

— Тебе учительница Мария Сергеевна кланяться велела, — невпопад сказала она.

— Ну и что ей надо?

— Ничего.

— А-а. Жива еще? Старая ведь, страх.

— Ну как? Маленько меня помлаже будет. Я уж бабой была, родила уж, а она еще только…

Светлана весело рассмеялась:

— Ты, что ли, молодая? И ты, как говорится, прогноз — склероз да на воз. Остроумно, правда? Это у нас знакомый один так говорит, невропатолог. Заметный медик, перспективный. Чаю

еще налить? Ты торт бери, пока дают, в деревне такого ни за какие шиши не купишь. Чаек, между прочим, из настоящей индийской банки, мне по знакомству достали. Теперь ведь давно уже не покупают, теперь только достают, потому что то, что можно купить, то нельзя носить, а что хочется носить, то нужно доставать. Дефицит, слыхала Райкина? Ох и наживаются же на нем некоторые, ты, мама, и представить себе не можешь! Что там ваши деревенские лавочники да кулаки — мелочь пузатая, им такие доходы и не снились, как у наших у некоторых…

Заверещал телефонный звонок, и Светлана бросилась в комнату. А старуха обиделась, но совсем уже не на то, на что прежде, не за свои Красные Жемчуга, а на то, что Светлана, дочь единственная, сказала про ее возраст да еще смеялась при этом нехорошо.

Светлана не возвращалась, время шло, и старуха помаленьку успокоилась. Слов из комнаты не доносилось, но тон слышался, и по этому тону она поняла, что дочь виновато оправдывается. Старуха допила чай, помыла посуду и со стола убрала, когда Светлана явилась расстроенной и озабоченной. Молча достала сигареты, прикурила, села напротив и стала глядеть сердито.

Явно ждала, чтобы ее спросили, а она бы в ответ могла выкричаться; старуха это поняла сразу и спросила, хотя ей страсть как не хотелось ни о чем спрашивать:

— Сам звонил?

— Сам, сам! — с подготовленной обидой закричала дочь. — Он своего нового завсектором в ресторан еле-еле уговорил, а тут тебя нелегкая принесла! Ну что мне с тобой делать, что? И назад, в деревню вашу вонючую, не отправишь, и здесь никого из родственничков. Может, в Дом медика тебя, а? Там сегодня лекция…

— Лучше я, дочка, тут посижу, — вздохнула старуха: резануло ей слух «вонючей деревней». — Пугливы мы, стало быть, деревенские, куда уж нам на люди-то.

Но дочь не слышала, да и не слушала ее. Моложавое, ухоженное, упитанное кремами лицо ее словно осело, словно состарилось вдруг, на глазах, а всегда старательно приподнятые уголки губ горько опустились. Не сказав ни слова, прошла в комнату; там было тихо, и старуха, любопытствуя и чуточку пугаясь за дочь, заглянула через открытую дверь: Светлана сидела перед телефоном, опустив плечи и как-то безнадежно ссутулившись.

— Ты что это? — спросила старуха, входя. — Может, случилось что, беда какая?

— Вот, — Светлана потыкала в телефон. — По телефону через приятелей общаемся — красиво, да? Вот до чего родной сыночек довел.

— Да неужто?

— А из-за чего все началось, знаешь? — не слушая ее, продолжала дочь, и в голосе ее слышались слезы. — Поначалу, как в институте он начал учиться, все нормально шло, обыкновенно, как у людей: ну, приятели там, магнитофоны эти, диски, девочки знакомые, танцульки, в кафе когда сходят или дома пошумят. А потом вдруг — на тебе, задумался! Старых друзей всех — побоку, курить бросил, молчаливый стал, нервный какой-то. Раз спрашивает: вы, говорит, как, консервы или еще хоть что-то живое в вас осталось? Ну, отец, конечно, на смех все перевел, на шутку: мы, говорит, тебя, дурака, одеваем, обуваем, кормим да поим — что может быть живее? А сынок, представляешь, мам, берет из серванта вот этого набор хрустальный — шесть фужеров и шесть рюмок в фирменной коробке — да как шмякнет его об пол! Звон, брызги, осколки! Окаменели мы, а он и говорит: ну, говорит, докажите, что вы — люди. Ну, отец, конечно: сейчас, говорит, я тебе

докажу. И ударил. Раза два, что ли, или три.

— Ударил, значит, — повторила старуха, словно уточняя.

— А наш отец как бы поступил, если бы Гриша или Шурка дорогое что-нибудь нарочно об пол треснули?

— А что у нас было-то, кроме совести?

— Ну, знаешь, это все демагогия, все в глаза этим тычут, вот и сын тоже. Ну и получил, чего заслуживал, так хоть прощения попроси, правда? А он ни словечка не сказал, только побелел весь, повернулся да и ушел. И полгода глаз не кажет: если и забежит на минутку, когда отца дома нет, схватит свои книги — и тут же за дверь. Даже со мной не говорит: «да», «нет» — вот и весь его разговор с матерью. Где живет — неизвестно, где спит — неизвестно, как учится — тоже неизвестно. Да что там: что ест, и то мне, родной матери, неизвестно! Телефон какой-то странный дал и велел по нему только одно говорить, если я его увидеть захочу: когда отца дома не будет. Представляешь? И я говорю. Говорю!

Она поспешно, точно боясь передумать, набрала номер. Он оказался занятым, но Светлана упорно набирала его раз за разом, пока не прорвалась.

— Это кто, Толя? — голос ее сразу же сделался медоточивым. — Извиняюсь, это сын мне ваш телефон… Что? Да-да, Ларик, можно его позвать? Нельзя? А почему нельзя? А вы скажите, что мать просит. Все равно не может подойти? Ну, хорошо, хорошо, вы передайте тогда, что бабка его приехала, а нас с отцом весь вечер дома не будет. Не забудете? Значит, никого не…

Видимо, там положили трубку, потому что Светлана оборвала разговор. Глянула на старуху злыми глазами:

— Не может подойти, когда мать просит, видела?

Дочь говорила что-то, но старуха уже не слышала. Она вдруг как бы очнулась, когда заговорили о внуке, который где-то там учился, что ли, а тосковал по иконам, по чистоте и откровению, по спасению души своей, как она поняла со слов старой учительницы Марии Сергеевны.

— Ничего не признает и никакого уважения не имеет ни к старшим, ни к дому, ни к должности, — продолжала тем временем Светлана, и в самоуверенном тоне ее появились нотки не столько горькие, сколько растерянные. — А Ларька за ней как нитка за иголкой: Дашка да Дашка. А в Дашке, как говорится, ни кожи ни рожи: тоща

да так вежлива, что прямо хоть вой. «Извините», «пожалуйста», «будьте так добры» — совсем мне парня испортила…

Не переставая ворчать, дочь распахнула шкаф и теперь металась от него к большому зеркалу и обратно, прикидывая то очередной костюмчик, то кофточку, то платье. А старуха и не пыталась вникнуть в дочкины ворчанья про внучка и неизвестную ей Дашку, но радовалась, потому что эта общая, женская, семейная, родственная неприятность сблизила их, как давно уж ничего не сближало. Дочь, занятая подбором вечернего наряда, перестала напускать на себя важность и значительность, стала по-бабьи жаловаться на сына и его новую подружку, превратившись в нормальную, в меру раздражительную, в меру усталую женщину, мать, жену и хозяйку. И старуха поняла, что все усиленные подчеркивания «вашей деревни» — все напускное, чужое, нахватанное. И поначалу старуху обрадовало, что эта городская пена, газировка эта не дала корней и ростков, но потом подумала, что и прежних-то, деревенских корней в ее Светлане нету более, и сильно огорчилась, потому что дочь представилась совсем уж перекати-полем, совсем уж вырванным из земли кустом, обреченным на

гибель безо всякого проку. С дочери мысли ее перекинулись на зятя, на «самого», столь самозабвенно коловшего свиней, и в нем она тоже не нашла ни единого корешка, как у камня, не способного дать продление жизни, или выкорчеванного пня, обреченного на медленное гниение и распад. И только Ларик, внучек ее, представлялся укоренившимся, устойчивым, способным думать не об одних лишь удовольствиях и приморском отдыхе, но и о душе. И поэтому она очень ждала Ларика и немножко побаивалась какой-то Дарьи, за которой, по словам дочери, он ходил следом, как телок.

Но тут приехал «сам». Один: гость задерживался на работе, и за ним еще предстояло вернуться. Эдуард Леонтьевич был очень возбужден, непривычно суетлив и озабочен, что не помешало ему, однако, ворваться в кухню весьма агрессивно:

— А рацион? Режим? Откорм? Ты что, мамаша, стронулась-сдвинулась? Почему все бросила, на кого? Подумаешь, голова у нее кружится! У всех голова кружится, а мы, между прочим, работаем. И себя не щадим. Завтра же порошки получишь, и давай к свинкам. К свинкам, мамаша, к свинкам, не срывай мне процесс. Я, понимаешь, посильно помогаю выполнять Продовольственную про-

грамму, а ты дезертируешь с трудового фронта. Немедленно назад, поняла? Светлана, добудь все лекарства, проконсультируйся, с кем требуется, — и на вокзал. На вокзал, мамаша, на вокзал без промедлений и задержек. Животину, понимаешь, любить надо не на словах, а на деле. Так что в декабре, мамаша, увидимся, а поужинаешь сегодня одна. Ты уж не обижайся, сама понимаешь, какая у нас ситуация и какого ответственного товарища угощаем. Светлана, я вскорости заеду, чтоб готова была, как штык, понимаешь. А еще лучше, если к подъезду спустишься, чтоб такси зря не стояло. Лады?

Ринулся к дверям, а старуха — возьми да и спроси:

— А Ларик как же теперь?

— Что? — хозяин остановился. — Я в его возрасте, знаешь, дрова на станции грузил, а он с жиру бесится. А хозяин здесь я, понятно? И пока он прощения не попросит…

— А коли в деда он? — вздохнула бабка. — Которые в деда, такие не попросят.

— Ничего, и таких заставим. Экономически прижмем, чтоб и не пикнули, поняла, старая? И все, и не встревай в наши дела!

И умчался, дверь за собою защелкнув.

— Хлопотун, — сказала старуха; тон был нейтральным: понимай как хочешь. И добавила, помолчав: — Эдуард Леонтьевич свиней колоть большой спец. Приехала бы, поглядела.

— Это в декабре? Да ты что, мам, соображаешь? Последний месяц: творческие отчеты, научные дискуссии, встречи по интересам. Это же все организовать требуется, провести на должном уровне, а кто проведет? Светочка проведет: кого упросит, кого умаслит, а перед кем и глазками поиграет. Действует! Сразу: «Светочка, Светочка!..»

Светлана гордо посмеялась, тряхнув в меру подкрашенными, в меру подвитыми волосами, до сей поры еще пышными и красивыми. А старуха глянула удивленно:

— Это, стало быть, ты у них — Светочка? Бабе к полста годам, а все — будто девчонка. Так вот и кличут — Светкой?

— Светочкой, а не Светкой, — несокрушимо улыбаясь, поправила дочь. — А возраст для настоящей женщины — миллион загадок. Я такое наобещать могу, что никакой девчонке и в голову не придет, а ученые, мам, они все дураки страшные в этом смысле. Вот мой Эдуард, к примеру, мужик! Его на глазках не проведешь, он всякой бабе цену знает. А профессора всякие... — она

весело расхохоталась. — Лопухи. Уши развесят, губы распустят, и делай с ними, что требуется по обстоятельствам.

— А что требуется? — спросила старуха с некоторым стеснением.

— Да не то, что у вас там на сеновале, не то! Я своему не изменяла и не изменяю, надо очень. А если ученый, допустим, из Норвегии приехал, должна я его уломать перед коллегами с отчетом о поездке выступить? Обязана, мне за это деньги платят, а как я это проверну — моя забота. Служба у меня такая, мама.

— А чего о тебе думают? — вздохнула старуха.

— А что обо всех женщинах, то и обо мне. Обо мне даже лучше, потому что я со всеми кокетничаю и на виду, не то что некоторые.

— Светочкой, значит, зовут, — зачем-то еще раз уточнила старуха и вздохнула. — А мне твой отец и братья часто снятся. Будто, значит, сидят они и молчат, а глаз у них нету.

— Мистика это, мама, — дочь тоже вздохнула. — А прошлого Девятого мая… Нет, седьмого, на вечере Дня Победы, обо мне директор нашего Дома медиков говорил. Что я — солдатская дочь и солдатская сестра, и потому я так ответственно отношусь к своим обязанностям.

— О тебе, значит, говорили? Это хорошо. А об отце, о братьях твоих Грише да Шурке?

— Ну откуда кто о них знает? Это я в своей автобиографии всегда пишу, что солдатская дочь, что потеряла на фронте отца и обоих братьев.

Продолжая без умолку болтать, Светлана сосредоточенно, без спешки и суеты занималась собой. Оделась, сама себе со вкусом и любовью сделала эффектную и очень к лицу прическу, умело наложила тон, подвела глаза, подкрасила реснички и губы. Посмотрелась в зеркало, что-то подправила, победно глянула на мать.

— Ну, как я тебе нравлюсь?

— Красивая ты баба, — с гордостью за нее улыбнулась старуха.

— Баба! — недовольно фыркнула дочь. — Скажешь тоже. Не баба, а цветущая женщина. Бабы — это которые навоз вилами ворочают, а женщина — высшее творение природы, как у нас один профессор говорит. Вы, говорит, Светочка, венец природы, высшее ее творение. Чудак!

— Почему же чудак? Это ведь ты — чудак, — тихо сказала старуха, ощутив вдруг ранящую обиду за дочь, которой смеялись в глаза, а она этого не желала понимать. — Какой уж там венец, когда ты под ним свое двадцать пять годков тому назад

отстояла.

— Темнота! — дочь расхохоталась скорее нервно, чем звонко, глянула на часы и заторопилась, хотя торопиться было еще рано. — Ларика чаем угостишь, там еще торт остался и конфеты. Новую коробку не открывай, она для другого предназначена.

— А коли он голодный?

— Сам отыщет, что надо, не маленький. Я же тебе не о еде объясняю, а об угощении, а это две большие разницы, как в Одессе говорят. Ну все, кажется. Все. Побежала я. — Надела шубку, остановилась в дверях, сказала не глядя: — Смотри, чтоб Ларик не позже одиннадцати ушел, ладно? А то, не дай бог, с отцом столкнется — достанется тогда нам с тобой.

— За что? — с хитроватой наивностью спросила старуха, хотя сама отлично знала, за что именно им достанется от хозяина.

— Ладно тебе, — хмуро сказала Светлана: ей не понравилась лукавая материнская наивность. — Чтоб не позже одиннадцати исчез: мой особо горласт с выпивки-то, поняла? Ну, тогда поцеловались.

Махнула рукой и вышла, так и не поцеловав мать, которая уже с готовностью двинулась было

к ней. Дверь захлопнулась перед самым носом, старуха остановилась, вздохнула невесело и поплелась на кухню.

Она оказалась одна в квартире, где ей никогда одной оставаться не случалось и где она, кроме кухни, ничего толком не видела. Ни спальни дочери с зятем, ни комнаты Ларика, да и в большую-то — то ли гостиную, то ли столовую — она всегда заглядывала мельком, наспех, стесняясь Светланы, а особенно «самого», хоть ей и случалось ночевать там на диване при ежегодных рыночных распродажах. Ей совсем не чуждо было нормальное женское любопытство; наоборот, ей очень хотелось не только все увидеть, но и все детально рассмотреть, подержать в руках, потрогать и пощупать. Однако природная скромность и чувство постоянной внутренней оглядки на зятя не позволили ей делать этого без хозяев, и старуха терпеливо сидела на кухне, хотя ей очень хотелось пройтись — просто хотя бы пройтись! — по всей дочкиной квартире. «Нет, не отвыкла Светлана от нас, — думала она о дочери. — Не отвыкла, а отрубилась. А отрубленная ветка коли уж и зацветет, так ни плодов не даст, ни корней не пустит. Вот и выходит, что дочь моя — ни в деревне овца, ни в городе коза, как отец ее говорил.

Обсевок людской. Родная дочь, а — обсевок, вон оно, значит, как получается, когда без веры, без истины в себе человек жить начинает».

Думала старуха о судьбе дочери горько, но спокойно, уже как бы признав саму справедливость такой судьбы, как бы приладившись к ней. Однако тревога все же копошилась в глубине ее существа, потому что утонула она в своих невеселых раздумьях и не расслышала, как повернулся в дверях ключ, как приоткрылись эти двери. А вынырнула из мыслей своих, услышав:

— Бабуля?..

Опомниться не успела, как взлетела в воздух, оказавшись в объятьях, как чмокнули ее звонко в обе пергаментные щеки, как захохотали вдруг весело, громко и искренне. От души.

— Бабуля приехала! Бабуин мой! Баобаб! Бабуля-барабуля!

— Ларик… Внучек.

Заплакала старуха. Потекли слезы по загрубелым, как шрамы, морщинам, но то были добрые слезы, и морщины смягчились, растягиваясь в улыбку:

— Внучек…

— Я, бабуин. Предков нет?

— Чего?

— Тихо, сейчас будет тебе сюрприз. Приготовились? — прошел к дверям, маня за собою старуху, взялся за ручку. — Раз, два… Три!

И распахнул дверь. А в проеме ее, как в раме, оказалась худенькая, очень стройная девушка с разбросанными по плечам длинными волосами. Девушка улыбнулась старухе, а старуха, сразу все припомнив и все поняв, улыбнулась в ответ. И сказала:

— Ну проходи, что же ты? Через порог не знакомятся.

Девушка шагнула в прихожую, прикрыв за собою дверь. Ларик обнял ее, прижал к себе, сказал каким-то совсем особым, чуть вздрогнувшим голосом:

— Знакомься, бабуля. Это Дашка моя.

И старуха сразу вспомнила, сразу узнала этот приглушенный, особый, как бы чуть споткнувшийся голос: и ей когда-то доводилось слышать его, как и всякой женщине, если повезло той женщине с любовью. И поэтому бабуля-барабуля, улыбнувшись еще мягче и теплее, сказала тем не менее ворчливо:

— Неправда твоя, никакая это не Дашка. Это Дашенька твоя, внучек. Дашенька, понял?

— Понял, бабуин! — радостно засмеялся Ла-

рик. — И все ты замечательно правильно говоришь, потому что Дашенька уж пять дней как моя законная супруга.

И воцарилось некоторое молчание, замеченное, впрочем, только старухой да Дашей; Ларик так его и не ощутил, потому что пребывал в состоянии приподнятом, шумном и восторженном.

— Законная, значит? — тихо переспросила старуха.

Ее смущало, что свадьба, брак этот, или как там теперь венчанье называется, прошла без родителей, без их благословения и даже присутствия.

— Да, — Даша тоже почему-то смутилась. — Знаете, вы нас должны понять.

— А чего же выкаешь, коли родственница? — строго спросила старуха. — Я тебе родная бабка теперь, вот, какая есть. Так что давай уж поцелуемся.

Они торжественно поцеловались, а Ларик, радостно завопив: «Бабуин, ты — гений!» — кинулся в столовую. Пока Даша снимала курточку, пока причесывалась, пока бабка провела ее на кухню, он чем-то звенел и гремел. А потом притащил бутылку шампанского и три бокала.

— Без спросу?

— А! — Ларик махнул рукой. — Ты, бабуля,

точно сказала, что родная нам, вот и чокнемся по такому случаю. У Дашк… то есть у Дашеньки, тоже фактически никого близкого в этом городе, как и у меня, и получается, что ты для нас — единственная родственница во всем мире.

Он говорил действуя: искал в холодильнике еду, вытаскивал ее, доставал из стенных шкафчиков посуду. Старуха слушала не перебивая, но губы ее стали сами собой поджиматься в строгую ниточку.

— Это как же так — единственная? У тебя мать есть. И отец. Родители, значит, вот как это называется испокон веку.

— Испокон это, конечно, называется, а теперь, бабуля-барабуля, все по-другому, — без тени огорчения сказал Ларик. — Садитесь к столу, дорогие мои дамы.

— И теперь они тебе — тоже родители, — непримиримо проворчала старуха, садясь.

— А вот это, бабуленька, ошибочное утверждение: теперь они мне — Штирлицы, а никакие не родители. Думают одно, говорят другое, а делают третье — вот какая интересная произошла с ними метаморфоза. Живут в собственной стране как шпионы: врут всем да каждому, со всех сторон в дом волокут, что выпросят, сопрут или на «я

— тебе, ты — мне» выменяют, обещания да клятвы раздают направо и налево, а сами только о себе и думают. И способны думать только о себе, о куске потолще, о квартире побольше, о солнце посолнечней, а над остальными — да хоть всемирный потоп!

Начав в тоне озорном, почти легкомысленно шутливом, Ларик незаметно увлекся собственными обличениями, ожесточился и закончил горестно и серьезно. И вздохнул:

— Слиняли мои предки, баобаб, с красного на розовенькое в полосочку да еще с оборочками и кружавчиками, чтоб красивенько выглядело. Красное на прекрасное сменять — вот в чем вопрос современности.

Женщины молчали; старуха пыталась понять, а Даша пока просто наблюдала. Негромко хлопнула пробка, Ларик разлил шампанское и улыбнулся:

— Тебе слово, бабуля-барабуля. Ты для нас с Дашк… с Дашенькой не просто старшая — ты земля наша, то, на что еще опереться можно, чтоб не поплыть на брюхе, куда течением сносит.

Старухе очень редко приходилось пить, а шампанского вообще не доводилось еще пробовать. Но дело заключалось не в вине, а в ритуале, в обычае, в благословении, которое внук с молоденькой

женой не желали получать от собственных родителей, но хотели получить от нее. Она сознавала все значение того, что ей предстояло сказать, но готовиться и размышлять не умела, всю жизнь полагаясь на собственное сердце.

— Благословляю вас на мир и дружбу, дорогие дети мои, — тихо и просто сказала она, и Даша тут же встала, а затем вскочил Ларик, и они крепко взялись за руки. — Любовь — свет, а дружба — тепло: без света жить хотя и скучно, а можно, но без тепла застынет ваша семья и сами вы застынете, льдом покроетесь и в себя самих уйдете, для себя самих жить станете. А дед твой, Ларик… нет, ваш дед, внуки мои дорогие, говорил всегда, что одно есть на свете счастье — доброе дело для людей делать. Вот и вы доброе делайте, и будет в душе у вас свет, то самое, значит, что люди счастьем зовут. Вот за это я и пригублю рюмочку.

— Нет уж, бабуля, за такой тост шампанское до дна пьют.

— И в горле щиплет, и в нос шибает, — удивилась старуха, допив тем не менее бокал до дна. — Чудно вино пью.

— Ларик мне рассказывал, что ваш муж… ну, то есть дедушка, — Даша смутилась, но выправилась. — Дедушка собрал молодых, которым

надоела неправда, и увел их из села на новое место.

— Красные Жемчуга! — с гордостью уточнила старуха.

— Красные Жемчуга! — повторила Даша и вздохнула. — Вы — счастливая, бабушка, вы удивительно счастливая: у вас были свои Красные Жемчуга. Вот и мы хотим, чтобы и у нас оказались свои Красные Жемчуга. А что для этого нужно? Для этого нужно смело и решительно отказаться от всего, что неправедно и жадно нажили нам наши заботливые родители, и стать свободными, как вы.

— Свободными от их барахла, — нахмурившись, пояснил Ларик. — От квартир, которые они выпросили, от стекляшек, над которыми всю жизнь, как припадочные, тряслись, от свиней, на которые машины покупались.

— Сильно же вы родителей своих не любите, — неодобрительно вздохнула старуха. — Нехорошо это, дети. Родители ведь для вас стараются, не для себя только.

— Для нас надо страну благоустраивать, а не собственную хату, бабуин.

— Значит, плохие у вас родители, так получается?

— Почему же — плохие родители? — негромко переспросила Даша. — Консервы, например, бывают хорошими, а все равно они — консервы. Вот и мои, например, родители — консервы, бабушка, понимаете? Закатали в них определенное содержание на вечное хранение, и вся жизнь для них как бы и существовать перестала. И нам они вместо теплых мыслей консервы в собственном соку впредь на всю жизнь предлагают. А мы не хотим их законсервированным духом дышать, мы лучше все с нуля начнем, понимаете? Вы же с нуля начинали, почему же нам ваш путь не повторить?

— Да уж начали мы, если честно, — негромко и непривычно серьезно сказал Ларик. — Даша из института в медучилище перешла, чтобы скорее закончить и получить специальность, а я тоже институт бросил, бабуля. Добровольно отказался от высшего образования, оплаченного папочкой с мамочкой да твоей каторгой со свиньями, и учусь сейчас на курсах шоферов-механиков. Закончим мы почти одновременно, летом, и поедем туда, где от нас реальная польза будет. Не халтура, не галочка, не вышибание планов во что бы то ни стало, а нормальная, нужная людям работа. Вот, бабуин, что мы решили с Дашк… с Дашенькой и

сделаем так, как решили.

— Господи, где же вы живете-то сейчас? — ахнула старуха, вдруг сообразив. — Где кормитесь-то?

— В столовой, — сказала Даша. — Рядом с нами очень приличная столовая, и сравнительно недорогая.

— А чего же сама не готовишь? Или не научили?

— Научусь, когда к плите пустят. А пока, бабушка, меня к ней не подпускают: хозяйка нам комнату сдала с условием, чтобы мы дома не готовили.

— О хозяйке ты напомнила исключительно своевременно, — сказал Ларик, вставая. — Вы поболтайте, а я книги свои пошурую, нечего им мертвым капиталом на полках пылиться.

С этими словами он прошел в комнаты, и женщины — старая и совсем еще юная — остались одни. Шампанское было уже выпито, и только у старухи вторично налитая ей рюмка искрилась нетронутой: бабка не имела привычки к напиткам вообще, а это шипучее вино показалось ей невкусным. Молодая нравилась ей («Добрая, видать, и заботливая, да еще неумеха»), и старуха разглядывала ее в упор, без стеснения, как разглядывают дети.

— Груди чтой-то у тебя — с кулачок. Не вызрели вовсе.

— Почему? — Даша чуть покраснела. — Все нормально.

— А детей чем кормить будешь? Этим, чего в магазинах продают, или, может, вообще их не родите, как теперь водится?

— Дети у нас обязательно будут, — сказала Даша; разговор этот смущал ее, и чтобы скрыть смущение, она начала убирать со стола тарелки и ставить чашки.

— Грудь свою кормить надо, холить, в удобстве содержать, — ворчливо сказала старуха. — Это девки так считают, будто груди им для красоты дадены, — сама девкой была, помню, как напоказ-то топорщилась. А ты — баба теперь, ты понимать должна, что не твоя это красота, а деток твоих здоровье. Мать-то кто у тебя будет?

— Они с отцом разошлись, когда я еще маленькая была, — как-то невпопад ответила Даша. — Сначала я с нею жила, а потом она меня назад к отцу отправила. Мешала я ей, что ли.

— И больше не виделись?

— Она замуж вышла и в другой город переехала.

— А отец, поди, женился, — догадливо вздох-

нула старуха. — Мужики без баб недолго живут. Вот и осталась ты сиротинушкой при живых-то родителях, так получается?

— Не в том дело, бабушка, сейчас каждый второй, если не двое из трех, — сироты при живых родителях: когда они видят-то их? И главное, какими? Если не пьяными, то раздраженными, если не раздраженными, то обиженными, если не обиженными, то либо обманутыми, либо обманувшими. И непременно всегда, во всем — лгущими. Лгущими и врущими и в большом и в малом без всякого смущения! — Дашенька раскраснелась от волнения, похорошела, и старуха сейчас любовалась ею. — У меня мама… ну, то есть мачеха, хотя она потребовала, чтобы я ее мамой называла, — хороший хирург, золотые, говорят, руки, к ней с горем да бедой не только город — вся область едет. Нет-нет, никаких денег она не берет, что вы, что вы, у нас ведь бесплатное медицинское обслуживание! Но если вы в ее квартире одно несчастье свое оставили, а не хрустальную вазу или антиквариат, ею любимый, то операцию она делать не станет. Она сразу же по горло занятой окажется, прямо невероятно занятой, и резать будут ее ассистенты. А вот если вы догадливы, щедры и при этом рассеянны

— от горя, разумеется, от беды, что на вас свалилась! — тогда времени у нее хватит. Как только за вами дверь захлопнется, она тут же при мне и при отце к оставленному вами ринется. «Ну-с, любопытно, что же это нам сегодня забыли?..» Вот как она приговаривает и руки потирает при этом, представляете? И все будет сделано в полном соответствии со стоимостью забытого. Все! И больной будет спасен, потому что руки у нее действительно золотые, и такие забытые подарки она отрабатывает на совесть, если о ее совести вообще можно упоминать. Я еще в десятом первый скандал закатила, а она мне знаешь, бабушка, что сказала? Ты, говорит, доченька, у меня там, на Западе, имела бы виллу, яхту, голубой «Мерседес» и ходила бы в мехах и бриллиантах, потому что я людей с того света вытаскиваю. Вот какая у нее философия, и я бы ушла сразу, если бы могла, но тогда я не смогла. Я только ревела да бунтовала, пока Ларика не встретила, а когда узнала, что и у него родители — консервы, «Штирлицы в собственной стране», как он их называет, тогда ушла. Как стояла, так и ушла, потому что мы с Лариком твердо решили, что так, как живут наши родители, жить не будем. Ни за что не будем, ни за какие коврижки!

— Стало быть, это ты научила Ларика рюмки об пол грохнуть? А зачем так научила?

— А чтобы проверить, болтун он или человек. — Даша рассмеялась. — Пошутила я тогда, если честно, а он — грохнул.

— Проверила, значит? — хитро заулыбалась старуха. — Ну и как?

— Все сомнения мои в том хрустальном грохоте развеялись, вот, бабушка, что из шутки получилось. То получилось, что, когда он мне предложение сделал, я ни секунды не колебалась. И вы бы тоже не колебались, правда?

Старуха ничего не успела ответить — ни согласиться, ни пожурить за шуточку, ни удивиться, как вошел Ларик, неся огромную стопку книг в ярких глянцевых суперобложках. Положить их на стол он не смог — нижнюю держал двумя руками, а верхнюю прижимал подбородком, и Даша стала помогать. Она снимала книги по одной и клала на стол; старуха суетливо раздвигала чашки, очищая место, и получилось так, что как раз перед нею легла толстая и, видно, очень дорогая книжка, с обложки которой тепло полыхнуло золотом нимбов и венцов.

— Никак икона?

— Владимирская божья матерь, — пояснил

Ларик. — Эта книжка хоть и про древнерусское искусство, а издана в Италии, и репродукции в ней — первый класс. Мать откуда-то приволокла — может, взятку сунули по обмену «ты — мне, я — тебе» — и мне подарила великодушно на прошлый день рождения.

С помощью Даши он переложил все книги на стол и теперь взял ту, с божьей матерью, и веером пролистал перед бабкой. И старуха обмерла, когда замелькали перед нею иконы. Большие, маленькие, средние. Божьи матери, спасы, угодники и мученики. Скромные и многоцветные, житийные и простые, в лик, в рост, поясные… Столько икон она видела только однажды: когда их жгли, а бабы боялись плакать, водили вокруг того костра хоровод и надрывно, заглушая внутренний вопль, орали: «Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

— Святых-то у тебя, Ларик, святых-то, — благоговейно вздохнула она и, помолчав, призналась в том, что тревожило: — А мы своих сожгли.

— Слыхал, старуха учительница рассказывала. Я ей: как же вы, культурный человек, допустили такое варварство? А она как завопит! — Он весело рассмеялся. — Оказалась до сей поры воинствующей безбожницей, абсолютные консервы в

собственном соку.

— Сожгли мы свои иконы, — не слушая, горько повторила старуха, но обратилась уже не к внуку, а к Дашеньке.

— Я же говорю: варвары. Это ведь, бабуин, не принадлежность религии, это народное искусство. Причем уникальное, а учительнице, чтоб поняла, напомнил, что искусство — это еще и стоимость. Мол, стоимость вы тогда жгли, если попросту — деньги. И при жуткой бедности своей сожгли целую кучу денег. Нет, ты только представь, Дашенька, ту нищету и ту темноту…

Ларик болтал, а старуха вспоминала тот костер, в который сама добровольно положила тайно унесенную из дома иконку, еще бабушкино благословение, бабушки-покойницы. Загодя, за неделю завернула в свои рубашки да юбки и вынесла к тетке Степаниде, потому что хотя и жила с молодым мужем отдельно от родителей, а иконки той у нее не было, поскольку муж запретил. И хранилась та ее иконка, бабушкино благословение, в материнском сундуке да в отцовском доме, пока не утащила она ее оттуда, чтобы самой же положить в общее пламя.

— Может, не столько в темноте тогдашней дело, сколько в решимости? — предположила Даша,

бережно разглядывая другие книги. — Когда люди решаются порвать с прошлым, они забывают о его стоимости, им тогда ничего не жалко. Вот нам с тобой, например… — Она вдруг вздохнула. — Нам жалко, что такие книжки продавать приходится.

— А что делать? — Он нахмурился и тоже вздохнул. — Больше у нас с тобой ценностей нет, а долги отдавать надо, пока нас на улицу не выбросили.

Старуха и слышала, и не слышала, о чем они говорят, не в силах оторвать взгляда от икон. И почему так видятся, почему так светятся? Вроде и не портреты, а живее живых; вроде листок бумажный, картинка, а от глаз никуда не денешься; вроде старики с бородами, а взор грозен и суров, но нет страха перед взором, а есть трепет и признание за ними силы и правоты. И ведь хоть в книге, хоть вроде как фотография, что ли, а все равно истина. Истина перед тобою, сама истина в очи тебе глядит, сама истина твоего ответа требует. Да, пред этим станешь на колени, этому поклонишься, а главное — не солжешь, как Дашенька-то говорила. Это живому можно солгать, мертвому — так вообще лгать принято: мол, какой был и как же мы теперь без тебя, а вот

этим ликам, этим глазам, что насквозь все видят — и что перед тобою, видят, и что за тобой, тоже видят, — им не солжешь никак. Им всю правду…

— Внучек, Ларик, дай ты мне, Христа ради, иконку какую ни есть плохонькую из книжки этой, а?

Ларик что-то говорил Дашеньке, а тут будто словом поперхнулся. Помолчал, почти весело оглядев свою бабку, сказал:

— Ну, баобаб, ты и выступила!

— Дай, а? — В ее просьбе был детский страх, что непременно откажут, безмерное отчаяние от мысли, что отказ неминуем, и боязнь замолчать, оборвать просьбу: все казалось, что мало у нее слов. — Одна я, Ларик, помру ведь скоро, а одной помирать ой как страшно. Так ты дай мне иконку-то, дай, чтоб не одна я была, чтоб хоть кто-то еще в пустом дому. А ты с душой, внучек, ты вона иконы в книжках собрал, о вечном думаешь, стало быть, поймешь и меня, что нельзя, невозможно без святого жить, без глаз таких вот… А у тебя их вона сколько, целая книжка, так неужто родимой своей бабке в одном-единственном листочке откажешь?

— Да погоди, погоди! — Ларик замахал руками, беспомощно глядя на молчаливую жену. — Даш,

это что она, а? Это ведь никакие не иконы, это репродукции, бабуля! Научный труд по искусству. Отпечатано на бумаге, видишь, и ничего святого нет в них и быть не может. Репродукции, бабуин, одно слово: репродукции! Да еще итальянского производства, а ты говоришь — листочек тебе. Для нас это — единственный капитал.

И опять старуха не слушала его, а что слышала — не понимала. Ясно было одно: отказал Ларик, наотрез отказал, и не будет у нее теперь иконки.

— Дед твой всю жизнь с капиталом воевал, а ты… Эх, Ларик, Ларик, деда бы хоть постеснялся.

— Был бы дед жив, я, может, и по-другому бы жил. Как знать, что бы было, если бы чего-то не было.

— Ты памяти его светлой посовестись…

— Он же шутит, бабушка! — вдруг громко сказала Даша, шагнула к старухе, обняла ее за плечи. — Он просто очень глупо шутит, вот и все. А книжку с иконами он давно вам подарил. Он специально ее сюда принес и перед вами положил. Правда ведь, Ларик?

— Ой, Дашка, я же до сих пор подонка по каплям из себя выдавливаю, — со вздохом признался Ларик. — Скотина я, да?

— Есть немножко, — улыбнулась жена. — Про-

си прощения, пока не поздно.

Ларик взял со стола книгу, подошел к бабке, стал на колени и протянул ей:

— От нас с Дашенькой, бабуля. Ты уж прости меня за глупые шуточки. Это так, знаешь, от игривости. Отец родной во мне заговорил вместо деда, но я ему больше слова не дам. Никогда!

— Ларик, Дашенька, внучонки вы мои родные, деточки вы мои…

Старуха отчаянно всхлипнула, но Ларик сразу же начал весело болтать, смеяться, и она заулыбалась всем своим счастливым, залитым слезами лицом. А тут и Даша пригласила к чаю; они чинно сели за стол и чинно, как того требовала бабкина неспешная душа, пили настоящий, душистый, крепкий чай, от которого старуха уже отвыкла. И сразу вспомнила о просьбе Тихоновны.

— Мы к поезду принесем, — сказала Даша. — Не беспокойтесь, бабушка, будет у вас настоящий индийский чай.

— Интересно, а что вы с дедом в Красных Жемчугах пили? — спросил Ларик.

— Мы новый мир строили, а когда строят, тут не до еды, — с некоторым вызывающим озорством сказала старуха. — Вот когда построят, тогда и поесть можно, и чайку попить. А мы ни-

чего еще построить не успели, потому что война началась.

И как-то незаметно, за чаем слово за слово рассказала старуха молодым то, что до сей поры бережно и строго хранила ее память. Рассказывала она неторопливо, часто отвлекаясь, припоминая мелочи и теряя порою нить собственных воспоминаний, но слушали ее серьезно, не перебивали, хоть часто и переспрашивали, а это живое участие внуков в давно отшумевшей, но для нее вечно звонкой судьбе мужа делало ее бесконечно счастливой. Настолько счастливой, что она порою прерывала рассказ и торопливо шептала про себя: «Господи, не сплю ли я? Господи, может, опять заорут свиньи и кончится сон этот, счастье мое кончится?..» Но рассказы ее, которые грели ее и трогали душу, потому что их слушали, оборвались не свиным визгом, а бархатным боем больших часов, что стояли в столовой. Пробило одиннадцать, и молодые заторопились. Скоро, в четыре руки убрали со стола, перемыли посуду, не давая ей ни к чему притронуться, и старуха умильно утирала слезы, прижимая к груди тяжелую книгу с репродукциями самых святых и чтимых русских икон.

— Ты на всякий случай им про книгу не гово-

ри, — сказал Ларик. — Спрячь от греха, знаешь.

— Завтра, бабушка, в поезде встретимся, — сказала Даша, целуя старуху на прощанье. — А за чай не беспокойтесь, у меня железная банка индийского к свадьбе припрятана.

— Так для свадьбы же, Дашенька.

— А мы свадьбу в Красных Жемчугах отпразднуем, — улыбнулась Даша. — Вот приедем в июне на последние каникулы и отпразднуем.

Молодые ушли, а вскоре шумно ввалились старшие. «Сам» был под веселым хмельком и что-то напевал, а Светлана беспричинно хохотала и все рассказывала, как с соседних столиков на нее пялились мужчины, как приглашали танцевать и как новый начальник, ради которого и был затеян поход в дорогой ресторан, лично «глаз положил».

— Чувствую, мам, ну прямо по трепету чувствую: положил!

Они говорили на кухне: хозяин плескался в ванной. Говорили приглушенно — собственно, говорила одна дочь, мать слушала, и это таинственное пришептывание очень старухе не нравилось.

— А Ларик-то не один приходил, — ввернула она, как только дочь чуть примолкла. — Он с

Дашенькой приходил.

— С фрей этой? — Светлана брезгливо сморщилась. — Мать у нее большую силу набрала, а то бы поплясала у меня эта девка.

— Девка? — старухе сразу расхотелось рассказывать о тайной свадьбе, о любви, которую поняла и почувствовала, о смелых, хотя и полудетских планах молодой семьи; вздохнула, покачала головой: — Не опоздай к счастью, Светлана, это ведь не к пирогу опаздывать.

— Нам бы поутру к профессору не опоздать, — резко сказала дочь. — Ложись-ка спать, поздно уже. А Ларика я от этой… — она выразительно помолчала, — все равно уведу.

«Не уведешь! — почему-то с веселым торжеством подумала старуха, устраиваясь спать опять на диване в столовой. — Там-то и посильнее, и поумнее, а главное, подобрее тебя сердечко-то бьется. Куда твоего подобрее… А Ларик — он в деда. В деда весь вызрел, вот что чудесно. И значит, жизнь его хоть и трудная будет, но счастливая, потому что для людей он ее проживает, как дед его прожил…»

И тут мысли ее прервались, потому что, раздеваясь ко сну, наткнулась она на орден, что был завернут в чистую тряпочку и висел на шее на

манер нательного креста. И то, что думы ее о сходстве собственного внука с собственным мужем так странно подтвердились вдруг посмертной наградой, поразило ее до глубины души. «Знамение это, — смятенно подумалось ей. — Знамение господне, что орден этот геройский Лариону передать следует. Из рук в руки на вечное хранение и вечную его совесть». И хотя понятие «вечная совесть» ей и самой было не очень понятно, она упрямо повторила его: «вечная совесть», ибо верила, что говорила сейчас как бы не свои мысли, а подсказанные ей свыше. И торжественно перекрестилась, хотя давно уже не крестилась ни перед сном, ни по утрам, и спала крепко и спокойно, как ребенок.

На следующий день старуху отправили домой с вечерним поездом. Днем Светлана успела показать ее какому-то медицинскому светиле и раздобыть предписанные светилом лекарства, а весьма раздражительный с похмелья Эдуард Леонтьевич — отругать перед отъездом на вокзал:

— Чтоб впредь без самодеятельности у меня, мамаша!

На вокзал приехали загодя, минут за сорок до отправления, но Светлана до вагона старуху

провожать не стала. Остановилась вдруг посреди перрона и вещи поставила:

— Вот они, твои провожающие.

Впереди виднелись Даша и Ларик. Светлана нахмурилась, сухо простилась, даже поцеловала, будто чужую:

— Ну, счастливо, мам. Не болей. И попусту к нам не езди, мой не любит этого. Почта на то имеется, чтобы лекарства пересылать, поняла?

Еще раз коснулась губами щеки и пошла к выходу, стараясь, чтобы спина выглядела значительно и надменно, и ни разу не оглянувшись. Старуха проводила ее глазами, смахнула слезинки, а вещи поднять не успела: внуки с двух сторон подошли, с двух сторон обняли и повели в вагон.

— Вот вам чай, — сказала Даша в вагоне, доставая железную банку с диковинными зверями и птицами. — Пейте на здоровье.

— Опять выкаешь, — строго попрекнула старуха. — А я что велела?

— Приедем, поживем — и привыкну!

— И еще тебе презент к чаю, баобаб, — сказал Ларик и сунул в старушечью сумку коробку шоколадных конфет.

— Спасибо вам, дорогие вы мои, — ласково прослезилась старуха. — Уж так вы жизнь мою под

конец украсили, так украсили.

— Почему это — под конец? — строго спросил внук. — Мы к тебе на каникулы собираемся, а там поглядим и… — Он помолчал, глянул на Дашу. — Признаваться?

— Непременно, — сказала жена.

— Мы там, в Красных Жемчугах, оглядимся и, может, туда и назначение попросим. Медсестра да шофер-механик — где не нужны? А там — ты, жить вместе будем, за тобой приглядим.

По старухиному лицу текли слезы, но она их не замечала. Она была счастлива, так счастлива, какой давно уж не ощущала себя. Горло ее перехватывали спазмы, говорить она не могла, а только улыбалась, и Даша своим платочком промокала ей слезы.

— Только свиней всех раздадим к чертовой матери, пока не сожрали они нас! — засмеялся Ларик. — Что, бабуля, примешь таких постояльцев?

— Родня, — с трудом выдавила бабка. — Какие же вы постояльцы? Вы — внуки мои, и мы с дедом…

Она вдруг осеклась, замолчала, посерьезнела. Расстегнула кофту, достала из-за пазухи белую тряпочку, согретую на высохшей груди, и протянула Ларику:

— Тебе это. Храни и береги. Детям передашь.

— А что это?

Старуха молчала строго и торжественно. Ларик развернул тряпочку: тусклое золото ордена весомо сверкнуло в вагонном сумраке. Молодые долго, бережно разглядывали орден Отечественной войны, а старуха торжественно молчала, радуясь, что догадалась взять с собой боевую награду мужа и передать ее тому, у кого она и должна была вечно храниться.

— Первой степени, — с уважением сказал Ларик. — Дедушкин?

— Его. Сыну передашь, когда вырастет. Ну, детки мои милые, давайте прощаться. Пора уж, лучше в окошко мне помашете, как положено.

Не очень-то ласковой была встреча, но проводы получились куда теплее, и старуха тихо улыбалась на возвратном пути. Правильно, очень даже правильно она сделала, что отдала боевой орден мужа, выданный ей на вечное хранение властями, единственному законному наследнику. А теперь он на месте, в путных и честных руках, а у нее то, о чем мечтала, что так вдруг потребовалось ей для спокойствия: иконы. Тут, правда, ее охватывало некоторое смущение, так как не ясно ей было, действуют ли книжные иконы

так же, как настоящие, но старуха в утешение все помнила, что зато их много, целая толстая книга. И к концу своего длинного, с трясками да пересадками путешествия, часто прерываемого то ли дремотой, то ли забытьем, старуха твердо уверовала, что так оно и есть, да еще получилось целых два подарка: сперва внук ей иконы подарил, а потом она ему — боевой орден покойного мужа. Эта версия была достойна и ее, и внука, и героя-мужа, и Дашеньки, и всех икон разом, что только были в книге, и старуха с удовольствием и массой подробностей пересказала ее Тихоновне, которую отблагодарила кулечком настоящего чаю и с которой вместе выпила несчетное количество стаканов под никогда не виданные ею шоколадные конфеты в нарядной коробке.

— И все он, Ларик, все он да Дашенька его! — умильно приговаривала старуха, а сама уже подумывала, когда же уйдет Тихоновна, когда же наконец даст ей возможность в благоговейном одиночестве поведать иконам свои самые сокровенные мысли.

Наконец Тихоновна перевернула вверх дном стакан, трижды, как положено, отказалась от всякого угощения и, немного посидев для приличия, распрощалась. А старуха, едва проводив ее,

заметалась по огромной, гулкой и сырой своей избе, не зная, с чего начать то, чего так жаждала. За весь вечер она ни словом не обмолвилась о нетерпеливом своем желании сегодня же, тотчас же приступить к молитве.

Достав книгу, старуха благоговейно приложилась к ней, а затем, прижав к груди, долго ходила, прикидывая, куда и как ее разместить и на что надо взбираться, чтобы поставить ее повыше. Слабая лампочка без абажура висела над кухонным столом — в том месте, которое ограничивалось углом печи да выцветшей занавеской, потому что дощатую перегородку разобрали на подтопку еще в войну, и свет еле проникал в огромную комнату — залу, где стоял почерневший от времени (или от горя?) стол, за которым никто не сидел вот уже почти полвека. А угол над столом, растерявшим и хозяина, и наследников, тот угол, красный, где должны были висеть иконы, был темным и пустым, как дыра.

Нет, ничего туда нельзя было ни класть, ни ставить. Там сперва прибрать следовало, вымыть да просветлить, и старуха, подумав, поставила книгу в центре семейного стола, за которым никто не сидел, подперев ее пожелтевшими учебниками Светланы и «Кратким курсом истории ВКП(б)»,

который муж два года учил наизусть и все-таки выучил. Лика божьей матери на суперобложке не было видно совершенно; старуха вспомнила, что в церквах всегда горели свечи, пожалела, что вовремя не сообразила купить их, и принесла из сеней фонарь «летучая мышь», с которым в сумерках ходила в закут кормить свиней. Поставила рядом с книгой, зажгла; божья матерь осветилась, по комнате поплыла керосиновая вонь, но старуха обрадовалась. Все теперь было готово к таинству; осталось подготовиться самой.

Теперь негоже было спешить, теперь следовало думать, вспоминать, считать свои грехи, расспрашивая совесть, и старуха готовилась неторопливо и основательно. Убрав со стола, достала из сундука чистую рубаху и тщательно умылась в сенях. Мылась она горячей водой, распарилась и, надев чистую рубаху, кофту решила не надевать, в рубахе было и тепло, и торжественно. И, все аккуратно прибрав, старуха сполоснула руки, медленно вошла в провонявшую керосином залу и медленно опустилась на колени перед тускло освещенной книгой.

— Матерь божья милосердная… — начала она и замолчала в смущении.

В пустой комнате голос прозвучал глухо и сыро,

а слова казались фальшивыми и не от сердца. Старуха сперва решила, что ложь идет от нее самой, изнутри, и опечалилась, но потом сообразила, что ее искренность превращается в ложь совсем не по ее вине, а потому, что звучит в мире пустом и темном. «Про себя надо, про себя», — подумала она и успокоилась. Сосредоточенно вгляделась в керосиновые блики, тускло играющие на чистых красках суперобложки, отпечатанной в безвестной ей Италии, и начала снова, но уже не вслух, а в душе. Про себя.

«Пресвятая матерь божья, муж мне виделся и сыновья, убитые фашистами уж сколько годов. Сейчас они, сыны мои, уж не то что отцами, а и дедами уж были бы, кабы не гибель, и дочка Полюшка, старшенькая, тоже, поди, бабкою бы стала, кабы не война та проклятая да не горе то народное горькое. И остались от меня и от мужа всего-то жизни на земле один листочек, да и тот пожух да пожелтел: Светлана, дочка моя, а что сын ее Ларион, хоть и добрый сам, для народа сделает, то мне неведомо, да и ему, боюсь, тоже неведомо, а ведомо только жене его Дашеньке, потому что свет от нее идет. Стало быть, не засохнет корень мой, да и за что, за что ему засыхать, когда не грешна я, не грех на мне, а судьба такая. А муж

вот о грехе все говорил, так неужто и вправду грешна я все-таки, пресвятая богородица? Всю жизнь свою я работала, детей рожала да ростила, исполняла все, что велено было, так в чем же мой грех? Я жизнь свою по ниточке перебрала, все искала, в чем вина моя, где ошибка, а где грех, да не нашла ничего. Я болела, когда все болели, я голодала, когда все голодали, я песни пела, когда все веселились, я иконы жгла, когда все жгли, — неужто за это, за костер тот, а? — нет, я же как все, как все, так и я. Ты же знаешь, ни муж мой покойный, ни я никогда, ни разу ничего для себя — все для всех. Все! А дом, в котором я век свой доживаю, так он ведь тоже общественный: его колхоз как премию нам построил, потому что уж очень мы тесно жили. Мы всю жизнь свою тесно жили, только вот помираем просторно. А жили тесно и отдавали, ничего не утаивали, все отдавали: и труд свой, и хлеб свой, и здоровье, и жизни свои. Так в чем же грехи наши? А если и было что, так неужто не искупили мы того, что свершили второпях да ненароком, смертями, пожарами, голодом да холодом?»

Дергаясь, тускло и неровно светил фонарь, керосиновая вонь заполняла избу, лик божьей матери на глянцевой обложке дрожал в отсветах.

И не было покоя в душе старухи, но не было и тревоги, а было острое желание рассказать все этой мудрой и спокойной женщине, которая родила людям сына на муки крестные. Все рассказать, всю правду: как жили и как умирали, как надрывались и как надеялись, как радовались и как рыдали, как…

«Ты знаешь, что такое похоронка? Знаешь, помнишь, такое матери не забывают, а ты на своего сына тоже похоронку получила. Ты — на одного, а я — на двоих, да еще на мужа, да еще Полюшка померла, помощница моя. Ты не серчай, не считаюсь я, не корю, я одно хочу: чтоб ты на нас глянула. Вон Лукерья говорит, что для бога, мол, век — что миг один, будто моргнуть, а ты ведь — мать, ты подскажи ему, мол, глянь на Россию хоть разок…»

Тут старуха запнулась, сообразив, что давно уже не молится, не считает грехов своих, а жалуется божьей матери и укоряет самого бога. Нет, не годилось так, нельзя было с ожесточенной душой беседу вести, и старуха совестливо вздохнула, помолчала, собираясь с мыслями, и начала виновато:

«Ты прости меня, дуру старую, что жалуюсь я, да душа моя изболелась. Конечно, не обиды и

не боли должно считать, а грехи, но вразуми ты меня, что грехом-то называется? Не учили нас грехам, не считали мы их, не страшились, так откуда же знать нам, что же это такое — грех людской? Что батюшку я своего ослушалась и ушла из дома его и из села ушла — это грех? Что иконы жгли с частушками — тоже грех?.. Нет, ты ответь мне, пресвятая матерь божья, знак подай, потому что я до утра о таких грехах тебе рассказывать могу. Накопилось их у нас столько, что все уже спуталось. Все спуталось. Все… А он кричал: грешно, мол, живу…»

Слабенький желтый язычок пламени стал вдруг расти и яснеть, чистым белым светом заливая избу, и старуха увидела мужа. Не черного, не с провальными глазами, не с набитым землею ртом и даже не в солдатской гимнастерке, а молодого, светлоглазого, в ситцевой рубахе, которую она сама ему сшила. Рубаха была перехвачена узеньким ремешком, а поверх муж набросил старый пиджак и сейчас деловито щелкал барабаном револьвера, проверяя, во всех ли гнездах сидят патроны.

— Кулачье идем трясти, мать, — весело сказал он. — Хватит, попили они нашего поту.

В своих Красных Жемчугах они не слышали ни

мужских проклятий, ни бабьего воя, ни детских рыданий: у них кулаков не было, никто никого не тряс, никто не сводил старых счетов ни за кровь, ни за пот. Правда, говорили об этом, но одно дело видеть, как раскулачивают, и слышать, как рыдают, а другое — шепот платок к платку, потому что жалеть запрещалось, сострадать запрещалось и даже вздыхать запрещалось. Полагалось радоваться и торжествовать победу над лютым врагом, и все торжествовали. Все. И надо было и быть, как все, и радоваться, как все.

Муж пришел под утро, усталый и возбужденный. Дети еще спали; она сливала ему у крыльца, держа в левой руке длинное суровое полотенце. Он взял его, вытерся, весело подмигнул.

— Ну все. Дурную траву — с поля вон!

Прошел в избу — не в эту, в прежнюю: маленькую, тесную, в то время совсем еще новенькую. Она налила ему щей, села напротив.

— И куда же их теперь?

— А в Соловки, — ответил муж, жадно хлебая: сутки почти что не ел ни крошки. — Твоих тоже, между прочим, из села наладили.

— Как моих? — Она задохнулась. — Отца с маменькой? Так какие же они кулаки, какие?..

— Да их не в Соловки, не боись, — улыбнулся

он. — Нынче дележ точный: свой, чужой и — середка, которая всю жизнь и нашим и вашим. И своим — вся власть, чужим — в Соловки, а гнилую эту середку — на принудработы, гиганты индустрии поднимать и себя перековывать социалистическим трудом. Перекуются — вернутся.

Не вернулись.

«Не вернулись мои батюшка с матушкой, отец, — сказала она про себя, и ясный, светлый, чистый муж ее стал темнеть на глазах. Темнело лицо его, темнела рубашка, исчезали, проваливались глаза, и в широко разинутый рот уже сыпалась земля. — Отец! — закричала она. — Не уходи, отец, я не буду, не буду про тех, не черней, не буду».

Кажется, спасла, остановила тлен его: муж начал светлеть, словно возвращаясь из тьмы. Выплюнул землю, сказал хрипло:

— Не было этого. Не было этого, ничего не было. Не было, не было, не было!..

— Не было, — покорно согласилась она. — Все равно уж не воротишь ведь их…

А сама подумала, что ее отказ от родителей, от самой памяти об их судьбе и есть грех, который никогда ей не простится. Никогда. И заплакала.

Догорал, потрескивая, фонарь на черном,

огромном, как надгробие, столе. Керосиновый чад стлался по залу, а на полу перед столом с еле различимой книгой, неудобно скорчившись, лежала старуха. То ли во сне, то ли в забытьи, и слезы катились по ее серому морщинистому лицу.

«Не гневи ты его, не гневи, — вдруг ясно послышалось ей. — Радости нет у него, так ты поспеши не с гневом — с радостью поспеши».

Голос был женским, добрым и ласковым, и старуха сразу поняла, кто ей шепчет, и поспешно стала вспоминать радостное. Радости в жизни своей…

«Сеялка-веялка, молотилка-трактор! Сеялка-веялка, молотилка-трактор!..»

За столько лет все частушки стерлись из памяти, а припевка, которую озорно что есть мочи орали хором, осталась. Они мечтали об этих машинах — о сеялках, веялках, молотилках и уж совершенно в ту пору неведомых им тракторах — и поэтому так часто и так громко пели о них. Просто выкрикивали названия, как дикари, веря, что докричатся, допоются, допросятся.

Господи, ведь заклинала же ее богородица не расстраивать мужа. Заклинала о радостном, о светлом вспоминать. Только о светлом и только

о радостном. Только было ли оно в жизни, это светлое и радостное? Может, это была просто мечта, так и оставшаяся мечтой?.. Нет, было, было, ведь уходили же они из старого мира, в котором батюшка в последний раз и в последний день успел за волосья ее оттаскать. И она оказалась в белом платочке среди красных косынок, как ромашка средь маков… И семнадцать верст счастья с грудным Шуриком на руках, а годовалого Гришу усадили в бричку вместе с остальными малолетками: русые головенки торчали из-за бортов, подпрыгивали, раскачивались, смеялись и плакали. А впереди всех шел ее муж с красным флагом, рядом — гармонист, и песни — всю дорогу. И пришли на голый берег и на все общее. Молоко для детишек — общее, щи для мужиков — общие, котлы — общие, миски — общие: и огонь общий в кострах, и труд общий на стропилах. И работа без перерывов, без сна, без отдыха: «Ты устал, товарищ? Отдыхай, где твой топор? Я иду на твое место». И звон топоров не прекращался ни на минуту: они успели поставить избы до морозов. Маленькие, тесные, зато одинаковые и всем. У всех одинаковые, потому что по труду, а труд — это когда все всем. Все, что есть в тебе, всем на пользу. Сила, ловкость, сноровка, уменье,

пот, кровь и сама жизнь — все тем, кто рядом, кто вместе с тобой ушел из старого мира строить новую жизнь в Красных Жемчугах.

— И наши Красные Жемчуга станут ярким примером для всего трудового народа, дорогие мои братья и сестры! — говорил через три года ее муж и первый председатель их колхоза на празднике 1 Мая. — Мы всем докажем, что человек может и должен быть счастлив в стране, сбросившей иго царя и капитала. Мы начали новую, совсем иную жизнь — жизнь без обмана, без эксплуатации, без неравенства, без лжи, без воровства, пьянства, распутства, без «мое — твое — богово», без всех тех кандалов, что веками сковывали свободный дух человека. Теперь мы — свободные и гордые, мы сами себе хозяева и должны жить одной семьей, одной радостью, одним счастьем, одной целью и одной правдой!..

Старуха снова видела своего мужа молодым, счастливым, веселым, со светлым лицом и светлой улыбкой. И на той трибуне, с которой громко и радостно говорил он о новой жизни, по обе стороны от него появились сыновья Гриша и Шурка, рослые, светлые, плечистые, а отец нисколько не постарел и казался сейчас не отцом им, матерым мужиком, а — братом…

«Пресвятая богородица! — вдруг всполошилась старуха. — Что же это я — все про мужа да про мужа? Дай хоть на сыночков полюбоваться, позволь хоть словцом перемолвиться, голоса их услышать...»

Старуха недвижно лежала на полу. По лицу ее по-прежнему медленно текли слезы, но лицо это уже робко светилось изнутри, уже радовалось увиденному, уже ждало чего-то, чуда ждало. Чадил, угасая, фонарь, глухая осенняя темь заливала огромную пустую избу, и лик божьей матери больше не виделся на черном надгробье семейного стола.

А сыновья сажали под окном рябину. Была осень сорок второго, уже пришла похоронка на отца и повестка из военкомата. И они сажали рябину.

Нет, нет, не о войне, только не о войне! О тех светлых да счастливых денечках, когда все еще были живы. Все?.. А твои родители на строительстве Челябинского тракторного? Они еще месили босыми ногами бетон, еще получали пайки, если выполняли норму, еще валялись на нарах в дощатых, еле-еле согреваемых буржуйками бараках. Нет, они не были заключенными, они числились мобилизованными, но смерти ведь все едино, по

какой графе распределяет людей жизнь. Нет, нет, пусть уж лучше сыны сажают под окном рябину.

— Ладно ли, мама?

— Ладно, Гриша. Полейте отцовскую рябину да ступайте в избу.

Вошли. И встали у порога. И Гриша сказал:

— Мама, не пускай Шурку на войну.

А тут отец вдруг вошел в той же ситцевой рубахе, в которой выступал 1 Мая. Светлый, улыбчивый.

— Тяжело тебе, мать, одной-то, но ты терпи: нет на тебе греха.

Шурка рванулся тут к ней, будто обнять хотел, будто сказать что-то. Открыл рот…

— И-и-и!..

Очнулась старуха. Пропали сыны ее, пропал муж — пустой изба осталась. Погас фонарь на столе, ленивый предрассветный полумрак нехотя вползал в оконце. Уже угадывался стол, лавки, книга на столе, подпертая другими книгами, угол давно не беленной печки. И вместе с этой блеклой осенней просинью рвался в избу истошный визг:

— И-и-и!..

Старуха слышала его, но никуда не торопилась. Тихо и ласково было сегодня на душе ее, и даже нисколечко не ломило тело, хотя она всю ночь

пролежала в забытьи на холодном полу. Не обращая внимания на требовательные вопли свиней, она поклонилась и сказала:

— Спасибо тебе, матерь божья, утешила ты меня. Я душу свою успокоила, потому что нет на мне греха.

Она благоговейно приложилась и, сохраняя на лице тихую, задумчивую улыбку, прошла на свою кухоньку, к печи. Надела кофту, выволокла бак со свинячьим хлёбовом, налила доверху большие ведра и, изогнувшись, с трудом поволокла их голодной животине. «Ишь, орут-то как, — думалось ей. — Видно, поленилась вчера Тихоновна, недокормила маленько». Добравшись до закута, старуха поставила ведра и в полутьме стала приглядываться, где же корыто, куда следовало перелить пойло. Свиньи, нетерпеливо визжа, толкались возле самой стенки. Старуха кое-как отпихнула их и увидела корыто: его отбросили рылами в глубь закута. Сначала надо было подтащить его к загородке, а уж потом выливать ведра. Старуха потянулась за ним, сильно перегнувшись через загородку, и в этот миг что-то нестерпимо яркое вспыхнуло в глазах ее, свинцом налилась голова, и она рухнула в закут, не успев ухватиться за доски ослабевшими вдруг руками…